

Н О В Ы Й
М И Р

11



1962

НОВОЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XXXVIII

№ 11

Ноябрь, 1962 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Э. МЕЖЕЛАГИС — Гимн утру, Ржавчина, Воздух, стихи. Перевели с литовского Д. Самойлов, Станислав Куняев	3
А. СОЛЖЕНИЦЫН — Один день Ивана Денисовича, повесть	8
С. МАРШАК — Десять четверостиший. Из Вильяма Блейка	75
АЛЕКСАНДРА БРУШТЕЙН — Простая операция	77
КЯЗИМ МЕЧНЕВ — Стихи разных лет. Перевел с балкарского С. Липкин	108
ВИКТОР НЕКРАСОВ — По обе стороны океана	112
Е. СТЮАРТ — Подрастают мальчишки, стихотворение	149
АНАТОЛИЙ ПАВЛЕНКО — Большая Знаменка, стихотворение	151
ЭРНЕСТ ХЕМИНГУЭЙ — Мотылек и Танк, рассказ. Перевел с английского Иван Кашкин	153
НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ	
ЮРИЙ ЖУКОВ — Жизнь и смерть Патриса Лумумбы	159
В МИРЕ НАУКИ	
БОРИС ВОЛОДИН — Космическая медицина, как рассказал о ней дей- ствительный член Академии медицинских наук В. В. Парин	186
ПУБЛИЦИСТИКА	
П. ВОЛИН — О том, что мешает изобретателям	193
<i>Читатели обсуждают вопросы школы</i>	
В. СЕМЕНИХИН, учитель — Учить и учиться разумно	206
Л. АЙЗЕРМАН, учитель — К миру прекрасного	211
С. ВЛАДИМИРОВ — Кто же их научит?	216

(См на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
КОРНЕЙ ЧУКОВСКИЙ — Маршак	224
В. ЛАКШИН — Доверие (О повестях Павла Нилина)	229
А. ДЕМЕНТЬЕВ — На провинциальном уровне	242
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	
Г. Цурикова. О тех, кому сегодня тридцать лет.— М. Рошин. Мальчишки и принцессы Эдуарда Шима.— И. Соловьева, В. Шитова. В трех томах.— М. Бойко. «Всеобъемлющий человек».— А. Ивич. Писатель и наука.— Л. Зонина. Поэзия ответственности.	245
<i>Политика и наука</i>	
Б. Яковлев. «По поручению Владимира Ильича...» — С. Славин, доктор экономических наук. Важная проблема строительства коммунизма.— Д. Шелестов, кандидат исторических наук. Документы немеркнущих лет.— Г. Герасимов. Служители культа ядерной войны.— И. Селинов, доктор физико-математических наук. Легендарная фигура века.	267
КОРОТКО О КНИГАХ	282
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	286
ОТ РЕДАКЦИИ	288

Э. МЕЖЕЛАЙТИС

★

ГИМН УТРУ

С литовского

1

Сперва различают на слух
луч, в стекла стучащийся звонко,
чистейший и утренний звук —
звук солнца — медного гонга.

И солнечный гонг, как роса
разбрызгивается по фрамуге,
с собой тишину унося,
уходит ночь из округи.

И в мир является свет,
наваливается на окна,
и рвется за светом вслед
звон солнца — медного гонга.

2

И человек пробуждается.

3

Человек пробуждается и прежде всего
улыбается.
Улыбка скользит по губам,
как грань между ночью и днем,
это улыбка сна,
убегающего вдаль,
легкий отзвук,
эта улыбка — еще продолжение
сна.

4

И улыбку, как дитя из люльки,
светлый день приподнимает медленно.
Слух впивает все земные звуки —
звон стекла и рокот гонга медного.

5

А человек,
перед тем как встать,
пробует вновь

человеком стать:
 он к пахоте тянет
 две длинных руки
 и погружает
 в нее кулаки,
 пришедший из сна,
 как с небесных высот,
 пробует глину схватить
 и песок.

6

И схватывает...

7

Ведь когда человек
 хочет стать человеком,
 он должен сначала проснуться.

И когда человек
 хочет строить, творить, работать,
 он должен сначала проснуться.

Ибо сон — как скала,
 тяжело
 придавившая кровлю.

Ибо сон — как стена,
 огораживающая
 зренье.

8

Когда человек
 хочет быть человеком,
 он должен проснуться и заулыбаться.

Ибо слезы — как мелкие капли дождя,
 заволакивающие стекла,—
 и человек не видит своей дороги.

9

Человек проснулся,
 он вытянул руку
 и рукой прикоснулся
 к небу и к звуку,
 прикоснулся натруженной
 к небесам окрыленным,
 медным гонгом разбуженный,
 солнечным звоном.

Перевел Д. Самойлов.

Ржавчина

1

Голос, я хочу, чтоб ты замолк.
 Пусть душа моя кричит в тревоге,
 больно уколотившись о клубок
 проволоки ржавой на дороге.

Почему, зачем ее несу?
 Молча шел. Не задавал вопросов.
 Может быть, я думал, ветку розы
 рыжую от ржавчины несу?

Нет, не ветку. Как бы ни тяжел
 голос этой правды неминуемой —
 признаюсь, я очень долго шел,
 проволокой оплетен колючей.

Солнца, света жаждала душа
 и в ночи осенней и суровой
 свой веночек несла, едва дыша,
 ржавый,
 металлический,
 терновый.

2

На любых путях моей души
 выростала всюду выше ржи
 ты, колючая проволока!

Ты росла в окопах и во рвах,
 в этих язвах, в этих гнойных швах,
 о колючая проволока!

Все твои побегки расцвели
 из кровоточащих ран земли,
 о колючая проволока!

Круг тюрьмы росли твои цветы,
 кровью и слезами политы,
 о колючая проволока!

Над концлагерьми ты цвела,
 пожирая души и тела,
 о колючая проволока!

Обвила зеленые леса,
 в синие вонзилась небеса,
 о колючая проволока!

Обвила, ползучая змея,
 землю. Не простит тебя земля!
 О колючая проволока!

Нравилось тебе живую плоть
 жалить, рвать, терзать, кусать, колоть,
 о колючая проволока!

И уже не удивлялся я,
 всюду натываясь на тебя,
 о колючая проволока!

И без крови, словно без воды,
 ты ржавела и слабела ты,
 о колючая проволока!

3

Злые тени постепенно отступают,
и душа моя выходит из ночи,
через проволоку смело проникают
солнечные добрые лучи.

Греется душа, присев на камень,
обескровлена, бледна и чуть жива.
И остатки рыжих ржавых капель
пожирает вешняя трава.

4

Это не ржавчина.
Это крови следы,
пепел пожарища,
печати беды.

Эту ржавчину
потоки каких дождей
смоют начисто
с круглой планеты моей?

Будь же проклята
навсегда, навек,
колючая проволока —
я говорю, Человек!

5

Ветку розы я держу,
ржавую, с колючими шипами.
Прошлую беду не ворошу —
все равно не выразить словами.

Только выдают меня
слезы в горле.

А вокруг — безлюдье.

Только двое — Я и Тишина —
бледные стоим на перепутье.

Мы бросаем проволоку прочь,
ветку ржавую и неживую.
И уходим, покидая ночь,
на дорогу, солнцем залитую.

Воздух

Я вздохнул. И ударил, как хмель,
В мою голову воздух сверкающий.
На куски нарезаю, как хлеб,
этот воздух дымящийся, тающий.

Как березовый сок, пью взახлеб
чистый воздух из чана небесного.
А кругом — соловьев перехлоп,
перезвон жаворонка окрестного.

Закружилась моя голова,
голова сединою увитая...

До чего ж хороша синева,
золотыми лучами прошитая.

Я прислушиваюсь к голосам,
от ветров раздуваются легкие,
и моим удивленным глазам
открываются звезды далекие.

Я дышу не спеша. Широко.
Отвыкаю от трупного запаха,
привыкаю дышать глубоко.
Словом, жизнь начинается заново.

Пахнет воздух, как хлебный ломоть,
пахнет капелька пота испариной,
пахнет капля, как пахнет щепоть
кристаллической соли поваренной.

Запах хлеба и запах труда
словно счастье в тот день ощущаются,
и стихи, словно в домне руда,
от тяжелой тоски очищаются.

Воздух полнится шумом земли,
синим рокотом, лиственным шепотом.
Слышишь? С ландыша — «Тихо! Замри!» —
капля медленно катится с шорохом.

Воздух свежест студеную льет,
он хлопочет у каждого мускула.
Он, как скульптор, меня создает,
высекает из мрамора тусклого.

Все яснее мне день ото дня,
что загадки еще не разгаданы.
Но, как хлеб, насыщают меня
эти неуловимые атомы.

Пусть навалится бремя труда.
Я — творец. Мне ненадобно отдыха.
Только воздуха дайте сюда!
Больше воздуха! Свежего воздуха!

Растворяется воздух в крови,
как живая вода растворяется,
и становится тесно в груди,
и как эпос она расширяется.

Нет, довольно с меня похорон!
Не хочу аромата могильного.
Свежим воздухом я опьянен,
красотою сияния синего.

Я прислушиваюсь к голосам,
как меха раздвигаются легкие.
И моим удивленным глазам
открываются звезды далекие.

Перевел Станислав Куняев.



А. СОЛЖЕНИЦЫН

★

ОДИН ДЕНЬ ИВАНА ДЕНИСОВИЧА

Повесть

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Жизненный материал, положенный в основу повести А. Солженицына, необычен в советской литературе. Он несет в себе отзвук тех болезненных явлений в нашем развитии, связанных с периодом развенчанного и отвергнутого партией культа личности, которые по времени хотя и отстоят от нас не так уже далеко, представляются нам далеким прошлым. Но прошлое, каким бы оно ни было, никогда не становится безразличным для настоящего. Залог полного и бесповоротного разрыва со всем тем в прошлом, чем оно было омрачено,— в правдивом и мужественном постижении до конца его последствий. Об этом именно говорил Н. С. Хрущев в своем памятном для всех нас заключительном слове на XXII съезде: «Наш долг тщательно и всесторонне разобраться в такого рода делах, связанных со злоупотреблением властью. Пройдет время, мы умрем, все мы смертны, но, пока работаем, мы можем и должны многое выяснить и сказать правду партии и народу... Это надо сделать для того, чтобы подобные явления впредь никогда не повторялись».

«Один день Ивана Денисовича» — это не документ в мемуарном смысле, не записки или воспоминания о пережитом автором лично, хотя только пережитое лично могло сообщить этому рассказу такую достоверность и подлинность. Это произведение художественное, и в силу именно художнического освещения данного жизненного материала оно является свидетельством особой ценности, документом искусства, возможность которого на этом «специфическом материале» до сих пор представлялась маловероятной.

Читатель не найдет в повести А. Солженицына всеобъемлющего изображения того исторического периода, который, в частности, отмечен горькой памятью тридцать седьмого года. Содержание «Одного дня», естественно, ограничено и временем, и местом действия, и кругозором главного героя повести. Но один день из жизни лагерного заключенного Ивана Денисовича Шухова под пером А. Солженицына, впервые выступающего в литературе, вырастает в картину, наделенную необычайной живостью и верностью правде человеческого характера. В этом прежде всего заключается редкостная впечатляющая сила произведения. Многих людей, обрисованных здесь в трагическом качестве «эзэков», читатель может представить себе и в иной обстановке — на фронте или на стройках послевоенных лет. Это те же люди, волею обстоятельств поставленные в особые, крайние условия жестоких физических и моральных испытаний.

В этой повести нет нарочитого нагнетания ужасных фактов жестокости и произвола, явившихся следствием нарушения советской законности. Автором избран один из самых обычных дней лагерной жизни от подъема до отбоя. Однако этот «обычный» день не может не отозваться в сердце читателя горечью и болью за судьбу людей, которые встают перед ним со страниц повести такими живыми и близкими. Но несомненная победа художника в том, что эта горечь и боль ничего общего не имеет с чувством безнадежной угнетенности. Наоборот, впечатление от этой вещи, столь необычной по своей неприкрашенной и нелегкой правде, как бы освобождает душу от невысказанности того, что должно было быть высказано, и тем самым укрепляет в ней чувства мужественные и высокие.

Эта суровая повесть — еще один пример того, что нет таких участков или явлений действительности, которые были бы в наше время исключены из сферы советского художника и недоступны правдивому описанию. Все дело в том, какими возможностями располагает сам художник.

И еще один простой и поучительный вывод позволяет сделать эта повесть: истинно значительное содержание, верность большой жизненной правде, глубокая человечность в подходе к изображению даже самых трудных объектов не могут не призвать к жизни и соответствующей формы. В «Одном дне» она ярка и своеобразна в самой своей будничной обычности и внешней непритязательности, она менее всего озабочена самой собою и потому исполнена внутреннего достоинства и силы.

Я не хочу превосходить оценку читателями этого небольшого по объему произведения, хотя для меня несомненно, что оно означает приход в нашу литературу нового, своеобразного и вполне зрелого мастера.

Может быть, использование автором — весьма, впрочем, умеренное и целесообразное — некоторых словечек и речений той среды, где его герой проводит свой трудовой день, вызовет возражения особо привередливого вкуса. Но в целом «Один день Ивана Денисовича» — из ряда тех произведений литературы, восприняв которые мы испытываем большое желание, чтобы наше чувство признательности автору было разделено и другими читателями.

А. Твардовский.

В пять часов утра, как всегда, пробило подъем — молотком об рельс у штабного барака. Перерывистый звон слабо прошел сквозь стекла, намерзшие в два пальца, и скоро затих: холодно было, и надзирателю неохота была долго звонить.

Звон утих, а за окном все так же, как и среди ночи, когда Шухов вставал к параше, была тьма и тьма, да попадало в окно три желтых фонаря: два — на зоне, один — внутри лагеря.

И барака что-то не шли отпирать, и не слышать было, чтобы дневальные брали бочку парашную на палки — выносить.

Шухов никогда не просыпал подъема, всегда вставал по нему — до развода было часа полтора времени своего, не казенного, и кто знает лагерную жизнь, всегда может подработать: шить кому-нибудь из старой подкладки чехол на рукавички; богатому бригаднику подать сухие валенки прямо на койку, чтоб ему босиком не топтаться вокруг кучи, не выбирать; или пробежать по каптеркам, где кому надо услужить, подмести или поднести что-нибудь; или идти в столовую собирать миски со столов и сносить их горками в посудомойку — тоже накормят, но там охотников много, отбою нет, а главное — если в миске что осталось, не удержишься, начнешь миски лизать. А Шухову крепко запомнились слова его первого бригадира Кузёмина — старый был лагерный волк, сидел к девятьсот сорок третьему году уже двенадцать лет и своему пополнению, привезенному с фронта, как-то на голой просеке у костра сказал:

— Здесь, ребята, закон — тайга. Но люди и здесь живут. В лагере вот кто погибает: кто миски лижет, кто на санчасть надеется да кто к куму ходит стучать.

Насчет кума — это, конечно, он загнул. Те-то себя берегают. Только береженье их — на чужой крови.

Всегда Шухов по подъему вставал, а сегодня не встал. Еще с вечера ему было не по себе, не то знобило, не то ломало. И ночью не угрелся. Сквозь сон чудилось — то вроде совсем заболел, то отходил маленько. Все не хотелось, чтобы утро.

Но утро пришло своим чередом.

Да и где тут угреешься — на окне наледи наметано, и на стенах вдоль стыка с потолком по всему бараку — здоровый барак! — паутина белая. Иней.

Шухов не вставал. Он лежал на верху вагонки, с головой накрывшись одеялом и бушлатом, а в телогрейку, в один подвернутый рукав, сунув обе ступни вместе. Он не видел, но по звукам все понимал, что делалось в бараке и в их бригадном углу. Вот, тяжело ступая по кори-

дору, дневальные понесли одну из восьмиведерных параш. Считается, инвалид, легкая работа, а ну-ка, поди вынеси, не проля! Вот в 75-й бригаде хлопнули об пол связку валенок из сушилки. А вот — и в нашей (и наша была сегодня очередь валенки сушить). Бригадир и помбригадир обуваются молча, а вагонка их скрипит. Помбригадир сейчас в хлеборезку пойдет, а бригадир — в штабной барак, в ППЧ.

Да не просто к нарядчикам в ППЧ, как каждый день ходит, — Шухов вспомнил: сегодня судьба решается — хотя их 104-ю бригаду фугануть со строительства мастерских на новый объект «Соцбытгородок». А Соцбытгородок тот — поле голое, в увалах снежных, и прежде чем что там делать, надо ямы копать, столбы ставить и колючую проволоку от себя самих натягивать — чтоб не убежать. А потом строить.

Там, верное дело, месяц погреться негде будет — ни конурки. И костра не разведешь — чем топить? Вкальвай на совесть — одно спасение.

Бригадир озабочен, уладить идет. Какую-нибудь другую бригаду, нерасторопную, заместо себя туда толкнуть. Конечно, с пустыми руками не договориться. Полкило сала старшему нарядчику понести. А то и килограмм.

Испыток не убыток, не попробовать ли в санчасти к о с а н у т ь, от работы на денек освободиться? Ну прямо все тело разнимает.

И еще — кто из надзирателей сегодня дежурит?

Дежурит — вспомнил: Полтора Ивана, худой да долгий сержант черноокий. Первый раз глянешь — прямо страшно, а узнали его — из всех дежурняков покладистей: ни в карцер не сажает, ни к начальнику режима не таскает. Так что полежать можно, аж пока в столовую девятый барак.

Вагонка затряслась и закачалась. Вставали сразу двое: наверху — сосед Шухова баптист Алешка, а внизу — Буйновский, капитан второго ранга бывший.

Старики дневальные, вынеся обе параша, забранились, кому идти за кипятком. Бранились привязчиво, как бабы. Электросварщик из 20-й бригады рявкнул:

— Эй, ф и т и л ы! — и запустил в них валенком. — Помирю!

Валенок глухо стукнулся об столб. Замолчали.

В соседней бригаде чуть буркотел помбригадир:

— Василь Федорыч! В продстоле передернули, гады: было девятистоток четыре, а стало три только. Кому ж недодать?

Он тихо это сказал, но уж, конечно, вся та бригада слышала и затаилась: от кого-то вечером кусочек отрежут.

А Шухов лежал и лежал на спрессовавшихся опилках своего матрасика. Хотя бы уж одна сторона брала — или забило бы в ознобе, или ломота прошла. А то ни то ни се.

Пока баптист шептал молитвы, с ветерка вернулся Буйновский и объявил никому, но как бы злорадно:

— Ну, держись, краснофлотцы! Тридцать градусов верных!

И Шухов решил — идти в санчасть.

И тут же чья-то имеющая власть рука сдернула с него телогрейку и одеяло. Шухов скинул бушлат с лица, приподнялся. Под ним, равняясь головой с верхней наркой вагонки, стоял худой Татарин.

Значит, дежурил не в очередь он и прокрался тихо.

— Ще—восемьсот пятьдесят четыре! — прочел Татарин с белой латки на спине черного бушлата. — Трое суток к о н д е я с в ы в о д о м!

И едва только раздался его особый сдавленный голос, как во всем полутемном бараке, где лампочки горели не все, где на пятидесяти клопных вагонках спало двести человек, сразу заворочались и стали поспешно одеваться все, кто еще не встал.

— За что, гражданин начальник? — придавая своему голосу больше жалости, чем испытывал, спросил Шухов.

С выводом на работу — это еще полкарцера, и горячее дадут, и задумываться некогда. Полный карцер — это когда без вывода.

— По подъему не встал? Пошли в комендатуру, — пояснил Татарин лениво, потому что и ему, и Шухову, и всем было понятно, за что кондей.

На безволосом мятом лице Татарина ничего не выражалось. Он обернулся, ища второго кролика, но все уже, кто в полутьме, кто под лампочкой, на первом этаже вагонок и на втором, проталкивали ноги в черные ватные брюки с номерами на левом колене или, уже одетые, запахивались и спешили к выходу — переждать Татарина на дворе.

Если б Шухову дали карцер за что другое, где б он заслужил — не так бы было обидно. То и обидно было, что всегда он вставал из первых. Но отпроситься у Татарина было нельзя, он знал. И, продолжая отпрашиваться просто для порядка, Шухов тем временем натянул ватные брюки (повыше левого колена их тоже был пришит затасканный, погрязневший лоскут, и на нем выведен черной, уже поблекшей краской номер Щ-854), надел телогрейку (на ней таких номера было два — на груди один и один на спине), выбрал свои валенки из кучи на полу, шапку надел (с таким же лоскутом и номером спереди) и вышел вслед за Татаринком.

Вся 104-я бригада видела, как уводили Шухова, но никто слова не сказал: ни к чему, да и что скажешь? Бригадир бы мог маленько вступитья, да уж его не было. И Шухов тоже никому ни слова не сказал, Татарина не стал дразнить. Приберегут завтрак, догадаются.

Так и вышли вдвоем.

Мороз был со мглой, прихватывающей дыхание. Два больших прожектора били по зоне наперекрест с дальних угловых вышек. Светили фонари зоны и внутренние фонари. Так много их было наткано, что они совсем засветляли звезды.

Скрипя валенками по снегу, быстро пробегали эки по своим делам — кто в уборную, кто в каптерку, иной — на склад посылок, тот крупу сдавать на индивидуальную кухню. У всех у них голова ушла в плечи, бушлаты запахнуты, и всем им холодно не так от мороза, как от думки, что и день целый на этом морозе пробыть. А Татарин в своей старой шинели с замусленными голубыми петлицами шел ровно, и мороз как будто совсем его не брал.

Они прошли мимо высокого дощаного заплота вокруг БУРа — каменной внутрилагерной тюрьмы; мимо колючей проволоки, охранявшей лагерную пекарню от заключенных; мимо угла штабного барака, где, толстой проволокой подхваченный, висел на столбе обнудевший рельс; мимо другого столба, где в затишке, чтоб не показывал слишком низко, весь обметанный инеем, висел термометр. Шухов с надеждой покосился на его молочно-белую трубочку: если б он показал сорок один, не должны бы выгонять на работу. Только никак сегодня не натягивало на сорок.

Вошли в штабной барак и сразу же — в надзирательскую. Там разъяснилось, как Шухов уже смекнул и по дороге: никакого карцера ему не было, а просто пол в надзирательской не мыт. Теперь Татарин объявил, что прощает Шухова, и велел ему вымыть пол.

Мыть пол в надзирательской было дело специального ээка, которого не выводили за зону, — дневального по штабному бараку прямое дело. Но, давно в штабном бараке обжившись, он доступ имел в кабинеты майора, и начальника режима, и кума, услуживал им, порой слышал такое, чего не знали и надзиратели, и с некоторых пор посчитал, что мыть полы для простых надзирателей ему приходится как бы низко. Те позвали

его раз, другой, поняли, в чем дело, и стали дергать на полы из работяг.

В надзирательской яро топилась печь. Раздевшись до грязных своих гимнастерок, двое надзирателей играли в шашки, а гретий, как был, в перепосанном тулупе и валенках, спал на узкой лавке. В углу стояло ведро с тряпкой.

Шухов обрадовался и сказал Татарину за прощение:

— Спасибо, гражданин начальник! Теперь никогда не буду залеживаться.

Закон здесь был простой: кончишь — уйдешь. Теперь, когда Шухову дали работу, вроде и ломать перестало. Он взял ведро и без рукавичек (наскоро забыл их под подушкой) пошел к колодцу.

Бригадиры, ходившие в ППЧ — планово-производственную часть, — столпились несколько у столба, а один, помоложе, бывший Герой Советского Союза, взлез на столб и протирал термометр.

Снизу советовали:

— Ты только в сторону дыши, а то поднимется.

— Фухнется! — поднимется!.. не влияет.

Тюрина, шуховского бригадира, меж них не было. Поставив ведро и сплетя руки в рукава, Шухов с любопытством наблюдал.

А тот хрипло сказал со столба:

— Двадцать семь с половиной, хреновина.

И, еще доглядев для верности, прыгнул.

— Да он неправильный, всегда брешет, — сказал кто-то. — Разве правильный в зоне повесят?

Бригадиры разошлись. Шухов побежал к колодцу. Под спущенными, но не завязанными наушниками поламывало уши морозом.

Сруб колодца был в толстой обледи, так что едва пролезало в дыру ведро. И веревка стояла колом.

Рук не чувствуя, с дымящимся ведром Шухов вернулся в надзирательскую и сунул руки в колодезную воду. Потеплело.

Татарина не было, а надзирателей сбилось четверо, они покинули шашки и сон и спорили, по сколько им дадут в январе пшена (в поселке с продуктами было плохо, и надзирателям, хоть карточки давно кончились, продавали кой-какие продукты отдельно от поселковых, со скидкой).

— Дверь-то притягивай, ты, падло! Дует! — отвлекся один из них.

Никак не годилось с утра мочить валенки. А и переобуться не во что, хоть и в барак побеги. Разных порядков с обувью нагладелся Шухов за восемь лет сидки: бывало, и вовсе без валенок зиму переживали, бывало, и ботинок тех не видали, только лапти да ЧТЗ (из резины обутка, след автомобильный). Теперь вроде с обувью подналадилость: в октябре получил Шухов (а почему получил — с помбригадиром вместе в каптерку увязался) ботинки дюжие, твердоносые, с простором на две теплых портянки. С неделю ходил как именинник, все новенькими каблучками постукивал. А в декабре валенки подоспели — житуха, умирать не надо. Так какой-то черт в бухгалтерии начальнику нашептал: валенки, мол, пусть получают, а ботинки сдадут. Мол, непорядок — чтобы ээк две пары имел сразу. И пришлось Шухову выбирать: или в ботинках всю зиму навывлет, или в валенках, хошь бы и в оттепель, а ботинки отдай. Берег, солидолом смягчал, ботинки новехонькие, ах! — ничего так жалко не было за восемь лет, как этих ботинок. В одну кучу скинули, весной уж твои не будут.

Сейчас Шухов так догадался: проворно вылез из валенок, составил их в угол, скинул туда портянки (ложка звякнула на пол; как быстро ни снаряжался в карцер, а ложку не забыл) и босиком, щедро разливая тряпкой воду, ринулся под валенки к надзирателям.

— Ты! гад! погише! — спохватился один, подбирая ноги на стул.

— Рис? Рис по другой норме идет, с рисом ты не равняй!

— Да ты сколько воды набираешь, дурак? Кто ж так моет?

— Гражданин начальник! А иначе его не вымоешь. Въелась грязь-то...

— Ты хоть видал когда, как твоя баба полы мыла, чушка?

Шухов распрямился, держа в руке тряпку со стекающей водой. Он улыбнулся простодушно, показывая недостаток зубов, прорезанных цингой в Усть-Ижме в сорок третьем году, когда он доходил. Так доходил, что кровавым поносом начисто его пронесило, истощенный желудок ничего принимать не хотел. А теперь только шепелявень от того времени и осталось.

— От бабы меня, гражданин начальник, в сорок первом году отставили. Не упомяну, какая она и баба.

— Так вот они моют... Ничего, падлы, делать не умеют и не хотят. Хлеба того не стоят, что им дают. Дерьмом бы их кормить.

— Да на фуя его и мыть каждый день? Сырость не переводится. Ты вот что, слышь, восемьсот пятьдесят четвертый! Ты легонько протри, чтоб только мокровато было, и вали отсюда.

— Рис! Пшенку с рисом ты не равняй!

Шухов бойко управлялся.

Работа — она как палка, конца в ней два: для людей делаешь — качество дай, для дурака делаешь — дай показуху.

А иначе б давно все подошли, дело известное.

Шухов протер доски пола, чтобы пятен сухих не осталось, тряпку невыжатую бросил за печку, у порога свои валенки натянул, выплеснул воду на дорожку, где ходило начальство, — и наискось, мимо бани, мимо темного охолодавшего здания клуба, надал к столовой.

Надо было еще и в санчасть поспеть, ломало опять всего. И еще надо было перед столовой надзирателям не попасться: был приказ начальника лагеря строгий — одиночек отставших ловить и сажать в карцер.

Перед столовой сегодня — случай такой дивный — толпа не густилась, очереди не было. Заходи.

Внутри стоял пар, как в бане, — напуски мороза от дверей и пар от баланды. Бригады сидели за столами или толкались в проходах, ждали, когда места освободятся. Прокликалась через тесноту, от каждой бригады работяги по два, по три носили на деревянных подносах миски с баландой и кашей и искали для них места на столах. И все равно не слышит, обалдуй, спина еловая, на тебе, толкнул поднос. Плесь, плесь! Рукой его свободной — по шее, по шее! Правильно! Не стой на дороге, не высматривай, где подлизать.

Там, за столом, еще ложку не окунувши, парень молодой крестится. Значит, украинец западный, и то новичок.

А русские — и какой рукой креститься, забыли.

Сидеть в столовой холодно, едят больше в шапках, но не спеша, вылавливая разварки тленной мелкой рыбешки из-под листьев черной капусты и выплевывая косточки на стол. Когда их наберется гора на столе — перед новой бригадой кто-нибудь смахнет, и там они дохрястывают на полу.

А прямо на пол кости плевать — считается вроде бы неаккуратно.

Посреди барака шли в два ряда не то столбы, не то подпорки, и у одного из таких столбов сидел однобригадник Шухова Фетюков, стерег ему завтрак. Это был из последних бригадников, поплоче Шухова. Снаружи бригада вся в одних черных бушлатах и в номерах одинаковых, а внутри шибко неравно — ступеньками идет. Буйновского не посадишь с миской сидеть, а и Шухов не всякую работу возьмет, есть пониже.

Фетюков заметил Шухова и вздохнул, уступая место.

— Уж застыло все. Я за тебя есть хотел, думал — ты в кондее.

И — не стал ждать, зная, что Шухов ему не оставит, обе миски отштукатурит дочиста.

Шухов вытянул из валенка ложку. Ложка та была ему дорога, прошла с ним весь север, он сам отливал ее в песке из алюминиевого прохода, на ней и наколка стояла: «Усть-Ижда, 1944».

Потом Шухов снял шапку с бритой головы — как ни холодно, но не мог он себя допустить есть в шапке — и, взмучивая отстоявшуюся баланду, быстро проверил, что там попало в миску. Попало так, средне. Не с начала бака наливали, но и не доболтки. С Фетюкова станет, что он, миску стережа, из нее картошку выловил.

Одна радость в баланде бывает, что горяча, но Шухову досталась теперь совсем холодная. Однако он стал есть ее так же медленно, внимательно. Уж тут хоть крыша гори — спешить не надо. Не считая сна, лагерник живет для себя только утром десять минут за завтраком, да за обедом пять, да пять за ужином.

Баланда не менялась ото дня ко дню, зависело — какой овощ на зиму заготовят. В летошнем году заготовили одну соленую морковь — так и прошла баланда на чистой моркошке с сентября до июня. А нонче — капуста черная. Самое сытное время лагернику — июнь: всякий овощ кончается и заменяют крупой. Самое худое время — июль: крапиву в котел секут.

Из рыбки мелкой попадались все больше кости, мясо с костей сварилось, развалилось, только на голове и на хвосте держалось. На хрупкой сетке рыбьего скелета не оставив ни чешуйки, ни мясинки, Шухов еще мял зубами, высасывал скелет — и выплевывал на стол. В любой рыбе ел он все: хоть жабры, хоть хвост, и глаза ел, когда они на месте попадались, а когда вываривались и плавали в миске отдельно — большие рыбки глаза, — не ел. Над ним за то смеялись.

Сегодня Шухов сэкономил: в барак не зашедши, пайки не получил и теперь ел без хлеба. Хлеб — его потом отдельно нажать можно, еще сытей.

На второе была каша из магары. Она застыла в один слиток, Шухов ее отламывал кусочками. Магара не то что холодная — она и горячая ни вкуса, ни сытости не оставляет: трава и трава, только желтая, под вид пшена. Придумали давать ее вместо крупы, говорят — от китайцев. В вареном весе триста грамм тянет — и лады: каша не каша, а идет за кашу.

Облизав ложку и засунув ее на прежнее место в валенок, Шухов надел шапку и пошел в санчасть.

Было все так же темно в небе, с которого лагерные фонари согнали звезды. И все так же широкими струями два прожектора резали лагерьную зону. Как этот лагерь, Особый, зачинали — еще фронтовых ракет осветительных больно много было у охраны, чуть погаснет свет — сыпят ракетами над зоной, белыми, зелеными, красными, война настоящая. Потом не стали ракет кидать. Или дороги обходятся?

Была все та же ночь, что и при подъеме, но опытному глазу по разным мелким приметам легко было определить, что скоро ударят развод. Помощник Хромого (дневальный по столовой Хромой от себя кормил и держал еще помощника) пошел звать на завтрак инвалидный шестой барак, то есть не выходящих за зону. В культурно-воспитательную часть полпелся старый художник с бородкой — за краской и кисточкой, номера писать. Опять же Татарин широкими шагами, спеша, пересек л и н е й к у в сторону штабного барака. И вообще снаружи народу поменело — значит, все приткнулись и греются последние сладкие минуты.

Шухов проворно спрятался от Татарина за угол барака: второй раз попадешься — опять пригребется. Да и никогда зевать нельзя. Стараться надо, чтоб никакой надзиратель тебя в одиночку не видел, а в толпе толь-

ко. Может, он человека ищет на работу послать, может, зло отвести не на ком. Читали ж вот приказ по баракам — перед надзирателем за пять шагов снимать шапку и два шага спустя надеть. Иной надзиратель бредет, как слепой, ему все равно, а для других это сласть. Сколько за ту шапку в кондей перетаскали! Нет уж, за углом перестоем.

Миновал Татарин — и уже Шухов совсем намерился в санчасть, как его озарило, что ведь сегодня утром до развода назначил ему длинный латыш из седьмого барака прийти купить два стакана самосада, а Шухов захлопотался, из головы вон. Длинный латыш вечером вчера получил посылку, и, может, завтра уж этого самосада не будет, жди тогда месяц новой посылки. Хороший у него самосад, крепкий в меру и духовитый. Буроватенький такой.

Раздосадовался Шухов, затоптался — не повернуть ли к седьмому бараку. Но до санчасти совсем мало оставалось, и он потрусил к крыльцу санчасти. Слышно скрипел снег под ногами.

В санчасти, как всегда, до того было чисто в коридоре, что страшно ступать по полу. И стены крашены эмалевой белой краской. И белая вся мебель.

Но двери кабинетов были все закрыты. Врачи-то, поди, еще с постелей не подымались. А в дежурке сидел фельдшер — молодой парень Коля Вдовушкин, за чистым столиком, в свеженьком белом халате — и что-то писал.

Никого больше не было.

Шухов снял шапку, как перед начальством, и, по лагерной привычке лезть глазами куда не следует, не мог не заметить, что Николай писал ровными-ровными строчками и каждую строчку, отступая от края, аккуратно одну под одной начинал с большой буквы. Шухову было, конечно, сразу понятно, что это — не работа, а по левой, но ему до того не было дела.

— Вот что... Николай Семеныч... я вроде это... болен... — совестливо, как будто зарясь на что чужое, сказал Шухов.

Вдовушкин поднял от работы спокойные, большие глаза. На нем был чепчик белый, халат белый, и номеров видно не было.

— Что ж ты поздно так? А вечером почему не пришел? Ты же знаешь, что утром приема нет? Список освобожденных уже в ППЧ.

Все это Шухов знал. Знал, что и вечером освободиться не проще.

— Да ведь, Коля... Оно с вечера, когда нужно, так и не болит...

— А что — оно? Оно — что болит?

— Да разобраться, бывает, и ничего не болит. А недужит всего.

Шухов не был из тех, кто липнет к санчасти, и Вдовушкин это знал. Но право ему было дано освободить утром только двух человек — и двух он уже освободил, и под зеленоватым стеклом на столе записаны были эти два человека, и подведена черта.

— Так надо было беспокоиться раньше. Что ж ты — под самый развод? На!

Вдовушкин вынул термометр из банки, куда они были спущены сквозь прорези в марле, обтер от раствора и дал Шухову держать.

Шухов сел на скамейку у стены, на самый краешек, только-только чтоб не перекувырнуться вместе с ней. Неудобное место такое он избрал даже не нарочно, а невольно показывая, что санчасть ему чужая и что пришел он в нее за малым.

А Вдовушкин писал дальше.

Санчасть была в самом глухом, дальнем углу зоны, и звуки сюда не достигали никакие. Ни ходики не стучали — заключенным часов не положено, время за них знает начальство. И даже мыши не скребли — всех их повыловил больничный кот, на то поставленный.

Было дивно Шухову сидеть в такой чистой комнате, в тишине такой, при яркой лампе целых пять минут и ничего не делать. Осмотрел он все стены — ничего на них не нашел. Осмотрел телогрейку свою — номер на груди пообтерся, каб не зацапали, надо подновить. Свободной рукой еще бороду опробовал на лице — здоровая выперла, с той бани растет, дней боле десяти. А и не мешает. Еще дня через три баня будет, тогда и поброют. Чего в парикмахерской зря в очереди сидеть? Красоваться Шухову не для кого.

Потом, глядя на беленький-беленький чепчик Вдовушкина, Шухов вспомнил медсанбат на реке Ловать, как он пришел туда с поврежденной челюстью и — недотыка ж хренова! — доброй волею в строй вернулся. А мог пяток дней полежать.

Теперь вот грезится: заболеть бы недельки на две, на три не насмерть и без операции, но чтобы в больничку положили, — лежал бы, кажется, три недели, не шевельнулся, а уж кормят бульоном пустым — лады.

Но, вспомнил Шухов, теперь и в больничке отлежу нет. С каким-то этапом новый доктор появился — Степан Григорьевич, гонкий такой да звонкий, сам сумутится, и больным нет покою: выдумал всех ходячих больных выгонять на работу при больнице: загородку городить, дорожки делать, на клумбы землю нанашивать, а зимой — снегозадержание. Говорит, от болезни работа — первое лекарство.

От работы лошади дохнут. Это понимать надо. Ухайдакался бы сам на каменной кладке — небось бы тихо сидел.

...А Вдовушкин писал свое. Он, вправду, занимался работой «левой», но для Шухова непостижимой. Он перелисывал новое длинное стихотворение, которое вчера отделал, а сегодня обещал показать Степану Григорьевичу, тому самому врачу, подборнику трудотерапии.

Как это делается только в лагерях, Степан Григорьевич и посоветовал Вдовушкину объявиться фельдшером, поставил его на работу фельдшером, и стал Вдовушкин учиться делать внутривенные уколы на темных работагах, в чью добропорядочную голову никак бы не могло вступить, что фельдшер может быть вовсе и не фельдшером. Был же Коля студент литературного факультета, арестованный со второго курса. Степан Григорьевич хотел, чтоб он написал в тюрьме то, чего ему не дали на воле.

...Сквозь двойные, непрозрачные от белого льда стекла еле слышно донесся звонок развода. Шухов вздохнул и встал. Знобило его, как и раньше, но косануть, видно, не проходило. Вдовушкин протянул руку за термометром, посмотрел.

— Видишь, ни то ни се, тридцать семь и две. Было бы тридцать восемь, так каждому ясно. Я тебя освободить не могу. На свой страх, если хочешь, останься. После проверки посчитает доктор больным — освободит, а здоровым — отказчик, и в БУР. Сходи уж лучше за зону.

Шухов ничего не ответил и не кивнул даже, шапку нахлобучил и вышел.

Теплый зяблого разве когда поймет?

Мороз жал. Мороз едкой мглицей больно охватил Шухова и вынудил его закашляться. В морозе было двадцать семь, в Шухове тридцать семь. Теперь кто кого.

Трусой побежал Шухов в барак. Линейка напролет была вся пуста, и лагерь весь стоял пуст. Была та минутка короткая, разморчивая, когда уже все оторвано, но прикидываются, что нет, что не будет развода. Конвой сидит в теплых казармах, сонные головы прислоня к винтовкам, — тоже им не масло сливочное в такой мороз на вышках топтаться. Вахтеры на главной вахте подбрасывают в печку угля. Надзиратели в надзирательской докуривают последнюю сигарку перед обыском.

А заключенные, уже одетые во всю свою рвань, перепоясанные всеми веревочками, обмотавшись от подбородка до глаз тряпками от мороза, — лежат на нарах поверх одеял в валенках и, глаза закрыв, обмирают. Аж пока бригадир крикнет: «Па-дъем!»

Дремала со всем девятым бараком и 104-я бригада. Только помбригадир Павло, шевеля губами, что-то считал карандашиком да на верхних нарах баптист Алешка, сосед Шухова, чистенький, приумытый, читал свою записную книжку, где у него была переписана половина евангелия.

Шухов вбежал хоть и стремглав, а тихо совсем, и — к помбригадировой вагонке.

Павло поднял голову.

— Нэ посадылы, Иван Денисыч? Живы? (Украинцев западных никак не переучат, они и в лагере по отчеству да выкают.)

И, со стола взявши, протянул пайку. А на пайке — сахару черпачок опрокинут холмиком белым.

Очень спешил Шухов и все ж ответил прилично (помбригадир — тоже начальство, от него даже больше зависит, чем от начальника лагеря). Уж как спешил, с хлеба сахар губами забрал, языком подлизнул, одной ногой на кронштейник — лезть наверх постель заправлять, — а пайку так и так посмотрел, и рукой на лету взвесил: есть ли в ней те пятьсот пятьдесят грамм, что положены. Паек этих тысячу не одну переполучал Шухов в тюрьмах и в лагерях, и хоть ни одной из них на весах проверить не пришлось, и хоть шуметь и качать права он, как человек робкий, не смел, но всякому арестанту и Шухову давно понятно, что, честно вешая, в хлеборезке не удержишься. Недодача есть в каждой пайке — только какая, велика ли? Вот каждый день и смотришь, душу успокоить — может, сегодня обманули меня не круто? Может, в моей-то граммы почти все?

— Грамм двадцать не дотягивает, — решил Шухов и преломил пайку надвое. Одну половину за пазуху сунул, под телогрейку, а там у него карманчик белый специально пришит (на фабрике телогрейки для эков шьют без карманов). Другую половину, сэкономленную за завтраком, думал и съест тут же, да наспех еда не еда, пройдет даром, без сытости. Потянулся сунуть полпайки в тумбочку, но опять раздумал: вспомнил, что дневальные уже два раза за воровство биты. Барак большой, как двор проезжий.

И потому, не выпуская хлеба из рук, Иван Денисович вытянул ноги из валенок, ловко оставив там и портянки и ложку, взлез босой наверх, расширил дырочку в матрасе и туда, в опилки, спрятал свои полпайки. Шапку с головы содрал, вытащил из нее иголочку с ниточкой (тоже запрятана глубоко, на шмоне шапки тоже шупают; снова надзиратель об иголку накололся, так чуть Шухову голову со злости не разбил). Стежь, стежь, сгежь — вот и дырочку за пайкой спрятанной прихватил. Тем временем сахар во рту дотаял. Все в Шухове было напряжено до крайности — вот сейчас нарядчик в дверях заорет. Пальцы Шухова славно шевелились, а голова, забегая вперед, располагала, что дальше.

Баптист читал евангелие не вовсе про себя, а как бы в дыхании (может, для Шухова нарочно, они ведь, эти баптисты, любят агитировать):

— «Только бы не пострадал кто из вас как убийца, или как вор, или злодей, или как посягающий на чужое. А если как христианин, то не стыдись, но прославляй бога за такую участь».

За что Алешка молодец: эту книжечку свою так засавывает ловко в щель в стене — ни на едином шмоне еще не нашли.

Теми же быстрыми движениями Шухов свесил на перекладину бушлат, повытаскивал из-под матраса рукавички, еще пару худых портянок,

веревочку и тряпочку с двумя рубезками. Опилки в матрасе чудок разровнял (тяжелые они, сбитые), одеяло вкруговую подоткнул, подушку кинул на место — босиком же слез вниз и стал обуваться, сперва в хорошие портянки, новые, потом в плохие, поверх.

И тут бригадир прогаркнулся, встал и объявил:

— Кон-чай ночевать, сто четвертая! Вы-ходи!

И сразу вся бригада, дремала ли, не дремала, встала, зазевала и пошла к выходу. Бригадир девятнадцать лет сидит, он на развод минутой раньше не выгонит. Сказал — «выходи!» — значит, край выходить.

И пока бригадники, тяжело ступая, без слова выходили один за другим сперва в коридор, потом в сени и на крыльцо, а бригадир 20-й, подражая Тюрину, тоже объявил: «Вы-ходи!» — Шухов доспел валенки обушь на две портянки, бушлат надеть сверх телогрейки и туго вспоясаться веревочкой (ремни кожаные были у кого, так отобрали — нельзя в Особлаге ремень).

Так Шухов все успел и в сенях нагнал последних своих бригадников — спины их с номерами выходили через дверь на крыльцо. Толстоватые, наворачившие на себя все, что только было из одежды, бригадники паискосок, гуськом, не домогаясь друг друга нагнать, тяжело шли к линейке и только поскрипывали.

Все еще темно было, хотя небо с восхода зеленело и светлело. И тонкий, злой потягивал с восхода ветерок.

Вот этой минуты горше нет — на развод идти утром. В темноте, в мороз, с брюхом голодным, на день целый. Язык отнимается. Говорить друг с другом не захочешь.

У линейки метался младший нарядчик.

— Ну, Тюрин, сколько ждать? Опять тянешься?

Младшего-то нарядчика разве Шухов боится, только не Тюрин. Он ему и дух по морозу зря не погонит, топает себе молча. И бригада за ним по снегу: топ-топ, скрип-скрип.

А килограмм сала, должно, отнес — потому что опять в свою колонну пришла 104-я, по соседним бригадам видать. На Соцгородок победней да поглупей кого погонят. Ой, лють там сегодня будет: двадцать семь с ветерком, ни укрыва, ни грева!

Бригадиру сала много надо: и в ППЧ нести и свое брюхо утолакивать. Бригадир хоть сам посылки не получает — без сала не сидит. Кто из бригады получит — сейчас ему дар несет.

А иначе не проживешь.

Старший нарядчик отмечает по дощечке:

— У тебя, Тюрин, сегодня один болен, на выходе двадцать три?

— Двадцать три, — бригадир кивает.

Кого ж нет? Пантелеева нет. Да разве он болен?

И сразу шу-шу-шу по бригаде: Пантелеев, сука, опять в зоне остался. Ничего он не болен, о пер его оставил. Опять будет стучать на кого-то.

Днем его вызовут без помех, хоть три часа держи, никто не видел, не слышал.

А проводят по санчасти...

Вся линейка чернела от бушлатов — и вдоль ее медленно переталкивались бригады вперед, к шмону. Вспомнил Шухов, что хотел обновить номерок на телогрейке, протискался через линейку на тот бок. Там к художнику два-три эка в очереди стояли. И Шухов стал. Номер нашему брату — один вред, по нему издали надзиратель тебя заметит, и конвой запишет, а не обновишь номера впору — тебе же и кондей: зачем за номером не заботишься?

Художников в лагере трое, пишут для начальства картины бесплатные, а еще в черед ходят на развод номера писать. Сегодня старик с

бородкой седенькой. Когда на шапке номер пишет кисточкой — ну, точно как поп миром лбы мажет.

Помалюет, помалюет и в перчатку дышит. Перчатка вязаная, тонкая, рука окостеневаает, чисел не выводит.

Художник обновил Шухову «Щ-854» на телогрейке, и Шухов, уже не запахивая бушлата, потому что до шмона оставалось недалеко, с веревочкой в руке догнал бригаду. И сразу разглядел: однобригадник его Цезарь курил, и курил не трубку, а сигарету — значит, подстрельнуть можно. Но Шухов не стал прямо просить, а остановился совсем рядом с Цезарем и вполоборота глядел мимо него.

Он глядел мимо и как будто равнодушно, но видел, как после каждой затяжки (Цезарь затягивался редко, в задумчивости) ободок красного пепла передвигался по сигарете, убавляя ее и подбираясь к мундштуку.

Тут же и Фетюков, шакал, подсосался, стал прямо против Цезаря и в рот ему засматривает, и глаза горят.

У Шухова ни табачинки не осталось, и не предвидел он сегодня прежде вечера раздобыть — он весь напрягся в ожидании, и желанней ему сейчас был этот хвостик сигареты, чем, кажется, воля сама, — но он бы себя не уронил и так, как Фетюков, в рот бы не смотрел.

В Цезаре всех наций намешано: не то он грек, не то еврей, не то цыган — не поймешь. Молодой еще. Картины снимал для кино. Но и первой не доснял, как его посадили. У него усы черные, слитые, густые. Потому не сбрили здесь, что на деле так снят, на карточке.

— Цезарь Маркович! — не выдержав, прослунявил Фетюков. — Давайте разок потянуть!

И лицо его передергивалось от жадности и желания.

...Цезарь приоткрыл веки, полуспущенные над черными глазами, и посмотрел на Фетюкова. Из-за того он и стал курить чаще трубку, чтоб не перебивали его, когда он курит, не просили дотянуть. Не табака ему было жалко, а прерванной мысли. Он курил, чтобы возбудить в себе сильную мысль и дать ей найти что-то. Но едва он поджигал сигарету, как сразу в нескольких глазах видел: «Оставь докурить!»

...Цезарь повернулся к Шухову и сказал:

— Возьми, Иван Денисыч!

И большим пальцем вывернул горящий недокурок из янтарного короткого мундштука.

Шухов встрепенулся (он и ждал так, что Цезарь сам ему предложит), одной рукой поспешно благодарно брал недокурок, а второю страховал снизу, чтоб не обронить. Он не обижался, что Цезарь брезговал дать ему докурить в мундштуке (у кого рот чистый, а у кого и гунявый), и пальцы его закаленные не обжигались, держась за самый огонь. Главное, он Фетюкова-шакала пересек и вот теперь тянул дым, пока губы стали гореть от огня. М-м-м-м! Дым разошелся по голодному телу, и в ногах отдалось и в голове.

И только эта благодать по телу разлилась, как услышал Иван Денисович гул:

— Рубахи нижние отбирают!..

Так и вся жизнь у эка, Шухов привык: только и высматривай, чтоб на горло тебе не кинулись.

Почему — рубахи? Рубахи ж сам начальник выдавал?! Не, не так...

Уж до шмона оставалось две бригады впереди, и вся 104-я разглядела: подошел от штабного барака начальник режима лейтенант Волковой и крикнул что-то надзирателям. И надзиратели, без Волкового шмонявшие кое-как, тут зарьялись, кинулись, как звери, а старшина их крикнул:

— Ра-асстегнуть рубахи!

Волкового не то что эски и не то что надзиратели — сам начальник лагеря, говорят, боится. Вот бог шельму метит, фамильицу дал! — иначе, как волк. Волковой не смотрит. Темный, да длинный, да насупленный — и носится быстро. Вынырнет из-за барака: «А тут что собрались?» Не ухоронишься. Поперву он еще плетку таскал, как рука до локтя, кожаную, крученную. В БУРе ею сек, говорят. Или на проверке вечерней столпятся эски у барака, а он подкрадется сзади да хлесь плетью по шее: «Почему в строй не стал, падло?» Как волной от него толпу шархнет. Обожженный за шею схватится, вытрет кровь, молчит: каб еще БУРа не дал.

Теперь что-то не стал плетку носить.

В мороз на простом шмоне не по вечерам, так хоть утром порядок был мягкий: заключенный расстегивал бушлат и отводил его полы в стороны. Так шли по пять, и пять надзирателей навстречу стояло. Они хлопывали эска по бокам запоясанной телогрейки, хлопали по единственному положенному карману на правом колене, сами бывали в перчатках, и если что-нибудь непонятное нащупывали, то не вытягивали сразу, а спрашивали, лентясь: «Это — что?»

Утром что искать у эска? Ножи? Так их не из лагеря носят, а в лагерь. Утром проверить надо, не несет ли с собой еды килограмма три, чтобы с нею сбежать. Было время, так так этого хлеба боялись, кусочка двухсотграммового на обед, что был приказ издан: каждой бригаде сделать себе деревянный чемодан и в том чемодане носить весь хлеб бригадный, все кусочки от бригадников собирать. В чем тут они располагали выгадать — нельзя додуматься, а скорей чтобы людей мучить, забота лишняя: пайку эту свою надкуси, да заметь, да клади в чемодан, а они, куски, все равно похожие, все из одного хлеба, и всю дорогу об том думай и мучайся, не подменят ли твой кусок, да друг с другом спорь, иногда и до драки. Только однажды сбежали из производственной зоны трое на автомашине и такой чемодан хлеба прихватили. Опомнились тогда начальнички и все чемоданы на вахте порубали. Носи, мол, опять всяк себе.

Еще проверить утром надо, не одет ли костюм гражданский ползковский? Так ведь вещи гражданские давно начисто у всех отменены и до конца срока не отдадут, сказали. А конца срока в этом лагере ни у кого еще не было.

И проверить — письма не несет ли, чтоб через вольного толкануть? Да только у каждого письмо искать — до обеда проканителиться.

Нс крикнул что-то Волковой искать — и надзиратели быстро перчатки снимали, телогрейки велют распустить (где каждый тепло барачное спрятал), рубахи расстегнуть — и лезут перещупывать, не поддето ли чего в обход устава. Положено эску две рубахи — нижняя да верхняя, остальное снять! — вот как передали эски из ряда в ряд приказ Волкового. Какие раньше бригады прошли — ихее счастье, уж и за воротами некоторые, а эти — открывайся! У кого поддето — скидай тут же на морозе!

Так и начали, да неурядка у них вышла: в воротах уже прочистилось, конвой с вахты орет: давай! давай! И Волковой на 104-й сменил гнев на милость: записывать, на ком что лишнее, вечером сами пусть в каптерку сдадут и объяснительную записку напишут: как и почему скрыли.

На Шухове-то все казенное, на, шупай — грудь да душа, а у Цезаря рубаху байковую записали, а у Буйновского, кесь, жилетик или напузник какой-то. Буйновский — в горло, на миноносцах своих привык, а в лагере трех месяцев нет:

— Вы права не имеете людей на морозе раздевать! Вы девятую статью уголовного кодекса не знаете!..

Имеют. Знают. Это ты, брат, еще не знаешь.

— Вы не советские люди! — долбаёт их капитан. — Вы не коммунисты!

Статью из кодекса еще терпел Волковой, а тут, как молния черная, передернулся:

— Десять суток строгого!

И потише старшине:

— К вечеру оформишь.

Они по утрам-то не любят в карцер брать: человеко-выход теряется. День пусть спину погнет, а вечером его в БУР.

Тут же и БУР по левую руку от линейки: каменный, в два крыла. Второе крыло этой осенью достроили — в одном поместаться не стали. На восемнадцать камер тюрьма, да одиночки из камер нагорожены. Весь лагерь деревянный, одна тюрьма каменная.

Холод под рубаху зашел, теперь не выгонишь. Что укутаны были эски — все зря. И так это нудно тянет спину Шухову. В койку больничную лечь бы сейчас — и спать. И ничего больше не хочется. Одеяло бы потяжельше.

Стоят эски перед воротами, застегиваются, завязываются, а снаружи конвой:

— Давай! Давай!

И нарядчик в спины пихает:

— Давай! Давай!

Одни ворота. Предзонник. Вторые ворота. И перила с двух сторон около вахты.

— Стой! — шумит вахтер. — Как баранов стадо. Разберись по пять! Уже рассмеркивалось. Догорал костер конвоя за вахтой. Они перед разводом всегда разжигают костер — чтобы греться и чтоб считать виднее.

Один вахтер громко, резко отсчитывал:

— Первая! Вторая! Третья!

И пятерки отделялись и шли цепочками отдельными, так что хоть сзади, хоть спереди смотри: пять голов, пять спи, десять ног.

А второй вахтер — контролер, у других перил молча стоит, только проверяет, счет правильный ли.

И еще лейтенант стоит, смотрит.

Это от лагеря.

Человек — дороже золота. Одной головы за проволокой не достанет — свою голову туда добавишь.

И опять бригада слилась вся вместе.

И теперь сержант конвоя считает:

— Первая! Вторая! Третья!

И пятерки опять отделяются и идут цепочками отдельными.

И помощник начальника караула с другой стороны проверяет.

И еще лейтенант.

Это от конвоя.

Никак нельзя ошибиться. За лишнюю голову распишешься — своей головой заменишь.

А конвоиров понатыкано! Полукругом обняли колонну ТЭЦ, автоматы вскинули, прямо в морду тебе держат. И собаководы с собаками серыми. Одна собака зубы оскалила, как смеется над эсками. Конвоиры все в полушубках, лишь шестеро в тулупах. Тулупы у них сменные: тот надевает, кому на вышку идти.

И еще раз, смешав бригады, конвой пересчитал всю колонну ТЭЦ по пятеркам.

— На восходе самый большой мороз бывает! — объявил кавторанг. — Потому что это последняя точка ночного охлаждения.

Капитан любит вообще объяснять. Месяц какой — молодой ли, старый, — рассчитает тебе на любой год, на любой день.

На глазах доходит капитан, щеки ввалились, — а бодрый.

Мороз тут за зоной при потягивающем ветерке крепко покусывал даже ко всему притерпевшееся лицо Шухова. Смекнув, что так и будет он по дороге на ТЭЦ дуть все время в морду, Шухов решил надеть тряпочку. Тряпочка на случай встречного ветра у него, как и у многих других, была с двумя рубезочками длинными. Признали зэки, что тряпочка такая помогает. Шухов обхватил лицо по самые глаза, по низу ушей рубезочки провел, на затылке завязал. Потом затылок отворотом шапки закрыл и поднял воротник бушлата. Еще передний отворот шапчонки спустил на лоб. И так у него спереди одни глаза остались. Бушлат по поясу он хорошо затянул бечевочкой. Все теперь ладно, только рукавицы худые и руки уже застылые. Он тер и хлопал ими, зная, что сейчас придется взять их за спину и так держать всю дорогу.

Начальник караула прочел ежедневную надоевшую арестантскую «молитву»:

— Внимание, заключенные! В ходу следования соблюдать строгий порядок колонны! Не растягиваться, не набегать, из пятерки в пятерку не переходить, не разговаривать, по сторонам не оглядываться, руки держать только назад! Шаг вправо, шаг влево — считается побег, конвой открывает огонь б е з предупреждения! Направляющий, шагом марш!

И, должно, пошли передних два конвоира по дороге. Колыхнулась колонна впереди, закачала плечами, и конвой, справа и слева от колонны шагах в двадцати, а друг за другом через десять шагов, — пошел, держа автоматы наготове.

Снегу не было уже с неделю, дорога проторена, убита. Обогнули лагерь — стал ветер наискось в лицо. Руки держа сзади, а головы опустив, пошла колонна, как на похороны. И видно тебе только ноги у передних двух-трех, да клочок земли утоптанной, куда своими ногами переступить. Он времени до времени какой конвоир крикнет: «Ю — сорок восемь! Руки назад!», «Бэ — пятьсот два! Подтянуться!» Потом и они реже кричать стали: ветер сечет, смотреть мешает. Им-то тряпочками завязываться не положено. Тоже служба неважная...

В колонне, когда потеплей, все разговаривают — кричи не кричи на них. А сегодня пригнулись все, каждый за спину переднего хоронится, и уши в свои думки.

Дума арестантская — и та несвободная, все к тому ж возвращается, все снова ворошит: не нащупают ли пайку в матрасе? в санчасти освободят ли вечером? посадят капитана или не посадят? и как Цезарь на руки раздобыл свое белье теплое? Наверно, подмазал в каптерке личных вещей, откуда ж?

Из-за того, что без пайки завтракал и что холодное все съел, чувствовал себя Шухов сегодня несатым. И чтобы брюхо не занывало, есть не просило, перестал он думать о лагере, стал думать, как письмо будет скоро домой писать.

Колонна прошла мимо деревообделочного, построенного зэками, мимо жилого квартала (собирали бараки тоже зэки, а живут вольные), мимо клуба нового (тоже зэки все, от фундамента до стенной росписи, а кино вольные смотрят), и вышла колонна в степь, прямо против ветра и против краснеющего восхода. Голый белый снег лежал до края, направо и налево, и деревца во всей степи не было ни одного.

Начался год новый, пятьдесят первый, и имел в нем Шухов право на два письма. Последнее отослал он в июле, а ответ на него получил в октябре. В Усть-Ижме, там иначе был порядок, пиши хоть каждый месяц. Да чего в письме напишешь? Не чаще Шухов и писал, чем ныне.

Из дому Шухов ушел двадцать третьего июня сорок первого года. В воскресенье народ из Поломни пришел от обедни и говорит: война. В Поломне узнала почта, а в Темгенёве ни у кого до войны радио не было. Сейчас-то, пишут, в каждой избе радио галдит, проводное.

Писать теперь — что в омут дремучий камешки кидать. Что упало, что кануло — тому отзыва нет. Не напишешь, в какой бригаде работаешь, какой бригадир у тебя Андрей Прокофьевич Тюрин. Сейчас с Кильгасом, латышом, больше об чем говорить, чем с домашними.

Да и они два раза в год напишут — жизни их не поймешь. Председатель колхоза-де новый — так он каждый год новый. Колхоз укрупнили — так его и раньше укрупняли, а потом мельчили опять. Ну, еще кто нормы трудодней не выполняет — огороды поджали до пятнадцати соток, а кому и под самый дом обрезали.

Чему Шухову никак не внять, это пишет жена, с войны с самой ни одна живая душа в колхоз не добавилась: парни все и девки все, кто как ухитрится, но уходят повально или в город на завод, или на торфоразработки. Мужиков с войны половина вовсе не вернулась, а какие вернулись — колхоза не признают: живут дома, работают на стороне. Мужиков в колхозе: бригадир Захар Васильич да плотник Тихон восьмидесяти четырех лет, женился недавно, и дети уже есть. Тянут же колхоз те бабы, какие еще с тридцатого года.

Вот этого-то Шухову и не понять никак: живут дома, а работают на стороне. Видел Шухов жизнь единоличную, видел колхозную, но чтобы мужики в своей же деревне не работали — этого он не может принять. Вроде отхожий промысел, что ли? А с сенокосом же как?

Отхожие промыслы, жена ответила, бросили давно. Ни по-плотнички не ходят, чем сторона их была славна, ни корзины лозовые не вяжут, никому это теперь не нужно. А промысел есть-таки один новый, веселый — это ковры красить. Привез кто-то с войны трафаретки, и с тех пор пошло, пошло, и все больше таких мастаков — к р а с и л ё й набирается: нигде не состоят, нигде не работают, месяц один помогают колхозу, как раз в сенокос да уборку, а за то на одиннадцать месяцев колхоз ему справку дает, что колхозник такой-то отпущен по своим делам и недоимок за ним нет. И ездят они по всей стране и даже в самолетах летают, потому что время свое берегут, а деньги гребут тысячами многими, и везде ковры малюют: пятьдесят рублей ковер на любой простыне старой, какую дадут, какую не жалко, — а рисовать тот ковер будто бы час один, не более. И очень жена надежду таит, что вернется Иван и тоже таким красилём станет. И они тогда подымутся из нищеты, в какой она бьется, детей в техникум отдадут, и вместо старой избы гнилой новую поставят. Все красилё себе дома новые ставят, близ железной дороги стали дома теперь не пять тысяч, как раньше, а двадцать пять.

Просил он тогда жену описать — как же он будет красилём, если отроду рисовать не умел? И что это за ковры такие дивные, что на них? Отвечала жена, что рисовать их только дурак не сможет: наложит трафаретку и мажь кистью сквозь дырочки. А ковры есть трех сортов: один ковер «Тройка» — в упряжи красивой тройка везет офицера гусарского, второй ковер — «Олень», а третий — под персидский. И никаких больше рисунков нет, но и за эти по всей стране люди спасибо говорят и из рук хватают. Потому что настоящий ковер не пятьдесят рублей, а тысячи стоит.

Хоть бы глазом одним посмотреть Шухову на те ковры...

По лагерям да по тюрьмам отвык Иван Денисович раскладывать, что завтра, что через год да чем семью кормить. Обо всем за него начальство думает — оно, будто, и легче. И сидеть ему еще зиму-лето да зиму-лето. А разбредили его эти ковры...

Заработок, видать, легкий, огневой. И от своих деревеньских отставать вроде обидно... Но, по душе, не хотел бы Иван Денисович за те ковры браться. Для них развязность нужна, нахальство, кому-то на лапу совать. Шухов же сорок лет землю топчет, уж зубов нет половины и на голове плешь, никому никогда не давал и не брал ни с кого и в лагере не научился.

Легкие деньги — они и не весят ничего, и чутья такого нет, что вот, мол, ты заработал. Правильно старики говорили: за что не доплатишь, того не доносишь. Руки у Шухова еще добрые, смогают, неуж он себе на воле ни печной работы не найдет, ни столярной, ни жестяной?

Вот только из-за лишения прав не примут никуда, да домой не пустят — ну, тогда в пору хоть и за ковры.

Колонна тем временем дошла и остановилась перед вахтой широко раскинутой зоны объекта. Еще раньше, с угла зоны, два конвоира в тулупах отделились и побрели по полю к своим дальним вышкам. Пока всех вышек конвой не займет, внутрь не пустят. Начкар с автоматом за плечом пошел на вахту. А из вахты, из трубы, дым, не переставая, клубится: вольный вахтер всю ночь там сидит, чтоб доски не вывезли или цемент.

Напересёк через ворота проволочные, и через всю строительную зону, и через дальнюю проволоку, что по тот бок, — солнце встает большое, красное, как бы во мгле. Рядом с Шуховым Алешка смотрит на солнце и радуется, улыбка на губы сошла. Щеки вваленные, на пайке сидит, нигде не подрабатывает — чему рад? По воскресеньям все с другими баптистами шепчется. С них лагеря, как с гуся вода.

Намордник дорожный, тряпочка, за дорогу вся отмокла от дыхания и кой-где морозом прихватилась, коркой стала ледяной. Шухов ее ссунул с лица на шею и стал к ветру спиной. Нигде его особо не продрало, а только руки озябли в худых рукавичках, да онемели пальцы на левой ноге: валенок-то левый горетый, второй раз подшитый.

Поясницу и спину всю до плечей тянет, ломает — как работать?

Оглянулся — и на бригадира лицом попал, тот в задней пятерке шел. Бригадир в плечах здоров, да и образ у него широкий. Хмур стоит. Смефуёчками он бригаду свою не жалуется, а кормит — ничего, о большой пайке заботлив. Сидит он второй срок, сын ГУЛАГа, лагерный обычай знает напрожег.

Бригадир в лагере — это все: хороший бригадир тебе жизнь вторую даст, плохой бригадир в деревянный бушлат загонит. Андрея Прокофьевича знал Шухов еще по Усть-Ижме, только там у него в бригаде не был. А когда с Усть-Ижмы, из общего лагеря, перегнали пятьдесят восьмую статью сюда, в каторжный, — тут его Тюрин подобрал. С начальником лагеря, с ППЧ, с прорабами, с инженерами Шухов дела не имеет: везде его бригадир застоит, грудь стальная у бригадира. Зато шевельнет бровью или пальцем покажет — беги, делай. Кого хошь в лагере обманывай, только Андрей Прокофьевича не обманывай. И будешь жив.

И хочется Шухову спросить бригадира, там же ли работать, где вчера, на другое ли место переходить — а боязно перебивать его высокую думу. Только что Соцгородок с плеч спихнул, теперь, бывает, процентовку обдумывает, от нее пять следующих дней питания зависят.

Лицо у бригадира в рябинах крупных, от оспы. Стоит против ветра — не поморщится, кожа на лице — как кора дубовая.

Хлопают руками, перетаптываются в колонне. Злой ветерок! Уж, кажется, на всех шести вышках подки сидят — опять в зону не пускают. Бдительность травят.

Ну! Вышли начкар с контролером из вахты, по обои стороны ворот стали, и ворота развели.

— Р-раз-берись по пятеркам! Пер-рвая! Втор-ра-я!

Зашагали арестанты как на парад, шагом чуть не строевым. Только б в зону прорваться, там не учи, что делать.

За вахтой вскоре — будка конторы, около конторы стоит прораб, бригадиров заворачивает, да они и сами к нему. И Дэр туда, десятник из эзков, сволочь хорошая, своего брата-зэка хуже собак гоняет.

Восемь часов, пять минут девятого (только что энергопоезд прогудел), начальство боится, как бы зэки время не потеряли, по обогревалкам бы не рассыпались — а у эзков день большой, на все время хватит. Кто в зону зайдет, наклоняется: там шепочка, здесь шепочка, нашей печке огонь. И в норы заюркивают.

Тюрин велел Павлу, помощнику, идти с ним в контору. Туда же Цезарь свернул. Цезарь богатый, два раза в месяц посылки, всем сунул, кому надо, — и при дурком работает в конторе, помощником нор-мировщика.

А остальная 104-я сразу в сторону, и деру, деру.

Солнце взошло красное, мглистое над зоной пустой: где щиты сборных домов снегом занесены, где кладка каменная начатая, да у фундамента и брошенная, там экскаватора рукоять переломленная лежит, там ковш, там хлам железный, канав понарыто, траншей, ям наворочено, авторемонтные мастерские под перекрытие выведены, а на бугре — ТЭЦ в начале второго этажа.

И — попрытались все. Только шесть часовых стоят на вышках, да около конторы суета. Вот этот-то наш миг и есть! Старший прораб сколько, говорят, грозился разрядку всем бригадам давать с вечера — а никак не наладят. Потому что с вечера до утра у них все наоборот поворачивается.

А миг — наш! Пока начальство разберется — приткнись, где потеплей, сядь, сиди, еще наломаешь спину. Хорошо, если около печки — портянки переобернуть да согреть их малость. Тогда во весь день ноги будут теплые. А и без печки — все одно хорошо.

Сто четвертая бригада вошла в большой зал в авторемонтных, где остеклено с осени и 38-я бригада бетонные плиты льет. Одни плиты в формах лежат, другие стоймя наставлены, там арматура сетками. Доверху высоко и пол земляной, тепло тут не будет тепло, а все ж этот зал обтапливают, угля не жалеют: не для того, чтоб людям греться, а чтобы плиты лучше схватывались. Даже градусник висит, и в воскресенье, если лагерь почему на работу не выйдет, вольный тоже топит.

Тридцать восьмая, конечно, чужих никого к печи не допускает, сама обседа, портянки сушит. Ладно, мы и тут, в уголку, ничего.

Задом ватных брюк, везде уже пересидевших, Шухов пристроился на край деревянной формы, а спиной в стенку уперся. И когда он отклонился — натянулись его бушлаг и телогрейка, и левой стороной груди, у сердца, он ощутил, как подавливает твердое что-то. Это твердое было — из внутреннего карманчика угол хлебной краюшки, той половины утренней пайки, которую он взял себе на обед. Всегда он столько с собой и брал на работу и не посягал до обеда. Но он другую половину съедал за завтраком, а нонче не съел. И понял Шухов, что ничего он не сэкономил: засосало его сейчас ту пайку съесть в тепле. До обеда — пять часов, протяжно.

А что в спине поламывало — теперь в ноги перешло, ноги такие слабые стали. Эх, к печечке бы!..

Шухов положил на колени рукавицы, расстегнулся, намордник свой дорожный, оледеневший развязал с шеи, сломил несколько раз и в карман спрятал. Тогда достал хлебушек в белой тряпочке и, держа тряпочку в запазушке, чтобы ни крошка мимо той тряпочки не упала, стал помалу-помалу откусывать и жевать. Хлеб он пронес под двумя одежками, грел его собственным теплом — и оттого он не мерзлый был ничуть.

В лагерях Шухов не раз вспоминал, как в деревне раньше ели: картошку — целыми сковородами, кашу — чугунками, а еще раньше мясо — ломтями здоровыми. Да молоко дули — пусть брюхо лопнет. А не надо было так, понял Шухов в лагерях. Есть надо — чтоб думка была на одной еде, вот как сейчас эти кусочки малые откусываешь, и языком их мнешь, и щеками подсасываешь — и такой тебе духовитый этот хлеб черный сырой. Что Шухов ест восемь лет, девятый? Ничего. А ворочает? Хо-го!

Так Шухов занят был своими двумястами граммами, а близ него в той же стороне сидела и вся 104-я.

Два эстонца, как два брата родных, сидели на низкой бетонной плите и вместе, по очереди, курили половинку сигареты из одного мундштука. Эстонцы эти были оба белые, оба длинные, оба худощавые, оба с длинными носами, с большими глазами. Они так друг за друга держались, как будто одному без другого воздуха синего не хватало. Бригадир никогда их и не разлучал. И ели они все пополам, и спали на вагонке сверху на одной. И когда стояли в колонне, или на разводе ждали, или на ночь ложились — все промеж себя толковали, всегда негромко и неторопливо. А были они вовсе не братья и познакомились уж тут, в 104-й. Один, объясняли, был рыбак с побережья, другого же, когда Советы устались, ребенком малым родители в Швецию увезли. А он вырос и самодумкой назад — в Эстонии институт кончать.

Вот, говорят, нация ничего не означает, в каждой, мол, нации худые люди есть. А эстонцев сколь Шухов ни видал — плохих людей ему не попадалось.

И все сидели — кто на плитах, кто на опалубке для плит, кто на земле прямо. Говорить-то с утра язык не ворочается, каждый уставился в свои мысли, молчит. Фетюков-шакал насобирал где-то окурков (он их и из плевательницы вывернет, не погребует), теперь на коленях их разворачивал и неперегоревший табачок ссыпал в одну бумажку. У Фетюкова на воле детей трое, но как сел — от него все отказались, а жена замуж вышла: так помощи ему ниоткуда.

Буйновский косился-косился на Фетюкова, да и гавкнул:

— Ну, что заразу всякую собираешь? Губы тебе сифилисом обмечет! Брось!

Кавторанг — капитан, значит, второго рангу, — он командовать привык, он со всеми людьми так разговаривает, как командует.

Но Фетюков от Буйновского ни в чем не зависит — кавторангу посылки тоже не идут. И, недобро усмехнувшись ртом полупустым, сказал:

— Подожди, кавторанг, восемь лет посидишь — еще и ты собирать будешь. Гордей тебя люди в лагерь приходили...

Фетюков по себе судит, а кавторанг-то, может, и устоит...

— Чего-чего? — не дослышал глуховатый Сенька Клевшин. Он думал — про то разговор идет, как Буйновский сегодня на разводе погорел. — Залупаться не надо было! — сокрушенно покачал он головой. — Обошлось бы все.

Сенька Клевшин — он тихий, бедолага. Ухо у него лопнуло одно, еще в сорок первом. Потом в плен попал, бежал, излавливали, сунули в Бу-

хенвальд. В Бухенвальде чудом смерть обминул, теперь отбывает срок тихо. Будешь залупаться, говорит, пропадешь.

Это верно, кряхти да гнишь. А упреешься — переломишься.

Алексей лицо в ладони окунул, молчит. Молитвы читает.

Доел Шухов пайку свою до самых рук, однако голой корочки кусок — полукруглой верхней корочки — оставил. Потому что никакой ложкой так дочиста каши не выешь из миски, как хлебом. Корочку эту он обратно в тряпицу белую завернул на обед, тряпицу сунул в карман внутренний под телогрейкой, застегнулся для мороза и стал готов, пусть теперь на работу шлют. А лучше б и еще помедлили.

Тридцать восьмая бригада встала, разошлась: кто к растворомешалке, кто за водой, кто к арматуре.

Но ни Тюрин не шел к своей бригаде, ни помощник его Павло. И хоть сидела 104-я вряд ли минут двадцать, а день рабочий — зимний, укороченный — был у них до шести, уж всем казалось большое счастье, уж будто и до вечера теперь недалеко.

— Эх, буранов давно нет! — вздохнул краснолицый упитанный латыш Кильгас. — За всю зиму — ни бурана! Что за зима?!

— Да... буранов... буранов... — перевздохнула бригада.

Когда задует в местности здешней буран, так не то что на работу не ведут, а из барака вывести боятся: от барака до столовой если веревку не протянешь, то и заблудишься. Замерзнет арестант в снегу — так пес его ешь. А ну-ка убежит? Случаи были. Снег при буране мелочкий-мелочкий, а в сугроб ложится, как прессует его кто. По такому сугробу, через проволоку переметанному, и уходили. Недалеко, правда.

От бурана, если рассудить, пользы никакой: сидят эки под замком; уголь не вовремя, тепло из барака выдует; муки в лагерь не подвезут — хлеба нет; там, смотришь, и на кухне не справились. И сколько бы буран тот ни дул — три ли дня, неделю ли, — эти дни засчитывают за выходные и столько воскресений подряд на работу выгонят.

А все равно любят эки буран и молят его. Чуть ветер покрепче завернет — все на небо запрокидываются: матерьяльчику бы! матерьяльчику!

Снежку, значит.

Потому что от поземки никогда бурана стоящего не разыграется.

Уж кто-то полез греться к печи 38-й бригады, его оттуда шуранули.

Тут в зал вошел и Тюрин. Мрачен был он. Поняли бригадники: что-то делать надо, и быстро.

— Та-ак, — оглядейся Тюрин. — Все здесь, сто четвертая?

И не проверяя и не пересчитывая, потому что никто у Тюрина никуда уйти не мог, он быстро стал разнаряжать. Эстонцев двоих да Клевшина с Гопчиком послал большой растворный ящик неподалеку взять и нести на ТЭЦ. Уж из того стало ясно, что переходит бригада на недостроенную и поздней осенью брошенную ТЭЦ. Еще двоих послал он в инструменталку, где Павло получал инструмент. Четверых нарядил снег чистить около ТЭЦ, и у входа там в машинный зал, и в самом машинном зале, и на трапах. Еще двоим велел в зале том печь топить — углем и досок спереть, поколоть. И одному цемент на санках туда везти. И двоим воду носить, а двоим песок, и еще одному из-под снега песок тот очищать и ломом разбивать.

И после всего того остались ненаряженными Шухов да Кильгас — первые в бригаде мастера. И, отозвав их, бригадир им сказал:

— Вот что, ребята! (А был не старше их, но привычка такая у него была — «ребята».) С обеда будете шлакоблоками на втором этаже стены класть, там, где осенью шестая бригада покинула. А сейчас надо утеплить машинный зал. Там три окна больших, их в первую очередь чем-нибудь забить. Я вам еще людей на помощь дам, только думайте, чем забить.

Машинный зал будет нам и растворная и обогревалка. Не нагреем — померзнем, как собаки, поняли?

И может быть, еще б чего сказал, да прибежал за ним Гопчик, хлопец лет шестнадцати, розовенький, как поросенок, с жалобой, что растворного ящика им другая бригада не дает, дерутся. И Тюрин умахнул туда.

Как ни тяжело было начинать рабочий день в такой мороз, но только начало это, и важно было переступить, только его.

Шухов и Кильгас посмотрели друг на друга. Они не раз уж работали вдвоем и уважали друг в друге и плотника и каменщика. Издобыть на снегу на голом, чем окна те зашить, не было легко. Но Кильгас сказал:

— Ваня! Там, где дома сборные, знаю я такое местечко — лежит здоровый рулон толя. Я ж его сам и прикрыл. Махнем?

Кильгас хотя и латыш, но русский знает, как родной, — у них рядом деревня была старообрядческая, сыздетства и научился. А в лагерях Кильгас только два года, но уже все понимает: не выкусишь — не выразишь. Зовут Кильгаса Иоганн, Шухов тоже зовет его Ваня.

Решили идти за толем. Только Шухов прежде сбегал тут же в строящемся корпусе авторемонтных взять свой мастерок. Мастерок — большое дело для каменщика, если он по руке и легок. Однако на каждом объекте такой порядок: весь инструмент утром получили, вечером сдали. И какой завтра инструмент захватишь — это от удачи. Но Шухов однажды обсчитал инструментальщика и лучший мастерок зажилил. И теперь каждый вечер он его перепрятывает, а утро каждое, если кладка будет, берет. Конечно, погнажи б сегодня 104-ю на Соцгородок — и опять Шухов без мастерка. А сейчас камешек отвалил, в шелку пальцы засунул — вот он, вытянул.

Шухов и Кильгас вышли из авторемонтных и пошли в сторону сборных домов. Густой пар шел от их дыхания. Солнце уже поднялось, но было без лучей, как в тумане, а по бокам солнца вставали, кесь, столбы.

— Не столбы ли? — кивнул Шухов Кильгасу.

— А нам столбы не мешают, — отмахнулся Кильгас и засмеялся. — Лишь бы от столба до столба колючку не натянули, ты вот что смотри.

Кильгас без шутки слова не знает. За то его вся бригада любит. А уж латыши со всего лагеря его почитают как! Ну, правда, питается Кильгас нормально, две посылки каждый месяц, румяный, как и не в лагере он вовсе. Будешь шутить.

Ихнего объекта зона здоровá — пока-а пройдеши через всю. Попались по дороге из 82-й бригады ребятишки — опять их ямки долбать заставили. Ямки нужны невелики: пятьдесят на пятьдесят и глубины пятьдесят, да земля та и летом, как камень, а сейчас морозом схваченная, пойдя ее угрызи. Долбают ее киркой — скользит кирка, и только искры сыплются, а земля — ни крошки. Стоят ребятки каждый над своей ямкой, оглянутся — греться им негде, отойти не велят, — давай опять за кирку. От нее все тепло.

Увидел среди них Шухов знакомого одного, вятича, и посоветовал:

— Вы бы, слышь, землерубы, над каждой ямкой теплянку развели. Она б и оттаяла, земля-та.

— Не велят, — вздохнул вятич. — Дров не дают.

— Найти надо.

А Кильгас только плюнул.

— Ну, скажи, Ваня, если б начальство умное было — разве поставило бы людей в такой мороз кирками землю долбать?

Еще Кильгас выругался несколько раз неразборчиво и смолк, на морозе не разговорись. Шли они дальше и дальше и подошли к тому месту, где под снегом были погребены щиты сборных домов.

С Кильгасом Шухов любит работать, у него одно только плохо — не курит, и табаку в его посылках не бывает.

И правда, приметчив Кильгас: приподняли вдвоем доску, другую — а под них толя рулон закатан.

Вынули. Теперь — как нести? С вышки заметят — это ничто: у попок только та забота, чтоб ээки не разбежались, а внутри рабочей зоны хоть все шиты на шепки поруби. И надзиратель лагерный если навстречу попадется — тоже ничто: он сам приглядывается, что б ему в хозяйство пошло. И работягам всем на эти сборные дома наплевать. И бригадирам тоже. Печется об них только прораб вольный, да десятник из ээков, да Шкуропатенко долговязый. Никто он, Шкуропатенко, просто ээк. Выписывают ему наряд-повременку за то одно, что он сборные дома от ээков караулит, не дает растаскивать. Вот этот-то Шкуропатенко их скорей всего на открытом прозоре и подловит.

— Вот что, Ваня, плашмя нести нельзя, — придумал Шухов, — давай его стоймя в обнимку возьмем и пойдем так легонько, собой прикрывая. Издаля не разберет.

Ладно придумал Шухов. Взять рулон неудобно, так не взяли, а стиснули между собой как человека третьего — и пошли. И со стороны только и увидишь, что два человека идут плотно.

— А потом на окнах прораб увидит этот толь, все одно догадается, — высказал Шухов.

— А мы при чем? — удивился Кильгас. — Пришли на ТЭЦ, а уж там, мол, было так. Неужто срывать?

И то верно.

Ну, пальцы в худых рукавицах окостенели, прямо совсем не слышно. А валенок левый держит. Валенки — это главное. Руки в работе разойдутся.

Прошли целиною снежной — вышли на санный полоз от инструменталки к ТЭЦ. Должно быть, цемент вперед провезли.

ТЭЦ стоит на бугре, а за ней зона кончается. Давно уж на ТЭЦ никто не бывал, все подступы к ней снегом ровным опеленаты. Тем ясней полоз санный и тропка свежая, глубокие следы — наши прошли. И чистят уже лопатами деревянными около ТЭЦ и дорогу для машины.

Хорошо бы подъемничек на ТЭЦ работал. Да там мотор перегорел, и с тех пор, кажись, не чинили. Это опять, значит, на второй этаж все на себе. Раствор. И шлакоблоки.

Стояла ТЭЦ два месяца, как скелет серый, в снегу, покинутая. А вот пришла 104-я. И в чем ее души держатся? — брюхи пустые поясами брезентовыми затянуты; морозьяка трещит; ни обогревалки, ни огня искорки. А все ж пришла 104-я — и опять жизнь начинается.

У самого входа в машинный зал развалился ящик растворный. Он дряхлый был, ящик, Шухов и не чаял, что его донесут целым. Бригадир поматюгался для порядка, но видит — никто не виноват. А тут катят Кильгас с Шуховым, толь меж собой несут. Обрадовался бригадир и сейчас перестановку затеял: Шухову — трубу к печке ладить, чтоб скорей растопить, Кильгасу — ящик чинить, а эстонцы ему два на помощь, а Сеньке Клевшину — на топор, и планок долгих наколоть, чтоб на них толь набивать: толь-то уже окна в два раза. Откуда планок брать? Чтобы обогревалку сделать, на это прораб досок не выпишет. Оглянулся бригадир, и все оглянулись, один выход: отбить пару досок, что как перила к трапам на второй этаж пристроены. Ходить — не зевать, так не свалишься. А что ж делать?

Кажется, чего бы ээку десять лет в лагере горбить? Не хочу, мол, да и только. Волочи день до вечера, а ночь наша.

Да не выйдет. На то придумана — бригада. Да не такая бригада, как

на воле, где Иван Ивановичу отдельно зарплата и Петру Петровичу отдельно зарплата. В лагере бригада — это такое устройство, чтоб не начальство эсков понукало, а эски друг друга. Тут так: или всем дополнительное, или все подышайте. Ты не работаешь, гад, а я из-за тебя голодным сидеть буду? Нет, вкалывай, падло!

А еще подождет такой момент, как сейчас, тем боле не рассидишься. Волен не волен, а скачи да прыгай, поворачивайся. Если через два часа обогривалки себе не сделаем — пропадем тут все на хрен.

Инструмент Павло принес уже, только разбирай. И труб несколько. По жестяному делу инструмента, правда, нет, но есть молоточек слесарный да топорик. Как-нибудь.

Похлопает Шухов рукавицами друг об друга, и составляет трубы, и оббивает в стыках. Опять похлопает и опять оббивает (а мастерок тут же и спрятал недалеко. Хоть в бригаде люди свои, а подменить могут. Тот же и Кильгас).

И — как вымело все мысли из головы. Ни о чем Шухов сейчас не вспоминал и не заботился, а только думал — как ему колена трубные составить и вывести, чтоб не дымило. Гопчика послал проволоку искать — подвесить трубу у окна на выходе.

А в углу еще приземистая печь есть с кирпичным выводом. У ней плита железная поверху, она калится, и на ней песок отмерзает и сохнет. Так ту печь уже растопили, и на нее кавторанг с Фетюковым носилками песок носят. Чтоб носилки носить — ума не надо. Вот и ставит бригадир на ту работу бывших начальников. Фетюков, кесь, в какой-то костере большим начальником был. На машине ездил.

Фетюков по первым дням на кавторанга даже хвост поднял, покривал. Но кавторанг ему двинул в зубы раз, на том и поладили.

Уж к печи с песком сунулись ребята греться, но бригадир предупредил: — Эх, сейчас кого-то в лоб огрею! Оборудуйте сперва!

Битой собаке только плеть покажи. И мороз лют, но бригадир лютей. Разошлись ребята опять по работам.

А бригадир, слышит Шухов, тихо Павлу:

— Ты оставайся тут, держи крепко. Мне сейчас процентовку закрывать идти.

От процентовки больше зависит, чем от самой работы. Который бригадир умный — тот на процентовку налегает. С ей кормимся. Чего не сделано — докажи, что сделано; за что дешево платят — оберни так, чтоб дороже. На это большой ум у бригадира нужен. И блат с нормировщиками. Нормировщикам тоже нести надо.

А разобраться — для кого эти все проценты? Для лагеря. Лагерь через то со строительства тысячи лишние выгребают, да своим лейтенантам премии выписывают. Тому ж Волковому за его плетку. А тебе — хлеба двести грамм лишних в вечер. Двести грамм жизнью правят.

Принесли воды два ведра, а она по дороге льдом схватилась. Рассудил Павло — нечего ее и носить. Скорее тут из снега натопим. Поставили ведра на печку.

Припер Гопчик проволоки алюминиевой новой — той, что провода электрики тянут. Докладывает:

— Иван Денисыч! На ложки хорошая проволока. Меня научите ложку отлить?

Этого Гопчика, плута, любит Иван Денисыч (собственный его сын помер маленьким, дома дочка две взрослых). Посадили Гопчика за то, что бендеровцам в лес молоко носил. Срок дали как взрослому. Он — теленок ласковый, ко всем мужикам ластится. А уж и хитрость у него: посылки свои в одиночку ест, иногда по ночам жует.

Да ведь всех и не накормишь.

Отломили проволоки на ложки, спрятали в углу. Состроил Шухов две доски, вроде стремянки, послал по ней Гопчика подвесить трубу. Гопчик, как белка, легкий — по перекладинам взобрался, прибил гвоздь, проволоку накинул и под трубу подпустил. Не поленился Шухов, самый-то выпуск трубы еще с одним коленом вверх сделал. Сегодня нет ветру, а завтра будет — так чтоб дыму не задувало. Надо понимать, печка эта — для себя.

А Сенька Клевшин уже планок долгих наколол. Гопчика-хлопчика и прибывать заставили. Лазит, чертеныш, кричит сверху.

Солнце выше подтянулось, мглицу разогнало, и столбов не стало — и алым заиграло внутри. Тут и печку затопили дровами ворованными. Куда радостней!

— В январе солнышко коровке бок согрело! — объявил Шухов.

Кильгас ящик растворный сбивать кончил, еще топориком пристукнул, закричал:

— Слышь, Павло, за эту работу с бригадира сто рублей, меньше не возьму!

Смеется Павло:

— Сто грамм получишь.

— Прокурор добавит! — кричит Гопчик сверху.

— Не трогьте, не трогьте! — Шухов закричал. (Не так толь резать стали.)

Показал — как.

К печке жестяной народу налезло, разогнал их Павло. Кильгасу помощь дал и велел растворные корытца делать — наверх раствор носить. На подноску песка еще пару людей добавил. Наверх послал — чистить от снега подмости и саму кладку. И еще внутри одного — песок разогретый с плиты в ящик растворный кидать.

А снаружи мотор зафырчал — шлакоблоки возить стали, машина пробивается. Выбежал Павло руками махать — показывать, куда шлакоблоки скидывать.

Одну полосу толя нашили, вторую. От толя — какое укрывище? Бумага — она бумага и есть. А все ж вроде стенка сплошная стала. И — темней внутри. Оттого печь ярче.

Алешка угля принес. Одни кричат ему: сыпь! Другие: не сыпь! Хоть при дровах погреемся! Стал, не знает, кого слушать.

Фетюков к печке пристроился и сует же, дурак, валенки к самому огню. Кавторанг его за шиворот поднял и к носилкам пихает:

— Иди песок носить, падло!

Кавторанг — он и на лагерную работу как на морскую службу смотрит: сказано делать — значит, делай! Осунулся крепко кавторанг за последний месяц, а упряжку тянет.

Долго ли, коротко ли — вот все три окна толем зашили. Только от дверей теперь и свету. И холоду от них же. Велел Павло верхнюю часть дверей забить, а нижнюю покинуть — так, чтоб голову нагнувши, человек войти мог. Забили.

Тем временем шлакоблоков три самосвала привезли и сбросили. Задача теперь — поднимать их как без подъемника?

— Каменщики! Ходимте, подывымось! — пригласил Павло.

Это — дело почетное. Поднялись Шухов и Кильгас с Павлом наверх. Трап и без того узок был, да еще теперь Сенька перила сбил — жмись к стене, каб вниз не опрокинуться. Еще то плохо — к перекладинам трапа снег примерз, округлил их, ноге упору нет — как раствор носить будут?

Поглядели, где стены класть, уж с них лопатами снег снимают. Вот тут. Надо будет со старой кладки топориком лед сколоть да веничком промести.

Прикинули, откуда шлакоблоки подавать. Вниз заглянули. Так и решили: чем по трапу таскать, четверых снизу поставить кидать шлакоблоки вон на те подмости, а тут еще двоих, перекидывать, а по второму этажу еще двоих, подносить,— и все ж быстрее будет.

Наверху ветерок не сильный, но тянет. Продует, как класть будем. А за начатую кладку зайдешь, укроешься — ничего, теплей намного.

Шухов поднял голову на небо и ахнул: небо чистое, а солнышко почти к обеду поднялось. Диво дивное: вот время за работой идет! Сколь раз Шухов замечал: дни в лагере катятся — не оглянешься. А срок сам — ничуть не идет, не убавляется его вовсе.

Спустились вниз, а там уж все к печке уселись, только кавторанг с Фетюковым песок носят. Разгневался Павло, восемь человек сразу выгнал на шлакоблоки, двум велел цементу в ящик насыпать и с песком насухую размешивать, того — за водой, того — за углем. А Кильгас — своей команде:

— Ну, мальцы, надо носилки кончать.

— Бывает, и я им помогу? — Шухов сам у Павла работу просит.

— Поможить.— Павло кивает.

Тут бак принесли, снег растапливать для раствора. Слышали от кого-то, будто двенадцать часов уже.

— Не иначе как двенадцать,— объявил и Шухов.— Солнышко на перевале уже.

— Если на перевале,— отозвался кавторанг,— так значит не двенадцать, а час.

— Это почему ж? — поразился Шухов.— Всем дедам известно: всего выше солнце в обед стоит.

— То — дедам! — отрубил кавторанг.— А с тех пор декрет был, и солнце выше всего в час стоит.

— Чей же эт декрет?

— Советской власти!

Вышел кавторанг с носилками, да Шухов бы и спорить не стал. Неуж и солнце ихим декретам подчиняется?

Побили еще, постучали, четыре корытца сколотили.

— Ладно, посыдымо, погриемось,— двоим каменщикам сказал Павло.— И вы, Сенька, пнсля обида тоже будэтэ ложить. Сидайтэ!

И — сели к печке законно. Все равно до обеда уж кладки не начинать, а раствор разводить некстати, замерзнет.

Уголь накалился помалу, теперь устойчивый жар дает. Тьлько около печи его и чуешь, а по всему залу — холод, как был.

Рукавички сняли, руками близ печки водят все четверо.

А ноги близко к огню никогда в обуви не ставь, это понимать надо. Если ботинки, так в них кожа растрескается, а если валенки — отсыреют, парок пойдет, ничуть тебе теплей не станет. А еще ближе к огню сунешь — сожжешь. Так с дырой до весны и протопашь, других не жди.

— Да Шухову что? — Кильгас подначивает.— Шухов, братцы, одной ногой почти дома.

— Вон той, босой,— подкинул кто-то. Рассмеялись. (Шухов левый горетый валенок снял и портянку согревает.)

— Шухов срок кончает.

Самому-то Кильгасу двадцать пять дали. Это полоса была раньше такая счастливая: всем под гребенку десять давали. А с сорок девятого такая полоса пошла — всем по двадцать пять, невзирая. Десять-то еще можно прожить, не околеет,— а ну, двадцать пять проживи?!

Шухову и приятно, что так на него все пальцами тычут: вот, он-де срок кончает,— но сам он в это не больно верит. Вон, у кого в войну срок кончался, всех до особого распоряжения держали, до сорок

шестого года. У кого и основного-то срока три года было, так пять лет пересидки получилось. Закон — он выворотной. Кончится десятка — скажут, на тебе еще одну. Или в ссылку.

А иной раз подумаешь — дух сопрет: срок-то все ж кончается, катушка-то на размоте... Господи! Своими ногами — да на волю, а?

Только вслух об том высказывать старому лагернику непристойно. И Шухов Кильгасу:

— Двадцать пять ты свои не считай. Двадцать пять сидеть ли, нет ли, это еще вилами по воде. А уж я отсидел восемь полных, так это точно.

Так вот живешь об землю рожей, и времени-то не бывает подумать: как сел? да как выйдешь?

Считается по делу, что Шухов за измену родине сел. И показания он дал, что таки да, он сдался в плен, желая изменить родине, а вернулся из плена потому, что выполнял задание немецкой разведки. Какое ж задание — ни Шухов сам не мог придумать, ни следователь. Так и оставили просто — задание.

Расчет был у Шухова простой: не подпишешь — бушлат деревянный, подпишешь — хоть поживешь еще малость. Подписал.

А было вот как: в феврале сорок второго года на Северо-Западном окружили их армию всю, и с самолетов им ничего жрать не бросали, а и самолетов тех не было. Дошли до того, что строгали копыта с лошадей околелших, размачивали ту роговицу в воде и ели. И стрелять было нечем. И так их помалу немцы по лесам ловили и брали. И вот в группе такой одной Шухов в плену побыл пару дней, там же, в лесах, — и убежали они впятером. И еще по лесам, по болотам покрались — чудом к своим попали. Только двоих автоматчик на месте уложил, третий от ран умер, — двое их и дошло. Были б умней — сказали б, что по лесам бродили, и ничего б им. А они открылись: мол, из плена немецкого. Из плена? Мать вашу так! Было б их пять, может сличили показания, поверили б, а двоим никак: сговорились, мол, гады насчет побега.

Сенька Клевшин услышал через глушь свою, что о побеге из плена говорят, и сказал громко:

— Я из плена три раза бежал. И три раза ловили.

Сенька, терпелик, все молчит больше: людей не слышит и в разговор не вмешивается. Так про него и знают мало, только то, что он в Бухенвальде сидел и там в подпольной организации был, оружие в зону носил для восстания. И как его немцы за руки сзади спины подвешивали и палками били.

— Ты, Ваня, восемь сидел — в каких лагерях? — Кильгас перечит. — Ты в бытовых сидел, вы там с бабами жили. Вы номеров не носили. А вот в каторжном восемь лет посиди! Еще никто не просидел.

— С бабами!.. С баланами, а не с бабами..

С бревнами, значит.

В огонь печной Шухов уставился, и вспомнились ему семь лет его на севере. И как он на бревнотаске три года укатывал тарный кряж да шпальник. И костра вот так же огонь переменный — на лесоповале, да не дневном, а ночном повале. Закон был такой у начальника: бригада, не выполнившая дневного задания, остается на ночь в лесу.

Уж заполночь до лагеря дотянутся, утром опять в лес.

— Не-ет, братцы... здесь поспокойней, пожалуй, — прошепелявил он. — Тут съем — закон. Выполнил, не выполнил — катись в зону. И гарантийка тут на сто грамм выше. Тут — жить можно. Особый — и пусть он особый, номера тебе мешают, что ль? Они не весят, номера.

— Поспокойней! — Фетюков шипит (дело к перерыву, и все к печке подтянулись). — Людей в постелях режут! Поспокойней!..

— Нэ людэй, а стукачів! — Павло палец поднял, грозит Фетюкову

И правда, чего-то новое в лагере началось. Двух стукачей известных прямо на вагонке зарезали, по подъему. И потом еще работягу невинного — место, что ль, спутали. И один стукач сам к начальству в БУР убежал, там его, в тюрьме каменной, и спрятали. Чудно... Такого в бытовых не было. Да и здесь-то не было...

Вдруг прогудел гудок с энергопоезда. Он не сразу во всю мощь загудел, а сперва хрипловато так, будто горло прочищал.

Полдня — долой! Перерыв обеденный!

Эх, пропустили! Давно б в столовую идти, очередь занимать. На объекте одиннадцать бригад, а в столовую больше двух не входит.

Бригадира все нет. Павло окинул оком быстрым и так решил:

— Шухов и Гопчик — со мной! Кильгас! Як Гопчика до вас пришло — ведить зараз бригаду!

Места их у печи тут же и захватили, окружили ту печку, как бабу, все обнимать лезут.

— Кончай ночевать! — кричат ребята. — Закуривай!

И друг на друга смотрят — кто закурит. А закуривать некому — или табака нет, или зажимают, показать не хотят.

Вышли наружу с Павлом. И Гопчик сзади зайчишкой бежит.

— Потеплело, — сразу определил Шухов. — Градусов восемнадцать, не больше. Хорошо будет класть.

Оглянулись на шлакоблоки — уж ребята на подмости покидали многие, а какие и на перекрытие, на второй этаж.

И солнце тоже Шухов проверил, сощурясь, — насчет кавторангова декрета!

А наоткрыте, где ветру простор, все же потягивает, пощипывает. Не забывайся, мол, помни — январь.

Производственная кухня — это халабуда маленькая, из тесу сколоченная вокруг печи, да еще жестью проржавленной обитая, чтобы щели закрыть. Внутри халабуду надвое делит перегородка — на кухню и на столовую. Одинаково, что на кухне полы не стелены, что в столовой. Как землю заторили ногами, так и осталась в буграх да в ямках. А кухня вся — печь квадратная, в нее котел вмazan.

Орудуют на той кухне двое — повар и санинструктор. С утра, как из лагеря выходить, получает повар на большой лагерной кухне крупу. На брата, наверно, грамм по пятьдесят, на бригаду — кило, а на объект получается немногим меньше пуда. Сам повар того мешка с крупой три километра нести не станет, дает нести шестерке. Чем самому спинч ломать, лучше тому шестерке выделить порцию лишнюю за счет работяг. Воду принести, дров, печку растопить — тоже не сам повар делает, тоже работяги да доходяги — и им он по порции, чужого не жалко. Еще положено, чтоб ели, не выходя со столовой: миски тоже из лагеря носить приходится (на объекте не оставишь, ночью вольные сопрут), так носят их полсотни, не больше, а тут моют да оборачивают побыстрей (носчику мисок — тоже порция сверх). Чтоб мисок из столовой не выносили — ставят еще нового шестерку на дверях — не выпускать мисок. Но как они стереги — все равно унесут, уговорят ли, глаза ли отведут. Так еще надо по всему, по всему объекту сборщика пустить: миски собирать грязные и опять их на кухню стаскивать. И тому порцию. И тому порцию.

Сам повар только вот что делает: крупу да соль в котел засыпает, жиры делит — в котел и себе (хороший жир до работяг не доходит, плохой жир — весь в котле. Так зэки больше любят, чтоб со склада отпускали жиры плохие). Еще — помешивает кашу, как доспевает. А санинструктор и этого не делает: сидит — смотрит. Дошла каша — сейчас санинструктору: ешь от пуза. И сам — от пуза. Тут дежурный

бригадир приходит, меняются они ежедён — пробу снимать, проверять будто, можно ли такой кашей работяг кормить. Бригадире дежурному — двойную порцию.

Тут и гудок. Тут приходят бригадиры в черед и выдает повар в окошко миски, а в мисках тех дно покрыто кашицей, и сколько там твоей крупы — не спросишь и не взвесишь, только сто тебе редек в рот, если рот откроешь.

Свистит над голой степью ветер — летом суховейный, зимой морозный. Отроду в степи той ничего не росло, а меж проволоками четырьмя — и подавно. Хлеб расет в хлеборезке одной, овес колосится — на продскладе. И хоть спину тут в работе переломи, хоть животом ляжь — из земли еды не выколотишь, больше, чем начальник тебе выпишет, не получишь. А и того не получишь за поварами, да за шестерками, да за придурками. И здесь воруют, и в зоне воруют, и еще раньше на складе воруют. И все те, кто воруют, киркой сами не вкальвают. А ты — вкальвай и бери, что дают. И отходи от окошка.

Кто кого сможет, тот того и гложет.

Вошли Павло с Шуховым и с Гопчиком в столовую — там прямо один к одному стоят, не видно за спинами ни столов куцых, ни лавок. Кто сидя ест, а больше стоя. 82-я бригада, какая ямки долбала без угреву полдня, — она-то первые места по гудку и захватила. Теперь и поевши не уйдет — где ж им больше греться? Ругаются на нее другие, а ей что по спине, что по стене — все отрадней, чем на морозе.

Пробились Павло и Шухов локтями. Хорошо пришли: одна бригада получает, да одна всего в очереди, тоже помбригадиры у окошка стоят. Остальные, значит, за нами будут.

— Миски! Миски! — повар кричит из окошка, и уж ему суют отсюда, и Шухов тоже собирает и сует — не ради каши лишней, а быстрее чтоб. Еще там сейчас за перегородкой шестерки миски моют — это тоже за кашу.

Начал получать тот помбригадир, что перед Павлом, — Павло крикнул через головы:

— Гопчик!

— Я! — от двери. Тонюсенький у него голосочек, как у козленка.

— Зови бригаду!

Убег.

Главное, каша сегодня хороша, лучшая каша — овсянка. Не часто она бывает. Больше идет магара по два раза в день или мучная затирка. В овсянке между зернами — навар этот сытен, он-то и дорог.

Сколища Шухов смолоду овса лошадям скормил — никогда не думал, что будет всей душой изнывать по горсточке этого овса!

— Мисок! Мисок! — кричат из окошка.

Подходит и 104-й очередь. Передний помбригадир в свою миску получил двойную «бригадирскую», отвалил от окошка.

Тоже за счет работяг идет — и тоже никто не перечит. На каждого бригадира такую дают, а он хоть сам ешь, хоть помощнику отдавай. Тюрин Павлу отдает.

Шухову сейчас работа такая: вклинился он за столом, двух доходяг согнал, одного работягу по-хорэшему попросил, очистил стола кусок мисок на двенадцать, если вплоть их ставить, да на них вторым этажом шесть станут, да еще сверху две, теперь надо от Павла миски принимать, счет его повторять и доглядывать, чтоб чужой никто миску со стола не увел. И не толкнул бы локтем никто, не опрокинул. А тут же рядом вылезают с лавки, влезают, едят. Надо глазом границу держать: миску — свою едят? или в нашу залезли?

— Две! Четыре! Шесть! — считает повар за окошком. Он сразу по две в две руки дает. Так ему легче, по одной сбиться можно.

— Дви, чотыри, шисть,— негромко повторяет Павло туда ему в окошко. И сразу по две миски передает Шухову, а Шухов на стол ставит. Шухов вслух ничего не повторяет, а считает острее их.

— Восемь, десять.

Что это Гопчик бригаду не ведет?

— Двенадцать, четырнадцать...— идет счет.

Да мисок не достало на кухне. Мимо головы и плеча Павла видно Шухову: две руки повара поставили две миски в окошечке и, держась за них, остановились, как бы в раздумье. Должно, он повернулся и посудомоев ругает. А тут ему в окошечко еще стопку мисок опорожненных суют. Он с тех нижних мисок руки стронул, стопку порожних назад передает.

Шухов покинул всю гору мисок своих за столом, ногой через скамью перемахнул, обе миски потянул и, вроде не для повара, а для Павла, повторил не очень громко:

— Четырнадцать.

— Стой! Куда потянул? — заорал повар.

— Наш, наш,— подтвердил Павло.

— Ваш-то, ваш, да счета не сбивай!

— Четырнáдцать,— пожал плечами Павло. Он-то бы сам не стал миски к о с и т ь, ему, как помбригадиру, авторитет надо держать, ну, а тут повторил за Шуховым, на него же и свалить можно.

— Я «четырнадцать» уже говорил! — разоряется повар.

— Ну что ж, что говорил! а сам не дал, руками задержал!— шумнул Шухов.— Иди считай, не веришь? Вот они, на столе все!

Шухов кричал повару, но уже заметил двух эстонцев, пробивавшихся к нему, и две миски с ходу им сунул. И еще он успел вернуться к столу, и еще успел сочнуть, что все на месте, соседи спереть ничего не успели, а свободно могли.

В окошке вполноту показалась красная рожа повара.

— Где миски? — строго спросил он.

— На, пожалуйста! — кричал Шухов.— Отодвинься ты, друг ситный, не засты! — толкнул он кого-то— Вот две! — он две миски второго этажа поднял повыше.— И вон три ряда по четыре, аккуратно, считай.

— А бригада не пришла? — недоверчиво смотрел повар в том маленьком просторе, который давало ему окошко, для того и узкое, чтоб к нему из столовой не подглядывали, сколько там в котле осталось.

— Ни, нэма ще бригады,— покачал головой Павло.

— Так какого ж вы хрена миски занимаете, когда бригады нет? — расвирепел повар.

— Вон, вон бригада! — закричал Шухов.

И все услышали окрики кавторанга в дверях, как с капитанского мостика:

— Чего столпились? Поели — и выходи! Дай другим!

Повар пробуркотел еще, выпрямился, и опять в окошке появились его руки.

— Шестнадцать, восемнадцать...

И, последнюю налив, двойную:

— Двадцать три. Все! Следующая!

Стали пробиваться бригадники, и Павло протягивал им миски, кому через головы сидящих, на второй стол.

На скамейке на каждой летом село бы человек по пять, но как сейчас все были одеты толсто — еле по четыре умещалось, и то ложками им двигать было несправно.

Рассчитывая, что из закошенных двух порций уж хоть одна-то будет его, Шухов быстро принялся за свою кровную. Для того он колено правое подтянул к животу, из-под валеного голенища вытянул ложку «Усть-Ижма, 1944», шапку снял, поджал под левую мышку, а ложкою обтронул кашу с краев.

Вот эту минуту надо было сейчас всю собрать на еду и, каши той тонкий пласт со дна снимая, аккуратно в рот класть и во рту языком переминать. Но приходилось поспешить, чтобы Павло увидел, что он уже кончил, и предложил бы ему вторую кашу. А тут еще Фетюков, который пришел с эстонцами вместе, все подметил, как две каши закосили, стал прямо против Павла и ел стоя, поглядывая на четыре оставшихся неразобранных бригадных порции. Он хотел тем показать Павлу, что ему тоже надо бы дать если не порцию, то хоть полпорции.

Смуглый молодой Павло, однако, спокойно ел свою двойную, и по его лицу никак было не знать, видит ли он, кто тут рядом, и помнит ли, что две порции лишних.

Шухов доел кашу. Оттого, что он желудок свой раззявил сразу на две — от одной ему не стало сытно, как становилось всегда от овсянки. Шухов полез во внутренний карман, из тряпицы беленькой достал свой незамерзлый полукруглый кусочек верхней корочки, ею стал бережно вытирать все остатки овсяной размазни со дна и разложистых боковин миски. Насобирав, он слизывал кашу с корочки языком и еще собирал корочкою с эстолько. Наконец миска была чиста, как вымыта, разве чуть замутнена. Он через плечо отдал миску сборщику и продолжал минуту сидеть со снятой шапкой.

Хоть закосил миски Шухов, а хозяин им — помбригадир.

Павло потомил еще немного, пока тоже кончил свою миску, но не вылизывал, а только ложку облизал, спрятал, перекрестился. И тогда тронул слегка — передвинуть было тесно — две миски из четырех, как бы тем отдавая их Шухову.

— Иван Денисович. Одну соби визьмить, а одну Цезарю отдасьтѣ.

Шухов помнил, что одну миску надо Цезарю нести в контору (Цезарь сам никогда не унижался ходить в столовую ни здесь, ни в лагере), — помнил, но когда Павло коснулся сразу двух мисок, сердце Шухова обмерло: не обе ли лишние ему отдавал Павло? И сейчас же опять пошло сердце своим ходом.

И сейчас же он наклонился над своей законной добычей и стал есть рассудительно, не чувствуя, как толкали его в спину новые бригады. Он досадовал только, не отдали бы вторую кашу Фетюкову. Шакалить Фетюков всегда мастак, а закосить бы смелости не хватило.

...А вблизи от них сидел за столом кавторанг Буйновский. Он давно уже кончил свою кашу и не знал, что в бригаде есть лишние, и не оглядывался, сколько их там осталось у помбригадира. Он просто разомлел, разогрелся, не имел сил встать и идти на мороз или в холодную, необогревающую обогревалку. Он так же занимал сейчас незаконное место здесь и мешал новоприбывающим бригадам, как те, кого пять минут назад он изгонял своим металлическим голосом. Он недавно был в лагере, недавно на общих работах. Такие минуты, как сейчас, были (он не знал этого) особо важными для него минутами, превращавшими его из властного звонкого морского офицера в малоподвижного осмотрительного зэка, только этой малоподвижностью и могущего перемочь отверстанные ему двадцать пять лет тюрьмы.

...На него уже кричали и в спину толкали, чтоб он освобождал место.

Павло сказал:

— Капитан! А, капитан?

Буйновский вздрогнул, как просыпаясь, и оглянулся.

Павло протянул ему кашу, не спрашивая, хочет ли он.

Брови Буйновского поднялись, глаза его смотрели на кашу, как на чудо невиданное.

— Берить, берить, — успокоил его Павло и, забрав последнюю кашу для бригадира, ушел.

...Виноватая улыбка раздвинула истресканные губы капитана, ходившего и вокруг Европы, и Великим северным путем. И он наклонился, счастливый, над неполным черпаком жидкой овсяной каши, безжирной вовсе, — над овсом и водой.

...Фетюков злобно посмотрел на Шухова, на капитана и отошел.

А по Шухову правильно, что капитану отдали. Придет пора, и капитан жить научится, а пока не умеет.

Еще Шухов слабую надежду имел — не отдаст ли ему и Цезарь своей каши? Но не должен бы отдать, потому что посылки не получал уже две недели.

После второй каши так же вылизав донце и развал миски корочкой хлеба и так же слизывая с корочки каждый раз, Шухов напоследок съел и саму корочку. После чего взял охолодевшую кашу Цезаря и пошел.

— В контору! — оттолкнул он шестерку на дверях, не пропуская с миской.

Контора была — рубленая изба близ вахты. Дым, как утром, и посейчас все валил из ее трубы. Топил ее дневальный, он же и посыльный, повременку ему выписывают. А щепок да палочья для конторы не жалуют.

Заскрипел Шухов дверью тамбура, еще потом одной дверью, обитой паклею, и, вваливая клубы морозного пара, вошел внутрь и быстренько притянул за собой дверь (спеша, чтоб не крикнули на него: «Эй, ты, вахлак, дверь закрывай!»).

Жара ему показалась в конторе, ровно в бане. Через окна с обтаявшим льдом солнышко играло уже не зло, как там, на верху ТЭЦ, а весело. И расходился в луче широкий дым от трубки Цезаря, как ладан в церкви. А печка вся красно насквозь светила, так раскалили. идолы. И трубы докрасна.

В таком тепле только присядь на миг — и заснешь тут же.

Комнат в конторе две. Второй, прорабской, дверь непокрыта, и оттуда голос прораба гремит:

— Мы имеем перерасход по фонду заработной платы и перерасход по стройматериалам. Ценнейшие доски, не говорю уже о сборных щитах, у вас заключенные на дрова рубят и в обогревалках сжигают, а вы не видите ничего. А цемент около склада на днях заключенные разгружали на сильном ветру и еще носилками носили до десяти метров, так вся площадка вокруг склада в цементе по шиколотку, и рабочие ушли не черные, а серые. Сколько потерь?!

Совещание, значит, у прораба. Должно, с десятниками.

У входа в углу сидит дневальный на табуретке, разомлел. Дальше Шкуробагненко, Б-219, жердь кривая, бельмом уставился в окошко, доглядает и сейчас, не прут ли его дома сборные. Толь-то проахал, дядя.

Бухгалтера два, тоже зски, хлеб поджаривают на печке. Чтоб не горел — сеточку такую подстроили из проволоки.

Цезарь трубку курит, у стола своего развалился. К Шухову он спиной, не видит.

А против него сидит X-123, двадцатилетник, каторжанин по приговору, жилистый старик. Кашу ест.

— Нег, батенька, — мягко этак, попуская, говорит Цезарь, — объективность требует признать, что Эйзенштейн гениален. «Иоанн Гроз-

ный» — разве это не гениально? Пляска опричников с личиной! Сцена в соборе!

— Кривлянье! — ложку перед ртом задерживает, сердится X-123. — Так много искусства, что уже и не искусство. Перец и мак вместо хлеба настоящего! И потом же гнуснейшая политическая идея — оправдание единой тираннии. Глумление над памятью трех поколений русской интеллигенции! (Кашу ест ртом бесчувственным, она ему не впрок.)

— Но какую трактовку пропустили бы иначе?..

— Ах, пропустили бы?! Так не говорите, что гений! Скажите, что подхалим, заказ собачий выполнял. Гении не подгоняют трактовку под вкус тиранов!

— Гм, гм, — откашлялся Шухов, стесняясь прервать образованный разговор. Ну, и тоже стоять ему тут было ни к чему.

Цезарь оборотился, руку протянул за кашей, на Шухова и не посмотрел, будто каша сама приехала по воздуху, — и за свое:

— Но слушайте, искусство — это не что, а как.

Подхватился X-123 и ребром ладони по столу, по столу:

— Нет уж, к чертовой матери ваше «как», если оно добрых чувств во мне не пробудит!

Постоял Шухов ровно сколько прилично было постоять, отдав кашу. Он ждал, не угостит ли его Цезарь покурить. Но Цезарь совсем об нем не помнил, что он тут, за спиной.

И Шухов, повернувшись, ушел тихо.

Ничего, не так быстро холодно на улице. Кладка сегодня как ни то пойдет.

Шел Шухов тропой и увидел на снегу кусок стальной ножовки, полотно поломанного кусок. Хотя ни для какой надобности ему такой кусок не определялся, однако нужды своей вперед не знаешь. Подобрал, сунул в карман брюк. Спрятать ее на ТЭЦ. Запасливый лучше богатого.

На ТЭЦ придя, прежде всего он достал спрятанный мастерок и засунул его за свою веревочную опоясочку. Потом уж нырнул в растворную.

Там после солнца совсем темно ему показалось и не теплей, чем на улице. Сыроватей как-то.

Сгрудились все около круглой печурки, поставленной Шуховым, и около той, где песок греется, пуская из себя парок. Кому места не хватило — сидят на ребре ящика растворного. Бригадир у самой печки сидит, кашу доедает. На печке ему Павло кашу разогрел.

Шу-шу — среди ребят. Повеселели ребята. И Иван Денисычу тоже тихо говорят: бригадир процентовку хорошо закрыл. Веселый пришел.

Уж где он там работу нашел, какую — это его, бригадира, ума дело. Сегодня вот за полдня что сделали? Ничего. Установку печки не оплатят, и обогревалку не оплатят: это для себя делали, не для производства. А в нарядах что-то писать надо. Может, еще Цезарь бригадиру что в нарядах подмучает — уважителен к нему бригадир, зря бы не стал.

«Хорошо закрыл» — значит, теперь пять дней пайки хорошие будут. Пять, положим, не пять, а четыре только: из пяти дней один захалтыривает начальство, катит на гарантийке весь лагерь вровень, и лучших и худших. Вроде не обидно никому, всем ведь поровну, а экономят на нашем брюхе. Ладно, зэка желудок все перетерпывает: сегодня как-нибудь, а завтра наедемся. С этой мечтой и спать ложится лагерь в день гарантийки.

А разобраться — пять дней работаем, а четыре дня едим.

Не шумит бригада. У кого есть — покуривают втихомолку. Сгрудились во теми — и на огонь смотрят. Как семья большая. Она и есть семья, бригада. Слушают, как бригадир у печки двум-трем рассказывает. Он слов зря никогда не роняет, уж если рассказывать пустился — значит, в доброй душе.

Тоже он в шапке есть не научился, Андрей Прокофьич. Без шапки голова его уже старая. Стрижена коротко, как у всех, а и в печном огне видать, сколь седины меж его сероватых волос рассеяно.

— ...Я и перед командиром батальона дрожал, а тут комполка! «Красноармеец Тюрин по вашему распоряжению...» Из-под бровей диких уставился: «А зовут как, а по отчеству?» Говорю. «Год рождения?» Говорю. Мне тогда, в тридцатом году, что ж, двадцать два годика было, теленок. «Ну, как служишь, Тюрин?» — «Служу трудовому народу!» Как вскипятится, да двумя руками по столу — хлоп! «Служишь ты трудовому народу, да кто ты сам, подлец?!» Так меня варом внутри!.. Но креплюсь: «Стрелок-пулеметчик, первый номер. Отличник боевой и полити...» — «Какой первый номер, гад? Отец твой кулак! Вот, из Камня бумажка пришла! Отец твой кулак, а ты скрылся, второй год тебя ищут!» Побледнел я, молчу. Год писем домой не писал, чтоб следа не нашли. И живы ли там, ничего не знал, ни дома про меня. «Какая ж у тебя совесть, — орет, четыре шпалы трясутся, — обманывать рабоче-крестьянскую власть?» Я думал, бить будет. Нет, не стал. Подписал приказ — шесть часов и за ворота выгнать... А на дворе — ноябрь. Обмундирование зимнее содрали, выдали летнее, б/у, третьего срока носки, шинельку кургузую. Я разъ...й был, не знал, что могу не сдать, послать их... И лютую справочку на руки: «Уволен из рядов... как сын кулака». Только на работу с той справкой. Добираться мне поездом четверо суток — литеры железнодорожной не выписали, довольствия не выдали ни на день единый. Накормили обедом последний раз и выпихнули из военного городка.

...Между прочим, в тридцать восьмом на Котласской пересылке встретил я своего бывшего комвзвода, тоже ему десятку сунули. Так узнал от него: и тот комполка и комиссар — обая расстреляны в тридцать седьмом. Там уж были они пролетарии или кулаки. Имели совесть или не имели... Перекрестился я и говорю: «Все ж ты есть, создатель, на небе. Долго терпишь да больно бьешь».

После двух мисок каши закурить хотелось Шухову горше смерти. И, располагая купить у латыша из седьмого барака два стакана самосада и тогда рассчитаться, Шухов тихо сказал эстонцу-рыбаку:

— Слышь, Эйно, на одну закрутку займи мне до завтра. Ведь я не обману.

Эйно посмотрел Шухову в глаза прямо, потом не спеша так же перевел на брата названного. Все у них пополам, ни табачинки один не потратит. Чего-то промышляли друг другу, и достал Эйно кисет, расписанный розовым шнуром. Из кисета того вынул щепоть табаку фабричной резки, положил на ладонь Шухову, примерился и еще несколько ленточек добавил. Как раз на одну закрутку, не больше.

А газетка у Шухова есть. Оторвал, скрутил, поднял уголек, скатившийся меж ног бригадира, — и потянул! и потянул! И кружь такая пошла по телу всему, и даже как будто хмель в ноги и в голову.

Только закурил, а уж через всю растворную на него глаза зеленые вспыхнули: Фетюков. Можно б и смилостивиться, дать ему, шакалу, да уж он сегодня подстреливал, Шухов видел. А лучше Сеньке Клевшину оставить. Он и не слышит, чего там бригадир рассказывает, сидит, горюня, перед огнем, набор голову склоня.

Бригадира лицо рябое освещено из печи. Рассказывает без жалости, как не об себе:

— Барахольце, какое было, загнал скупщику за четверть цены. Купил из-под полы две буханки хлеба, уж карточки тогда были. Думал товарными добираться, но и против того законы суровые вышли. А билетов, кто помнит, и за деньги не купить было, не то что без денег, толь-

ко по книжечкам да командировочным. На перрон тоже не было ходу: в дверях милиция, с обеих сторон станции охранники по путям бродят. Солнце холодное клонится, подстывают лужи — где ночевать?.. Осилит я каменную гладкую стенку, перемахнул с буханками — и в перронную уборную. Там постоял — никто не гонится. Выхожу как пассажир, солдатик. А на путё стоит как раз Владивосток — Москва. За кипятком — свалка, друг друга котелками по головам. Кружится девушка в синей кофточке с двухлитровым чайником, а подступить к кипяtilьнику боится. Ноги у нее крохотулечные, обшпарят или отдают. «На, говорю, буханки мои, сейчас тебе кипятку!» Пока налил, а поезд трогает. Она буханки мои дёржит, плачет, что с ими делать, чайник бросить рада. «Беги, кричу, беги, я за тобой!» Она вперёд, я следом. Догнал, одной рукой подсаживаю, — а поезд гону! Я — тоже на подножку. Не стал меня кондуктор ни по пальцам бить, ни в грудки спихивать: ехали другие бойцы в вагоне, он меня с ними попутал.

Толкнул Шухов Сеньку под бок: на, докури, мол, необычник. С мундштуком ему своим деревянным и дал, пусть пососет, нечего тут. Сенька, он чудак, как артист: руку одну к сердцу прижал и головой кивает. Ну, да что с глухого!..

Рассказывает бригадир:

— Шесть их, девушек, в купе закрытом ехало, ленинградские студентки с практики. На столике у них маслице да фуяслице, плащи на крючках покачиваются, чемоданчики в чехолках. Едут мимо жизни, семафоры зеленые... Поговорили, пошутили, чаю вместе выпили. А вы, спрашивают, из какого вагона? Вдохнул я и открылся: из такого я, девочки, вагона, что вам жить, а мне умирать...

Тихо в растворной. Печка горит.

— Ахали, охали, совещались... Все ж прикрыли меня плащами на третьей полке. До Новосибирска дотаили, довели... Между прочим, одну из тех девочек я потом на Печоре отблагодарил: она в тридцать пятом в Кировском потоке попала, доходила на общих, я ее в портняжную устроил.

— Может, раствор робить? — Павло шепотом бригадира спрашивает.

Не слышит бригадир.

— Домой я ночью пришел с огородов, ночью и ушел. Маленького братишку прихватил и повез в теплые страны, во Фрунзю. Кормить было нечем что его, что себя. Во Фрунзи асфальт варили в котле, и шпана кругом сидела. Я подсел к ним: «Слушай, господа бесштаные! Возьмите моего братишку в обучение, научите его, как жить!» Взяли... Жалею, что и сам к блатным не пристал...

— И никогда больше брата не встречали? — кавторанг спросил.

Тюрин зевнул.

— Не, никогда не встречал.— Еще зевнул. Сказал: — Ну, не горюй, ребята! Обживемся и на ТЭЦ. Кому раствор разводить — начинайте, гудка не ждите.

Вот это оно и есть — бригада. Начальник и в рабочий-то час работу не сдвинет, а бригадир и в перерыв сказал — работать, значит работать. Потому что он кормит, бригадир. И зря не заставит тоже.

По гудку если раствор разводить, так каменщикам — стой?

Вдохнул Шухов и поднялся.

— Пойти лед сколоть.

Взял с собой для лёду топорик и метелку, а для кладки — молоточек каменотесный, рейку, шнурок, отвес.

Кильгас румяный. посмотрел на Шухова, скривился — мол, чего поперд бригадира выпрыгнул? Да ведь Кильгасу не думать, из чего брига-

ду кормить: ему, лысому, хоть на двести грамм хлеба и помене — он с посылками проживет.

А все же встает, понимает. Бригаду держать из-за себя нельзя.

— Подожди, Ваня, и я пойду! — обзывает.

Небось, небось толстошекий. На себя б работал — еще б раньше поднялся.

(А еще потому Шухов поспешил, чтоб отвес прежде Кильгаса захватить, отвес-то из инструменталки взят один.)

Павло спросил бригадира:

— Мают класть у трех? Ще одного нэ поставимо? Або раствора не досягнэ?

Бригадир насупился, подумал.

— Четвертым я сам стану, Павло. А ты тут — раствор! Ящик велик, поставь человек шесть, и так: из одной половины готовый раствор выбирать, в другой половине новый замешивать. Чтобы мне перерыву ни минуты!

— Эх! — Павло вскочил, парень молодой, кровь свежая, лагерями еще не трепан, на галушках украинских ряжка отъеденная. — Як вы сами класть, так я сам — раствор робыть! А подывимось, кто бильш наробэ! А дэ тут найдлиниша лопата?

Вот это и есть бригада! Стрелял Павло из-под леса, да на районы ночью налетывал — стал бы он тут горбить! А для бригадира — это дело другое!

Вышли Шухов с Кильгасом наверх, слышат — и Сенька сзади по трапу скрипит. Догадался, глухой.

На втором этаже стены только начаты кладкой: в три ряда кругом и редко где подняты выше. Самая эта спорая кладка — от колен до груди, без подмостей.

А подмости, какие тут раньше были, и козелки — всё ээки растащили: что на другие здания унесли, что спалили — лишь бы чужим бригадам не досталось. Теперь, по-хозяйски ведя, уже завтра надо козелки сбивать, а то остановимся.

Далеко видно с верха ТЭЦ: и вся зона вокруг заснежённая, пустынная (попрятались ээки, греются до гудка), и вышки черные, и столбы заостренные, под колючку. Сама колючка по солнцу видна, а против — нет. Солнце яро блещет, глаз не раскроешь.

А еще невдали видно — энергопоезд. Ну, дымит, небо коптит! И — задышал тяжко. Хрип такой больной всегда у него перед гудком. Вот и загудел. Не много и переработали.

— Эй, стакановец! Ты с отвесиком побыстрей управляйся! — Кильгас подгоняет.

— Да на твоей стене смотри лёду сколько! Ты лед к вечеру сколешь ли? Мастерка-то бы зря наверх не таскал, — изгаляется над ним и Шухов.

Хотели по тем стенкам становиться, как до обеда их разделили, а тут бригадир снизу кричит:

— Эй, ребята! Чтоб раствор в ящиках не мерз, по двое станем. Шухов! Ты на свою стену Клевшина возьми, а я с Кильгасом буду. А пока Гопчик за меня у Кильгаса стенку очистит.

Переглянулись Шухов с Кильгасом. Верно. Так спорей.

И — схватились за топоры.

И не видел больше Шухов ни озера дальнего, где солнце блеснило по снегу, ни как по зоне разбредались из обогревалок работяги — кто ямки долбать, с утра недодолбанные, кто арматуру крепить, кто стропила поднимать на мастерских. Шухов видел только стену свою — от развязки слева, где кладка поднималась ступеньками выше пояса, и на-

право до угла, где сходилась его стена и Кильгасова. Он указал Сеньке, где тому снимать лед, и сам ретиво рубил его то обухом, то лезвием, так что брызги льда разлетались вокруг и в морду тоже, работу эту он правил лихо, но вовсе не думая. А думка его и глаза его вычунвали из-под льда саму стену, наружную фасадную стену ТЭЦ в два шлакоблока. Стену в этом месте прежде клал неизвестный ему каменщик, не разумея или халтура, а теперь Шухов обвыкал со стеной, как со своей. Вот тут — провалина, ее выровнять за один ряд нельзя, придется ряда за три, всякий раз подбавляя раствора потолще. Вот тут наружу стена пузом выдалась — это спрямить ряда за два. И разделил он стену невидимой метой — до коих сам будет класть от левой ступенчатой развязки и от коих Сенька направо до Кильгаса. Там, на углу, рассчитал он, Кильгас не удержится, за Сеньку малость положит, вот ему и легче будет. А пока те на уголке будут ковыряться, Шухов тут погонит больше полстены, чтоб наша пара не отставала. И наметил он, куда ему сколько шлакоблоков класть. И лишь подносчики шлакоблоков наверх взлезли, он тут же Алешку заарканил:

— Мне носи! Вот сюда клади! И сюда.

Сенька лед докальвал, а Шухов уже схватил метелку из проволоки стальной, двумя руками схватил и туда-сюда, туда-сюда пошел ею стену драить, очищая верхний ряд шлакоблоков хоть не дочиста, но до легкой сединки снежной, и особенно из швов.

Влез наверх и бригадир, и пока Шухов еще с метелкой чушкался, прибил бригадир рейку на углу. А по краям у Шухова и Кильгаса давно стоят.

— Гэй! — кричит Павло снизу. — Чи там ё жива людьна навёрси? Тремайтэ раствор!

Шухов аж взопрел: шнур-то еще не натянут! Запалился. Так решил: шнур натянуть не на ряд, не на два, а сразу на три, с запасом. А чтобы Сеньке легче было, еще прихватить у него кусок наружного ряда, а чуть внутреннего ему покинуть.

Шнур по верхней бровке натягивая, объяснил Сеньке и словами и знаками, где ему класть. Понял, глухой. Губы закуся, глаза перекосив, в сторону бригадировой стены кивает — мол, дадим огоньку? Не отстанем! Смеется.

А уж по трапу и раствор несут. Раствор будут четыре пары носить. Решил бригадир ящиков растворных близ каменщиков не ставить никаких — ведь раствор от перекалывания только мерзнуть будет. А прямо носилки поставили — и разбирай два каменщика на стену, клади. Тем временем подносчикам, чтобы не мерзнуть на верхотуре зря, шлакоблоки поверху подбрасывать. Как вычерпают их носилки, снизу без перерыву — вторые, а эти катись вниз. Там ящик носилочный у печки оттаивай от замерзшего раствору, ну и сами сколько успеете.

Принесли двое носилок сразу — на Кильгасову стену и на шуховскую. Раствор парует на морозе, дымится, а тепла в нем чуть. Мастерком его на стену шлепнув да зазеваешься — он и прихвачен. И бить его тогда тесачком молотка, мастерком не собьешь. А и шлакоблок положишь чуть не так — и уж примерз, перекособоченный. Теперь только обухом топора тот шлакоблок сбивать да раствор скалывать.

Но Шухов не ошибается. Шлакоблоки не все один в один. Какой с отбитым углом, с помятым ребром или с приливом — сразу Шухов это видит, и видит, какой стороной этот шлакоблок лечь хочет, и видит то место на стене, которое этого шлакоблока ждет.

Мастерком захватывает Шухов дымящийся раствор — и на то место бросает и запоминает, где прошел нижний шов (на тот шов серединой верхнего шлакоблока потом угодить). Раствора бросает он ровно столь-

ко, сколько под один шлакоблок. И хватает из кучки шлакоблок (но с осторожкою хватает — не продрать бы рукавицу, шлакоблоки деруг больно). И еще раствор мастерком разровняв — шлеп туда шлакоблок! И сейчас же, сейчас его подровнять, боком мастерка подбить, если не так: чтоб наружная стена шла по отвесу, и чтобы вдлинь кирпич плашмя лежал, и чтобы поперек тоже плашмя. И уж он схвачен, примерз.

Теперь, если по бокам из-под него выдавилось раствору, раствор этот ребром же мастерка отбить поскорей, со стены сошвырнуть (летом он под следующий кирпич идет, сейчас и не думай) и опять нижние швы посмотреть — бывает, там не целый блок, а накрошено их, — и раствору опять бросить, да чтобы под левый бок толще, и шлакоблок не просто класть, а справа налево полозом, он и выдавит этот лишек раствора меж собой и слева соседом. Глазом по отвесу. Глазом плашмя. Схвачено. Следующий!

Пошла работа. Два ряда как выложим да старые огрехи подровняем, так вовсе гладко пойдет. А сейчас — зорче смотреть!

И погнал, и погнал наружный ряд к Сеньке навстречу. И Сенька там на углу с бригадиром разошелся, тоже сюда идет.

Подносчикам мигнул Шухов — раствор, раствор под руку перетаскивайте, живо! Такая пошла работа — недосуг носу утереть.

Как сошлись с Сенькой да почали из одного ящика черпать — а уж и с заскребом.

— Раствору! — орет Шухов через стенку.

— Да-е-мó! — Павло кричит.

Принесли ящик. Вычерпали и его, сколько было жидкого, а уж по стенкам схватился — вышарапывай сами! Нарастет коростой — вам же таскать вверх-вниз. Отваливай! Следующий!

Шухов и другие каменщики перестали чувствовать мороз. От быстрой захватчивой работы прошел по ним сперва первый жарок — тот жарок, от которого под бушлатом, под телогрейкой, под верхней и нижней рубахами мокреет. Но они ни на миг не останавливались и гнали кладку дальше и дальше. И часом спустя пробил их второй жарок — тот, от которого пот высыхает. В ноги их мороз не брал, это главное, а остальное ничто, ни ветерок легкий, потягивающий — не могли их мыслей отвлечь от кладки. Только Клевшин нога об ногу постукивал: у него, несчастного, сорок шестой размер, валенки ему подобрали от разных пар, тесноватые.

Бригадир от поры до поры крикнет: «Раствору!» И Шухов свое: «Раствору!» Кто работу крепко тянет, тот над соседями тоже вроде бригадира становится. Шухову надо не отстать от той пары, он сейчас и брата родного по трапу с носилками загонял быте.

Буйновский сперва, с обеда, с Фетюковым вместе раствор носил. По трапу и круто, и оступчиво, не очень он тянул поначалу, Шухов его подгонял легонько:

— Кавторанг, побыстрей! Кавторанг, шлакоблоков!

Только с каждыми носилками кавторанг становился расторопнее, а Фетюков все ленивее: идет, сучье вымя, носилки наклонит и раствор выхлюпывает, чтоб легче нести.

Костыльнул его Шухов в спину разок:

— У, гадская кровь! А директором был — небось с рабочих требовал?

— Бригадир! — кричит кавторанг. — Поставь меня с человеком! Не буду я с этим г...ком носить!

Переставил бригадир: Фетюкова шлакоблоки снизу на почмости кидать, да так поставил, чтоб отдельно считать, сколько он шлакоблоков вскинет, а Алешку — с кавторангом. Алешка — тихий, над ним не командует только кто не хочет.

— Аврал, салага! — ему кавторанг внушает. — Видишь, кладка пошла!

Улыбается Алешка уступчиво:

— Если нужно быстрей — давайте быстрей. Как вы скажете.

И потопали вниз.

Смирный — в бригаде клад.

Кому-то вниз бригадир кричит. Оказывается, еще одна машина со шлакоблоками подошла. То полгода ни одной не было, то как прорвало их. Пока и работать, что шлакоблоки возят. Первый день. А потом простой будет, не разгонишься.

И еще вниз ругается бригадир. Что-то о подъемнике. И узнать Шухову хочется, и некогда: стену выравнивает. Подошли подносчики, рассказали: пришел монтер, на подъемнике мотор исправлять и с ним прораб по электроработам, вольный. Монтер копается, прораб смотрит.

Это — как положено: один работает, один смотрит.

Сейчас бы исправили подъемник — можно б и шлакоблоки им поды- мать, и раствор.

Уж повел Шухов третий ряд (и Кильгас тоже третий начал), как по трапу прется еще один дозорщик, еще один начальник — строительный десятник Дэр. Москвич. Говорят, в министерстве работал.

Шухов от Кильгаса близко стоял, показал ему на Дэра.

— А-а! — отмахивается Кильгас. — Я с начальством вообще дела не имею. Только если он с трапа свалится, тогда меня позовешь.

Сейчас станет сзади каменщиков и будет смотреть. Вот этих наблюдателей пуще всего Шухов не терпит. В инженеры лезет, свинячья морда! А один раз показывал, как кирпичи класть, так Шухов обхохотался. По-нашему, вот построй один дом своими руками, тогда инженер будешь.

В Темгенёве каменных домов не знали, избы из дерева. И школа тоже рубленая, из заказника лес привозили в шесть саженой. А в лагере понадобилось на каменщика — и Шухов, пожалуйста, камсщик. Кто два дела руками знает, тот еще и десять подхватит.

Нет, не свалился Дэр, только споткнулся раз. Взбежал наверх чуть не бегом.

— Тю-урин! — кричит, и глаза навывкате. — Тю-рин!

А вслед ему по трапу Павло взбегает с лопатой, как был.

Бушлат у Дэра лагерный, но новенький, чистенький. Шапка отличная, кожаная. А номер и на ней, как у всех: Б-731.

— Ну? — Тюрин к нему с мастерком вышел. Шапка бригадирова съехала набок, на один глаз.

Что-то небывалое. И пропустить никак нельзя, и раствор стынет в корытце. Кладет Шухов, кладет и слушает.

— Да ты что?! — Дэр кричит, слюной брызгает. — Это не карцером пахнет! Это уголовное дело, Тюрин! Третий срок получишь!

Только тут прострельнуло Шухова, в чем дело. На Кильгаса глянул — и тот уж понял. Толь! Толь увидал на окнах.

За себя Шухов ничуть не боится, бригадир его не продаст. Боится за бригадира. Для нас бригадир — отец, а для них — пешка. За такие дела второй срок на севере бригадиру вполне паяли.

Ух, как лицо бригадирова перекосило! Ка-ак швырнет мастерок под ноги! И к Дэру — шаг! Дэр оглянулся — Павло лопату наотмашь поды- мает.

Лопату-то! Лопату-то он не зря прихватил...

И Сенька, даром что глухой, — понял: тоже руки в боки и подошел. А он здоровый, леший.

Дэр заморгал, забеспокоился, смотрит, где пятый угол.

Бригадир наклонился к Дэру и тихо так совсем, а явственно здесь наверху:

— Прошло ваше время, заразы, срокá давать! Ес-сли ты слово скажешь, кровосос,— день последний живешь, запомни!

Трясет бригадира всего. Трясет, не уймется никак.

И Павло остролицый прямо глазом Дэра режет, прямо режет.

— Ну что вы, что вы, ребята! — Дэр бледный стал — и от трапа подалше.

Ничего бригадир больше не сказал, поправил шапку, мастерок поднял изогнутый и пошел к своей стене.

И Павло с лопатой медленно пошел вниз.

Ме-едленно...

И оставаться Дэру страшно, и спускаться страшно. Спрятался за Кильгаса, стоит.

А Кильгас кладет — в аптеке так лекарства вешают: личностью доктор и не торопится ничуть. К Дэру он все спиной, будто его и не видал.

Подкрадывается Дэр к бригадиру. Где и спесь его вся.

— Что ж я прорабу скажу, Тюрин?

Бригадир кладет, головы не поворачивая:

— А скажете — б ы л о т а к. Пришли — так было.

Постоял еще Дэр. Видит, убивать его сейчас не будут. Прошелся тихонько, руки в карманы заложил.

— Э, Ша — восемьсот пятьдесят четыре,— пробурчал.— Раствора почему тонкий слой кладешь?

На ком-то надо отыгаться. У Шухова ни к перекосам, ни к швам не подкопаешься — так вот раствор тонок.

— Дозвольте заметить,— прошепелявил он, а с насмешечкой: — что, если слой толстый сейчас ложить, весной эта ТЭЦ потечет вся.

— Ты — каменщик и слушай, что тебе десятник говорит,— нахмурился Дэр и щеки поднадул, привычка у него такая.

Ну, кой-где, может, и тонко, можно бы и потолще, да ведь это если класть не зимой, а по-человечески. Надо ж и людей пожалеть. Выработка нужна. Да чего объяснять, если человек не понимает!

И пошел Дэр по трапу тихо.

— Вы мне подъемник наладьте! — бригадир ему со стены вослед.— Что мы — ишаки? На второй этаж шлакоблоки вручную!

— Тебе подъем оплачивают,— Дэр ему с трапа, но смирно.

— «На тачках»? А ну, возьмите тачку, прокатите по трапу. «На носилках» оплачивайте!

— Да что мне, жалко? Не проведет бухгалтерия «на носилках».

— Бухгалтерия! У меня вся бригада работает, чтоб четырех каменщиков обслужить. Сколько я заработаю?

Кричит бригадир, а сам кладет без отрыву.

— Раство-ор! — кричит вниз.

— Раство-ор! — перенимает Шухов. Всё подровняли на третьем ряду, а на четвертом и развернуться. Надо б шнур на рядок вверх перетянуть, да живет и так, рядок без шнура прогоним.

Пошел себе Дэр по полю, съезжился. В контору, греться. Неприютно ему небось. А и думать надо, прежде чем на такого волка идти, как Тюрин. С такими бригадирами он бы ладил, ему б и хлопот ни о чем: горбить не требуют, пайка высокая, живет в кабине отдельной — чего еще? Так залупается, ум выставляет.

Пришли снизу, говорят — и прораб по электромонтажным ушел, и монтер ушел — нельзя подъемника наладить.

Значит, ишачь!

Сколько Шухов производств повидал, техника эта или сама ломается, или зэки ее ломают. Бревнотаску ломали: в цепь дрын вставят и поднажмут. Чтоб отдохнуть. Балан-то велят к балану класть, не разогнешься.

— Шлакоблоков! Шлакоблоков! — кричит бригадир, разошелся. И в мать их, и в мать, подбросчиков и подносчиков.

— Павло спрашивает, с раствором как? — снизу шумят.

— Разводить как!

— Так разведенного пол-ящика!

— Значит, еще ящик!

Ну, заваруха! Пятый ряд погнажи. То, скрючимшись, первый гнали, а сейчас уж под грудь, гляди! Да еще б их не гнать, как ни окон, ни дверей, глухих две стены на смычку и шлакоблоков вдоволь. И надо б шнур перетянуть, да поздно.

— Восемьдесят вторая инструменты сдавать понесла, — Гопчик докладывает.

Бригадир на него только глазами сверкнул.

— Свое дело знай, сморчок! Таскай кирпичи!

Оглянулся Шухов. Да, солнышко на заходе. С краснинкой заходит и в туман вроде бы седенький. А разогнались — лучше не надо. Теперь уж пятый начали — пятый и кончить. Подровнять.

Подносчики — как лошади запышенные. Кавторанг даже посерел. Ему ведь лет, кавторангу, сорок не сорок, а около.

Холод градусы набирает. Руки в работе, а пальцы все ж поламывает сквозь рукавички худые. И в левый валенок мороза натягивает. Топ-топ им Шухов, топ-топ.

К стене теперь нагибаться не надо стало, а вот за шлакоблоками — поломай спину за каждым, да еще за каждой ложкой раствора.

— Ребята! Ребята! — Шухов геребит. — Вы бы мне шлакоблоки на стенку! на стенку подымали!

Уж кавторанг и рад бы, да нет сил. Непривычный он. А Алешка:

— Хорошо, Иван Денисыч. Куда класть — покажите.

Безотказный этот Алешка, о чем его ни попроси. Каб все на свете такие были, и Шухов бы был такой. Если человек просит — отчего не пособить? Это верно у них.

По всей зоне и до ТЭЦ ясно донеслось: об рельс звонят. Съём! Прихватил с раствором. Эх, расстарались!..

— Давай раствор! Давай раствор! — кричит бригадир.

А там ящик новый только заделан! Теперь — класть, выхода нет: если ящика не выбрать, завтра весь тот ящик к свиньям разбивай, раствор окаменеет, его киркой не выколупнешь.

— Ну, не удай, братцы! — Шухов кличет.

Кильгас злой стал. Не любит авралов. А жмет и он, куда денешься!

Снизу Павло прибежал, в носилки впрягшись, и мастерок в руке. И тоже класть. В пять мастерков.

Теперь только стыки успевай заделывать! Заране глазом умерит Шухов, какой ему кирпич на стык, и Алешке молоток подталкивает:

— На, теши мне, теши!

Быстро — хорошо не бывает. Сейчас, как все за быстротой погнались, Шухов уж не гонит, а стену доглядает. Сеньку налево перетолкнул, сам — направо, к главному углу. Сейчас, если стену напустить или угол завалить — это пропасть, завтра на полдня работы.

— Стой! — Павла от кирпича отбил, сам его поправляет. А оттуда, с угла, глядь — у Сеньки вроде прогибик получается. К Сеньке кинулся, двумя кирпичами направил.

Кавторанг припер носилки, как мерин добрый.

— Еще,— кричит,— носилок двое!

С ног уж валится кавторанг, а тянет. Такой мерин и у Шухова был. Шухов-то его приберегал, а потом подрезался он. И шкуру с его сняли.

Солнце и закрайком верхним за землю ушло. Теперь уж и без Гопчика видать: не только все бригады инструмент отнесли, а валом повалил народ к вахте. (Сразу после звонка никто не выходит, дурных нет мерзнуть там. Сидят все в обогревалках. Но настает такой момент, что сговариваются бригады, и все бригады вместе спят. Если не договориться, так это ж такой злоупорный народ, арестанты. — друг друга пересиживая, будут до полуночи в обогревалках сидеть.)

Опамятовался и бригадир, сам видит, что перепозднил. Уж инструментальщик, наверно, его в десять матов обкладывает.

— Эх,— кричит,— дерьма не жалко! Подносчики! Катите вниз, большой ящик выскребайте, и что наберете — отнесите в яму вон ту и сверху снегом присыпьте, чтоб не видно! А ты, Павло, бери двоих, инструмент собирай, тащи сдавать. Я тебе с Гопчиком три мастерка дошлю, вот эту пару носилок последнюю выложим.

Накинулись. Молоток у Шухова забрали, шнур отвязали. Подносчики, подбросчики — все убегли вниз в растворную, делать им больше тут нечего. Остались сверху каменщиков трое — Кильгас, Клевшин да Шухов. Бригадир ходит, обсматривает, сколько выложили. Доволен.

— Хорошо положили, а? За полдня. Без подъемника, без фуёмника.

Шухов видит — у Кильгаса в корытце мало осталось. Тужит Шухов — в инструменталке бригадира бы не ругали за мастерки.

— Слышь, ребята,— Шухов доник,— мастерки-то несите Гопчику, мой — несчитанный, сдавать не надо, я им доложу.

Смеется бригадир:

— Ну как тебя на свободу отпускать? Без тебя ж тюрьма плакать будет!

Смеется и Шухов. Кладет.

Унес Кильгас мастерки. Сенька Шухову шлакоблоки подсавывает, раствор Кильгасов сюда в корытце перевалили.

Побежал Гопчик через все поле к инструменталке, Павла догонять. И 104-я сама пошла через поле, без бригадира. Бригадир — сила, но конвой — сила посильней. Перепишут опоздавших — и в кондей.

Грозно сгустело у вахты. Все собрались. Кажись, что и конвой вышел — пересчитывают.

(Считают два раза при выходе: один раз при закрытых воротах, чтоб знать, что можно ворота открыть; второй раз — сквозь открытые ворота пропуская. А если померещится еще не так — и за воротами считают.)

— Драть его в лоб с раствором! — машет бригадир. — Выкидывай его через стенку!

— Иди, бригадир! Иди, ты там нужней! — (Зовет Шухов его Андрей Прокофьевичем, но сейчас работой своей он с бригадиром сравнялся. Не то чтоб думал так: «Вот я сравнялся», а просто чувствует, что так.) И шутит вслед бригадиру, широким шагом сходящему по трапу: — Что, гадство, день рабочий такой короткий? Только до работы припадешь — уж и съём!

Остались вдвоем с глухим. С этим много не поговоришь, да с ним и говорить незачем: он всех умней, без слов понимает.

Шлеп раствор! Шлеп шлакоблок! Притиснули. Проверили. Раствор. Шлакоблок. Раствор. Шлакоблок...

Кажется, и бригадир велел — раствору не жалеть, за стенку его — и побегли. Но так устроен Шухов по-дурацкому, и за восемь лет лагерей никак его отучить не могут: всякую вещь и труд всякий жалеет он, чтоб зря не гинули.

Раствор! Шлакоблок! Раствор! Шлакоблок!
— Кончили, мать твою за ногу! — Сенька кричит. — Айда!
Носилки схватил — и по трапу.

А Шухов, хоть там его сейчас конвой псами травы, отбежал по площадке назад, глянул. Ничего. Теперь подбежал — и через стенку, слева, справа. Эх, глаз — ватерпас! Ровно! Еще рука не старится.

Побежал по трапу.

Сенька — из растворной и по пригорку бегом.

— Ну! Ну! — оборачивается.

— Беги, я сейчас! — Шухов машет.

А сам — в растворную. Мастерка так просто бросить нельзя. Может, завтра Шухов не выйдет, может, бригаду на Соцгородок затурнут, может, сюда еще полгода не попадешь — а мастерок пропадай? За а н а ч и т ь так заначить!

В растворной все печи погашены. Темно. Страшно. Не то страшно, что темно, а что ушли все, недосчитаются его одного на вахте, и бить будет конвой.

А все ж зыр-зырь, довидел камень здоровый в углу, отвалил его, под него мастерок подsunул и накрыл. Порядок!

Теперь скорей Сеньку догонять. А он отбежал шагов на сто, дальше не идет. Никогда Клевшин в беде не бросит. Отвечать — так вместе.

Побежали вровень — маленький и большой. Сенька на полторы головы выше Шухова, да и голова-то сама у него экая здоровая уродилась.

Есть же бездельники — на стадионе доброй волей наперегонки бегают. Вот так бы их погонять, чертей, после целого дня рабочего, со спиной, еще не разогнутой, в рукавицах мокрых, в валенках стоптанных — да по холоду.

Запалились, как собаки бешеные, только слышно: хы-хы! хы-хы!

Ну, да бригадир на вахте, объяснит же.

Вот прямо на толпу бегут, страшно.

Сотни глоток сразу как заулюлюкали: и в мать их, и в отца, и в рот, и в нос, и в ребро. Как пятьсот человек на тебя разъярятся — еще б не страшно!

Но главное — конвой как?

Нет, конвой ничего. И бригадир тут же, в последнем ряду. Объяснил, значит, на себя вину взял.

А ребята оруг, а ребята матюгаются! Так оруг — даже Сенька многое услышал, дух перевел да как завернет со своей высоты! Всю жизнь молчит — ну, и как гахнет! Кулаки поднял, сейчас драться кинется. Замолчали. Смеются кой-кто.

— Эй, сто четвертая! Так он у вас не глухой? — кричат. — Мы проверяли.

Смеются все. И конвой тоже.

— Разобраться по пять!

А ворот не открывают. Сами себе не верят. Подали толпу от ворот назад. (К воротам все прилипли, как глупые, будто от того быстрее будет.)

— Р-разобраться по пять! Первая! Вторая! Третья!..

И как пятерку назовут, та вперед проходит метров на несколько.

Отпыхался Шухов пока, оглянулся — а месяц-то, батюшка, нахмурился багрово, уж на небо весь вылез. И ущербляться, кесь, чуть начал. Вчера об эту пору выше много он стоял.

Шухову весело, что все сошло гладко, кавторанга под бок бьет и закидывает:

— Слышь, кавторанг, а как по науке вашей — старый месяц куда потом девается?

— Как куда? Невежество! Просто не виден!

Шухов головой крутит, смеется:

— Так если не виден — откуда ж ты знаешь, что он есть?

— Так что ж, по-твоему, — дивится капитан, — каждый месяц луна новая?

— А что чудного? Люди вон что ни день рождаются, так месяцу раз в четыре недели можно?

— Тьфу! — плюнул капитан. — Еще ни одного такого дурного матроса не встречал. Так куда ж старый девается?

— Вот я ж и спрашиваю тебя — куда? — Шухов зубы раскрыл.

— Ну? Куда?

Шухов вздохнул и поведал, шепелявя чуть.

— У нас так говорили: старый месяц бог на звезды крошит.

— Вот дикари! — Капитан смеется. — Никогда не слышал! Так ты что ж, в бога веришь, Шухов?

— А то? — удивился Шухов. — Как громыхнет — пойди, не поверь!

— И зачем же бог это делает?

— Чего?

— Месяц на звезды крошит — зачем?

— Ну, чего не понять! — Шухов пожал плечами. — Звезды-те от времени падают, пополнять нужно.

— Повернись, мать... — конвой орет. — Разберись!

Уж до них счет дошел. Прошла пятерка двенадцатая пятой сотни, и их двое сзади — Буйновский да Шухов.

Конвой сумутится, толкует по дощечкам счетным. Не хватает! Опять у них не хватает. Хоть бы считать-то умели!

Насчитали четыреста шестьдесят два, а должно быть, толкуют, четыреста шестьдесят три.

Опять всех оттолкали от ворот (к воротам снова притиснулись) — и ну:

— Р-разобраться по пять! Первая! Вторая!

Эти пересчеты ихие тем досадливы, что время уходит уже не казенное, а свое. Это пока еще степью до лагеря допрешься да перед лагерем очередь на шмон выстоишь! Все объекты бегма бегут, друг перед другом расстарываются, чтоб раньше на шмон и, значит, в лагерь раньше юркнуть. Какой объект в лагерь первый придет, тот сегодня и княжествует: столовая его ждет, на посылки он первый, и в камеру хранения первый, и в индивидуальную кухню, в КВЧ за письмами или в цензуру свое письмо сдать, в санчасть, в парикмахерскую, в баню — везде он первый.

Да бывает, конвою тоже скорее нас сдать — да к себе в лагерь. Солдату тоже не разгуляешься: дел много, времени мало.

А вот не сходится счет их.

Как последние пятерки стали перепускать, померещилось Шухову, что в самом конце трое их будет. А нет, опять двое.

Счетчики к начкару, с дощечками. Толкуют. Начкар кричит:

— Бригадир сто четвертой!

Тюрин выступил на полшага:

— Я.

— У тебя на ТЭЦ никого не осталось? Подумай.

— Нет.

— Подумай, голову оторву!

— Нет, точно говорю.

А сам на Павла косится — не заснул ли кто там, в растворной?

— Ра-а-азберись по бригадам! — кричит начкар.

А стояли по пятеркам, как попало, кто с кем. Теперь затолкались,

загудели. Там кричат: «Семьдесят шестая — ко мне!» Там: «Тринадцатая! Сюда!» Там: «Тридцать вторая!»

А 104-я как сзади всех была, так и собралась сзади. И видит Шухов: бригада вся с руками порожними, до того заработались дурни, что и щепок не подсобрали. Только у двоих вязаночки малые.

Игра эта идет каждый день: перед съемом собирают работяги щепочек, палочек, дранки ломаной, обвяжут гесемочкой тряпичной или веревочкой худой, и несут. Первая облава — у вахты прораб или из десятников кто. Если стоит, сейчас велит все кидать (миллионы уже через трубу спустили, так они щепками навестать думают). Но у работяги свой расчет: если каждый из бригады хоть по чутку палочек принесет, в бараке теплей будет. А то дают дневальным на каждую печку по пять килограмм угольной пыли, от нее тепла не дождешься. Поэтому и так делают, что палочек наломают, напилят покороче, да суют их себе под бушлат. Так прораба и минуют.

Конвой же здесь, на объекте, никогда не велит дрова кидать: конвоем тоже дрова нужны, да нести самим нельзя. Одно дело — мундир не велит, другое — руки автоматами заняты, чтобы по нас стрелять. Конвой как к лагерю подведет, тут и скамандует: «От такого до такого ряда бросить дрова вот сюда». Но берут по-божески: и для лагерных надзирателей оставить надо, и для самих эзков, а то вовсе носить не будут.

Так и получается: носи дрова каждый эзк и каждый день. Не знаешь, когда донесешь, когда отымут.

Пока Шухов глазами рыскал, нет ли где щепочек под ногами подсобрать, а бригадир уже всех счел и доложил начкару:

— Сто четвертая — вся!

И Цезарь тут, от конторских к своим подошел. Огнем красным из трубки на себя попыхивает, усы его черные обындевели, спрашивает:

— Ну как, капитан, дела?

Гретому мерзлого не понять. Пустой вопрос — дела как?

— Да как? — поводит капитан плечами. — Нароботался вот, еле спину распрямил.

Ты, мол, закурить догадайся дать.

Дает Цезарь и закурить. Он в бригаде одного кавторанга и придерживается, больше ему не с кем душу отвести.

— В тридцать второй человека нет! В тридцать второй! — шумят все.

Улупил помощник бригадира 32-й и еще с ним парень один — туда, к авторемонтным, искать. А по толпе: кто? да что? — спрашивают. И дошло до Шухова: нету молдавана маленького чернявого. Какой же это молдаван? Не тот ли молдаван, что, говорят, шпионом был румынским, настоящим шпионом?

Шпионов — в каждой бригаде по пять человек, но это шпионы деланные, снарошки. По делам проходят как шпионы, а сами пленники просто. И Шухов такой же шпион.

А тот молдаван — настоящий.

Начкар как глянул в список, так и почернел весь. Ведь если шпион сбежал — это что начкару будет?

А толпу всю и Шухова зло берет. Ведь это что за стерва, гад, падаль, паскуда, загребанец? Уж небо темно, свет, считай, от месяца идет. звезды вон, мороз силу ночную забирает — а его, пашенка, нет! Что, не нароботался, падло? Казенного дня мало, одиннадцать часов, от света до света? Прокурор добавит, положи!

И Шухову чудно, чтобы кто-то так мог работать, звонка не замечая.

Шухов совсем забыл, что сам он только что так же работал, — и досадовал, что слишком рано собираются к вахте. Сейчас он зяб со всеми, и

лютел со всеми, и еще бы, кажется, полчаса подержи их этот молдаван, да отдал бы его конвой толпе — разодрали б, как волки теленка!

Вот когда стал мороз забирать! Никто не стоит — или на месте переступает, или ходит два шага вперед, два назад.

Толкуют люди — мог ли убежать молдаван? Ну, если днем еще убег — другое дело, а если схоронился и ждет, чтобы с вышек охрану сняли, не дожидется. Если следа под проволокой не осталось, где уполз, — трое суток в зоне не разыщут и трое суток будут на вышках сидеть. И хоть неделю — тоже. Это уж их устав, старые арестанты знают. Вообще, если кто бежал — конвою жизнь кончается, гоняют их безо сна и еды. Так так иногда разъярятся — не берут беглеца живым.

Уговаривает Цезарь кавторанга:

— Например, пенсне на корабельной снасти повисло, помните?

— М-да... — Кавторанг табачок покуривает.

— Или коляска по лестнице — катится, катится.

— Да... Но морская жизнь там немножко кукольная.

— Видите ли, мы избалованы современной техникой съемки...

— И черви по мясу прямо как дождевые ползают. Неужели уж такие были?

— Но более мелких средствами кино не покажешь!

— Думаю, это б мясо к нам в лагерь сейчас привезли вместо нашей рыбки, да не моя, не скребя, в котел бы ухнули, так мы бы...

— А-а-а! — завопили зэки. — У-у-у!

Увидели: из авторемонтных три фигурки выскочило, значит с молдаваном.

— У-у-у! — люлюкает толпа от ворот.

А как те ближе подбежали, так:

— Чу-ма-а! Шко-одник! Шушера! Сука позорная! Мерзотина! Стервоза!!

И Шухов тоже кричит:

— Чу-ма!

Да ведь шутка сказать, больше полчаса времени у пятисот человек отнял!

Вобрал голову, бежит, как мышонок.

— Стой! — конвой кричит. И записывает: — Ка — четыреста шестьдесят. Где был?

А сам подходит и прикладом карабин поворачивает.

Из толпы все кричат:

— Сволочь! Блевотина! Паскуда!

А другие, как только сержант стал карабин прикладом оборачивать, затихли.

Молчит молдаван, голову нагнул, от конвоя пятится. Помбригадир 32-й выступил вперед:

— Он, падло, на леса штукатурные залез, от меня прятался, а там угрелся и заснул.

И по захрястку его кулаком! И по холке!

А тем самым отогнал от конвоира.

Отшатнулся молдаван, а тут маляр выскочил из той же 32-й да ногой его под зад, да ногой под зад!

Это тебе не то, что шпионить. Шпионить и дурак может. У шпиона жизнь чистая, веселая. А попробуй в каторжном лагере оттянуть десятку на общих!

Опустил конвоир карабин.

А начкар орет:

— А-тайди от ворот! Ра-зобратся по пять!

Вот собаки, опять считать! Чего ж теперь считать, как и без того ясно? Загудели ээки. Все зло с молдавана на конвой переметнулось. Загудели и не отходят от ворот.

— Что-о? — начкар заорал. — На снег посадить? Сейчас посажу. До утра держать буду!

Ничего мудрого, и посадит. Сколь раз сажали. И клали даже: «Ложись! Оружие к бою!» Бывало это все, знают ээки. И стали легонько от ворот оттрагивать.

— Ат-ходи! Ат-ходи! — понуждает конвой.

— Да и чего, правда, к воротам-то жметесь, стервы? — задние на передних злятся. И отходят под натиском.

— Ра-зобратся по пять! Первая! Вторая! Третья!

А уж месяц в силу полную светит. Просветлился, багровость с него сошла. Поднялся уж на четверть добрую. Пропал вечер!.. Молдаван проклятый. Конвой проклятый. Жизнь проклятая!

Передние, кого просчитали, оборачиваются, на цыпочки лезут смотреть — в пятерке последней двое останется или трое. От этого сейчас вся жизнь зависит.

Показалось было Шухову, что в последней пятерке их четверо останется. Обомлел со страху: лишний! Опять пересчитывать! А оказалось, Фетюков, шакал, у кавторанга окурков достреливал, зазевался, в свою пятерку не переступил вовремя, и тут вышел вроде лишний.

Помначкар со зла его по шее, Фетюкова.

Правильно!

В последней — три человека. Сошлось, слава тебе господи!

— А-тайди от ворот! — опять конвой понуждает.

Но в этот раз ээки не ворчат, видят: выходят солдаты из вахты и оцепляют плац с той стороны ворот.

Значит, выпускать будут.

Десятников вольных не видать, прораба тоже, несут ребятишки дрова.

Распахнули ворота. И уж там, за ними, у переводин бревенчатых, опять начкар и контролер:

— Пер-вая! Вторая! Третья!..

Еще раз если сойдется — снимать будут часовых с вышек.

А от вышек дальних вдоль зоны хо-го сколько топаты! Как последнего ээка из зоны выведут и счет сойдется — тогда только по телефону на все вышки звонят: сойти! И если начкар умный — тут же и трогает, знает, что ээку бежать некуда и что те, с вышек, колонну нагонят. А какой начкар дурак — боится, что ему войска не хватит против ээков, и ждет.

Из тех остолопов и сегодняшней начкар. Ждет.

Целый день на морозе ээки, смерть чистая, так озябли. И, после съема стоячи, целый час зябнуть. Но и все ж их не так мороз разбирает, как зло: пропал вечер! Уж никаких дел в зоне не сделаешь.

— А откуда вы так хорошо знаете быт английского флота? — спрашивают в соседней пятерке.

— Да, видите ли, я прожил почти целый месяц на английском крейсере, имел там свою каюгу. Я сопровождал морской конвой. Был офицером связи у них. И еще, представляете, после войны английский адмирал, черт его дернул, прислал мне памятный подарок. «В знак благодарности». Удивляюсь и проклинаю!.. И вот — всех в кучу одну... С бендеровцами тут сидеть — удовольствие маленькое.

Чудно. Чудно вот так посмотреть: степь голая, зона покинутая, снег под месяцем блещет. Конвоиры уже расстановились — десять шагов друг от друга, оружие на изготовку. Стадо черное этих ээков, и в таком же бушлате — Ц-311 — человек, кому без золотых погонов и жизни было

не знато, с адмиралом английским якшался, а теперь с Фетюковым носилки таскает.

Человека можно и так повернуть, и так...

Ну, собрался конвой. Без молитвы прямо:

— Шагом марш! Побыстрой!

Нет уж, хрен вам теперь — побыстрой! Ото всех объектов отстали, так спешить нечего. Зэки и не сговариваясь поняли все: вы нас держали — теперь мы вас подержим. Вам небось тоже к теплу хоц-ца...

— Шире шаг! — кричит начкар. — Шире шаг, направляющийся!

Хрен тебе — «шире шаг!» Идут зэки размеренно, понурясь, как на похороны. Нам уже терять нечего, все равно в лагерь последние. Не хотел по-человечески с нами — хоть разорвись теперь от крику.

Покричал-покричал начкар «шире шаг!» — понял: не пойдут зэки быстрее. И стрелять нельзя: идут пятерками, колонной, согласно. Нет у начкара власти гнать зэков быстрее. (Утром только этим зэки и спасаются, что на работу тянутся медленно. Кто быстро бегаёт, тому сроку в лагере не дожить — упарится, свалится.)

Так и пошли ровненько, аккуратно. Скрипят себе снежком. Кто разговаривает тихонько, а кто и так. Стал Шухов вспоминать — чего это он с утра еще в зоне не доделал? И вспомнил — санчасть! Вот диво-то, совсем про санчасть забыл за работой.

Как раз сейчас прием в санчасти. Еще б можно успеть, если не поужинать. Так теперь вроде и не ломает. И температуры не намерят... Время тратить! Перемогся без докторов. Доктора эти в бушлат деревянный залечат.

Не санчасть его теперь манила — а как бы еще к ужину добавить? Надежда вся была, что Цезарь посылку получит, уж давно ему пора.

И вдруг колонну зэков как подменили. Заколыхалась, сбилась с ровной ноги, дернулась, загудела, загудела — и вот уже хвостовые пятерки и середь них Шухов не стали догонять идущих впереди, стали подбегать за ними. Пройдут шагов несколько и опять бегом.

Как хвост на холм вывалил, так и Шухов увидел: справа от них, далеко в степи, чернелась еще колонна, шла она нашей колонне наперекос и, должно быть увидав, тоже припустила.

Могла быть эта колонна только мехзавода, в ней человек триста. И им, значит, не повезло, задержали тоже. А их за что? Их, случается, и по работе задерживают: машину какую не доремонтировали. Да им-то попустя, они в тепле целый день.

Ну, теперь кто кого! Бегут ребята, просто бегут. И конвой взялся рысцой, только начкар покрикивает:

— Не растягиваться! Сзади подтянуться! Подтянуться!

Да драть тебя в лоб, что ты гавкаешь? Неужто мы не подтягиваемся?

И кто о чем говорил, и кто о чем думал — все забыли, и один остался во всей колонне интерес:

— Обогнать! Обжать!

И так все смешалось, кислое с пресным, что уже конвой зэкам не враг, а друг. Враг же — та колонна, другая.

Развеселились сразу все, и зло прошло.

— Давай! Давай! — задние передним кричат.

Дорвалась наша колонна до улицы, а мехзаводская позади жилого квартала скрылась. Пошла гонка втемную.

Тут нашей колонне торней стало, посеред улицы. И конвоирам с боков тоже не так спотычливо. Тут-то мы их и обжать должны!

Еще потому мехзаводцев обжать надо, что их на лагерной вахте особо долго шмоняют. С того случая, как в лагере резать стали, начальство считает, что ножи делаются на мехзаводе, в лагерь притекают

оттуда. И потому на входе в лагерь мехзаводцев особо шмоняют. Поздней осенью, уж земля стуженая, им все кричали:

— Снять ботинки, мехзавод! Взять ботинки в руки!

Так босиком и шмоняли.

А и теперь, мороз не мороз, гкнут по выбору:

— А ну-ка, сними правый валенок! А ты — левый сними!

Снимет валенок зэк и должен, на одной ноге пока прыгая, тот валенок опрокинуть и портянкой потрясти — мол, нет ножа.

А слышал Шухов, не знает — правда ли, неправда, — что мехзаводцы еще летом два волейбольных столба в лагерь принесли и в тех-то столбах были все ножи запрятаны. По десять длинных в каждом. Теперь их в лагере и находят изредка — там, здесь.

Так полубегом клуб новый миновали, и жилой квартал, и деревообделочный — и выперли на прямой поворот к лагерной вахте.

— Ху-гу-у! — колонна так и кликнет единым голосом.

На этот-то стык дорог и метили! Мехзаводцы — метров полтораста справа, отстали.

Ну, теперь спокойно пошли. Рады все в колонне. Заячья радость: мол, лягушки еще и нас боятся.

И вот — лагерь. Какой утром оставили, такой он и сейчас: ночь, огни по зоне над сплошным забором и особо густо горят фонари перед вахтой, вся площадка для шмона как солнцем залита.

Но, еще не доходя вахты...

— Стой! — кричит помначкар. И, отдав автомат свой солдату, подбегает к колонне близко (им с автоматом не велят близко). — Все, кто справа стоят и дрова в руках, — брось дрова направо!

А снаружи-то их открыто и несли, ему всех видно. Одна, другая вязочка полетела, третья. Иные хотят укрыть дровишки внутрь колонны, а соседи на них:

— Из-за тебя и у других отымут! Бросай по-хорошему!

Кто арестанту главный враг? Другой арестант. Если б арестанты друг с другом не сучились — э-эх!..

— Ма-арш! — кричит помначкар.

И пошли к вахте.

К вахте сходятся пять дорог, часом раньше на них все объекты толпились. Если по этим всем дорогам да застраивать улицы, так не иначе на месте этой вахты и шмона в будущем городе будет главная площадь. И как теперь объекты со всех сторон прут, так тогда демонстрации будут сходиться.

Надзиратели уж на вахте грелись. Выходят, поперек дороги становятся.

— Рас-стегнуть бушлаты! Телогрейки расстегнуть!

И руки разводят. Обнимать собираются, шмоня. По бокам хлопать. Ну как утром, в общем.

Сейчас расстегивать не страшно, домой идем.

Так и говорят все — «домой».

О другом доме за день и вспомнить некогда.

Уж голову колонны шмоняли, когда Шухов подошел к Цезарю и сказал:

— Цезарь Маркович! Я от вахты побегу сразу в посылочную и займу очередь.

Повернул Цезарь к Шухову усы литые, черные, а сейчас белые снизу:

— Чего ж, Иван Денисыч, занимать? Может, и посылки не будет.

— Ну, а не будет — мне лихо какое? Десять минут подожду, не придете — я и в барак.

(Сам Шухов думает: не Цезарь, так, может, кто другой придет, кому место продать в очереди.)

Видно, истомился Цезарь по посылке:

— Ну ладно, Иван Денисыч, беги, занимай. Десять минут жди, не больше.

А уж шмон вот-вот, достигает. Сегодня от шмона прятать Шухову нечего, подходит он безбоязно. Расстегнул бушлат, не торопясь, и телогрейку тоже распустил под брезентовым пояском.

И хотя ничего он за собой запрещенного не помнил сегодня, но настроенность восьми лет сидки вошла в привычку. И он сунул руку в брючный наколенный карман — проверить, что там пусто, как он и знал хорошо.

Но там была ножовка, кусок ножовочного полотна! Ножовка, которую из хозяйственности он подобрал сегодня среди рабочей зоны и вовсе не собирался пронести в лагерь.

Он не собирался ее пронести, но теперь, когда уже донес, — бросать было жалко край! Ведь ее отточить в маленький ножичек — хоть на сапожный лад, хоть на портновский!

Если б он думал ее пронести, он бы придумал хорошо и как спрятать. А сейчас оставалось всего два ряда перед ним, и вот уже первая из этих пятерок отделилась и пошла на шмон.

И надо было быстрее ветра решать: или, затеясь последней пятеркой, незаметно сбросить ее на снег (где ее следом найдут, но не будут знать чья), или нести!

За ножовку эту могли дать десять суток карцера, если бы признали ее ножом.

Но сапожный ножичек был заработок, был хлеб!

Бросать было жалко.

И Шухов сунул ее в ватную варежку.

Тут скомандовали пройти на шмон следующей пятерке.

И на полном свету их осталось последних трое: Сенька, Шухов и парень из 32-й, бегавший за молдаваном.

Из-за того, что их было трое, а надзирателей стояло против них пять, можно было словчить — выбрать, к кому из двух правых подойти. Шухов выбрал не молодого румяного, а седоусого старого. Старый был, конечно, опытен и легко бы нашел, если б захотел, но потому что он был старый, ему должна была служба его надоесть хуже серы горючей.

А тем временем Шухов обе варежки, с ножовкой и пустую, снял с рук, захватил их в одну руку (варежку пустую вперед оттопыря), в ту же руку схватил и веревочку-опояску, телогрейку расстегнул дочиста, полы бушлата и телогрейки угодливо подхватил вверх (никогда он так услужлив не был на шмоне, а сейчас хотел показать, что открыт он весь — на, бери меня!) — и по команде пошел к седоусому.

Седоусый надзиратель обхлопал Шухова по бокам и спине, по наколенному карману сверху хлопнул — нет ничего, промял в руках полы телогрейки и бушлата, тоже нет. и, уже отпуская, для верности смял в руке еще выставленную варежку Шухова — пустую.

Надзиратель варежку сжал, а Шухова внутри клешнями сжало. Еще один такой жим по второй варежке — и он горел в карцер на триста грамм в день, и горячая пища только на третий день. Сразу он представил, как ослабеет там, оголодает и трудно ему будет вернуться в то жилистое, не голодное и не сытое состояние, что сейчас.

И тут же он остро, возносившись помолится про себя: «Господи! Спаси! Не дай мне карцера!»

И все эти думки пронеслись в нем только, пока надзиратель первую варежку смял и перенес руку, чтоб так же смять вторую заднюю (он

смял бы их зараз двумя руками, если бы Шухов держал варежки в разных руках, а не в одной). Но тут послышалось, как старший на шмоне, торопясь скорей освободиться, крикнул конвою:

— Ну, подводи мехзавод!

И седоусый надзиратель, вместо того чтобы взяться за вторую варежку Шухова, махнул рукою — проходи, мол. И отпустил.

Шухов побежал догонять своих. Они уже выстроены были по пять меж двумя долгими бревенчатыми переводинами, похожими на коновязь базарную и образующими как бы загон для колонны. Бежал он легкий, земли не чувствуя, и не помолился еще раз, с благодарностью, потому что некогда было, да уже и некстати.

Конвой, который вел их колонну, весь теперь ушел в сторону, освобождая дорогу для конвоя мехзавода, и ждал только своего начальника. Дрова все, брошенные их колонной до шмона, конвоиры собрали себе, а дрова, отобранные на самом шмоне надзирателями, собраны были в кучу у вахты.

Месяц выкатывал все выше, в белой светлой ночи настаивался мороз.

Начальник конвоя, идя на вахту, чтоб там ему расписку вернули за четыреста шестьдесят три головы, поговорил с Пряхой, помощником Волкового, и тот крикнул:

— Кэ — четыреста шестьдесят!

Молдаван, схоронившийся в гущу колонны, вздохнул и вышел к правой переводине. Он так же все голову держал поникшей и в плечи вобранной.

— Иди сюда! — показал ему Пряха вокруг коновязи.

Молдаван обошел. И велено ему было взять назад и стоять тут.

Значит, будут паять ему попытку к побегу. В БУР возьмут.

Не доходя ворот, справа и слева за загоном, стали два вахтера, ворота в три роста человеческих раскрылись медленно, и послышалась команда:

— Раз-зберись по пяты! («Отойди от ворот» тут не надо: всякие ворота всегда внутрь зоны открываются, чтоб, если ээки и толпой изнутри на них наперли, не могли бы высадить.) Первая! Вторая! Третья!..

Вот на этом-то вечернем пересчете, сквозь лагерные ворота возвращаясь, зэк за весь день более всего обветрен, вымерз, выголодал — и черпак обжигающих вечерних пустых щей для него сейчас, что дождь в сухмень, — разом втянет он их начисто. Этот черпак для него сейчас дороже воли, дороже жизни всей прежней и всей будущей жизни.

Входя сквозь лагерные ворота, ээки, как воины с похода, — звонки, кованы, размашисты — пá-сторонись!

Придурку от штабного барака смотреть на вал входящих ээков — страшно.

Вот с этого-то пересчета, в первый раз с тех пор, как в полседьмого утра дали звонок на развод, зэк становится свободным человеком. Прошли большие ворота зоны, прошли малые ворота предзонника, по линейке еще меж двух прясел прошли — и теперь рассыпайся кто куда.

Кто куда, а бригадиров нарядчик ловит:

— Бригадиры! В ППЧ!

Шухов бросился мимо БУРа, меж бараков — и в посылочную. А Цезарь пошел, себя не роняя, размеренно, в другую сторону, где вокруг столба уже кишмя кишело, а на столбе была прибита фанерная дощечка и на ней карандашом химическим написаны все, кому сегодня посылка.

На бумаге в лагере меньше пишут, а больше — на фанере. Оно как-то гверже, вернее — на доске. На ней и вертухаи и нарядчики счет головам ведут. А назавтра соскоблил — и снова пиши. Экономия.

Кто в зоне остается, еще так ш е с т е р я т: прочтут на дощечке, кому посылка, встречают его тут, на линейке, сразу и номер сообщают. Много не много, а сигаретку и такому дадут.

Добежал Шухов до посылочной — при бараке пристройка, а к той пристройке еще прилепили тамбур. Тамбур снаружи без двери, свободно холод ходит, — а в нем все ж будто обжигей, ведь под крышею.

В тамбуре очередь вдоль стенки загнулась. Занял Шухов. Человек пятнадцать впереди, это больше часу, как раз до отбоя. А уж кто из тэцовской колонны пошел список посмотреть, те позади Шухова будут. И мехзаводские все. Им за посылкой как бы не второй раз приходиться, завтра с утра.

Стоят в очереди с торбочками, с мешочками. Там, за дверью (сам Шухов в этом лагере еще ни разу не получал, но по разговорам), вскрывают ящик посылочный топориком, надзиратель все своими руками вынимает, просматривает. Что разрежет, что переломит, что прощупает, пересыплет. Если жидкость какая, в банках стеклянных или жестяных. откупорят и выливают тебе, хоть руки подставляй, хоть полотенце кулечком. А банок не отдают, боятся чего-то. Если из пирогов, сладостей подиковинней что или колбаса, рыбка, так надзиратель и откусит. (А залупись попробуй — сейчас придерется, что запрещено, а что не положено — и не выдаст. С надзирателя начиная, кто посылку получает, должен давать, давать и давать.) А когда посылку кончат шмонять, опять же и ящика посылочного не дают, а сметай себе все в торбочку, хоть в полу бушлатную — и отваливай, следующий. Так заторопят иного, что он и забудет, чего на стойке. За этим не возвращайся. Нету.

Еще когда-то в Усть-Ижме Шухов получил посылку пару раз. Но и сам жене написал: впустую, мол, проходят, не шли, не отрывай от ребятишек.

Хотя на воле Шухову легче было кормить семью целую, чем здесь одного себя, но знал он, чего те передачи стоят, и знал, что десять лет с семьи их не потянешь. Так лучше без них.

Но хоть так он решил, а всякий раз, когда в бригаде кто-нибудь или в бараке близко получал посылку (то есть почти каждый день), щемило его, что не ему посылка. И хоть он накрепко запретил жене даже к пасхе присылать и никогда не ходил к столбу со списком, разве что для богатого бригадника, — он почему-то ждал иногда, что прибегут и скажут:

— Шухов! Да что ж ты не идешь? Тебе посылка!

Но никто не прибежал...

И вспомнить деревню Темгенево и избу родную еще меньше и меньше было ему поводов... Здешняя жизнь трепала его от подъема и до отбоя, не оставляя праздных воспоминаний.

Сейчас, стоя среди тех, кто гешил свое нутро близкой надеждой врезаться зубами в сало, намазать хлеб маслом или усластить сахарком кружку, Шухов держался на одном только желании: успеть в столовую со своей бригадой и баланду съесть горячей, а не холодной. Холодная и полцены не имела против горячей.

Он рассчитывал, что если Цезаря фамилии в списке не оказалось, то уж давно он в бараке и умывается. А если фамилия нашлась, так он мешочки теперь собирает, кружки пластмассовые, тару. Для того десять минут и пообещался Шухов ждать.

Тут, в очереди, услышал Шухов и новость: воскресенья опять не будет на этой неделе, опять зажиливают воскресенье. Так он и ждал, и все ждали так: если пять воскресений в месяце, то три дают, а два на работу гонят. Так он и ждал, а услышал — повело всю душу, перекивило: воскресеньице-то кровное кому не жалко? Ну да правильно в очереди

говорят: выходной и в зоне надсадить умеют, чего-нибудь изобретут — или баню пристраивать, или стену городить, чтобы проходу не было, или расчистку двора. А то смену матрасов, вытряхивание, да клопов морить на вагонках. Или проверку личности по карточкам затеют. Или инвентаризацию: выходи со всеми вещами во двор, сиди полдня.

Больше всего им, наверно, досаждают, если зэк спит после завтрака.

Очередь, хоть и медленно, а подвигалась. Зашли без очереди, никого не спросив, оттолкнув переднего, — парикмахер один, один бухгалтер и один из КВЧ. Но это были не серые зэки, а твердые лагерные придурки, первые сволочи, сидевшие в зоне. Людей этих работяги считали ниже дерьма (как и те ставили работяг). Но спорить с ними было бесполезно: у придурни меж собой спайка и с надзираемыми тоже.

Оставалось все же впереди Шухова человек десять, и сзади семь человек набежало — и тут-то в пролом двери, нагибаясь, вошел Цезарь в своей меховой новой шапке, присланной с воли. (Тоже вот и шапка. Кому-то Цезарь подмазал, и разрешили ему носить чистую новую городскую шапку. А с других даже обтрепанные фронтовые посдирали и дали лагерные, свиначьего меха.)

Цезарь Шухову улыбнулся и сразу же с чудачком в очках, который в очереди все газету читал:

— Аа-а! Петр Михалыч!

И — расцвели друг другу, как маки. Тот чудак:

— А у меня «Вечерка» свежая, смотрите! Бандеролью прислали.

— Да ну?! — И суется Цезарь в ту же газету. А под потолком лампочка слепенькая-слепенькая, чего там можно мелкими буквами разобрать?

— Тут интереснейшая рецензия на премьеру Завадского!..

Они, москвичи, друг друга издаля чувят, как собаки. И, сойдясь, все обнюхиваются, обнюхиваются по-своему. И лопочут быстро-быстро, кто больше слов скажет. И когда так лопочут, так редко русские слова попадают, слушать их — все равно как латышей или румын.

Однако в руке у Цезаря мешочки все собраны, на месте.

— Так я это... Цезарь Маркович... — шепелявит Шухов. — Может, пойду?

— Конечно, конечно. — Цезарь усы черные от газеты поднял. — Так, значит, за кем я? Кто за мной?

Растолковал ему Шухов, кто за кем, и, не ждя, что Цезарь сам насчет ужина вспомнит, спросил:

— А ужин вам принести?

(Это значит — из столовой в барак, в котелке. Носить никак нельзя, на то много было приказов. Ловят, и на землю из котелка выливают, и в карцеры сажают — и все равно носят и будут носить, потому что у кого дела, тот никогда с бригадой в столовую не поспеет.)

Спросил, принести ли ужин, а про себя думает: «Да неужто ты шквалыгой будешь? Ужина мне не подаришь? Ведь на ужин каши нет, баланда одна голая!..»

— Нет, нет, — улыбнулся Цезарь, — ужин сам ешь, Иван Денисыч! Только этого Шухов и ждал! Теперь-то он, как птица вольная, выпорхнул из-под гамбурной крыши — и по зоне, и по зоне!

Снуют зэки во все концы! Одно время начальник лагеря еще такой приказ издал: никаким заключенным в одиночку по зоне не ходить. А куда можно — вести всю бригаду одним строем. А куда всей бригаде сразу никак не надо — скажем, в санчасть или в уборную, — то сколачивать группы по четыре-пять человек, и старшего из них назначать, и чтобы вел своих строем туда, и там дожидался, и назад — тоже строем.

Очень начальник лагеря упирался в тот приказ. Никто перечить ему

не смел. Надзиратели хватали одиночек, и номера писали, и в БУР таскали — а поломался приказ. Натихую, как много шумных приказов ломается. Скажем, вызывают же сами человека к оперу — так не посылать с ним команды! Или тебе за продуктами своими в каптерку надо, а я с тобой зачем пойду? А тот в КВЧ надумал, газеты читать, да кто ж с ним пойдет? А тому валенки на починку, а тому в сушилку, а тому из барака в барак просто (из барака-то в барак пуше всего запрещено!) — как их удержишь?

Приказом тем хотел начальник еще последнюю свободу отнять, но и у него не вышло, пузатого.

По дороге до барака, встретив надзирателя и шапку перед ним на всякий случай приподняв, забежал Шухов в барак. В бараке — галдеж: у кого-то пайку днем увели, на дневальных кричат, и дневальные кричат. А угол 104-й пустой.

Уж тот вечер считает Шухов благополучным, когда в зону вернулись, а тут матрасы не переверочены, шмона днем в бараках не было.

Метнулся Шухов к своей койке, на ходу бушлат с плеч скидывая. Бушлат — наверх, варежки с ножовкой — наверх, шупанул матрас в глубину — утренний кусок хлеба на месте! Порадовался, что зашил.

И — бегом наружу! В столовую!

Прошнырнул до столовой, надзирателю не попавшись. Только эки брели навстречу, споря о пайках.

На дворе все светлей в сиянии месячном. Фонари везде поблекли, а от бараков — черные тени. Вход в столовую — через широкое крыльцо с четырьмя ступенями, и то крыльцо сейчас — в тени тоже. Но над ним фонарик побалтывается, визжит на морозе. Радужно светятся лампочки, от мороза ли, от грязи.

И еще был приказ начальника лагеря строгий: бригадам в столовую ходить строем по два. Дальше приказ был: дойдя до столовой, бригадам на крыльцо не всходить, а перестраиваться по пять и стоять, пока дневальный по столовой их не впустит.

Дневальным по столовой цепко держался Хромой. Хромоту свою в инвалидность провел, а дюжий, стерва. Завел себе посох березовый и с крыльца этим посохом гвоздит, кто не с его команды лезет. А не всякого. Быстрометчив Хромой и в темноте в спину опознает — того не ударит, кто ему самому в морду даст. Прибитых бьет. Шухова раз гвозданул.

Название — «дневальный». А разобраться — князь! — с поварами дружит!

Сегодня не то бригады поднавалили все в одно время, не то порядки долго наводили, только густо крыльцо облеплено, а на крыльце Хромой, шестерка Хромого и сам завстоловой. Без надзирателей управляют, полканы.

Завстоловой — откормленный гад, голова как тыква, в плечах аршин. До того силы в нем избывают, что ходит он — как на пружинах дергается, будто ноги в нем пружинные и руки тоже. Носит шапку белого пуха без номера, ни у кого из вольных такой шапки нет. И носит меховой жилет барашковый, на том жилете на груди — маленький номерок, как марка почтовая, — Волковому уступка, а на спине и такого номера нет. Завстоловой никому не кланяется, а его все эки боятся. Он в одной руке тысячи жизней держит. Его хотели побить раз, так все повара на защиту выскочили, мордovorоты на подбор.

Беда теперь будет, если 104-я уже прошла, — Хромой весь лагерь знает в лицо и при заве ни за что с чужой бригадой не пустит, нарочно изгалится.

Тоже и за спиной Хромого через перила крыльечные иногда перелезают, лазил и Шухов. А сегодня при заве не перелезешь — съездит по салазкам, пожалуй, так, что в санчасть поташишься.

Скорей, скорей к крыльцу, средь черных всех одинаковых бушлатов дознаться во теми, здесь ли еще 104-я.

А тут как раз поднаперли, поднаперли бригады (деваться некуда — уж отбой скоро!) и как на крепость лезут — одну, вторую, третью, четвертую ступеньку взяли, ввалили на крыльцо!

— Стой, ..яди! — Хромой орет и палку поднял на передних. — Осади! Сейчас кому-то расквашу!

— Да мы при чем? — передние орут. — Сзади толкают!

Сзади-то сзади, это верно, толкачи, но и передние не шибко сопротивляются, думают в столовую влететь.

Тогда Хромой перехватил свой посох поперек груди, как шлагбаум закрытый, да изо всей прыти как кинется на передних! И помощник Хромого, шестерка, тоже за тот посох схватился, и завстоловой сам не побрезговал руки марать — тоже.

Двинули они круто, а силы у них немереные, мясо едят — отпятили! Сверху вниз опрокинули передних на задних, на задних, прямо повалили, как снопы.

— Хромой грёбаный... в лоб тебя драть!.. — кричат из толпы, но скрываясь. Остальные упали молча, подымаются молча, поживей, пока их не затоптали.

Очистили ступеньки. Завстоловой отошел по крыльцу, а Хромой на ступеньке верхней стоит и учит:

— По пять разбирается, головы бараньи, сколько раз вам говорить?! Когда нужно, тогда и пушу!

Углядел Шухов перед самым крыльцом вроде Сеньки Клевшина голу, обрадовался жутко, давай скорее локтями туда пробиваться. Спины сдвинули — ну, нет сил, не пробьешься.

— Двадцать седьмая! — Хромой кричит. — Проходи!

Выскочила 27-я по ступенькам, да скорей к дверям. А за ней опять поперлись все по ступенькам, и задние прут. И Шухов тоже прет силодёрмом. Крыльцо трясут, фонарь над крыльцом повизгивает.

— Опять, падлы? — Хромой ярится. Да палкой, палкой кого-то по плечам, по спине, да спихивает, спихивает одних на других.

Очистил снова.

Видит Шухов снизу — взошел рядом с Хромым Павло. Бригаду сюда водит он, Тюрин в толкотню эту не ходит пачкаться.

— Раз-берись по пять, сто четвёртая! — Павло сверху кричит. — А вы посуньтесь, друзья!

Хрен тебе друзья посунутся!

— Да пусти ж, ты, спина! Я из той бригады! — Шухов трясет.

Тот бы рад пустить, но жмут и его отовсюду.

Качается толпа, душится — чтобы баланду получить. Законную баланду.

Тогда Шухов иначе: слева к перилам прихватился, за столб крыльечный руками перебрал и — повис, от земли оторвался. Ногами кому-то в колена ткнулся, его по боку огрели, матернули пару раз, а уж он пронырнул: стал одной ногой на карниз крыльца у верхней ступеньки и ждет. Увидели его свои ребята, руку протянули.

Завстоловой, уходя, из дверей оглянулся:

— Давай, Хромой, еще две бригады!

— Сто четвертая! — Хромой крикнул. — А ты куда, падло, лезешь?

И — посохом по шее того, чужого.

— Сто четвёртая! — Павло кричит, своих пропускает.

— Фу-у! — выбился Шухов в столовую. И не ждя, пока Павло ему скажет, — за подносами, подносы свободные искать.

В столовой, как всегда, — пар клубами от дверей, за столами сидят один к одному, как семечки в подсолнухе, меж столами бродят, толкаются, кто пробивается с полным подносом. Но Шухов к этому за столько лет привычен, глаз у него острый и видит: Щ-208 несет на подносе пять мисок всего, значит — последний поднос в бригаде, иначе бы — чего ж не полный?

Настиг его и в ухо ему сзади наговаривает:

— Браток! Я на поднос — за тобой!

— Да там у окошка ждет один, я обещал...

— Да лапоть ему в рот, что ждет, пусть не зевает!

Договорились.

Донес тот до места, разгрузил, Шухов схватился за поднос, а и тот набежал, кому обещано, за другой конец подноса тянет. А сам щуплей Шухова. Шухов его туда же подносом двинул, куда тянет, он отлетел к столбу, с подноса руки сорвались. Шухов — поднос под мышку и бегом к раздаче.

Павло в очереди к окошку стоит, без подносов скучает. Обрадовался:

— Иван Денисович! — И переднего помбрига 27-й отталкивает: — Пусти! Чого зря стоишь? У мэне подносы ё!

Глядь, и Гопчик, плутишка, поднос волокет.

— Они зазевались, — смеется, — а я утянул!

Из Гопчика правильный будет лагерник. Еще года три подучится, подрастет — меньше как хлебрезом ему судьбы не прочат.

Второй поднос Павло велел взять Ермолаеву, здоровому сибиряку (тоже за плен десятку получил). Гопчика послал приискивать, на каком столе «вечерять» кончают. А Шухов поставил свой поднос углом в раздаточное окошко и ждет.

— Сто четвертая! — Павло докладает в окошко.

Окошек всего пять: три раздаточных общих, одно для тех, кто по списку кормится (больных язвенных человек десять, да по благу бухгалтерия вся), еще одно — для возврата посуды (у того окна дерутся, кто миски лижет). Окошки невысоко — чуть повыше пояса. Через них поваров самих не видно, а только руки их видно и черпаки.

Руки у повара белые, холеные, а волосатые, здоровы. Чистый боксер, а не повар. Карандаш взял и у себя на списке на стенке отметил:

— Сто четвертая — двадцать четыре!

Пантелеев-то приволокся в столовую. Ничего он не болен, сука.

Повар взял здоровый черпачище литра на три и им — в баке мешать, мешать, мешать (бак перед ним новозалитый, недалеко до полна, пар так и валит). И, перехватив черпак на семьсот пятьдесят грамм, начал им, далеко не окуная, черпать.

— Раз, два, три, четыре...

Шухов приметил, какие миски набраты, пока еще гушина на дно бака не осела, и какие по-холостому — жижа одна. Уставил на своем подносе десять мисок и понес. Гопчик ему машет от вторых столбов:

— Сюда, Иван Денисыч, сюда!

Миски нести — не рукавом трясти. Плавно Шухов переступает, чтобы подносу ни толчка не передалось, а горлом побольше работает:

— Эй, ты, Хэ — девятьсот двадцать!.. Поберегись, дядя!.. С дороги, парень!

В толчее такой и одну-то миску, не расплескавши, хитро пронести, а тут — десять. И все же на освобожденный Гопчиком конец стола поставил подносики мягонько, и свежих плесков на нем нет. И еще смекнул,

каким поворотом поставил, чтобы к углу подноса, где сам сейчас сядет, были самые две миски густые.

И Ермолаев десять поднес. А Гопчик побежал, и с Павлом четыре последних принесли в руках.

Еще Кильгас принес хлеб на подносе. Сегодня по работе кормят — кому двести, кому триста, а Шухову — четыреста. Взял себе четыреста, горбушку, и на Цезаря двести, серединку.

Тут и бригадники со всей столовой стали стекаться — получить ужин, а уж хлебай, где сядешь. Шухов миски раздает, запоминает, кому дал, и свой угол подноса блюдет. В одну из мисок густых опустил ложку — занял, значит. Фетюков свою миску из первых взял и ушел: расчел, что в бригаде сейчас не разживешься, а лучше по всей столовой походить — пошакалить, может, кто не доест (если кто не доест и от себя миску отодвинет — за нее, как коршуны, хватаются иногда сразу несколько).

Подсчитали порции с Павлом, как будто сходятся. Для Андрея Прокофьевича подсунул Шухов миску из густых, а Павло перелил в узкий немецкий котелок с крышкой: его под бушлатом можно пронести, к груди прижав.

Подносы отдали. Павло сел со своей двойной порцией, и Шухов со своими двумя. И больше у них разговору ни об чем не было, святые минуты настали.

Снял Шухов шапку, на колена положил. Проверил одну миску ложкой, проверил другую. Ничего, и рыбка попадает. Вообще-то по вечерам баланда всегда жиже много, чем утром: утром зэка надо накопить, чтоб он работал, а вечером и так уснет.

Начал он есть. Сперва жижицу одну прямо пил, пил. Как горячее пошло, разлилось по его телу — аж нутро его все трепыхается навстречу баланде. Хор-рошо! Вот он, миг короткий, для которого и живет зэк!

Сейчас ни на что Шухов не в обиде: ни что срок долгий, ни что день долгий, ни что воскресенья опять не будет. Сейчас он думает: переживем! Переживем все, даст бог, кончится!

С той и с другой миски жижицу горячую отпив, он вторую миску в первую слил, сбросил и еще ложкой выскреб. Так оно спокойней как-то, о второй миске не думать, не стеречь ее ни глазами, ни рукой.

Глаза освободились — на соседские миски покосился. Слева у соседа — так одна вода. Вот гады, что делают, свои же зэки!

И стал Шухов есть капусту с остатком жижи. Картошинка ему попалась на две миски одна — в Цезаревой миске. Средняя такая картошинка, мороженая, конечно, с твердинкой и подслаженная. А рыбки почти нет, изредка хребтик оголенный мелькнет. Но и каждый рыбий хребтик и плавничок надо прожевать — из них сок высосешь, сок полезный. На все то, конечно, время надо, да Шухову спешить теперь некуда, у него сегодня праздник: в обед две порции и в ужин две порции оторвал. Такого дела ради остальные дела и оставить можно.

Разве к латышу сходить за табаком. До утра табаку может и не остаться.

Ужинал Шухов без хлеба: две порции да еще с хлебом — жирно будет, хлеб на завтра пойдет. Брюхо — злодей, старого добра не помнит, завтра опять спросит.

Шухов доелал свою баланду и не очень старался замечать, кто вокруг, потому что не надо было: за новым ничем он не охотился, а ел свое законное. И все ж он заметил, как прямо через стол против него освободилось место и сел старик высокий Ю-81. Он был, Шухов знал, из 64-й бригады, а в очереди в посылочной слышал Шухов, что 64-я-то и ходила сегодня на Соцгородок вместо 104-й и целый день без обогрева проволоку колючую тянула — сама себе зону строила.

Об этом старике говорили Шухову, что он по лагерям да по тюрьмам сидит несчетно и ни одна амнистия его не прикоснулась, а как одна десятка кончалась, так ему сразу новую совали.

Теперь рассмотрел его Шухов вблизи. Изю всех пригорбленных лагерных спин его спина отменна была прямизною, и за столом казалось, будто он еще сверх скамейки под себя что подложил. На голове его голой стричь давно было нечего — волоса все вылезли от хорошей жизни. Глаза старика не юрили вслед всему, что делалось в столовой, а поверх Шухова невидяще уперлись в свое. Он мерно ел пустую баланду ложкой деревянной, надшербленной, но не уходил головой в миску, как все, а высоко носил ложки ко рту. Зубов у него не было ни сверху, ни снизу ни одного: окостеневшие десны жевали хлеб за зубы. Лицо его все вымотано было, но не до слабости фтиля-инвалида, а до камня тесаного, темного. И по рукам, большим, в трещинах и черноте, видать было, что немного выпадало ему за все годы отсиживаться придурком. А заселотак в нем, не примирится: трехсотграммовку свою не ложит, как все, на нечистый стол в росплесках, а — на тряпочку стирающую.

Однако Шухову некогда было долго разглядывать его. Окончивши есть, ложку облизнув и засунув в валенок, нахлобучил он шапку, встал, взял пайки, свою и Цезареву, и вышел. Выход из столовой был через другое крыльцо, и там еще двое дневальных стояло, которые только и знали, что скинуть крючок, выпустить людей и опять крючок накинуть.

Вышел Шухов с брюхом набитым, собой довольный, и решил так, что хотя отбой будет скоро, а сбегать-таки к латышу. И, не занося хлеба в девятый, он шажисто погнал в сторону седьмого барака.

Месяц стоял куда высоко и как вырезанный на небе, чистый, белый. Небо все было чистое. И звезды кой-где — самые яркие. Но на небо смотреть еще меньше было у Шухова времени. Одно понимал он — что мороз не отпускает. Кто от вольных слышал, передавали: к вечеру ждут тридцать градусов, к утру — до сорока.

Слышать было очень издали: где-то трактор гудел в поселке, а в стороне шоссе экскаватор повизгивал. И от каждой пары валенок, кто в лагере где шел или перебегал, — скрип.

А ветру не было.

Самосад должен был Шухов купить, как и покупал раньше, — рубль стакан, хотя на воле такой стакан стоил три рубля, а по сорту и дороже. В каторжном лагере все цены были свои, ни на что не похожие, потому что денег здесь нельзя было держать, мало у кого они были и очень были дороги. За работу в этом лагере не платили ни копейки (в Усть-Ижме хоть тридцать рублей в месяц Шухов получал). А если кому родственники присылали по почте, тех денег не давали все равно, а зачисляли на лицевой счет. С лицевого счету в месяц раз можно было в ларьке покупать мыло туалетное, гнилые пряники, сигареты «Прима». Нравится товар, не нравится — а на сколько заявление начальнику написал, на столько и закупай. Не купишь — все равно деньги пропали, уж они списаны.

К Шухову деньги приходили только от частной работы: тапочки сошьешь из тряпок давальца — два рубля, телогрейку вылатаешь — тоже по уговору.

Седьмой барак не такой, как девятый, не из двух больших половин. В седьмом бараке коридор длинный, из него десять дверей, в каждой комнате бригада, наткано по семь вагонок в комнату. Ну, еще кабина под парашной, да старшего барака кабина. Да художники живут в кабине.

Зашел Шухов в ту комнату, где его латыш. Лежит латыш на нижних нарах, ноги наверх поставил, на откосину, и с соседом по-латышски горгочет.

Подсел к нему Шухов. Здравствуйте, мол. Здравствуйте, тот ног не спускает. А комната маленькая, все сразу прислушиваются — кто пришел, зачем пришел. Оба они это понимают, и поэтому Шухов сидит и тянет: ну, как живете, мол? Да ничего. Холодно сегодня. Да.

Дождался Шухов, что все опять свое заговорили (про войну в Корею спорят: оттого-де, что китайцы вступились, так будет мировая война или нет), наклонился к латышу:

— Самосад есть?

— Есть.

— Покажи.

Латыш ноги с откосины снял, спустил их в проход, приподнялся. Жйла этот латыш, стакан как накладывает — всегда трусится, боится на одну закурку больше положить.

Показал Шухову кисет, вздержку раздвинул.

Взял Шухов щепотку на ладонь, видит: тот самый, что и прошлый раз, буроватый и резки той же. К носу поднес, понюхал — он. А латышу сказал:

— Вроде не тот.

— Тот! Тот! — рассердился латыш. — У меня другой сорт нет никогда, всегда один.

— Ну, ладно, — согласился Шухов, — ты мне стаканчик набей, я закурю, может, и второй возьму.

Он потому сказал набей, что тот внатруску насыпает.

Достал латыш из-под подушки еще другой кисет, круглей первого, и стаканчик свой из тумбочки вынул. Стаканчик хотя пластмассовый, но Шуховым меряный, граненому равен.

Сыплет.

— Да ты ж пригнетай, пригнетай! — Шухов ему и пальцем тычет сам.

— Я сам знай! — сердито отрывает латыш стакан и сам пригнетает, но мягче. И опять сыплет.

А Шухов тем временем телогрейку расстегнул и нащупал изнутри в подкладочной вате ему одному ощутимую бумажку. И двумя руками переталкивая, переталкивая ее по вате, гонит к дырочке маленькой, совсем в другом месте прорванной и двумя ниточками чуть зашитой. Подогнав к той дырочке, он нитки ногтями оторвал, бумажку еще вдвое по длине сложил (уж и без того она длинновато сложена) и через дырочку вынул. Два рубля. Старенькие, не хрустящие.

А в комнате орут:

— Пожалее-ет вас батька усатый! Он брату родному не поверит, не то что вам, лопухам!

Чем в каторжном лагере хорошо — свободы здесь от п у з а. В усть-ижменском скажешь шепотком, что на воле спичек нет, тебя садят, новую десятку клепают. А здесь кричи с верхних нар что хошь — стукачи того не доносят, оперы рукой махнули.

Только некогда здесь много толковать...

— Эх, внатруску кладешь, — пожаловался Шухов.

— Ну на, на! — добавил тот щепоть сверху.

Шухов вытянул из нутряного карманчика свой кисет и перевалил туда самосад из стакана.

— Ладно, — решил он, не желая первую сладкую папиросу курить на бегу. — Набивай уж второй.

Еще попрепившись, пересыпал он себе и второй стакан, отдал два рубля, кивнул латышу и ушел.

А на двор выйдя, сразу опять бегом и бегом к себе. Чтобы Цезаря не пропустить, как тот с посылкой вернется.

Но Цезарь уже сидел у себя на нижней койке и гужевался над посылкой. Что он принес, разложено было у него по койке и по тумбочке, но только свет туда не падал прямой от лампы, а шуховским же верхним щитом перегораживался, и было там темновато.

Шухов нагнулся, вступил между койками кавторанга и Цезаря и протянул руку с вечерней пайкой.

— Ваш хлеб, Цезарь Маркович.

Он не сказал: «Ну, получили?» — потому, что это был бы намек, что он очередь занимал и теперь имеет право на долю. Он и так знал, что имеет. Но он не был шакал даже после восьми лет общих работ — и чем дальше, тем крепче утверждался.

Однако глазам своим он приказать не мог. Его глаза, ястребиные глаза лагерника, обежали, проскользнули вмиг по разложенной на койке и на тумбочке цезаревской посылке, и, хотя бумажки были недоразвернуты, мешочки иные закрыты, — этим быстрым взглядом и подтверждающим нюхом Шухов невольно разведдал, что Цезарь получил колбасу, сгущенное молоко, толстую копченую рыбу, сало, сухарики с запахом, печенье еще с другим запахом, сахар пиленый килограмма два и еще, похоже, сливочное масло, потом сигареты, табак трубочный, и это еще не все.

И все это понял он за то короткое время, что сказал:

— Ваш хлеб, Цезарь Маркович.

А Цезарь, взбудораженный, взъерошенный, словно пьяный (продуктовую посылку получив, и всякий таким становится) махнул на хлеб рукой:

— Возьми его себе, Иван Денисыч!

Баланда да еще хлеба двести грамм — это был полный ужин и уж, конечно, полная доля Шухова от Цезаревой посылки.

И Шухов сразу, как отрезавши, не стал больше ждать для себя ничего из разложенных Цезарем угощений. Хуже нет, как брюхо растравишь, да попусти.

Вот хлеба четыреста, да двести, да в матрасе не меньше двести. И хватит. Двести сейчас нажать, завтра утром пятьсот пятьдесят улупить, четыреста взять на работу — житуха! А те, в матрасе, пусть еще полежат. Хорошо, что Шухов обоспел, зашил — из тумбочки, вон, в 75-й уперли — жалуйся теперь куда хочешь.

Иные так разумеют: посылочник — тугой мешок, с посылочника рви! А разобраться, как приходит у него легко, так и уходит легко. Бывает, перед передачей и посылочники-те рады лишнюю кашу выслужить. И стреляют докурить. Надзирателю, бригадиру, — а придурку посылочному как не дать? Да он другой раз твою посылку так затурсует, ее неделю в списках не будет. А каптеру в камеру хранения, кому продукты те все сдаются, куда вот завтра перед разводом Цезарь в мешке посылку понесет (и от воров, и от шмонов, и начальник так велит), — тому каптеру, если не дашь хорошо, так он у тебя по крошкам больше ущиплет. Целый день там сидит, крыса, с чужими продуктами запершись, проверь его! А за услуги, вот как Шухову? А банщику, чтоб ему отдельное белье порядочное подкидывал, — сколько ни то, а дать надо? А парикмахеру, который его с бумажкой бреет (то есть бритву о бумажку вытирает, не об колено твое же голое) — много не много, а три-четыре сигаретки тоже дать? А в КВЧ, чтоб ему письма отдельно откладывали, не затеривали? А захочешь денек закосить, в зоне на боку полежать, — доктору поднести надо. А соседу, кто с тобой за одной тумбочкой питается, как кавторанг с Цезарем, — как же не дать? Ведь он каждый кусок твой считает, тут и бессовестный не ужметя, даст.

Так что пусть завидует, кому в чужих руках всегда редька толще, а Шухов понимает жизнь и на чужое добро брюха не распяливает.

Тем временем он разулся, залез к себе наверх, достал ножовки кусок из рукавички, осмотрел и решил с завтрава искать камешек хороший и на том камешке затачивать ножовку в сапожный нож. Дня за четыре, если и утром и вечером посидеть, славный можно будет ножичек сделать, с кривеньким острым лезом.

А пока, и до утра даже, ножовочку надо припрятать. В своем же щите под поперечную связку загнать. И пока внизу кавторанга нет, значит, сору в лицо ему не насыплешь, отвернул Шухов с изголовья свой тяжелый матрас, набитый не стружками, а опилками,— и стал прятать ножовку.

Видели то соседи его по верху: Алешка-баптист, а через проход, на соседней вагонке — два брата-эстонца. Но от них Шухов не опасался.

Прошел по бараку Фетюков, всхлипывая. Сгорбился. У губы кровь размазана. Опять, значит, побили его там за миски. Ни на кого не глядя и слез своих не скрывая, прошел мимо всей бригады, залез наверх, уткнулся в матрас.

Разобраться, так жаль его. Срока ему не дожить. Не умеет он себя поставить.

Тут и кавторанг появился, веселый, принес в котелке чаю особой заварки. В бараке стоят две бочки с чаем, но что то за чай? Только что тепел да подкрашен, а сам бурда, и запах у него от бочки — древесинной пропаренной и прелью. Это чай для простых работяг. Ну, а Буйновский, значит, взял у Цезаря настоящего чаю горстку, бросил в котелок, да сбегал в кипяильник. Довольный такой, внизу за тумбочку устраивается.

— Чуть пальцев не ожег под струей! — хвастает.

Там, внизу, разворачивает Цезарь бумаги лист, на него одно, другое кладет, Шухов закрыл матрас, чтоб не видеть и не расстраиваться. А опять без Шухова у них дела не идут — поднимается Цезарь в рост в проходе, глазами как раз на Шухова, и моргает:

— Денисыч! Там... Десять суток дай!

Это значит, ножичек дай им складной, маленький. И такой у Шухова есть, и тоже он его в щите держит. Если вот палец в средней косточке согнуть, так меньше того ножичек складной, а режет, мерзавец, сало в пять пальцев толщиной. Сам Шухов тот ножичек сделал, обделал и подтачивает сам.

Полез, вынул нож, дал. Цезарь кивнул и вниз скрылся.

Тоже вот и нож — заработок. За хранение его — ведь карцер. Это лишь у кого вовсе человеческой совести нет, тот может так: дай нам, мол, ножик, мы будем колбасу резать, а тебе хрен в рот.

Теперь Цезарь опять Шухову задолжал.

С хлебом и с ножами разобравшись, следующим делом вытащил Шухов кисет. Сейчас же он взял оттуда щепоть, ровную с той, что занимал, и через проход протянул эстонцу: спасибо, мол.

Эстонец губы растянул, как бы улыбнулся, соседу — брату своему что-то буркнул, и завернули они эту щепоть отдельно в сигарку — попробовать, значит, что за шуховский табачок.

Да не хуже вашего, пробуйте на здоровье! Шухов бы и сам попробовал, но какими-то часами там, в нутре своем, чует, что осталось до проверки чуть-чуть. Сейчас самое время такое, что надзиратели шастают по баракам. Чтобы курить, сейчас надо в коридор выходить, а Шухову наверх, у себя на кровати, как будто теплей. В бараке ничуть не тепло, и та же обметь снежная по потолку. Ночью продрогнешь, но пока сносно кажется.

Все это делал Шухов и хлеб начал помалу отламывать от двухсотграммовки, сам же слушал обневолю, как внизу под ним, чай пь, разговорились кавторанг с Цезарем.

— Кушайте, капитан, кушайте, не стесняйтесь! Берите вот рыба копченого. Колбасу берите.

— Спасибо, беру.

— Батон маслом мажьте! Настоящий московский батон!

— Ай-ай-ай, просто не верится, что где-то еще пекут батоны. Вы знаете, такое внезапное изобилие напоминает мне один случай. Попадаю я раз в Архангельск...

Гам стоял в половине барака от двухсот глоток, все же Шухов различил, будто об рельс звонили. Но не слышал никто. И еще приметил Шухов: вошел в барак надзиратель Курносенький — совсем маленький паренек с румяным лицом. Держал он в руках бумажку, и по этому, и по повадке видно было, что он пришел не курильщиков ловить и не на проверку выгонять, а кого-то искал.

Курносенький сверился с бумажкой и спросил:

— Сто четвертая где?

— Здесь,— ответили ему. А эстонцы папиросу припрятали и дым разогнали.

— А бригадир где?

— Ну? — Тюрин с койки, ноги на пол едва приспустя.

— Объяснительные записки, кому сказано, написали?

— Пишут! — уверенно ответил Тюрин.

— Сдать надо было уже.

— У меня — малограмотные, дело нелегкое. (Это про Цезаря он и про кавторанга. Ну, и молодец бригадир, никогда за словом не запнется.) Ручек нет, чернила нет.

— Надо иметь.

— Отбирают!

— Ну, смотри, бригадир, много будешь говорить — и тебя посажу! — незло пообещал Курносенький. — Чтоб утром завтра до развода объяснительные были в надзирательской! И указать, что недозволенные вещи все сданы в каптерку личных вещей. Понятно?

— Понятно.

(«Пронесло кавторанга!» — Шухов подумал. А сам кавторанг и не слышит ничего, над колбасой там заливается.)

— Теперь та-ак,— надзиратель сказал. — Ще—триста одиннадцать — есть у тебя такой?

— Надо по списку смотреть,— темнит бригадир. — Рази ж их запомнишь, номера собачьи? (Тянет бригадир, хочет Буйновского хоть на ночь спасти, до проверки дотянуть.)

— Буйновский — есть?

— А? Я! — отозвался кавторанг из-под шуховской койки, из укрыва.

Так вот быстрая вошка всегда первая на гребешок попадает.

— Ты? Ну, правильно, Ще — триста одиннадцать. Собирайся.

— Ку-да?

— Сам знаешь.

Только вздохнул капитан да крикнул. Должно быть, темной ночью в море бурное легче ему было эскадру миноносцев выводить, чем сейчас от дружеской беседы в ледяной карцер.

— Сколько суток-то? — голосом упав, спросил он.

— Десять. Ну, давай, давай быстрей!

И тут же закричали дневальные:

— Проверка! Проверка! Выходи на проверку!

Это значит, надзиратель, которого прислали проверку проводить, уже в бараке.

Оглянулся капитан — бушлат брать? Так бушлат там сдерут, одну телогрейку оставят. Выходит, как есть, так и иди. Понадеялся капитан, что Волковой забудет (а Волковой никому ничего не забывает), и не приготовился, даже табачку себе в телогрейку не спрятал. А в руку брать — дело пустое, на шмоне тотчас и отберут.

Все ж пока он шапку надевал, Цезарь ему пару сигарет сунул.

— Ну, прощайте, братцы, — растерянно кивнул кавторанг 104-й бригаде и пошел за надзирателем.

Крикнули ему в несколько голосов, кто — мол, бодрись, кто — мол, не теряйся, — а что ему скажешь? Сами клали БУР, знает 104-я: стены там каменные, пол цементный, окошка нет никакого, печку топят — только чтоб лед со стенки стаял и на полу лужей стоял. Спать — на досках голых, если зубы не растрясешь, хлеба в день — триста грамм, а баланда — только на третий, шестой и девятый дни.

Десять суток! Десять суток здешнего карцера, если отсидеть их строго и до конца, — это значит на всю жизнь здоровья лишиться. Туберкулез, и из больничек уже не вылезешь.

А по пятнадцать суток строгого кто отсидел — уж те в земле сырой.

Пока в бараке живешь — молись от радости и не попадайся.

— А ну, выходи, считаю до трех! — старший барака кричит. — Кто до трех не выйдет — номера запишу и гражданину надзирателю передам!

Старший барака — вот еще сволочь старшая. Ведь скажи, запирают его вместе ж с нами в бараке на всю ночь, а держится начальством, не боится никого. Наоборот, его все боятся. Кого надзору продаст, кого сам в морду стукнет. Инвалид считается, потому что палец у него один оторван в драке, а мордой — урка. Урка он и есть, статья уголовная, но меж других статей навесили ему пятьдесят восемь — четырнадцать, потому и в этот лагерь попал.

Свободное дело, сейчас на бумажку запишет, надзирателю передаст — вот тебе и карцер на двое суток с выводом. То медленно тянулись к дверям, а тут как загустили, загустили, да с верхних коек прыгают медведями и прут все в двери узкие.

Шухов, держа в руке уже скрученную, давно желанную сигарку, ловко спрыгнул, сунул ноги в валенки и уж хотел идти, да пожалел Цезаря. Не заработать еще от Цезаря хотел, а пожалел от души: небось много он об себе думает, Цезарь, а не понимает в жизни ничуть: посылку получив, не гужеваться надо было над ней, а до проверки тащить скорей в камеру хранения. Покушать — отложить можно. А теперь — что вот Цезарю с посылкой делать? С собой весь мешочиче на проверку выносить — смех! — в пятьсот глоток смех будет. Оставить здесь — неровен час, тяпнут, кто с проверки первый в барак вбежит. (В Усть-Ижме еще лютей законы были: там, с работы возвращаясь, блатные опередят, и пока задние войдут, а уж тумбочки их обчищены.)

Видит Шухов — заметался Цезарь, тык-мык, да поздно. Сует колбасу и сало себе за пазуху — хоть с ими-то на проверку выйти, хоть их спасти.

Пожалел Шухов и научил:

— Сиди, Цезарь Маркович, до последнего, притулись туда, во теми, и до последнего сиди. Аж когда надзиратель с дневальными будет койки обходить, во все дыры заглядать, тогда выходи. Больной, мол! А я выйду первый и вскочу первый. Вот так...

И убежал.

Сперва протискивался Шухов круто (сигарку свернутую оберегая, однако, в кулаке). В коридоре же, общем для двух половин барака, и в сенях никто уже вперед не перся, зверехитрое племя, а облепили стены

в два ряда слева и в два справа — и только проход посрединке на одного человека оставили пустой: проходи на мороз, кто дурней, а мы и тут побудем. И так целый день на морозе, да сейчас лишних десять минут мерзнуть? Дураков, мол, нет. Подохни ты сегодня, а я завтра!

В другой раз и Шухов так же жметя к стеночке. А сейчас выходит шагом широким да скалитя еще:

— Чего испугались, придурня? Сибирского мороза не видели? Выходи на волчье солнышко греться! Дай, дай прикурить, дядя!

Прикурил в сенях и вышел на крыльцо. «Волчье солнышко» — так у Шухова в краю ино месяц в шутку зовут.

Высоко месяц вылез! Еще столько — и на самом веру будет! Небо белое, аж с сузеленью, звезды яркие да редкие. Снег белый блесит, барков стены тож белые — и фонари мало влияют.

Вон у того барака толпа черная густеет — выходят строиться. И у другого вон. И от барака к бараку не так разговор гудет, как снег скрипит.

Со ступенек спусться, стало лицом к дверям пять человек, и еще за ними трое. К тем трем во вторую пятерку и Шухов пристроился. Хлебца пожевав, да с папироской в зубах стоять тут можно. Хорош табак, не обманул латыш — и дереунок, и духовит.

Понемножку еще из дверей тянутя, сзади Шухова уже пятерки двести. Теперь кто вышел, этих зло разбирает: чего те гады жмутя в коридоре, не выходят. Мерзни за них.

Никто из эков никогда в глаза часов не видит, да и к чему они, часы? Эку только надо знать — скоро ли подъем? До развода сколько? до обеда? до отбоя?

Все ж говорят, что проверка вечерняя бывает в девять. Только не кончается она в девять никогда, шурудят проверку по второму да по третьему разу. Раньше десяти не уснешь. А в пять часов, толкуют, подъем. Дива и нет, что молдаван нынче перед съемом заснул. Где эк угреетя, там и спит сразу. За неделю наберетя этого сна недоспанного, так если в воскресенье не прокатят — спят вповалку бараками целыми.

Эх, да и повалили ж! повалили эки с крыльца! — это старший барака с надзирателем их в зады шугают! Так их, зверей!

— Что? — кричат им первые ряды. — Комбинируете, гады? На дерьме сметану собираете? Давно бы вышли — давно бы посчитали.

Выперли весь барак наружу. Четыреста человек в бараке — это семьдесят пятерок. Выстроились все в хвост, сперва по пять строго, а там — шалманом.

— Разберись там, сзади! — старший барака орет со ступенек.

Хуб хрен, не разбираются черти!

Вышел из дверей Цезарь, жметя — с понтом больной, за ним дневальных двое с той половины барака, двое с этой и еще хромой один. В первую пятерку они и стали, так что Шухов в третьей оказался. А Цезаря в хвост угнали.

И надзиратель вышел на крыльцо.

— Раз-зберись по пять! — хвосту кричит, глотка у него здоровая.

— Раз-зберись по пять! — старший барака орет, глотка еще здоровше.

Не разбираются, хуб хрен.

Сорвался старший барака с крыльца, да туда, да матом, да в спины!

Но — смотрит: кого. Только смирных лупцует.

Разобрались. Вернулся. И вместе с надзирателем:

— Первая! Вторая! Третья!..

Какую назовут пятерку — со всех ног, и в барак. На сегодня с начальничком рассчитались!

Рассчитались бы, если без второй проверки. Дармоеды эти, лбы широкие, хуже любого пастуха считают: тот и неграмотен, а стадо гонит, на ходу знает, все ли телята. А этих и натаскивают, да без толку.

Прошлую зиму в этом лагере сушилок вовсе не было, обувь на ночь у всех в бараке оставалась — так вторую, и третью, и четвертую проверку на улицу выгоняли. Уж не одевались, а так, в одеяла укутанные выходили. С этого года сушилки построили, не на всех, но через два дня на третей каждой бригаде выпадает валенки сушить. Так теперь вторые разы стали считать в бараках: из одной половины в другую перегоняют.

Шухов вбежал хоть и не первый, но с первого глаз не спускающая. Добежал до Цезаревой койки, сел. Сорвал с себя валенки, взлез на вагонку близ печки и оттуда валенки свои на печку оставил. Тут — кто раньше займет. И — назад, к Цезаревой койке. Сидит, ноги поджав, одним глазом смотрит, чтобы Цезарев мешок из-под изголовья не дернули, другим, — чтоб валенки его не спихнули, кто печку штурмует.

— Эй! — крикнуть пришлось, — ты! рыжий! А валенком в рожу если? Свои ставь, чужих не трог!

Сыпят, сыпят в барак ээки. В 20-й бригаде кричат:

— Сдавай валенки!

Сейчас их с валенками из барака выпустят, барак запрут. А потом бегать будут:

— Гражданин начальник! Пустите в барак!

А надзиратели сойдутся в штабном — и по дощечкам своим бухгалтерию сводить, убежал ли кто или все на месте.

Ну, Шухову сегодня до этого дела нет. Вот и Цезарь к себе меж вагонками ныряет.

— Спасибо, Иван Денисыч!

Шухов кивнул и, как белка, быстро залез наверх. Можно двухсотграммовку доедать, можно вторую папиросу курнуть, можно и спать.

Только от хорошего дня развеселился Шухов, даже и спать вроде не хочется.

Стелиться Шухову дело простое: одеяльце черноватенькое с матраса содрать, лечь на матрас (на простыне Шухов не спал, должно, с сорок первого года, как из дому; ему чудно даже, зачем бабы простынями занимаются, стирка лишняя), голову — на подушку стружчатую, ноги — в телогрейку, сверх одеяла — бушлат, и: слава тебе, господи, еще один день прошел!

Спасибо, что не в карцере спать, здесь-то еще можно.

Шухов лег головой к окну, а Алешка на той же вагонке, через ребро доски от Шухова, — обратно головой, чтоб ему от лампочки свет доходил. Евангелие опять читает.

Лампочка от них не так далеко, можно читать и шить даже можно.

Услышал Алешка, как Шухов вслух бога похвалил, и обернулся.

— Ведь вот, Иван Денисович, душа-то ваша просится богу молиться. Почему ж вы ей воли не даете, а?

Покосился Шухов на Алешку. Глаза, как свечки две, теплятся. Вздохнул.

— Потому, Алешка, что молитвы те, как заявления, или не доходят, или «в жалобе отказать».

Перед штабным баракком есть такие ящичка четыре, опечатанные, раз в месяц их уполномоченный опоражнивает. Многие в те ящички заявления кидают. Ждут, время считают: вот через два месяца, вот через месяц ответ придет.

А его нету. Или: «отказать».

— Вот потому, Иван Денисыч, что молились вы мало, плохо, без усердия, вот потому и не сбылось по молитвам вашим. Молитва должна

быть неотступна! И если будете веру иметь, и скажете этой горе — перейди! — перейдет.

Усмехнулся Шухов и еще одну папиросу свернул. Прикурил у эстонца.

— Брось ты, Алешка, трепаться. Не видал я, чтобы горы ходили. Ну, признаться, и гор-то самих я не видал. А вы вот на Кавказе всем своим баптистским клубом молились — хоть одна перешла?

Тоже горюны: богу молились, кому они мешали? Всем вкруговую по двадцать пять сунули. Потому пора теперь такая: двадцать пять, одна мерка.

— А мы об этом не молились, Денисыч, — Алешка внушает. Перелез с евангелием своим к Шухову поближе, к лицу самому. — Из всего земного и бrenного молиться нам господь завещал только о хлебе насущном: «Хлеб наш насущный даждь нам днесь!»

— Пайку, значит? — спросил Шухов.

А Алешка свое, глазами уговаривает больше слов и еще рукой за руку тереблет, поглаживает:

— Иван Денисыч! Молиться не о том надо, чтобы посылку прислали или чтоб лишняя порция баланды. Что высоко у людей, то мерзость перед богом! Молиться надо о духовном: чтоб господь с нашего сердца накипь злую снимал...

— Вот слушай лучше. У нас в поломенской церкви поп...

— О попе твоём — не надо! — Алешка просит, даже лоб от боли переказился.

— Нет, ты все ж послушай. — Шухов на локте поднялся. — В Полонне, приходе нашем, богаче попа нет человека. Вот, скажем, зовут крышу крыть, так с людей по тридцать пять рублей в день берем, а с попа — сто. И хоть бы крикнул. Он, поп поломенский, трем бабам в три города алименты платит, а с четвертой семьей живет. И архиерей областной у него на крючке, лапу жирную наш поп архиерею дает. И всех других попов, сколько их присылали, выживает, ни с кем делиться не хочет...

— Зачем ты мне о попе? Православная церковь от евангелия отошла. Их не сажают, потому что вера у них не твердая.

Шухов спокойно смотрел, куря, на Алешкино волнение.

— Алеша, — отвел он руку его, надымив баптисту и в лицо. — Я ж не против бога, понимаешь. В бога я охотно верю. Только вот не верю я в рай и в ад. Зачем вы нас за дурачков считаете, рай и ад нам сулите? Вот что мне не нравится.

Лег Шухов опять на спину, пепел за головой осторожно сбрасывает меж вагонкой и окном, так чтоб кавторанговы вещи не прожечь. Раздумался, не слышит, чего там Алешка лопочет.

— В общем, — решил он, — сколько ни молись, а сроку не скинут. Так от звонка до звонка и досидишь.

— А об этом и молиться не надо! — ужаснулся Алешка. — Что тебе воля? На воле твоя последняя вера терниями загложнет! Ты радуйся, что ты в тюрьме! Здесь тебе есть время о душе подумать! Апостол Павел вот как говорил: «Что вы плачете и сокрушаете сердце мое? Я не только хочу быть узником, но готов умереть за имя господя Иисуса!»

Шухов молча смотрел в потолок. Уж сам он не знал, хотел он воли или нет. Поначалу-то очень хотел и каждый вечер считал, сколько дней от сроку прошло, сколько осталось. А потом надоело. А потом проясняться стало, что домой таких не пускают, гонят в ссылку. И где ему будет житуха лучше — тут ли, там — неведомо.

Только б то и хотелось ему на воле, чтобы — домой.

А домой не пустят...

Не врет Алешка, и по его голосу и по глазам его видать, что радый он в тюрьме сидеть.

— Вишь, Алешка,— Шухов ему разъяснил,— у тебя как-то ладно получается: Христос тебе сидеть велел, за Христа ты и сел. А я за что сел? За то, что в сорок первом к войне не подготовились, за это? А я при чем?

— Что-то второй проверки нет...— Кильгас со своей койки заворчал.

— Да-а! — отозвался Шухов.— Это нужно в трубе угольком записать, что второй проверки нет.— И зевнул: — Спать, наверно.

И тут же в утихающем усмиренном бараке услышали грохот болта на внешней двери. Вбежали из коридора двое, кто валенки относил, и кричат:

— Вторая проверка!

Тут и надзиратель им вслед:

— Выходи на ту половину!

А уж кто и спал! Заворчали, задвигались, в валенки ноги суют (брюк-то ватных никто и не снимает — без них под одеяльцем не улежишь, скоченеешь).

— Тьфу, проклятые! — выругался Шухов. Но не очень он сердился, потому что не заснул еще.

Цезарь высунул руку наверх и положил ему два печенья, два кусочка сахару и один круглый ломтик колбасы.

— Спасибо, Цезарь Маркович,— нагнулся Шухов вниз, в проход.— А ну-ка, мешочек ваш дайте мне наверх под голову для безопасности. (Сверху на ходу не стянешь так быстро, да и кто у Шухова искать станет?)

Цезарь передал Шухову наверх свой белый завязанный мешок. Шухов подвалил его под матрас и еще ждал, пока выгонят больше, чтобы в коридоре на полу босиком меньше стоять. Но надзиратель оскалился:

— А ну, там! в углу!

И Шухов мягко спрыгнул босиком на пол (уж так хорошо его валенки с портянками на печке стояли — жалко было их снимать!). Сколько он тапочек перешил — все другим, себе не оставил. Да он привычен, дело недолгое.

Тапочки тоже отбирают, у кого найдут днем.

И какие бригады валенки сдали на сушку — тоже теперь хорошо, кто в тапочках, а то в портянках одних подвязанных или босиком.

— Ну! ну! — рычал надзиратель.

— Вам дрына, падлы? — старший барака тут же.

Выперли всех в ту половину барака, последних — в коридор. Шухов тут и стал у стеночки, около парашной. Под ногами его пол был мокрым, и ледяно тянуло низом из сеней.

Выгнали всех — и еще раз пошел надзиратель и старший барака смотреть — не спрятался ли кто, не приткнулся ли кто в затемке и спит. Потому что недосчитаешь — беда, и пересчитаешь — беда, опять проверка. Обошли, обошли, вернулись к дверям.

— Первый, второй, третий, четвертый... уж теперь быстро по одному запускают. Восемнадцатым и Шухов втиснулся. Да бегом к своей вагонке, да на подпорочку ногу закинул — шашть! — и уж наверху.

Ладно. Ноги опять в рукав телогрейки, сверху одеяло, сверху бушлат, спим! Будут теперь всю ту вторую половину барака в нашу половину перепускать, да нам-то горюшка нет.

Цезарь вернулся. Спустил ему Шухов мешок.

Алешка вернулся. Неумелец он, всем угождает, а заработать не может.

— На, Алешка! — и печенье одно ему отдал.

Улыбится Алешка.

— Спасибо! У вас у самих нет!

— Е-ешь!

У нас нет, так мы всегда заработаем.

А сам колбасы кусочек — в рот! Зубами ее! Зубами! Дух мясной! И сок мясной, настоящий. Туда, в живот, пошел.

И — нету колбасы.

Остальное, рассудил Шухов, перед разводом.

И укрылся с головой одеяльцем, тонким, невытеным, уже не прислушиваясь, как меж вагонок набилось из той половины зэков: ждут, когда их половину проверят.

Засыпал Шухов, вполне довольный. На дню у него выдалось сегодня много удач: в карцер не посадили, на Соцгородок бригаду не выгнали, в обед он закосил кашу, бригадир хорошо закрыл процентовку, стену Шухов клал весело, с ножовкой на шмоне не попался, подработал вечером у Цезаря и табачку купил. И не заболел, перемогся.

Прошел день, ничем не омраченный, почти счастливый.

Таких дней в его сроке от звонка до звонка было три тысячи шестьсот пятьдесят три.

Из-за високосных годов — три дня лишних набавлялось...



С. МАРШАК

★

ДЕСЯТЬ ЧЕТВЕРОСТИШИЙ

Дождись, поэт, душевного затишья,
Чтобы дыханье бури передать,
Чтобы легло одно четверостишье
В твою давно раскрытую тетрадь.

* * *

Пусть будет небом верхняя строка,
А во второй клубятся облака,
На нижнюю сквозь третью дождик льется
И ловит капли детская рука.

* * *

За несколько шагов до водопада
Еще не знал катящийся поток,
С каких высот ему сорваться надо...
И ты готовься совершить прыжок.

* * *

Давно ли усталое солнце зашло,
Исчезло в морской глубине,
Оставив безоблачной ночи тепло
И свет приглушенный — луне.

* * *

Должно быть, ветер понемножку
На этот склон земли нанес,
Чтоб зелень ласковою кошкой
Легла на каменный откос.

* * *

Только ночью видишь ты вселенную.
Тишина и темнота нужна,
Чтоб на эту встречу сокровенную,
Не закрыв лица, пришла она.

* * *

Мы принимаем все, что получаем,
 За медную монету, а потом —
 Порою поздно — пробу различаем
 На ободке чеканно-золотом.

* * *

Питает жизнь ключом своим искусство.
 Другой твой ключ — поэзия сама.
 Иссяк один — в стихах не стало чувства.
 Забыт другой — струна твоя нема.

* * *

Над прошлым, как над горною грядой,
 Твое искусство высится вершиной.
 А без гряды истории седой
 Твое искусство — холмик муравьиный.

* * *

Красиво пишет первый ученик.
 А ты предпочитаешь черновик.
 Но лучше, если строгая строка
 Хранит веселый жар черновика.

Из Вильяма Блейка

— Что оратору нужно? Хороший язык?
 — Нет, — ответил оратор. — Хороший парик!
 — А еще? — Не смутился почтенный старик
 И ответил: — Опять же хороший парик.
 — А еще? — Он задумался только на миг
 И воскликнул: — Конечно, хороший парик!

— Что, маэстро, важнее всего в портретисте?
 Он ответил: — Особые качества кисти.
 — А еще? — Он, палитру старательно чистя,
 Повторил: — Разумеется, качество кисти.
 — А еще? — Становясь понемногу речистей,
 Он воскликнул: — Высокое качество кисти!



АЛЕКСАНДРА БРУШТЕЙН

★

ПРОСТАЯ ОПЕРАЦИЯ

— **Д**а...— сказал окулист Григорий Борисович и, помолчав, опять повторил: — Да...

Почему «да»? Я ведь не спрашивала у него ни «да», ни «нет»! И почему он произнес это «да» так задумчиво-элегически?..

— Катаракта...— напомнила я.— Как она, Григорий Борисович?

— Созрела. В правом глазу— меньше четырех процентов зрения...

И хотя он сказал это так же малокровно, как раньше сказал «да», я все-таки обрадовалась: созрела моя катаракта! Словно была я закована в цепи и слышу: пришли разбить их. Разобьют— я выйду из подземной темницы... («Темница»— удивительное слово, в нем плотно, емко спрессованы и неволя и мрак: «темница» означает и тюрьму и слепоту.)

«Вот сейчас,— запрыгали во мне мысли,— ну, не сейчас, конечно, но очень скоро— отвалит камень, забивший выход из темной ямы!»

Григорий Борисович все молчал. Мысли мои успели молниеносно слетать в прошлое— за двадцать лет назад! Тогда я допытывалась у академика В. П. Филатова:

— Владимир Петрович, что произойдет раньше? Ослепну ли я до того, как помру, или наоборот, помру раньше, чем ослепну?

— Вы забыли,— ответил он тогда,— кроме основного заболевания ваших глаз, у вас есть положительный ресурс— катаракты, созревающие на обоих глазах. Когда созреют, их удалят, и вы снова прозреете. Во всяком случае к вам вернется хотя бы частичное зрение.

Много лет я ждала исполнения этого пророчества. Ждала и надеялась. Чем хуже я видела в последние годы, тем ближе, казалось мне, избавление от слепоты, выход на свет...

— Четыре процента зрения?— переспросила я у Григория Борисовича.— Можно оперировать?

Григорий Борисович молчал. И я вдруг почувствовала, что он не разделяет моих радостных надежд. Выражение его лица я уже не различала отчетливо— куда с моими четырьмя процентами зрения!— но настроение чувствовала безошибочно. Он не радовался, нет,— он был огорчен.

Я повторила уже упавшим голосом:

— Можно оперировать?

— Нет,— решил наконец Григорий Борисович.— Не думаю, чтобы это было возможно...

— Почему? Ведь это простейшая операция?

— Да. Вообще-то, конечно, несложная. Но...

В чем «но»? Прежде всего в том, что со времени доброго пророчества В. П. Филатова прошло ни много, ни мало двадцать лет. Возраст мой, скажем прямо, серьезный— подплываю к восьмидесяти годам.

Глаз очень склерозирован. А уж натружен! Как престарелый грузчик. Поработал он на моем веку, можно сказать «не гулял».

Значит?

Нет, этого я не спросила. Я сама знала, что это значит. Слепота — вот это что. Темница до конца дней.

Григорий Борисович — не только отличный окулист, знающий, талантливый. Он замечательный человек и самый настоящий друг своим больным. И мой друг — давний, не со вчерашнего дня, друг добрый, искренний. Если бы он сам был окулистом-хирургом, у меня могли бы оставаться сомнения. Хирурги бывают не только неравного мастерства, но и неравной смелости. Я могла бы думать: «Вот Григорий Борисович не решается меня оперировать, а другой, возможно, и решился бы!» Но Григорий Борисович не хирург. Он лечит глаза, но не оперирует их. Когда больного надо — и можно — оперировать, Григорий Борисович направляет его к окулисту-хирургу. И, конечно, ему хорошо, даже отлично известно, с какой катарактой можно направлять больного на операцию, а с какой нельзя.

У меня катаракта на глазах, пораженных, кроме того, так называемой «высокой близорукостью». В этих случаях окулисты считают операцию рискованной. Такой лотереей, в которой слишком много билетов-пустышек. Шансы на успех незначительны.

Так или иначе, а меня оперировать не будут. Слишком мало надежды на то, что операция вернет утраченное зрение.

Два других окулиста подтвердили: операция, по их мнению, нецелесообразна.

Всё. Дверь подземной темницы захлопывается навсегда.

Я еще кое-что вижу: на втором глазу катаракта еще не созрела. В сильнейших очках этот глаз еще видит и может работать. Я еще пишу — кончаю книгу. Пишу буквально столько же пером, сколько носом, так близко приходится наклоняться. Из издательства принесли верстку — ничего, продержала. В общем пока справляюсь... Хотя бы столько сохранить зрения! Хоть бы эти капли, какие еще есть сегодня!.. Ну, вот я, кажется, самым униженным образом торгуюсь с судьбой!

Нет, надо все-таки что-нибудь предпринять!

Само собой возникает решение: ехать в Одессу в Офтальмологический институт имени академика Филатова. Самого Владимира Петровича уже нет — он скончался четыре года тому назад. Но осталась его вдова — Варвара Васильевна Скородинская-Филатова, тоже окулист, ученица и многолетний сотрудник его. Остались его ученики, продолжающие идти его путем. Остался наконец — не мог не остаться! — дух Филатова, «атмосфера», созданная им.

Решено, еду! Терять-то ведь все равно нечего: ослепнуть всегда успею, попробую бороться за зрение — за жизнь.

Еду в Одессу!

Когда я сажусь в машину около нашего подъезда, меня провожают дети — соседи по дому, по переулку. Дети дружно машут мне варежками, что-то кричат. Среди них — одна совсем маленькая девчушка в лыжном костюме и большой ушанке с отстающими, как заячьи уши, торчащими в стороны завязками. Мать что-то сказала ей, наклонившись: наверное, что вот, мол, эта бабушка едет лечить больные глаза, помаши ей на счастье!.. И девчушка махала усердно, истово, до тех пор, пока машина не тронулась.

Даже удивительно, как у меня на душе потеплело, повеселело!

«Дети провожали меня, — думаю я суеверно, — это к добру!»

Просто не поверишь, до чего человек впадает в детство, когда его скрутит беда!

В вагоне две проводницы — Рая и Зина — очень заботливы и внимательны ко мне. Я торжествую победу прежде всего над своими домашними. Моим категорическим желанием было ехать в Одессу одной, без провожатых. Ведь тот, кто поехал бы со мной, всю дорогу смотрел бы на меня страдающими глазами и этим отравил бы мне жизнь вконец!

— Но как же ты поедешь? Одна?

— А вот так и поеду! Одна!

— Но кто же?.. Но как же?.. Ну, а вдруг?.. — строили они предположения возможных в дороге неприятностей, одна соблазнительнее другой.

Я устояла и поехала одна. Там, где вокруг есть люди, — там уже ничего не страшно. Был случай: я, споткнувшись, упала на улице, причем больно ушибла ногу. Меня подняли чужие, незнакомые люди, посадили на скамеечку, утешали, подбадривали, потом всей толпой усадили в машину, желали всякого добра, махали и кричали мне вслед разные добрые слова... А в другой раз было и еще красивее. Я стояла на улице — на Софийской набережной в Москве — и смотрела вслед санитарной машине, увозившей в клинику моего сына. Незадолго перед тем он возвратился с фронта после войны, возвратился с тяжелым сердечным заболеванием, которое вскоре привело к инфаркту. Очень страшно было, когда в приехавшей за ним санитарной машине новой конструкции выдвинули сзади нечто вроде ящика, положили в него моего сына — и вдвинули ящик обратно, в глубь машины. Это было горько: вспомнилось, как в крематории в последнюю минуту сдвигаются створки над гробом, опускающимся вниз... Я не выдержала, заплакала. Машина уносилась прочь, уже скрывалась из глаз. На набережной было пустынно. Закрыв глаза рукой и отгородившись от мира оттопыренным локтем, я плакала самозабвенно, всласть — за все пережитые тяжкие недели!

Когда я отодвинула локоть и посмотрела вокруг себя, я внутренне ахнула. Пока я плакала, собралось много людей (по глухоте моей я этого не услышала и была уверена, что я совсем одна — как в пустыне!). Лица у людей были сочувственные, не было в них жадного шевеления ноздрями, упоенно вынюхивающими запахи чужого — «возможно, грязного» — белья. Они смотрели на меня уважительно, молча. И я сказала им, как близким:

— Сын у меня... В клинику увезли...

Они ни о чем не стали расспрашивать. Понимали, что не надо приставать с вопросами.

Мне иногда хотелось бы снова встретить этих людей! Ведь я тогда ушла от них, как недочитанная книга, и они не знают, что конец был хороший: сын поправился.

Как всегда в поезде, возникает странное ощущение. Оно, вероятно, в чем-то сродни «невесомости». Я уже не дома, не в Москве, но еще и не там, куда еду. Уже не московская, но еще не одесская. Где мой дом, мое жительство? Пока еще нигде. За окошком вагона темно. Может быть, там пески и пальмы, но вполне допустимо, что там море или снежные торосы. Если это и не вполне «невесомость», то очень похоже на «равнодалекость» от двух берегов: от прошедшего и будущего, от вчера и завтра. В голову — где, казалось бы, все забито мыслью, а что будет в Одессе? — лезут воспоминания. Внешне они бесконечно далеки от моего нынешнего дня, но внутренне связаны с ним крепко, кровно...

...Это было еще до того, как ему построили в Сочи чудесный новый дом. Он жил тогда на одной из тихих боковых улиц, впадающих в автомобильное шоссе (ныне автострада Сочи — Мацеста). Уличка эта называлась не то Ореховая, не то Медовая, она была уютно-уездная, вся в небольших домиках, а домики кутали носы в высоко поднятые воротники густых палисадников. Николай жил во дворе, в небольшом доме. — от улицы его отделяли двор и другой дом.

На крыльце пожилая женщина меняла воду в сосуде с большим букетом розовых цветов олеандра. Я подумала: «Наверное, мать Николая».

Еще утром мы с ним сговорились по телефону, что я приду к нему в пять часов. Чтобы не опоздать, я пришла немного раньше. Стояла у крылечка, не решаясь войти: а вдруг еще рано и он еще отдыхает после обеда?

Женщина на крыльце ополоснула сосуд, поставила цветы в свежую воду. Она сказала мне приветливо:

— Входите. Он вас ждет.

Всегда помню мое первое впечатление — мысль, возникшую от первой встречи с Николаем Островским. Испуганная мысль: «Он умер!» А ведь за несколько часов до этого он говорил со мной по телефону, он был жив, чувствовал себя, как обычно...

Теперь передо мной лежал на кровати — мертвый человек. Трупным было землисто-серое лицо с закрытыми глазами, трупность была в неподвижности всего тела, в мертвенности негнувшихся складок несмятой одежды...

Но Николай раскрыл глаза, лицо сразу стало живым. Не то, чтобы в его глазах сверкала жизнь — нет, это были мертвые, слепые глаза. Их воспаленные белки были испещрены красными прожилками, парализованное тело сохраняло все ту же окоченелую неподвижность, одежда лежала на нем мертво, как на кукле... Но — Николай говорил! Голос был живой, первое пугающее впечатление улетучилось, потому что в разговоре Николай был живее живых.

Глядя на него, я всегда вспоминала статую древнегреческой богини победы Никэ. Я видела ее в Париже, в Луврском музее. Это была статуя Самофракийской Победы. Когда-то, укрепленная на носу боевого корабля, она была призывом к мужеству, обещанием торжества. Теперь она стоит в музее без головы, без обеих рук. Но этот обломок — одно только туловище! — сохраняет поражающее устремление вперед. По воле скульптора одежда словно колеблема морским ветром, складки ее упрямо рвутся навстречу буре, навстречу бою. Трудно вообразить что-либо еще более волевое, непокоримое, чем эта обезглавленная фигура с отбитыми руками.

Что так удивило меня в первую минуту в Николае Островском? Ведь, идя к нему, я отлично знала из газет и рассказов, что он полный калека. Но одно дело знать, теоретически понимать, и совсем другое — видеть воочию. До встречи с ним я никогда не представляла себе такой всепоглощающей физической немощи. Он был скован параличом весь — с ног до головы. Двигались у него только слепые глазные яблоки и веки да кисти рук — худые, видимо умалившиеся в размере. Выше кисти — до локтя и к плечу — все было парализовано.

Есть такое выражение: «не сдаваться». Как очень многие хорошие слова и великолепные понятия, люди затрепали его без всякой жалости, зашлепали беспредельно. «Не сдаваться» — так говорится о всяком действии наперекор, часто несущественном, даже пустяковом. «Идет дождь, но я не сдаюсь: надел калоши и вышел на улицу», «Щи пересолены, но я не сдаюсь: хлебаю»...

Николай Островский не сдавался в самом высоком смысле этого слова, — не сдавался ни в крупном, ни в мелочах. Он не только полностью использовал то, что у него оставалось не захваченным болезнью — голову, ясно и светло мыслящую, умное сердце, несгибаемую волю. Он не сдавался и в мелочах: он старался все, что возможно, делать сам. Таких возможных невозможностей было совсем мало, но он не уступал, не отказывался ни от одной из них. Например, в кисти правой его руки была зажата бамбуковая палочка с намотанным на конце носовым платком. Движением кисти руки — кисть не была парализована — Николай направлял эту палочку к своему лицу, утирал платком потный лоб, нос. По телефону он разговаривал всегда сам: когда раздавался телефонный звонок, кто-нибудь из близких прикладывал трубку к его уху, и он разговаривал. Таких мелочей — неощутимых для здорового, но почти неодолимых для него, больного, — было не много, и каждая из них ранила душу восхищением перед этим мужественным упорством.

Гостей у него бывало ежедневно очень много. Это было настоящее паломничество со всех концов страны. Гости были в подавляющем большинстве молодежь. Но попадались и всякие люди — он был интересен для всех. А в то лето, когда я, по поручению Московского театра Ленинского комсомола, обдумывала вместе с ним пьесу на материале его книги, к Николаю прибывало много той человеческой пены, которую всегда прибывает ко всякого рода «сенсациям». В тот момент Николай был особенно «сенсационным»: его только что наградили высоким орденом, о нем много писали в газетах и т. п. В санатории, где я жила, дамы особенно усердно чирикали на две темы: первая — в верхнем парке зацвела агава (агава делает это редко, однажды в своей жизни, потому что тотчас же после цветения она умирает), и второе — в Сочи живет Николай Островский, «тот самый, знаете?»

Одна восторженная поклонница Николая умоляла меня:

— Когда вы пойдете к нему, возьмите меня с собой!

— Я хожу к нему не в гости, а за делом.

— Я вам не помешаю! Я буду сидеть в стороне и смотреть на него.

Основными посетителями Николая Островского были молодые — учащиеся, работницы, рабочие. В часы, когда к нему допускались посетители (день у него был жестко нормирован, и львиная часть времени отдавалась работе над романом «Рожденные бурей», который он диктовал), это был нескончаемый поток людей, часто приезжих из далеких мест. Николай любил эти встречи с читателями, но порою сильно уставал... Как-то он даже сказал:

— Этот бесконечный человеческий конвейер около моей кровати иногда утомляет...

Кто-то, шутя предложил:

— За чем же дело стало? Надену завтра белый фартук с бляхой, как у дворников царского времени, возьму в руки метлу и буду разгонять посетителей: «Знайте меру! Дайте человеку покой!»

Николай даже испугался этого предложения:

— Ох, нет, нет! Пусть ходят, сколько хотят... Это нужно!

Это было нужно, жизненно необходимо прежде всего для самого Николая. А уж для его молодых посетителей, для всех этих юношей и девушек, встречи с Островским были необходимы еще больше. Я не берусь описать, какими глазами смотрела на него молодежь.

А глаза Николая — мертвые, слепые глаза в воспаленных прожилках, — как всегда, смотрели мимо, поверх наших голов.

Я вижу их и сегодня. Вижу памятью, зрением души... Этого зрения у меня отнять нельзя.

И опять передо мной глаза. Две пары глаз, по очереди внимательно рассматривающих мои. Это — уже в Одессе — глаза врачей: Варвары Васильевны — глубокие, задумчивые, и Татьяны Павловны — добрые, чуть с грустинкой.

Сейчас врачи скажут мне... нет, впрочем, сейчас они не вынесут окончательного приговора. «Скоро сказка сказывается», да и та не слишком скоро: она тоже требует времени. А уж решать чужую судьбу — жизнь или смерть — это надо делать и того медленнее, осторожнее.

Посмотрели. Заставили меня переводить взгляд в направлении их пальца: вверх! вниз! вправо! влево!..

— Ну что ж... — сказала Варвара Васильевна, словно резюмируя данные врачебного осмотра. — Будем лечить...

«Будем лечить»... Про операцию она тоже ничего не сказала.

Завтра утром начнутся ежедневные уколы «биогенных стимуляторов». Пока это все мое лечение.

Может быть, оно и поможет.

В нашей палате я четвертая.

Очень интересно прийти в комнату, где все тебе незнакомо. Между собой они уже успели сблизиться до твоего прихода. А для тебя они — новость, Америка! Ты еще с трудом отличаешь их друг от друга — ну, все равно, как одинаковые яблоки на одной яблоне! Постепенно начинаешь видеть, что они совершенно разные, между собою несхожие. Чем ближе узнаешь их, тем все больше заинтересовываешься, хочешь узнать подробнее, глубже... Кто сказал: «Люди похожи на книги — у всякой свое содержание»? Нет, люди интереснее, чем книги! Ведь каждый человек — это возможная книга, хотя далеко не каждая книга — человек. Сколько есть книг, в которых не видишь ни автора, ни его героев! А ведь Жорж Санд говорила: «Книга — это человек. Или это — ничто!»

Войдя впервые в палату номер три, схватываю глазами яркое, вкусное пятно: красное платье молодой грузинской девушки Тины Челидзе, студентки из Кутаиси. Девушка нравится мне сразу — и с каждым часом все больше. И лицом, и глазами, и движениями, и мелодичным голосом, а главное, осязаемой сразу внимательностью к людям. Вторая в палате — пожилая учительница из Воронежа — Мария Семеновна Коренько. Глаза ее скрыты за темными стеклами очков, но голос ласковый, от него сразу яснее и успокаивается душа. Третья — потом оказывается, что ее зовут Мурой, — лежит неподвижно на своей койке: ее сегодня оперировали, удалили катаракту (ох, мне бы, мне бы тоже), лица ее не разглядеть из-за перевязки. Мария Семеновна и Тиночка поят Муру чем-то из «поильника» для лежащих больных — не то чаем, не то супом.

Шестым чувством схватываю: они хорошие, с ними будет легко.

Хожу по институту и окружающей его территории. Почти ничего не узнаю. Двадцать лет назад пройти из института к морю было почти невозможно. Кругом были пустыри-пустыри, хатки-хибарки, огороды-бахчи... Как-то я прорвалась к обрыву над морем — окрестные собаки подняли такую панику! Одна из них, самая маленькая, самая ничтоженькая, прокусила полу моего пальто и порвала на мне чулок. Я не испугалась: мордочка у собаки была дружелюбная, даже улыбающаяся, она набросилась на меня явно без злобы — просто так, «сострила», вот и все! Но к морю я тогда больше ходить не стала, а из окон института его было не видно, оно лежало слишком далеко.

Теперь вокруг института разбит красивый парк на берегу моря. Зима

здешняя, южная, ощущается, как осень. Зелены не только кипарис и туя, но многие лиственные породы еще только начинают ронять листья. Солнце навевается ежедневно. Только в иные дни оно кажется сконфуженным, потерявшим апломб, как обедневший родственник или состарившаяся красавица. Бывает и так, что солнце, стоя на краешке неба, стыдливо прикрывается обрывками бледных облачков, как Тень отца Гамлета среди бутафорских кустов в захолустном театре.

Внутри института я тоже ничего не узнаю. Здания, полуразрушенные войной, теперь отстроены, очень расширены. Не нахожу того отделения, где лежала двадцать лет тому назад, а казалось, пройду к нему с завязанными глазами! Хожу — смотрю, что сохранилось из старого? Что родилось нового? Разговариваю с врачами, иные знакомы мне еще по прежним поездкам в Одессу. Встретила Д. Г. Бушмича — двадцать лет назад он был молодой, обещающий врач; сейчас он сдержал все обещания: профессор, известный хирург — и все еще молодой!

Одно уже ясно мне из этих первых обходов по этажам и отделениям: институт живет. Он не просто катится, как вагонетка, по инерции толчка от могучей руки В. П. Филатова. Он осваивает новое, он растет — значит, живет!

Хочу нащупать то место, где смерть остановила Владимира Петровича, где пришелся «стык» того, что делал еще он сам, с тем, что делают уже после него. Тут необходимо оговориться: все новое вырастает всегда из старого. Сам Владимир Петрович сделал в свое время замечательные открытия и находки, осваивая опыт врачей, живших и работавших как до него, так и в его время. Теперь в основе работ его учеников и продолжателей лежат его мысли, его далеко шедшие прозрения.

Одно из первых моих впечатлений двадцать лет тому назад — девочка Галя, которой обварило глаза кипятком из опрокинувшегося чайника. Мать привезла Галю «к Филатову» — и увезла ни с чем: лечение таких ожогов было в то время еще не освоено. Тогда же вошла в мою память — навсегда, на всю жизнь — женщина, которой ревнивый негодяй выжег глаза серной кислотой. Владимир Петрович Филатов «сделал ей лицо» — мелкими операциями, сантиметр за сантиметром, восстановил кожу на лице у слепой (нос у нее сохранился чудом). Удаляя трением лоскут кожи, пришитый ей в Париже на том месте, где прежде были глаза, Владимир Петрович добрался до этих заросших глаз, пришел к ним веки, подбил их, как подкладкой, слизистой оболочкой, взятой у больной изо рта. Тогда выяснилось, что слепая отличает свет от тьмы. Это давало возможность надеяться: авось глубоко лежащие слои ее глазной роговицы сохранили хоть какую-то долю прозрачности. Авось можно оперативным путем добиться чего-нибудь, хоть самого крохотного зрения.

Но дальше лечить эту слепую с выжженными глазами не пришлось — помешала Великая Отечественная война.

Сегодня вспоминаю эту слепую, глядя на мальчика Кешу, привезенного из Сибири. Весной, когда выставляли зимние рамы, соседка по ошибке, думая, что в стаканчике вода, плеснула в озорного Кешку серной кислотой. Мальчик ослеп, но теперь это уже не навечно: Кешка будет видеть. Ему сделают операцию, каких прежде не делали, и он прозреет так же, как прозрели и уже видят шахтер Алексеев — ему обожгло глаза при взрыве на шахте — и доменщик Гурамия, которому брызнуло в глаза раскаленным металлом. Этих двоих прозревших я видела сегодня, и они видели меня!

В этом направлении мысль Владимира Петровича Филатова работала, искала до самой его смерти. Продолжают это дело ученики — профессор Н. А. Пучковская и другие.

Каждый день начинается с неприятного! И, как это ни странно, неприятное исходит от милейшего Юрия Викторовича, которого мы все зовем ласково просто Юрой! Он студент-медик и несет в нашем отделении ночные дежурства. Юра — прелестная личность! Но, когда вы только перед рассветом задремали после бессонной ночи, набитой черными мыслями, как шапка подсолнечника зернами, а Юра будит вас, протягивая термометр для измерения утренней температуры, — вам, конечно, хочется рычать и кусаться.

— Юра! — убеждаю я его. — Для меня вы не медсестра и не медбрат, а медвнук. Вы даже похожи на моего внука! Неужели вам нисколько не жалко бедную бабушку? Мне бы еще хоть полчаса подремать... А?

Мое «а?» повисает в воздухе без ответа: Юра — старательный и добросовестный работник. Сбить его с этой стези невозможно. Но все-таки Юра в самом деле — прелестная личность! Назавтра он сам предлагает мне:

— Я придумал: я буду приносить вам термометр в последнюю очередь... Идет?

Ну, конечно, идет!

Юра умиляет меня не только добросовестностью и внимательным отношением к больным. Надо сказать правду: мы привыкли к тому, что у нас все учатся, и принимаем это как должное. Конечно, учатся, а как же иначе? Со времени Октябрьской революции прошло всего сорок три года — исторически это срок ничтожно малый, а между тем у нас прочно забыли, что такое, например, «ликбез». Спросите, что это? Вам наскажут такого!.. Слово происходило этот ликбез не в наше время, а при каппадокийском царе Ариобарзане Втором. Очень частое объяснение: ликбез — это было время, когда подростки-школьники учили неграмотных старушек читать и писать. Почему почти никто уже не знает, что царизм оставил нам в наследство армию в сто миллионов безграмотных — не старушек, а людей молодых, полных сил и здоровья, ставивших вместо подписи корявый крест? Ликбез — это небывалое в истории, неповторимое культурное движение, когда в голоде, холоде, эпидемиях, разрухе, гражданской войне горсть людей в кратчайший срок (пять лет!) обучила грамоте миллионы. Этим можно — и следовало бы — гордиться... Правда, гордиться тем, что сделано не им, а другими, умеет, к сожалению, не всякий человек. Ну что ж? Если не умеешь гордиться, так хоть умей не забывать этого!

Эту «слепоту к великолепному» мы переносим и на наши дни. Разве мы понимаем «до дна», что значит, когда вся страна от мала до велика учится? Думаете, Юре легко работать в Одесском Офтальмологическом институте и одновременно учиться на медицинском факультете? Юре очень трудно. Дважды в неделю он вынужден даже пропускать занятия из-за дежурств в институте. Хорошая вещь молодость, ах хорошая! По Юриному лицу — юному, полудетскому — даже не видно, как много Юра трудится, как редко высыпается всласть...

Нет, Юра в самом деле — прелестная личность!

Здесь, в институте, учится не только он один. Санитарки нашего отделения Мотя и Соня будущей весной кончают вечернюю среднюю школу. Им очень трудно: до восьмого класса они учились не в Одессе, а где-то в области, и там обучение велось на их родном языке, по-украински. Теперь, в последних классах, им приходится учиться на русском языке. В той украинской «глубинной» школе, где они учились раньше, преподавали в качестве иностранного языка французский, а здесь, в Одессе, учат английскому. Легко девочкам переучиваться? Конечно, нет, но они

не унывают, хотя так же, как и Юре, им приходится в иные дни пропускать занятия в школе из-за ночных дежурств.

Спят девочки, конечно, тоже не досыта. Утром, выходя в коридор, вижу фигурку Сони, прикорнувшую в полусидячей позе на деревянном диванчике. Сидит, подхватив себя, как старушка, под локти, а лицо веселое!

— Что, Сонечка, дежурила ночью?

— Ага...

— А спала?

Соня смущенно пожимает узенькими ребячьими плечами:

— Эгэ... Трошки... (то есть «немножко»).

С обеими девочками, Мотей и Соней, занимается Мария Семеновна Кореняко. С Соней — по-английски, с Мотей — по предметам. До меня доносятся обрывки этих занятий. Вчера, готовясь к контрольной работе по истории, Мотя добросовестно докладывала Марии Семеновне, что «Рубуспюр» (очевидно, Робеспьер) куда-то «прийшов», а вот «Напилиён» чего-то «не знайшов»...

Есть у Марии Семеновны еще одна ученица — медсестра, у которой неполадки с латинским языком...

Сосчитать вообще все нагрузки, добровольно взваленные на себя Марией Семеновной, невозможно! Все, словно бы само, пристает к ее материнским рукам и, пристав, спорится в них. Да что руки? Материнские руки живут до тех пор, пока их не отрубят. А вот каким образом Мария Семеновна сохраняет материнский глаз и после того, как оба глаза ее почти совершенно ослепли?

Я устроила небольшую провокацию... Нехорошо, конечно, что и говорить, но уж очень тягостно ждать так, как жду я, в полной неизвестности, — сдвинулось у меня хоть что-либо с места или нет? И вот я захотела узнать.

Конечно, это пустяковое самооправдание. Все и так ясно, узнавать нечего. Если бы что-либо стронулось с места хоть на самую капельную крошку, разве не заметила бы я этого и сама? А врачи мои — Варвара Васильевна и Татьяна Павловна — неужели не обрадовались бы этому?

И все-таки я допустила небольшую «ложь во спасение»!

— Знаете... — сказала я при сегодняшнем осмотре в кабинете Варвары Васильевны. — Кажется... Ка-а-ажется, — поправила я (все-таки во мне «не все же спит мертвецки совесть»), — я как будто чу-у-уточку лучше вижу...

— Сейчас посмотрим! — бодро сказала Татьяна Павловна и, приведя меня в процедурную, усадила перед таблицей для чтения. — Что вы видите?

Варвара Васильевна стояла рядом и смотрела на меня с надеждой.

Таблицу эту — со все уменьшающимися строчками букв — я в Москве еще недавно знала наизусть:

Ш Б

М Н К
.....

и т. д.

Увы! Если бы здесь была эта таблица! Я сразу прочитала бы две верхние строки; хотя второй из них — МНК — я уже давно не различаю, да и ШБ, верхнюю, самую крупную, в сущности, уже не столько вижу в самых сильных очках, сколько угадываю по памяти. Но здесь, в Одессе, висит не эта повсеместно принятая таблица «ШАКАМБЫ», как ее называют среди больных, а другая.

В углу процедурной стоял Петя, молодой шофер из Николаева, внезапно после гриппа ослепший на один глаз. Петя смотрел на меня с сочувствием. Без тени осуждения, чего там? Мы все здесь друг друга хорошо понимаем!

— Ее обманешь! — сказал он со вздохом, выйдя вместе со мной из процедурной. Имел он в виду при этом, конечно, «ее», Варвару Васильевну. — Она под каждым на два метра в землю видит!

Не принесло мне пользы мое вранье! Когда-то, в царское время, острили, пародируя «Положение капитула об орденах российских», что какой-то малозначительный орден даруется «за маленький, но полезный донос». Моя сегодняшняя ложь — просто маленький, но бесполезный донос на самое себя — без всякой пользы для кого бы то ни было!

Обидно одно: столько тревог, волнений, столько микроскопических надежд, мгновенно рушащихся в пропасть отчаяния, и все из-за простейшей операции! Живя в институте, приучаешься смотреть на катаракту как на самое будничное дело. Удаляли катаракту еще в глубокой древности — примитивно, но удаляли. А серьезно, научно обоснованно это делают уже целых двести лет! Считается, что на каждые сто случаев удаления катаракты приходится успешных девяносто восемь. Итого девяносто восемь процентов успеха! Надо же мне было подхватить го не частое сочетание катаракты с очень высокой близорукостью, при котором легко угодить именно в эту тесную загородочку двух процентов неудачи!

Пете-шоферу невесело. Он молодой, красавец, веселый, удачливый. Такому ходить с веточкой сирени или черемухи за ухом, песни петь! Носит с собой и охотно показывает фото — молодая, хорошенькая, видимо, милая жена, отличные ребятишки. И вдруг — один глаз ослеп. Петя и не заметил, что у него грипп: «Так просто, чего-то приболел на ногах». И с вечера до утра пропадает зрение в одном глазу! Врачи говорят, что это может пройти так же, как пришло: глаз начнет проясняться и совсем выздоровеет. За то время, что Петя здесь, в институте, у него надежды началось было такое прояснение. Он надеяться боялся, по его выражению — «дышать боялся». Но прояснение через некоторое время остановилось, и зрение снова пошло на убыль.

К нам в палату пришла Варвара Васильевна. Посидела около Муры. Поговорила со всеми. Потом подошла ко мне.

— Мы с Татьяной Павловной сделаем вам на днях подсадку. Это иногда отлично помогает...

Я посмотрела в ее задумчивые глаза и поняла: она для этого и приходила к нам в палату — для того чтобы сказать это мне. Милая Варвара Васильевна, ей горько, что у меня, нескладехи, все идет так коряво... Хороша я с моей сегодняшней «провокацией»! Зачем я тороплю врачей, приближая тот момент, когда они скажут, что исчерпали все средства — все «подсадки» и «пересадки» — и больше ничего для меня сделать не могут!

Очень большое уважение внушают к себе те молодые, которых я здесь вижу, с их удивительным упорством, с их умной настойчивостью в борьбе за утекающее зрение, за место в жизни — не потребительское, не иждивенческое, а настоящее, трудовое.

Сегодня вечером в нашей палате номер три не по-обычному тихо и малоллюдно. Тиночка Челидзе в умывалке — стирает там свое веселовкусное красное платье. Мария Семеновна ушла к больной медсестре, с которой случился инфаркт. Варвара Васильевна поместила эту медсестру в своем врачебном кабинете (Варвара Васильевна — тоже выдаю-

щийся специалист по части отдачи всего своего тем, кому плохо!), а Мария Семеновна проводит у больной все вечера.

В нашей палате, кроме меня и лежащей неподвижно оперированной Муры, гостя из соседней палаты — Люся Виноградова.

— Знаете,— рассказывает Люся,— я ведь начала слепнуть ребенком, еще когда училась в школе. Учение, конечно, тогда кончилось, куда уж! И врачи говорили в один голос: «Не можем помочь! Неизлечимо!» Меня показывали всем врачам в нашем городе, Кировограде, и в области, и везде мы слышали тот же ответ. Я умоляла врачей: «Ну, если сами не знаете, чем это лечить, так, может быть, кто-нибудь другой да знает? Может быть, есть где-нибудь врач, который лечит такое? Скажите, назовите, я туда поеду!»

— А что отвечали вам врачи?

— Отвечали: «Не знаем». И вправду не знали...

Люся тогда была ребенком. Ребенок просил, умолял, ребенок тщетно бился о стену, как слепая ночная бабочка. Никто не мог ни помочь ему, ни посоветовать, куда броситься, кого умолять.

Я смотрю на Люсю. В ней нет ничего от привычно слепых людей, а она была слепа много лет! Она очень аккуратна, изящна в одежде, всегда подтянута... На милом детском ее лице — выражение необыкновенной застенчивости, деликатности, какой-то извиняющейся робости. Вот это уже от долгих лет тщетных вопросов, тщетных попыток найти про-свет в темноте.

И вдруг — наконец! — кто-то из врачей подсказал:

— Филатов! Поезжайте в Одессу к Филатову!

Филатов стал лечить Люсю своими методами тканевой терапии. По-немногу, очень медленно, словно спотыкаясь, то улучшаясь, то снова падая, зрение у Люси стало возвращаться.

Наступил день, когда она снова вернулась к учебе.

— Знаете, сколько лет мне было, когда я сдала все экзамены на аттестат зрелости? Мне было тридцать лет!

После этого Люся поступила в вуз. В заочный — днем она работала. Сейчас Люся на последнем курсе — нынешней весной она кончит вуз. Зрение и сейчас дает порой срывы, начинает ухудшаться, тогда Люся снова приезжает в Одессу, в Офтальмологический институт. Вот так приехала она и сейчас. Зрение что-то «заупрямилось» — это за полгода до выпускных экзаменов в вузе! — и опять, как и в прошлые разы, это упирающееся зрение укротили и привели к норме.

Люся Виноградова одновременно работает, учится в вузе и пристально следит за своим зрением.

В добрый час!

У меня объявился «литературный секретарь»! Ура!

Это одна из больных — Юля Ильина, очень молодая девушка, по специальности экономист, а по всему своему складу друг людей. Она читает мне вслух всю мою корреспонденцию. Занятие нелегкое, отнимающее много времени: я получаю очень много писем. Юля читает отлично — четко, внятно, но лишь до тех пор, пока не начинается что-нибудь смешное! Как дошло до этого — кончено: Юлин кнопка-носик сморщивается — и Юля начинает хохотать. Так залиvisto, что к нам приходят из соседних палат: «По какому случаю веселье? Свадьба?»

Самое интересное, что, как только начинает Юля хохотать над остро-тами моих корреспондентов, так я перестаю понимать в ее чтении что бы то ни было: Юля давится смехом, все слова пропадают у нее в нечле-нораздельном писке. И я тоже хохочу, на Юлю глядя, так сказать, «в кредит»...

Иногда, когда письмо не смешное, а серьезное, Юлия вдруг останавливается в каком-либо месте, задумывается, многозначительно встряхивает головой и спрашивает:

— Можно я эту мысль перепишу себе в тетрадку?

От этого ежедневного чтения моей корреспонденции в памяти всплывает один случай, уже давний, почему-то очень милый мне.

Во время войны в большом сибирском городе, где я с семьей провела в эвакуации около двух лет, мне как-то позвонили по телефону:

— Говорит вожатая Рита из школы номер... У нас очень недружный восьмой класс. Мы просим вас провести у нас беседу о дружбе. Можете вы это?

Во время войны было святое неписаное правило: все могу, что н у ж н о, все знаю, все умею, а если не знаю или не умею — научусь, обязана научиться. Должна догадаться, должна придумать, как это сделать.

И я спокойно, уверенно ответила:

— Могу.

— Вот и отлично! — обрадовалась вожатая Рита. — В среду, в пять часов за вами придут ребята.

И только повесив трубку, я задумалась: «А что, собственно, я им скажу?» Но мысль эту я отогнала: «До среды еще целых три дня, неужели не найду, что сказать?»

Но прошел день, прошел второй, а в голове не всплыло ничего подходящего. Я все еще не знала, что именно мне надо сказать.

Зато я крепко знала, чего н е х о ч у сказать, чего ни за что говорить не буду.

Когда-то очень давно к нам ходила настройщица роялей. Войдя в комнату вместе с тремя своими детьми, аккуратно одетыми в чистенькие матроски, она, прежде чем сесть настраивать рояль, говорила детям:

— Дзеци! Дайте ручку цёце и дзядзе! Шаркнице ножкой! Сделайте книксик!

Она была русская и в остальном говорила на чистом русском языке, не запакошенном мещанской «изысканностью». Но в разговоре с детьми почему-то шепелявила и пришепетывала!

Такой тон в обращении с детьми я ненавижу. Так же отношусь я к таким выражениям, как «наша славная детвора» или «наши замечательные ребятишки» (так, увы, нередко пишут наши газеты).

Даже обращение «дети!» я для выступлений в школах не люблю. Ведь когда мне приходится выступать перед студентами в вузе или перед рабочими на заводе, я не обращаюсь к ним со словами: «Здрате, взрослые!» Зачем же говорить детям: «Здрате, дети! Здрате, биологические ничтожества, у которых еще не прорезались зубы мудрости и еще не наступило полное окостенение скелета!»

Людям моего поколения, в жизнь которых впервые в истории в начале этого века пришло слово «товарищ» — как будничное, как массовое обращение! — это слово очень дорого. Я вхожу в класс и говорю: «Здравствуйте, товарищи!» — и мне приятно, что вот они какие есть у меня, молодые товарищи! И им тоже приятно, что у них есть товарищи старые, испытанные жизнью.

И еще одного — знала я — я тоже не скажу школьникам в «беседе о дружбе»: «Ах, дети, дети! Как вам не стыдно — вам все дано, вы учитесь в школе, для вас играют детские театры, пишут и издают детские книги... А вы... Ай, ай, ай! Недружно живете, срам какой!»

Этого я тоже не скажу, хоть режьте!

Так что же я все-таки скажу им?

Не было еще пяти часов, когда в нашу квартиру позвонили. По заведенному ритуалу большая группа ребят, пришедших за мной, осталась на улице у подъезда, а наверх, в нашу квартиру, поднялись за мной только двое — больше наша передняя не вмещала.

Отпер им дверь мой муж. Перед ним стояли две девочки. Они смотрели на него с недоумением.

— Нам товарища Бруштейн...— проговорила одна из них нерешительно.

— Я и есть товарищ Бруштейн,— ответил он.

Они продолжали смотреть на него недоверчиво. И вдруг одна из них, словно сообразив, сказала мужу:

— А, я понимаю: вы, наверное, его жена!

И все стали хохотать: обе девочки — и та, что сказала, и та, что молчала,— и муж, и я, подоспевшая в эту минуту.

Когда мы с девочками вышли на площадку лестницы, я по привычке поглядела на почтовый ящик, висевший на двери: в нем лежала большая пачка писем!

Письма военного времени!.. Война разорвала связи между людьми, и мы, как бусины из порванного ожерелья, покатались во все стороны по фронтам, по тылам, по местам эвакуации... Треугольники писем — незапечатанные, сложенные кое-как — мы вас ждали, как счастья! Вы несли нам голоса друзей, ласку сыновей, вы кричали, как воробьи: «Ж-жив! Ж-жив!» Целыми ночами я иногда писала письма! А по вечерам к нам сходились эвакуированные, писатели и не писатели, каждый принесил с собой письма, полученные за день-два, все это читалось вслух, обсуждалось, украшалось догадками, надеждами.

Недолго думая, я вынула из почтового ящика все письма, положила в свой портфель и понесла их с собой в школу.

На улице, у нашего дома, ждала целая ватага ребят. Мы пошли по улице длинной шеренгой — меня поставили в центре. Взявшись под руки, мы заняли улицу во всю ширину — прохожие смотрели на ребят с улыбкой... Что делали бы взрослые, если бы в горькие, страшные времена не было на свете детей, которых надо ободрять улыбкой, поддерживать улыбкой?

И только когда мы пришли в школу, где в одном из помещений был собран весь «недружный восьмой класс», перешептывавшийся, смотревший на меня с ожиданием,— только тут меня осенило.

— Товарищи! — сказала я.— Сейчас, когда я выходила из дома, я получила письма — вот они! Я не успела их прочитать. Можно, прочитаю их вместе с вами?

Разрешение было дано с удовольствием: кто еще так любит все необычное, как дети? Они закивали, «завозили» ногами, мне даже показалось, что они вздохнули с облегчением: ведь их собрали для «беседы о дружбе», и они, конечно, побаивались, а вдруг я начну: «Дзечи! Дайце ручку цёце и дзядзе!»

Первое письмо было от одного из любимых моих друзей — драматурга Шуры К. Очень интересное, из захлестнутого блокадой Ленинграда, где Шура жил на плавбазе «Иртыш». Когда я читала вслух это письмо, было так тихо, что мне не надо было проверять взглядом, слушают ли, внимательно ли слушают? Письмо было не длинное — длинных писем в войну не писали,— но ведь слушали ребята военного времени: они привыкли к лаконичным вестям, которые надо дополнять собственным воображением.

В письме Шуры К. были приписки от разных людей: от писателя-драматурга Всеволода В., от его жены художницы Софьи Касьяновны, от критика литературоведа Анатолия Т. Все они служили и работали

на Балтийском флоте. Я читала ребятам вслух короткие, очень интересные «письмишки» этих мужественных людей, переживавших такие лишения и трудности, не жаловавшихся, не хныкавших, наоборот — веселых, остроумных, сердечных!

Между прочим, Шура К. писал, что получил посланный ему мной «гостинец»: раздобыв на базаре несколько луковиц, я разрешила их на ломтики и вложила в письма к разным людям. При этом я сделала приписку, обращенную к военному цензору: «Дорогой товарищ цензор! Пожалуйста, не выбрасывайте этот лук — я посылаю его на фронт своим детям, чтобы у них не было цинги!»

Следующее письмо, которое я распечатала и прочитала ребятам вслух, было тоже с фронта — от моего сына из Заполярья. Сын писал мне: «Мамочка, не посылай больше луку: цензор сделал сердитую приписку, что на этот раз он лук пропускает, а в следующий раз выбросит, так как посылать это «не положено».

Сын мой тоже писал интересно. Между строк улавливалось, как трудно приходится в «деревянном» Заполярье, под непрерывными вражескими бомбежками. Сын служил в авиации, которая там охраняла транспорты с оружием и боеприпасами. Письмо сына было местами очень смешное, и чтение несколько раз прерывалось смехом аудитории.

Потом я прочитала письма от двух моих «подшефных» молодых писателей — Нади А. с Урала, где она работала на оборонном заводе, и от Макса В. — с Тихоокеанского флота.

Все письма были интересные, все вызывали волнение: ведь кто мог с уверенностью сказать, живы ли еще сегодня те люди, которые всего две-три недели перед тем писали мне эти добрые, ласковые, мужественные, даже веселые письма?

Когда я дочитала последнее письмо, было несколько минут очень тихо. Я молчала, думала о своих далеких друзьях. И слушатели мои тоже молча думали о них. Бросилось мне в глаза взволнованное личико вожатой Риты...

Потом кто-то несмело и негромко спросил меня о Шуре К. Какой он, какие пьесы он написал? Другие спрашивали об остальных моих корреспондентах. Я рассказывала — и до того мне было радостно вспоминать всех этих людей, рассказывать о них!

Прошло некоторое время. Я встретила как-то вожатую Риту.

— Ну как ваш недружный восьмой класс? — спросила я.

— Как будто немножко дружнее стали... — ответила она. — Даже удивительно! Вы ведь тогда почему-то никакой беседы о дружбе с ними не провели!

Бедная девочка! Ей непременно нужно было, чтобы я предложила «недружному классу»: «Дзечи! Дайте друг другу ручки и будьте друзьями!»

Сегодня Варвара Васильевна сказала:

— Сейчас сделаем вам подсадку...

Длилось это одно мгновение — внезапное ощущение в спине словно от несильного укуса пчелы или осы. Но этого было достаточно для того, чтобы в душе взвихрилась новая надежда. Привыкнув за много лет к таким надеждам, к тому, что они разрастаются со сказочной быстротой и укореняются в душе с цепкостью сорной травы (а потом разочарование и горечь!), я не позволяю себе надеяться ни на что...

Глупые, пустые слова! «Я не позволяю себе»... Кому это я не позволяю и кто это меня слушается?

У Варвары Васильевны и Татьяны Павловны, когда мне делали подсадку, лица были бодрее... Они, наверное, тоже «не позволяли себе думать», что подсадка может не дать желаемого эффекта. Золотые люди! Как им хочется вернуть мне хоть чуточку, хоть зерно зрения! И зачем только я приехала? Затем, чтобы навалить еще и свою безнадежность на ту нечеловеческую нагрузку, которую эти святые врачи несут и без моей «добавки»?

Есть у медиков такое выражение: «ут аликвид фиат»... Это обрывок латинской фразы, которая означает: «чтобы больной еще во что-то верил». Так пишут на рецептах, прописывая умирающим что-нибудь безразличное, не могущее ни помочь, ни повредить им, — боржом, что ли... Пусть больной еще во что-нибудь верит, пусть не отдается отчаянию и безразличию...

Наверное, моя подсадка — это «ут аликвид фиат»...

После подсадки я сделала самое жизнерадостное лицо... Ну, спасибо, теперь все пойдет отлично! Уходя из процедурной, я не смотрела в глаза врачам...

Слушаю спокойный, ненапряженный рассказ Марии Семеновны Коремяко... Это она не о себе одной повествует — это жизнь целого куска нашей истории, это голос целого поколения женщин.

Юной девушкой, только что окончившей восьмой — педагогический! — класс женской гимназии, пришла Мария Семеновна преподавать еще в царское время в земскую школу села Ивановка. Школа называлась «однокомплектная». Это торжественное и чудное слово расшифровывалось очень просто: комплект преподавателей состоял из одной семнадцатилетней учительницы Марии Семеновны, а вся школа, все три ее класса — младший, средний и старший — помещались в одной комнате.

Занятия всех трех классов происходили одновременно. Делом учительской изобретательности было так совмещать занятия всех трех групп, чтоб они не слишком мешали одна другой. Например, пока маленькие (двадцать—двадцать пять человек) писали палочки, средние (человек двенадцать—пятнадцать) читали нараспев, а семь—восемь старших решали задачи. Девочек было меньше, чем мальчиков: ведь они уже очень рано нянчили младших и не имели времени для учения. А число учащихся мальчиков резко падало с наступлением весны, когда даже младшие должны были помогать взрослым, пасти овец, коров.

Школа стояла у леса и была новостройка, или, как тогда говорили, «недостройка». В ней, например, были окна, но дверь — входную — почему-то не доделали...

Спустя два года Мария Семеновна перешла преподавать в другую деревню — в так называемую «министерскую школу». Было в ней четыре-пять классов, но «комплект» учителей был все тот же — один учитель.

Работа со взрослыми, к которой, как большинство учителей, тянулась Мария Семеновна, была почти невозможна: на пути к ней лежали две «необоримые» колоды — поп и староста. Однако всего их мрачного могущества было недостаточно для того, чтобы помешать бытию определять сознание и подводить экономический базис под поступки людей! Необходимость беречь индивидуальный керосин в каждой избе сгоняла по вечерам девушек с их прялками в помещение школы к сторожике Устинье — под одну общую лампу. Девушки пряли, учительница Мария Семеновна читала им вслух, рассказывала. Парни обижались, но тут уже учительница ничего поделать не могла.

Дважды в неделю Мария Семеновна ходила в местечко за литературой. Приносила газеты и книги вполне легальные, но открыто раздавать нельзя было и этого.

С 1914 года Мария Семеновна училась в Москве на курсах Герье. Сегодняшний читатель думает: «Вот посылали все-таки и в царское время учительниц для повышения квалификации! Наверное, и стипендии давали!» Нет, далеко не так. Учение осуществлялось частично на деньги, скопленные во время учительства (из жалованья в двадцать восемь рублей ежемесячно), а частично при помощи родителей. Отец Марии Семеновны тоже был учителем, и ему помогать дочери было ой как нелегко! Жили студентки скудно, бедно, обедали в студенческой столовой за три—пять копеек в день (борщ, каша и хлеб с горчицей). Но Мария Семеновна вспоминает это время как «волшебное»: студенчество ее совпало с революцией 1917 года! С курсов Герье Мария Семеновна перешла в Институт народного хозяйства, при окончании его получила звание кандидата экономических наук и была оставлена на полтора года при институте.

Дальше идет пестрый калейдоскоп самой разнообразной работы, самых неожиданных нагрузок, самых удивительных приключений, далеко не всегда смешных, а очень часто горестных, которые так памятливы людям этого поколения...

В Народном доме местечка Семеновка Мария Семеновна была и швец, и жнец, и в дуду игрец: она заведовала библиотекой, клубной работой, художественной самодеятельностью и участвовала во всем остальном. А «все остальное» было: перепись населения, сбор продналога, размещение облигаций крестьянского займа и т. п. и т. д. Всю эту работу, огромную, требовавшую массы сил, к тому же не безопасную, выносили на своей надежной спине учителя и комсомольцы — Мария Семеновна была и то и другое. Вместе с учителями и комсомольцами она возила по району самодеятельные «постановки», выполняя при этом труднейшие задания партии. Никого не удивляло, что деревенский зритель принимал на полном серьезе, без смеха или улыбки, самые наивные, примитивные полит-агитпостановки. Но никого не удивляло и то, что порой по окончании спектаклей в спины участников и устроителей летели выкрики многоэтажной ругани, смерзшиеся комья грязи и оледенелого навоза. Однажды даже кто-то стрелял и ранил в ногу директора школы.

Нет такого разбушевавшегося моря, которое после шторма не возвращалось бы в свои берега. Во второй половине тридцатых годов в жизни Марии Семеновны Коренько наступила пора зрелости и успокоения. В эти годы мы видим ее сперва в Курске, потом в Воронеже замужней, счастливой матерью — она работает завучем в школе на громадной новостройке, одновременно читает лекции по политической экономии в Воронежском финансово-экономическом институте...

Что же, конец истории? Точка? «И я там был, мед-пиво пил»? Но ведь я предупреждала, что расскажу историю нашей современницы, советской женщины старшего поколения, а оно, это поколение, почти не знало покоя, да и не искало успокоенности!

В 1937 году в школу, где работала Мария Семеновна, прибежали ее дети, испуганные, в слезах. Что случилось? Случилось то, что почти сразу стало в то время будничным и перестало кого-либо удивлять. Но тогда — в 1937 году — это еще было, как говорится, в новинку. Пришли какие-то люди, увели отца — мужа Марии Семеновны, — опечатали квартиру...

Наступило время дежурств у ворот городской тюрьмы: днем с передачами, по ночам — чтоб не прозевать момента отправки арестованных

в далекую ссылку. За что арестовали, за что ссылают — об этом никто не спрашивал.

Момент отправки не прозевали. На дальних железнодорожных путях стоял вагон с арестованными. Вагон облепили жены, дети, матери, отцы. Подойти к отъезжавшим не разрешалось, но продовольствие и теплые вещи им передавали — конвоиры делали вид, будто ничего не замечают.

Через год Мария Семеновна поехала к мужу в далекую тайгу. Поезд остановился в двухстах километрах от лагеря, дальше пути не было, пошли пешком. Последние двадцать километров из этих двухсот были завалены бревнами, пришлось прыгать с бревна на бревно. Все-таки добрались, допрыгали.

Муж вернулся домой через пять лет в нерадостный час: шла война с фашизмом, сын был на фронте, враг подступал к Воронежу. Главной заботой мужа и жены — он тоже был учителем — стало спасение школьников. Организовали питание детей в школах, непрерывную эвакуацию детей, бомбоубежища. В последние удавалось переводить ребят не всегда: стоило показаться на улице хотя бы маленькой цепочке ребят, держащих друг друга за платье, как их начинали методически бить с воздуха. Был такой день непрерывного массированного налета, когда детей просто уложили под стенами школьных зданий, и они пролежали неподвижно, не поднимая голов, носом в пыль, с утра до темноты. Но уцелели все. В этот день — 1 июля 1942 года — Мария Семеновна, еще и раньше начавшая терять зрение, почти совсем ослепла.

В Воронеж уже входили фашисты. Мария Семеновна с мужем ушли из города пешком. В этом трудном походе на какой-то станции они встретили своего сына! Больше шести месяцев они ничего о нем не знали, считали погибшим. Он и в самом деле был гяжко ранен на фронте, выжил чудом. Когда Мария Семеновна рассказывала об этой нечаянной встрече с сыном, о нескольких часах, проведенных вместе с ним на какой-то станции, откуда их пути вновь надолго разошлись, — все женщины в палате плакали... Да и был ли в рассказе Марии Семеновны хоть о д и н эпизод, о д и н штрих, который бы не был всем нам общим, свой, кровно родной?

В ста десяти километрах от Ташкента Мария Семеновна была директором школы, представлявшей собой в полном смысле трагический курьез военного времени. И преподаватели и учащиеся были самых неожиданных национальностей. Немецкий язык преподавал скрипач, профессор литовской консерватории, — он, может быть, и знал немецкий язык, но не знал русского. Русскую историю преподавал кореец... Ничего, все осилили, все пережили и перебороли.

В Ташкенте, куда был эвакуирован Одесский Офтальмологический институт имени Филатова, Мария Семеновна сблизилась с В. П. Филатовым и с его женой Варварой Васильевной. Они жили там непривычно тяжелой жизнью. После Одессы, где Владимиру Петровичу был построен великолепный институт-дворец его имени, научно-лечебное учреждение исключительного размаха, на которое и в тягчайшие годы ничего не жалели, обставляли его в полном смысле роскошно, — Владимир Петрович очутился в Ташкенте в трудных условиях. Врачей было мало — многие были на фронте. В Одессе все было налажено, привычно, пригнано одно к другому, все делалось с а м о, — в Ташкенте в военное лихолетье приходилось все создавать и делать с а м и м. Для того, чтобы обеспечить институт алоэ и другими биогенными стимуляторами, Варвара Васильевна, погрузившись в огромные сапоги, вышагивала десятки километров по окрестным совхозам и колхозам, где надо было организовать разведение алоэ. Еще труднее приходилось ей налаживать

бесперебойную доставку и хранение трупных глаз, необходимых для операций пересадки роговицы. Вдали от дома, от налаженной жизни и работы всякая мелочь, всякий пустяк превращались в проблему, не всегда сразу осуществимую.

Когда я двадцать лет тому назад была здесь, в филатовском институте, детей, слепых и больных глазами, было не много, и они были вместе с нами, взрослыми. Сейчас дети выделены в особое детское отделение.

— Пойдем к детям! — сказала мне в один из первых дней Дарья Рихардовна.

Теперь она — сестра-хозяйка другого отделения, не того, в котором нахожусь я, но мы разыскали друг друга и встретились радостно, как старые друзья.

И вот сейчас она пришла звать меня «к детям» — в детское отделение. Она предложила мне, как нечто естественное для меня, человека, любящего детей, превыше всего живого.

— Пойдем к детям! Посидите с ними, расскажете им что-нибудь... Помните Сашка? И Нюрочку с Аветиком?

Да, я помню их. Всегда буду помнить. Не знаю, получили ли они что-нибудь от меня, но для меня общение с ними было очень большой радостью.

А сейчас я к детям не хожу... В парке я каждый день вижу детей, выведенных на прогулку, вижу издали их забинтованные головы. Я слышу их громкие счастливые крики — они собирают опавшие желто-красные листья кленов и платанов и перекликаются, как птицы на заре. Кто еще умеет вносить во всякий пустяк такой восторженный азарт, как дети?

Впервые в жизни я сознательно уклоняюсь от общения с детьми, не подхожу к ним, не рассказываю им ничего, вообще не «дружу» с ними... Нельзя идти к детям — к слепым детям — с невеселой, смятенной душой!

Много лет назад на спектакль «Дон-Кихот» в Ленинградском ТЮЗе привезли ребят из училища для слепых. Они вошли в зрительный зал цепочкой — впереди шла зрячая учительница, а за нею гуськом, по одному, положив руки на плечи идущему впереди, шли слепые дети десяти—тринадцати лет. Возникшее в первые минуты после их появления чувство жалости и печали исчезло необычайно быстро: слепые ребята так восторженно принимали спектакль, так хохотали и веселились! Они не видели ни лиц актеров, ни костюмов, ни веселых декораций покойного Моисея Левина, но они понимали все! Всех нас поразило, что они сразу стали называть Дон-Кихота (его играл очень высокий ростом Николай Черкасов) «тот, долговязый». Мы не знали, что слепые очень чутко и точно определяют рост людей по той высоте, с которой раздается их голос.

В общем, все прошло отлично. Но через некоторое время слепых детей снова привезли в ТЮЗ на спектакль «Хижина дяди Тома»... Боже мой, что это было! Слепые дети так горестно переживали судьбу черных невольников, они так плакали, когда дядю Тома разлучили с семьей и продавали с аукциона! Самое ужасное было в том, что, несмотря на все наши мольбы, никто из них не соглашался уйти раньше окончания спектакля! Я и сегодня помню, как они уходили домой после финала — той же трагической цепочкой, с распухшими от слез слепыми глазами... Нет, сегодня для них мое общество — это вроде «Хижины дяди Тома», я не смею навязывать его детям, больным и горьким.

Я не иду к детям не только оттого, что жалею их: я и себя жалею. Сейчас есть в лечении слепых детей много нового, такого, что мне, ве-

роятно, было бы тяжело видеть. Двадцать лет тому назад детей с глазами, затянутыми бельмами, не оперировали. Взрослым делали пересадку роговицы, а детям — нет. Потому что эта операция требовала длительной — до года и даже больше — полной неподвижности, а как добиться этого у детей? Ребенок, если он в остальном здоров, непременно будет шевелиться, вертеться, и эффект операции пропадет. Поэтому бельма у детей оперировали позднее, в юношеском возрасте.

Однако наблюдения показали, что слепое детство, в котором отсутствуют зрительные впечатления, отражается на детях неблагоприятно — такие дети отстают в своем развитии. И теперь пересадку роговицы делают и маленьким детям тоже. Недавно здесь, в институте, оперировали грудного ребенка! Каким же способом достигается у таких оперированных детей неподвижность? Подробно не знаю, но, по-видимому, это насильственная иммобилизация при помощи особых приспособлений.

Однажды я пришла в один из московских детских театров. Пришла с опозданием: уже звонили к началу спектакля, и дети-зрители со всех сторон мчались вверх по лестнице в зрительный зал. Только внизу, около контроля, стояла девочка лет десяти—одиннадцати, и ох как она плакала! К ней жалась малышка, наверное сестренка, и тоже плакала, так сказать, за компанию. Контролерша не пропускала их наверх, в зрительный зал, — у них был только один билет на двоих.

— Я ее... к себе... на колени посажу... — плакала старшая девочка.

— Я заплачу за второй билет! — придумала я.

Ни того, ни другого контролерша тоже не смела допустить: таких крохотных детей в театр не пускают, чтобы они не мешали остальным зрителям.

— Зинка будет тихенько-тихенько... — умоляла старшая.

Положение было безвыходное. Уходить из театра? И не увидеть спектакля? И деньги за билет пропадут: ведь сейчас его уже никто не купит!

Я положила руку на голову старшей девочки — чистенький, беленький пробор волос посреди головы весь взмок от горя!

— Анна Ивановна! — взмолилась я к контролерше. — Ну давайте на мою ответственность? Я их посажу около себя.

— Зинка будет тихенько-тихенько...

Контролерша разрешила. Мы помчались наверх — как раз вовремя: двери в зрительный зал уже закрывали.

Зинка не подвела! Как часто бывает с совсем маленькими детьми, спектакль оглушил, ослепил, подавил ее красками, музыкой. Зинка в самом деле сидела «тихенько-тихенько». А весь последний акт она крепко спала, привалившись к старшей сестре.

Это было лет двадцать назад. А я и сейчас помню эту девочку с ее смешной бедой, с ее вспотевшим от горя проборчиком посреди головы. Каково же было бы мне теперь смотреть на иммобилизованных детей, хотя я знаю и понимаю, что эта неподвижность для них благотворна, что благодаря ей их слепые глаза просветлеют, станут живыми, зрячими.

Вот если бы мне стало лучше, я бы повеселела — и первым делом побежала к детям!..

А пока нет.

Утром на осмотре в кабинете Варвары Васильевны стало ясно: подсадка не дала результата, так же как не дали его инъекции биогенных стимуляторов.

В итоге я все у того же разбитого корыта. Подсадка была, видимо, последний «ут аликвид фиат». Надо укладываться и ехать домой.

В кабинете было очень тихо. Я старалась не смотреть на Варвару Васильевну и Татьяну Павловну — вид у меня был, наверное, несчастный до полной общипанности, и «разжалобивать» их мне не хотелось. Мне было по-человечески, от души жалко этих чудесных людей. Ведь горько, должно быть, для врача сознание невозможности помочь больному!

— Ну что ж... — сказала я и привстала, чтобы уходить из кабинета.

— Нет, подождите... — остановила меня Варвара Васильевна.

Она посмотрела на Татьяну Павловну. Потом сказала так просто, что я не сразу схватила всю важность ее слов:

— Мы с Татьяной Павловной решили все-таки сделать вам операцию.

Я взглянула на Татьяну Павловну. Она подтверждающе кивнула и тихо сказала:

— Да...

— Операцию? — переспросила я в полном смятении. — Операцию?

За все время пребывания моего в институте слово «операция» было произнесено в первый раз! А ведь я так ждала этого! Ведь именно об этом я мечтала все время: здесь, в Одессе, найдут возможным то, что считали слишком рискованным в Москве.

— Мы хотим удалить катаракту на вашем правом глазу... — продолжала Варвара Васильевна. — На днях приедет наш директор профессор Надежда Александровна Пучковская. Она сейчас за границей, на конгрессе. Мы покажем вас Надежде Александровне, пусть она скажет свое слово... Если она не будет возражать, удалим катаракту.

Не помню, сгребла ли я восторженно в охапку и Варвару Васильевну и Татьяну Павловну. Но, вероятно, мне этого очень хотелось! Кажется, я что-то лопотала... Меня буквально заливало благодарностью и счастьем. Ведь, если профессор Пучковская благословит операцию, это шанс. То, чего до сих пор — я это понимала — не было. И от этого — ох какого проблематического еще — шанса настроение мое сразу резко подскочило!

Почти бегом мчалась я к морю по аллее парка. Смотрела издали на детей, собиравших пестрые осенние листья, и бормотала, словно грозила:

— Вот... подождите... если Пучковская одобрит... и если операцию сделают... и если все будет хоть немножко хорошо...

«Если», «если», «если» — целых три «если»... Но ведь это и есть шанс!

Не помню, сколько времени я бродила по парку. Шанс все разбухал и распухал в моем воображении, как огромный пузырь. Я понимала, что он мыльный, что он хрупкий, малореальный: подуй — и нет его! Еще три «если»... И все-таки из всех закоулков моей души потянулись надежды, они все разрастались, как кусты крапивы или иван-чая около заброшенной деревенской бани. Разве есть на свете что-нибудь более живучее, стойкое, неистребимое, чем сорняки и надежды? В особенности надежды сомнительные, малообоснованные — так сказать, «беспочвенные мечтания»!

Это принимало характер угрожающий, надо было топтать сорняки, не давать им разрастаться, чтобы не поглупеть окончательно. И я стала делать то, что мне всю жизнь удается хуже всего: думать трезво — иными словами, поливать свои фантазии ушатами ледяной воды... В этом занятии мне неожиданно стало помогать небо: полил тяжелый обложной дождь. Потекли лужи, тяжелые струи дождя хлестали их, словно оплеухами.

Надо было бежать в дом, а я стояла, словно громом пораженная мыслью: почему же до сих пор Варвара Васильевна даже не заговари-

вала об операции? Вот тут я наконец поняла: московские врачи говорили не с ветру, не набалмошь — операция удаления катаракты при сочетании ее с высокой близорукостью в самом деле рискованная. Шанс удачи настолько невелик, что, может быть, в самом деле не стоит и рисковать. И Варвара Васильевна поначалу тоже применила другие средства лечения — тканевую терапию, биогенные стимуляторы, подсадку, — авось они помогут. Они не помогли. Вот тут она могла сказать себе: «Ну, я сделала все, что было возможно» и успокоиться на этом. Никто не смел бы упрекнуть ее за то, что она не рискнула на операцию, никто! Ничья самая щепетильная и беспокойная совесть! Но этого не могла допустить ее собственная совесть, ее собственная врачебная человечность.

Вбежав в подъезд, я поднялась на второй этаж, прошла в кабинет Варвары Васильевны — она еще сидела за своим столом.

— Варвара Васильевна! — сказала я. — Знаете что? Не надо! Я подумала и вижу: не надо!

Варвара Васильевна смотрела на меня почти со страхом. Возможно, у нее мелькнула мысль, что я спятила. Промокшая под дождем, какмышь, я путано, торопливо высказывала возникшие у меня мысли.

— Поймите! — говорила я. — Этого нельзя делать... Я не могу этого допустить!

— Пойдите в палату, обсушитесь... — мягко остановила меня Варвара Васильевна. — И возвращайтесь сюда, поговорим.

Минут через десять, переменив халат и отжав воду с волос, я снова сидела перед Варварой Васильевной и говорила уже более членораздельно:

— Мне терять нечего. Я все равно ослепну — что без операции, что после неудачной операции. А вам есть что терять: для врача неудачная операция — сами знаете, что это значит. Не надо операции, Варвара Васильевна! Спасибо вам, дорогая, но не надо... Я поеду домой!

Как ни сумбурно я говорила, Варвара Васильевна поняла мою мысль. Она не стала — замечательно! — успокаивать меня «веселеньким докторским голоском»: «Ну что вы, что вы! Какие мысли! Вы не ослепнете, глаз у вас прозреет — все будет хорошо!»

Ничего этого она не сказала. Она не утешала меня, ничего не обещала — ни ангелов, ни неба в алмазах. Она смотрела на меня очень серьезно и молчала. Потом сказала медленно, негромко, раздумчиво:

— А нам с Татьяной Павловной все-таки хочется вернуть вам хоть немного, хоть маленькое зрение...

Ночью я поняла: «Если бы я не была еще и глухая, то есть если бы слепота не вышвыривала меня из жизни, как котенка, даже Варвара Васильевна не решилась бы, пожалуй, меня оперировать...»

После этого все пошло сперва как по заказу.

Приехала профессор Пучковская. Варвара Васильевна сказала ей обо мне.

Меня ввели в большой зал, где собрались все врачи института (вероятно, Н. А. Пучковская докладывала им о своей поездке за границу). Надежда Александровна сразу, как говорится, «угодила мне»: я люблю лица взрослых, сохранивших в чем-то веселую детскость. Смотришь на такого взрослого человека — иногда это видный ученый, писатель, государственный деятель, художник — и явственно видишь его таким, каким он, вероятно, был в детстве. С нежной припухлостью щек и губ, даже с озорной смешинкой в глазах... Вот такое — вечно детское — есть в лице у профессора Н. А. Пучковской.

Посмотрев мой злополучный глаз, она сказала:

— Ну что ж... Три-четыре процента зрения?.. Катаракту можно оперировать.

Так благополучно решилось первое «если»: если Н. А. Пучковская благословит.

Среди врачей сидели и мои Варвара Васильевна и Татьяна Павловна. Я поклонилась всем, им в особицу, и ушла к себе в палату.

Там уже собрался весь «пленим друзей». Предшествовавшие этому дни были для меня очень тяжелыми и тревожными, и я ежедневно, даже ежечасно чувствовала дружбу Марии Семеновны Кореняко. Недели за две до того ей сделали тяжелую и, к сожалению, безнадежную операцию: удалили один глаз. Был он совершенно слеп, сохранить его было нельзя — пришлось удалить.

Нет хуже, чем когда человека, которого любишь, за которого болеешь, уводят в операционную! Мечешься, слоняешься по коридору в ожидании, пока после операции этот человек снова появится в дверях операционной: это мучительные минуты, долгие, как часы. Ведь ничего не знаешь о том, как там, за дверью, протекает операция. Когда Мария Семеновна вышла из операционной, всех нас, ее болельщиков, поразил ее вид. Она шла с а м а — две медсестры вели ее под руки, — шла твердой, уверенной походкой, но голова ее была так мучительно откинута в сторону, что было ясно, как она страдает. Все мы, ее друзья (а друзей у нее — все больные, весь персонал), не подходили к ней, мы стояли молча, жались к стене.

Только потом мы узнали: хотя глазные операции безболезненны, производятся при полном обезболивании, но Марии Семеновне все же было больно. Этот ее глаз был уже ранее оперирован восемь или девять раз. От всех этих прежних операций и обезболиваний остались рубцы, спайки: производившая теперь обезбоживание Варвара Васильевна поминутно натывалась концом шприца на мертвую рубцовую ткань, которая не принимала обезбоживания. Чувствуя и видя во время операции, как Мария Семеновна страдает, Варвара Васильевна несколько раз спрашивала у нее:

— Больно? .

— Терпимо... — отвечала та каждый раз.

Все это она рассказала мне потом, когда немного «отошла».

— Как же вы терпели, Мария Семеновна?

Она ответила не сразу:

— Я все время думала: «Моему сыну, когда его ранили на фронте, было больнее...»

Кроме Марии Семеновны, в нашей палате номер три собрались Тиночка Челидзе, Люся Виноградова, Мура (она уже оправилась после операции, глаз прозрел, завтра она уезжает). Еще Света и Катюша. Из них Света Газарова приехала в трудном состоянии: ей не так давно сделали здесь же операцию пересадки роговицы, бельмо исчезло, она, счастливая, выписалась и уехала домой в Ашхабад. Однако вскоре случилось редко наблюдаемое явление: глаз снова стал мутнеть и затягиваться бельмом. Она приехала, подавленная этой неожиданной бедой. Свету стали лечить, и все опять мало-помалу входит в норму. А Катюша Евтушенко — это просто чудесный ребенок, веселый, жизнерадостный. Она и смеется, как дети, и засыпает вечером, совсем как дети — на полу-слове и в той позе, в какой ее сморила дрема. Когда я спросила ее, не родственница ли она поэту Евтушенко, она весело ответила:

— Вот ведь всякий спрашивает... А только нет, не родственники мы.

У Катюши очень серьезное заболевание глаз. Она относится к этому удивительно спокойно и разумно. Сама, по собственному желанию, начала на всякий случай учиться «грамоте слепых» по Брайлю.

Еще одного друга забыла я упомянуть — слона забыла, маленького слонишку с носиком-кнопкой, моего «литературного секретаря» — Юленьку Ильину! Сегодня, когда решается моя судьба, Юлин кнопканосик деловито серьезен.

«Пленум друзей» был бы неполным, если бы не пришла Дарья Рихардовна. Двадцать лет тому назад, когда я впервые приезжала в этот институт, она была сестрой-хозяйкой в том отделении, куда меня поместили. Относилась она ко мне необыкновенно сердечно. А для меня, человека слепнувшего и вообще практически не слишком толкового, это было просто спасением. Дарья Рихардовна и сейчас такая же, какою была двадцать лет тому назад. Конечно, малость поблекла, но все-таки красивая, вальжная, только глаза погрустнели: война больно ударила по ее близким.

Вслушав мой рассказ о том, что было в кабинете профессора Н. А. Пучковской, Дарья Рихардовна сказала добрым, «крупичатым» голосом:

— Тепевь свушайте, что скажет Давья Вихавдовна. Вы за это вьема очень отошали — я ведь помню, вы и тогда пexo кушали. После опеации надо вам попваляться — это же не шуточки! Вы мне будете заказывать, что вы хотите, а я буду покупать вам в говоде и пвиносить. Ховошо?

Еще бы не «ховошо»! С питанием в институте обстоит — ну как везде в больницах и клиниках. Дадут иногда завтрак, как для богов, — масло, вкусная каша, блюдо сгущенного молока. А в обед то, что здесь называется «кура»: удивительнейшее блюдо — куриные пальцы. Не ноги, не куриные окорочка, а именно пальцы — обтянутые кожей и почему-то синие! Невольно вспомнишь и перефразируешь брюсовский стих: «О, закрой свои синие ноги!»

Вкушать эту симфонию цвета индиго немислимо.

Предложение Дарьи Рихардовны прикармливать меня после операции я принимаю бурно-благодарно. Тем более, что понимаю, как ей это будет трудно сегодня в Одессе.

На этом пока удачи приостановились. Операцию, назначенную было на послезавтра, приходится отложить. Прогулка к морю и раздумья под проливным дождем сделали свое дело: у меня бронхит. Глотаю таблетки кодеина и прокливаю собственную глупость.

В этой отсрочке есть, однако, и хороший момент. Во время ежедневного обхода нашего отделения Варварой Васильевной один из молодых врачей, ее ассистентов, услышав, что меня не будут оперировать, пока я не поправлюсь (нельзя оперировать глаз, когда голова ежеминутно сотрясается кашлем), дал мне драгоценный совет:

— Используйте отсрочку операции для того, чтобы научиться спать, лежа на спине... Не умеете, поди, так спать? А вот нужно — учиться!

Первая ночь этой «учебы» была, скажем прямо, трудно переносима. Я не сомкнула глаз до утра. Позвоночник словно налился жидким бетоном и окаменел. Поясница тоже. Руки, ноги тосковали и ныли.

Однако на завтра и послезавтра было уже значительно легче. Человеческий организм — умница, он приспосаблиется и привыкает ко всему, что ему полезно. Спасибо молодому ассистенту Варвары Васильевны — я привыкла спать на спине и бесконечно благодарна ему за это. Но все-таки первые несколько ночей прошли без сна, да и дальше мешало спать огорчение из-за отсрочки операции, тревога за то, как пройдет она, операция... В общем, у меня получилось то, в чем у человека всегда нехватка: время и возможность подумать в тишине.

Первая бессонная ночь...

О чем думают люди, когда они дорываются до этой возможности? «Кто я такой? Что я делаю? Так ли я это делаю, как надо бы? А если не так, то в чем моя ошибка?»

Почему так вышло, что я сорок лет писала главным образом для детей и юношества? На это я не нахожу ответа; вероятно, это вопрос праздный и неумный. Почему, когда я бывала голодна, я с удовольствием ела хлеб? А когда мне хотелось пить, я с наслаждением пила воду? Очевидно, потому, что хлеб и вода были мне нужны для утоления голода и жажды. И писала я для детей и юношества оттого, что всю жизнь любила и люблю детей. Люблю их вопрошающие глаза, их доверчивое тепло. Люблю ощущать под пальцами мягкие, легкие волосы девочек или низко стриженные, плюшевые на ощупь головы мальчиков. И разговор с детьми мне всегда интересен и радостен.

Но я не помню, чтобы, когда я писала пьесу или повесть, я прикидывала в уме: «Это будет для детей. Это подойдет для среднего возраста, нет, пожалуй, и для старшего тоже»... Когда я писала, я делала это прежде всего для самой себя, для детей моего возраста — от десяти до девяноста лет. Смешное я писала только такое, какое мне самой казалось смешным, и печальное только такое, от какого мне самой хотелось плакать. Когда я писала что-нибудь для взрослых, то есть для взрослого театра или взрослого издательства, то потом оказывалось, что это смотрели в театре и читали также и дети. А то, что ставили детские театры и печатали детские издательства, всегда смотрели и читали также и взрослые.

Чему же я учила или, вернее, хотела учить своих читателей? Что из того, чем жила я сама, пыталась я передать им?

Когда я в первый раз пришла поступать на курсы Лесгафта в Петербурге, мне было девятнадцать лет. В канцелярии курсов Лесгафта на всех окнах было много зеленых растений в горшках, мне даже почему-то помнится, что на окнах были и клетки с птицами тоже, но это моя память, может быть, присочинила позднее. Пока секретарь курсов принимала мое прошение о приеме в число слушателей и вносила меня в списки, в канцелярию, где мы находились, вошел невысокий сказочный старичок с бородой. Он был очень похож на Дарвина — и вместе с тем на большую умную обезьяну. Вошел он не с улицы, а из соседней комнаты. Все встали и почтительно поклонились старичку, а он почему-то сконфузился, закивал всем головой и ушел обратно в комнаты.

— Это профессор Лесгафт! — сказала нам секретарь курсов так радостно, словно и она в тот день увидела Петра Францевича первый раз в жизни.

Через несколько дней начались занятия на курсах. Первая лекция происходила в так называемой «большой аудитории». Никогда в жизни ни до, ни после курсов Лесгафта (в старом помещении на Торговой улице, 25) я не видала такой маленькой «большой аудитории»! Да и все помещение курсов было тесное, необычайно скромное — по сравнению с другими высшими учреждениями, правительственными, оно было просто бедное. Курсы Лесгафта — официально они назывались тогда «Курсами руководительниц физического воспитания» — были едва ли не самыми демократическими в России. Плата за учение была очень невысокая — рублей тридцать или сорок в год (точно уже не помню). Сам Петр Францевич был совершенный бесребреник, никаких материальных выгод он от курсов не получал, да и существовали курсы не столько за счет платы, вносимой слушательницами, сколько за счет щедрых пожертвований крупного сибирского богача, почитателя профессора Лесгафта. Слушательниц привлекало то, что три основных предмета, очень нужных и

важных, читали три профессора, по-разному выдающихся: анатомию — Лесгафт, химию — П. Л. Мальчевский, математику — Долбня.

Революционная репутация курсов Лесгафта была установлена прочно. Сам Петр Францевич бывал неоднократно арестован и выслаем из Петербурга. Дух, веявший на его курсах, был, по выражению органов охранки, «неблагонадежный», то есть революционный.

Во время лекций маленькая «большая аудитория» бывала набита, в полном смысле слова, как бочка сельдями. Уже ко второй лекции стены аудитории начинали потеть и горько плакать — на них осаждалось наше дыхание. Однако, несмотря на эту тесноту, в аудитории свято соблюдалась и не смещалась «дорожка Петра Францевича» — узенькая тропочка, по которой, читая лекцию, он шагал по аудитории. Говорил он не очень четко и ясно — звуки и слова терялись в бороде, к егоговору надо было привыкнуть, тем более что он непрестанно пересыпал свою речь словесным шлаком, ненужными вводными словечками: «винтели» (видите ли), «то есть это» и т. п.

Быстро шагая по своей «дорожке», профессор Лесгафт сразу же стал задавать нам вопросы:

— Зачем вы пришли сюда? Вот вы, например, зачем?

— Учиться,— ответила спрошенная курсистка.

— А вы?

— За знаниями,— сказала другая.

— Гм... Учиться... Это как же вы себе представляете? Кто-то будет откуда-то перекладывать знания в ваши головы? Нет, так люди не учатся! Конечно, мы будем помогать вам в этом, но самое главное не это: самое главное — научить вас думать. Думать вы не умеете — средняя школа этому не учит. А без этого никакие знания невозможны... Ведь чувство истины у человека врожденное? — с этим вопросом Петр Францевич внезапно обратился ко мне.— Чувство истины ведь у человека врожденное? — кивал он мне утвердительно и тряс бородой.

Конечно, я серьезно поддакнула:

— Да. Врожденное.

Ох, что тут поднялось! Профессор Лесгафт превратился в разгневанную Немезиду! Немезида яростно трясла бородой, грозила указательным пальцем перед самым моим носом и кричала:

— Ничего подобного! Ничего подобного, говорю я вам! Никакого врожденного чувства истины у человека нет! Просто вы не умеете думать. Профессор говорит вам явную неправду, а вы бездумно подтверждаете: да, да, врожденное! Еще бы — сам профессор так говорит, спорить с ним, что ли? А, конечно, спорить! Непременно спорить! Спорить со всяким, кто говорит неправду!.. А для этого надо уметь думать...

С тех пор прошло пятьдесят девять лет. И в тридцатых годах мы, группа работников детского театра, пришли к Надежде Константиновне Крупской и задали ей вопрос: в чем, по ее мнению, заключается главная задача детского театра?

Надежда Константиновна подумала, посмотрела на нас, чуть откинув голову (у нее, видимо, были ослаблены мускулы, управляющие движением глазных век), и негромко переспросила:

— В чем главная задача детского театра? — И тут же ответила: — Да в том же, в чем главная задача воспитания — учить думать.

Да, конечно, мысленно повторяю я себе сегодня. Думать. Думать самостоятельно и свободно — и страстно отстаивать свою мысль.

Вторая бессонная ночь, и снова я думаю, вспоминаю...

На первую встречу с ними — комсомольцами, молодыми рабочими большого оборонного сибирского завода (я была прикреплена к ним гор-

комом партии) — я шла, очень волнуюсь. Кто его знает, как мы примем друг друга: я их, они меня?

Когда я вошла в то помещение, где они меня ждали, я сразу ослепла! Что-то мягкое, теплое, темное шмякнулось мне в лицо — и заслонило весь мир. Это была шапка, обыкновенная зимняя шапка: в ожидании моего прихода ребята затеяли баталию шапками, и один метательный снаряд попал в лицо мне, входящей.

Эта шапка сразу разбила всякую возможность «льда» между мной и ребятами. Мне даже показалось на миг, что прилетела шапка из далекого прошлого, с репетиции какой-то «агитки-постановки» в одном из первых ленинградских молодежных домов культуры. По ходу пьесы кто-то из исполнителей требовал:

— Коня! Скорее приведите мне коня!

И кто-то из ребят мечтательно произнес:

— Эх, живую бы лошадь... А?

Эту мысль мгновенно подхватили все! И через короткое время в репетиционный зал (на четвертом или пятом этаже дома!) была торжественно введена живая лошадь!

Конь выглядел в этой обстановке несколько растерянно и даже глуповато. Конечно, он не мог знать, что он уже не первооткрыватель, что за много веков до этого дня один из венецианских дождей въехал верхом по парадной лестнице (всего только на второй этаж — экая малость!) прославленного в Венеции «Ка д-Оро» — «Золотого Дома». Но наш советский конь вел себя в зале довольно прилично, может быть, оттого, что, поднимаясь по этажам, он успел уже чудовищно загадить всю парадную лестницу. Все смотрели на неожиданного гостя со все нарастающим сомнением. Всем становилось ясно, что конь, живой, натуралистический, ржущий и извергающий навоз, — ни к шубе рукав в клубной агитпостановке, где все было условно.

Коня увели — с таким же веселым ором, как привели.

Случай этот остался в моей памяти на всю жизнь. Так это было характерно для раннего комсомола! Задумали почти невыполнимое — тут же с немалым трудом и усилиями выполнили; а когда выяснилось, что это ни к чему, — немедленно ликвидировали всю затею. Ах, комсомол, ранний комсомол! Сколько было в тебе этой веселой жадности — все охватить, все осуществить. И всякий, кто приходил в соприкосновение с тобой, невольно тоже заражался этой счастливой верой: все, чего сильно захочешь, возможно!

И вот озорная шапка, случайно угодившая в мою физиономию, словно прилетела из тех незабываемых лет. Это были уже другие комсомольцы, с тех пор прошло много лет, а кругом была Отчественная война — 1942 год. Большинство ребят были беженцы из мест, занятых фашистами (Поволжье и др.). Средний возраст их был пятнадцать—шестнадцать лет, но много было и четырнадцатилетних, тринадцатилетних, даже порой еще юнее. Они с гордостью называли себя «мы, молодые рабочие» и работали часто превосходно, а иногда поражали своим неизвестно откуда берущимся новаторским духом. Вот, скажем, две девочки, самые обыкновенные девочки, делают они простейшую операцию: сбрасывают в процессе работы много деталей в виде маленьких колпачков. И вдруг они легко, без всякой натуги, придумывают: собирать эти детали не руками, а поддевать их небольшим крючком. «Ну и что?» — спросите вы. А то, что от этого происходит убыстрение производства во много раз. А юноша токарь придумывает к своему станку шпенек самого неприятельного вида, отчего процесс ускоряется в семнадцать раз! Почему на этом же деле сидели прежде взрослые и ничего такого не придумывали?

На все мои «почему» старик мастер, редкий умница, однажды с досадой ответил мне:

— «Почему»... «почему»... Мозоли — вот почему!

— Какие мозоли? — удивилась я. — Где мозоли?

— На мозгах! — отрезал старик. — Смозоленными мозгами не много придумаешь... А ребята — это ж зелень, шкеты, им все легко!..

И вот в зиму 1942/43 года в Новосибирске происходил Всесибирский съезд молодых рабочих. Мне никогда — ни до, ни после этого — не доводилось присутствовать на таком съезде. Взрослыми гостями были прославленнейшие сибирские производственники, они сидели в президиуме. А участники съезда — «молодые рабочие», — как они были великолепны! Как они пели в перерывах, как плясали! А ведь время еще было грозное, черное.

Единственное, что они делали беспомощно и плохо просто до слез, были их выступления... Я слушала и не узнавала тех ребят, которых слышала каждый день, когда они говорили бойко, толково, интересно.

— Слово имеет товарищ такой-то, — объявлял председатель.

«Товарищ такой-то» — парнишка с умным, живым лицом — выходил на трибуну. Все предвкушающе смотрели на него, ожидая его речи... «Этот скажет! Этот обрадует!»... Но — парнишка разворачивал бумажку и начинал вяло бубнить:

— Товарищи! От имени молодых рабочих Н-ского оборонного завода передаю вам пламенный комсомольский привет!..

Зал отвечал громом аплодисментов.

Дальше парнишка продолжал читать по шпаргалке:

— Мы — то... Мы — это... У нас на заводе...

Как много интересного, живого, волнующего мог бы рассказать каждый из них о своем заводе, о товарищах, о работе! Мог бы, если бы ему дали рассказать не по бумажке, написанной кем-то другим, равнодушным и скучным.

Дальше шло заключение — у всех одно:

— Да здравствует... Да здравствует... Да здравствует наша доблестная Армия! Да здравствует наш великий маршал (с ударением на втором слове) Сталин!

Снова аплодисменты — и конец выступления. И начало нового выступления, как две капли воды похожего на предыдущее.

Было несколько выступавших ребят, особенно ярких, живых, которые пренебрегали рыбьим клеем шпаргалок, говорили горячо, образно. Таких было не много. Но как взволнованно принимал их зал! Такая же реакция неизменно встречала всякое отступление от трафарета чтения по бумажке и проявление самостоятельной мысли. Помню, вышел на трибуну мальчик-татарин по фамилии Губайдуллин, лет тринадцати — четырнадцати. В руках он нес громадный сверток, который с трудом запищал в трибуну. Сперва он передал съезду пламенный привет, потом довольно малокровно доложил по бумажке, что их завод работает на армию. Тут он вынул из своего свертка пару громадных солдатских сапог, поставил их перед собой на трибуне и, улыбаясь во весь рот, заявил уже не по шпаргалке, а веселым мальчишеским голосом:

— Вот в этих сапогах пусть наши отцы бьют врагов! — Затем рядом с сапогами он поставил маленькие детские башмачки. — А это нашим братишкам и сестренкам. Пусть топают!

Ему аплодировали от души, с любовью и уважением. Да, вот именно с тем уважением, в котором отказали ему организаторы этого съезда. В черный, опасный час страна доверила подросткам, почти детям, величайшую ответственность — ковать оружие. Но близорукие, равнодушные

люди не доверили им рассказать о своей работе самостоятельно и свободно.

Шахерезады из меня не выйдет: на этой второй бессонной ночи — не дотянув до 1001-й! — мне пришлось кончить. Кашель мой прошел, операцию назначили на одиннадцатое.

Очень правильно здесь нет обычая провожать на операцию, вот так, как у Шиллера женщины провожают Марию Стюарт на плаху. Вовсе не нужно, чтобы человек шел на операцию в разжалобливающей обстановке «проводов».

Сборы мои на операцию начались по-смешному, почти по-водевильному: мне принесли по ошибке мужскую рубашку. Смеху было!

Наконец меня обрядили в правильную «смертную одежду». Я сделала общий поклон. Мария Семеновна пожала мне руку, и это крепкое пожатие с чуть ощутимым надавливанием широкого браслета от ее часов было мне приятно.

Провожала меня в операционную одна из самых милых сестер нашего отделения — Тамара Николаевна. Она бережно вела меня под руку. Мне, как всегда в таких случаях, словно нарочно, лезли в глаза самые глупые подробности. Почему-то удивляли — словно в первый раз увиденные — урны на высоком стебле, похожем на пищевод. Никаких сколько-нибудь «значительных» мыслей у меня не было, ни о чем я не вспоминала, вероятно, нарочно.

Шли мы долго коридорами — операционная помещается в том же этаже, но далеко. В «преамбуле» около операционной — нечто вроде предбанника — меня ждала Татьяна Павловна. С меня сняли халат и туфли, на ноги надели матерчатые белые мешочки вроде тех бумажных кулчков, в какие заворачивают в магазинах провизию или ягоды. Я простилась с сестрой Тамарой, и Татьяна Павловна ввела меня в операционную.

Там было довольно много народу, как потом оказалось — врачей, пришедших посмотреть, как будет оперировать Варвара Васильевна. Тогда я этого не знала и потому не взволновалась. Поднялась по ступенькам лестницы, ведущей на операционный стол, и легла. Справа от меня встала Варвара Васильевна, слева — Татьяна Павловна, ассистировавшая ей. Мне закрыли голову большим покрывалом с прорезанным в нем круглым отверстием — над оперируемым глазом. Больше я ничего не видала. Рядом со мной, на операционном столе, лежал мой слуховой аппарат, включенный, готовый услышать, если мне что-нибудь скажут. Но он так и не понадобился.

Вначале я немного боялась боли. Но заболело — и то совсем не сильно, вполне терпимо — только один раз: когда во время обезболивания шприц шарил где-то позади глазного яблока. В этот момент я даже вроде немного закричала, но тут же Татьяна Павловна провела пальцем по моей щеке, и я успокоилась. Все остальное прошло на полной безболезненности и полном моем спокойствии. Я даже не могу вспомнить, о чем я думала в это время — кажется, ни о чем. Страх не было вовсе. Надежд тоже не было — сорняки спрятались глубоко в душе и не поднимали голов.

Длилась операция, как мне показалось, недолго — так, с полчаса. Но это, конечно, очень субъективно, за правильность не ручаюсь.

Потом Варвара Васильевна сказала в мой слуховой аппарат:

— Ну, вот и готово.

Глаза у меня были забинтованы оба. На оперированном глазу, кроме того, еще был надет проволочный колпачок, похожий (я не раз видела у других оперированных) на выпученный жабий глаз.

Потом меня положили на «трамвайчик» — носилки-каталку на колесах с резиновыми шинами — и осторожно повезли по бесконечным коридорам. Домой, в нашу третью палату.

Вот тут и стали подходить к «трамвайчику» все друзья. Они ждали меня в коридоре. Никого я не узнавала — глаза-то ведь были завязаны. Иные говорили два-три слова в мой слуховой аппарат — я держала его в руке. Узнала я только одного человека — Марию Семеновну Кореняко, узнала главным образом по твердому прикосновению широкого браслета от часов на левой ее руке. Остальных я сослепу всех путала.

— Тиночка? — спрашивала я.

— Нет, Люся Виноградова.

— А это кто? Света?

— Нет, это я, Катя Евтушенко.

— А это я. Петя-шофер.

До вечера я лежала тихо и спокойно, а главное — неподвижно. Об этом мне напоминали все время. А вечером кто-то пришел, сел около моей кровати и, взяв мой включенный слуховой аппарат, сказал в микрофон:

— Здравствуйте. Это я, Юрий Викторович.

— Здравствуйте, Юрочка...

— Я сейчас пришел на дежурство. И я хочу вам сказать... только, пожалуйста, не подскакивайте и не подпрыгивайте, вам надо лежать неподвижно...

— Юра, я буду как бревно!.. Ну?

— Весь институт гудит, как улей!.. Сегодня многие присутствовали при операции... Все говорят — в один голос, понимаете, в один голос, — что Варвара Васильевна сделала вам первоклассную операцию. И катаракту удалила, и обе сумки, и еще сделала профилактическую операцию: вырезала кусочек радужной оболочки, чтобы у вас не было глаукомы, понимаете? Одним словом, все в восторге от Варвары Васильевны!

— Ох, Юра! Спасибо...

В первую ночь после операции Варвара Васильевна поручила санитарке Леночке сидеть безотлучно возле моей постели — следить за тем, чтобы моя голова не кренилась ни на правую, ни на левую сторону. Чтобы нос был, так сказать, перпендикулярен к туловищу, как мачта к палубе.

Ночью я несколько раз просыпалась, иногда от того, что Леночка, взяв меня осторожно двумя пальцами за нос, возвращала мою голову в правильное положение.

— Леночка, ты? — бормотнула я как-то со сна.

Она не отвечала — не разговаривать же с глухим человеком, когда все кругом спят. Она только погладила пальцем по моей руке. Это означало: «Да. Это я».

Ближе к утру меня стала мучить совесть. Я тут лежу, сплю, а Леночка сидит без сна и контролирует координаты моего носа.

— Леночка... — стала я шептать. — Довольно! Ступай спать! Я отлично выспалась и больше спать не буду...

Леночка все так же безмолвно и осторожно прикрыла мне рот двумя пальцами. Я снова забылась.

Только перед самым рассветом я проснулась и попросила пить. Леночка налила мне боржому и поднесла к моим губам. До этой минуты она касалась меня только правой рукой — она сидела, обратившись ко мне правой стороной. Но тут она, видно, правой рукой налила боржом из бутылки и подала мне стакан левой рукой. И я явственно ощутила прикосновение широкого твердого браслета от часов на ее левой руке... Это была Мария Семеновна Кореняко. Она еще с вечера отпустила Леночку, а сама сидела всю ночь около моей кровати.

Следующий день — суббота — прошел, как и пятница, в темноте, неподвижности, а главное, в неизвестности: что дала операция? В субботу вечером я взяла с Марии Семеновны честное слово, что она больше не станет дежурить около меня ночью, а не то я от волнения не усну. И никого не надо — положите мою голову неподвижно между двумя подушками, вот она и не будет накреняться ни влево, ни вправо. Так и сделали.

Всю субботу, как и всю пятницу, Варвара Васильевна очень часто забегала к нам в палату. Она брала мою руку, и я, не видя, угадывала по прикосновению, что это она. В субботу вечером она ушла к себе домой до понедельника. Но и из дома она в тот вечер звонила несколько раз по телефону, спрашивала у дежурного врача и сестры, как я себя чувствую.

Признаюсь честно, я с ужасом думала, что вот еще целый день, целое воскресенье мне придется лежать неподвижным чурбаном, не зная, как решается моя судьба! Развязать глаз впервые после операции предполагали только в понедельник.

Но в воскресенье днем вдруг — знакомое прикосновение: пришла Варвара Васильевна и села около моей кровати. Ни слова не говоря, она стала разбинтовывать мой оперированный глаз. Я ни о чем не спрашивала, не хотела ее нервировать. Будь, что будет...

Вот уже снят бинт. Снят и предохранительный «жабий глаз» из металлической сеточки.

— Ну, что вы видите? — спросила Варвара Васильевна.

Не знаю почему, но я ничего не видела.

Ничего. Совсем ничего.

— А что мне видеть, Варвара Васильевна? — спросила я и сама поразилась, до чего дрожит мой голос... Бывают такие паучкообразные трясучки-собачки с дрожащими лапками.

— Ну, например, меня... вы видите? — Варвара Васильевна сказала это таким упавшим голосом, что я утратила последнюю надежду.

И тут — вдруг — я повернула глаз к Варваре Васильевне — и увидела ее!

— Ох, Варвара Васильевна! Я вижу вашу голову, ваши волосы... вашу докторскую шапочку... Варвара Васильевна! Ваша голова сверкает, как Эльбрус... как снег на Эльбрусе... — повторяла я все снова и снова. Мне казалось, что я ору счастливым диким голосом, а я еле шептала. — Как Эльбрус... как Эльбрус... — повторяла я в восторге.

Это было начало вновь обретенного зрения, и меня не столько поражало, что я вижу разные предметы — да и много ли предметов в больничной палате, — сколько удивительная, давно забытая яркость окраски, четкость линий, чистота цвета.

Много лет до этого все казалось мне тусклым, грязно-серым. Сейчас докторская шапочка Варвары Васильевны была не скучно-беловато-выстиранная, нет, — вместе с седыми волосами она, «как грань алмаза», играла жемчужной снежной россыпью. Дверная ручка сверкала золотинкой, словно только что надраенная. Скучнейшая деревянная оправа большого зеркала на стене казалась только сейчас отлакированной, отполированной до праздничного блеска... Я смотрела в глаза Варвары Васильевны и видела то, чего я не видела уже много лет — цвет человеческих глаз. Ровный круг сине-голубого кольца, замыкающий непонятную глубину ее зрачка!

Идут, бегут дни. Каждое утро, проснувшись, я открываю один глаз. Не тот, что недавно оперировали, а другой, тот, что почти ничего уже не видит. Я вижу этим глазом окружающий воздух цвета грязной бурды, похожей на свиное пойло. Такого же цвета и оконные стекла и все предметы в палате. На ночной тумбочке лежит мое вечное перо — оно болотно-

зеленое. На стуле у кровати висит мой халат — он цвета потемневшей от времени турецкой шали, засаленной, как у старой цыганки. В общем, незавидное хозяйство, хоть не просыпайся!

Вот тут я открываю свой новый глаз — оперированный, возрожденный к жизни. Открываю его медленно, осторожно — страх, как ржавая задвижка, придерживает мое веко. Во мне живет смутное, почти бессознательное опасение: а вдруг все счастливое мне только приснилось? Или за ночь, пока я спала, все опять исчезло? Вдруг прежняя землянка и разбитое корыто?

Нет, все на месте. Словно откинули ночные ставни, распахнули широко окна, впустили в комнату воздух, запахи леса!.. Мое вечное перо на тумбочке веселого голубоватого цвета. А халат — я бы поклялась, что он не мой, но его выдает знакомая заплатка на локте, — и он вовсе не из грязной турецкой шали, он чистенький, симпатично голубинового цвета.

Работать мне еще нельзя — зрачок еще расширен атропином. Но уже сейчас результат операции выявляется выше всех возможных ожиданий: до операции в нем было три процента зрения в очень сильных очках, а сейчас уже больше тридцати процентов зрения без всяких очков. Это еще не предел: врачи считают, что потом будет сорок процентов, даже больше...

Кто-то шутя назвал мой отъезд из Института имени Филатова «колхозной свадьбой с тремя автомобилями». Поезд уходит утром, и я очень тревожилась: а вдруг заказанная машина не придет за мной вовремя? В результате дорогие друзья-доброхоты, кто мог, каждый в отдельности, заказали для меня на это утро легковую машину. Машины и пришли вовремя — все три!

Провожали меня так сердечно и дружно, как это бывает только там, где людей сближают общие страдания, болезни, тревоги. Разве это можно забыть?

И вот я еду домой в Москву. Еду и не отрываюсь от окна! До чего прекрасен мир и как много в нем для меня забытого, радостно вспоминаемого снова! Поезд идет мимо домов — я различаю в них каждый кирпич. Везут на грузовиках строительный лес — я вижу каждую тесину. Чудится, сквозь вагонные стекла в купе входит смолистый запах дерева, стружек. Жеребенок смотрит на меня, я вижу его глаза — ей-богу, мы с ним где-то встречались, и он тоже узнает меня! Проплывают платформы с углем — вспоминаю давние поездки по Кузбассу; с тех пор я уже не видала такого вкусного, жирного, словно слегка вспотевшего угля...

Идет поезд — жизнь бьет волной за его окном.

Я возвращаюсь в эту жизнь издалека, возвращаюсь на свое место, как домой!



КЯЗИМ МЕЧИЕВ

★

СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ

С балкарского

Кязим Мечиев (1880—1943) — старейшина и основоположник балкарской советской литературы.

Поэт-переводчик Семен Липкин работает сейчас над первой книгой переводов стихотворений поэта на русский язык. Ниже мы публикуем стихи поэта, не известные еще русским читателям.

* * *

Я слагаю стихи и железо кую —
В том и в этом есть надобность в нашем краю.
Не князья нам нужны, а нужны топоры —
И Кязим это понял с недавней поры!

1905

Завещание сыну

Сын мой, скоро я в могилу лягу.
Сколько зла судьба мне принесла!
Ты же, может быть, придешь ко благу,
Жизнь увидишь без людского зла.

Если ты увидишь, что взрастили
Люди мир и счастье на земле,
Сын мой, подойди к моей могиле,
Крикни мне о побежденном зле.

Может быть, сквозь черный прах могильный,
Чтоб я смог спокойно отдохнуть,
Голос твой услышу звонкий, сильный...
Только, сын мой, крикнуть не забудь!

1906

* * *

Я сравню тебя с моей стрелой,
Молодость, пустилась ты в полет.
За какой сокрылась ты скалою?
Кто тебя, далекую, найдет?

Ты взяла красу и стать фазанью,
Молодость, достойная хвалы,—
Или ты была той самой ланью,
Что погибла от моей стрелы?

1910

* * *

Серый камень сорвался с утеса,
В мрачной бездне остался лежать...
Никогда ты наверх не вернешься,
Свой утес не увидишь опять...

Я молю тебя, господи, ныне:
Лучше в камень меня преврати,
Но остаься не дай на чужбине,
К моему очагу возврати!

1910, Дамаск.

* * *

Если дождь прошел и даль светла —
За дождем ты не скачи в седле.
Если молодость твоя прошла —
Не ищи ее по всей земле.

Ты ее не купишь у купца,
Хоть и станешь цену набавлять.
Не получишь снова от отца,
Не возьмешь у матери опять!

1910, Стамбул

* * *

Чтоб родину избавить от невзгод,
Я в кузнице кую железо с жаром,
И видя, как страдает мой народ,
Я сам горю, как уголь в горне старом.

1910

* * *

Идет в ауле дождь, блестя, шумя, струясь,
 И с каждой улицы он всю смывает грязь.
 Но смоют ли с людских сердец клеймо кручины
 Те ливни грозные, что падают с вершины?

1914

* * *

Кругом жестокий вихрь, тяжелый снегопад,
 Но горы, как всегда, без трепета стоят.
 В години бедствия, тревоги и невзгод
 Учись у наших гор, несчастный мой народ.

1914

* * *

В трубу моей сакли падает черный снег.
 Стучится тревога, просится на ночлег.
 Скажи мне, тревога, злая гостя моя,
 Ужели другого нет у тебя жилья?

1915

* * *

Толкуют о царе, о войске говорят.
 Налогов требуют и требуют солдат.
 Кровавых рек поток, глухих громов раскат,
 Аулы — как сады: побил их сильный град.

Нам не дает вздохнуть жестокости указ.
 Цвет жизни под ярмом насилия погас.
 Неправда душит всех, кто угнетен сейчас,
 И бешеные псы бросаются на нас.

Вам это говорит хромой кузнец Кязим.
 От горьких, долгих слез я стал почти слепым.
 Вам это говорит Кязим в последний раз:
 Терпенья больше нет, терпенья нет у нас!

1916

* * *

Я понял: честен путь большевиков.
 Они людей спасают от оков.
 Не я ли сам, среди угрюмых скал,
 В оковах долго плакал и стонал?

Мой стих да будет с этих пор огнем,
Чтоб все оковы расплавились в нем.
Пусть превратится на моих глазах
Тюрьмы последний камень в пыль и в прах!

1919

* * *

Советская власть — это ствол золотой,
Богатый плодами, шумящий листвою.
Такая опора сильнее всех опор,
Кто враг этой власти — тот враг моих гор.

1924

* * *

Нагрянет смерть — мой пес мне лаем не поможет.
Нагрянет смерть — мой сын ее прогнать не сможет.
Нагрянет смерть — и я засну последним сном,
Но будет жить мой стих на поприще земном.

Нагрянет смерть — она отнимет в миг единый
Знакомый речки шум и синие вершины,
Но дом, что ты воздвиг, но твой заветный стих
Останутся с людьми, чтоб жить среди живых.

1940



ВИКТОР НЕКРАСОВ

★

ПО ОБЕ СТОРОНЫ ОКЕАНА

1. В ИТАЛИИ

— **О**пять, значит, побывали в Италии?

— Опять.

— Ну и как?

— Устал дьявольски. Две недели все-таки такой сжатый срок...

— Сжатый, понятно. И все же?

— Ну, как вам сказать. Интересно, конечно...

— Почему — конечно?

— Да все потому же. За две недели, точнее даже за тринадцать дней, столько намотаешься, столько наговоришься, столько увидишь, что потом за полгода не разберешь.

— М-да...

Собеседник умолкает, в его взгляде я вижу что-то нехорошее.

Такой же взгляд был, очевидно, и у меня, когда лет десять тому назад один очень крупный наш писатель, едущий по всевозможным конгрессам, отойдя от телефона, выругался:

— Тьфу, пропасть! Опять в Париж ехать надо... — И в ответ на мой удивленный взгляд: — Если б вы только знали, до чего надоели все эти парижи, стокгольмы, женевы. Мотаешься как белка в колесе. Ни поработать, ни отдохнуть.

Я был поражен, возмущен и даже обижен.

И вот сейчас я чувствую на себе подобные же взгляды: «Устал, видите ли, бедняжка. Двух недель ему не хватает. Впечатлений, мол, слишком много, переварить не может...»

Я чувствую эти взгляды, и мне становится неловко.

Пять лет тому назад я впервые поехал в Италию. Пробыл там около месяца. О впечатлениях своих попытался рассказать в очерке «Первое знакомство». Пока писал, думал: «Ну, это так, первые впечатления. Авось поеду еще раз, тогда постараюсь знакомство это углубить, расширить, развить». И вот этот «еще раз» произошел. В марте 1962 года. Так ли он произошел, как мне думалось, хотелось? Нет, не так. И все же...

Вопрос: как, попав в ту или иную страну да еще на короткий срок, побольше узнать о ней?

Ответов много. Самый разумный, очевидно, следующий: «Собираешься ехать в Италию? Тогда будь любезен, сходи в библиотеку, порыйся в специальной литературе, почитай о том, что тебя больше всего интересует, и в Италии тебе не придется залавать вопросов, на которые ты можешь найти ответы и дома. Это первое. Это фундамент. Второе. Составь приблизительный хотя бы план того, что и кого ты хочешь пови-
дать, и старайся по мере сил придерживаться этого плана. Третье —

не распыляйся, не хватайся за все, сосредоточься на том, что тебе действительно интересно и нужно. Четвертое — не расставайся с записной книжкой, на память не рассчитывай. Пятое — не ложись поздно, вставай рано: прекраснее утра ничего нет и дома и за границей. Шестое — лучше в одном месте подольше, чем «галопом по Европам». И, наконец, седьмое — а выучил ли ты язык? Если нет — грош тебе цена.

Вот эти семь заповедей. Выполнишь — будет польза. Не выполнишь — пеняй на себя».

Бог ты мой, как я себя убеждал в необходимости придерживаться этих заповедей! Убеждал, убеждал, и ничего не вышло. Кроме шестой и частично первой, не выполнил ни одной. И, как ни странно, не жалею. Стыжусь только за седьмую — языка так и не выучил.

Нет, не в плане дело, не в регламенте, не в записной книжке. Интереснее всего бывает как раз противоположное — неожиданность, случайная встреча, новое знакомство, вдруг возникший спор, непредвиденный вопрос — одним словом, не расписание, а как раз нарушение расписания, и не только моего, но и «местных жителей». Об этих нарушениях будет еще разговор впереди (они связаны не столько с Италией, сколько с поездкой в Америку и вообще с организацией нашего туристского дела). Сейчас же несколько слов о записной книжке, точнее — писательской записной книжке.

Еще в прошлый приезд в Италию в Ватикане я впервые увидел сонмы туристов (в основном западногерманских), испещрявших страницы за страницами свои записные книжки, хотя все, что им рассказывали гиды, изложено было в зажатых у них под мышками путеводителях. Тогда нелюбовь к записной книжке зародилась. В Америке она окрепла, когда я заметил, что кое-кто из наших туристов занимается тем же — пишут, пишут, не успев даже взглянуть на картины, перед которыми стоят. В Антверпене я еще больше возненавидел записную книжку. Проходя мимо одного из старинных зданий, наш гид указал на него и мимоходом сказал:

— Вот в этом дворце всегда останавливается король Бодуэн, когда приезжает в Антверпен.

— В каком, в каком? — Одна из самых бойких и деятельных наших туристок дернула меня за рукав.

— Вот в этом, — ответил я и, не выдержав, через плечо заглянул ей в блокнот.

«Вот в этом дворце всегда останавливается король Бодуэн, когда приезжает в Антверпен» — дословно записала она и, боясь прозевать очередной дворец, рысцой стала догонять гида.

На это не без основания могут возразить, что необязательно записывать всякого рода ненужности, все зависит от самого записывающего. Возможно, это и так, но, на мой взгляд, записная книжка нужна писателю главным образом для занесения в нее телефонов и адресов, в остальном же она только мешает. Магия записи, ее избирательность, если можно так сказать, впоследствии уничтожает непосредственность воспоминания. В какой-то степени получается то же самое, что при частом рассказывании одной и той же истории: «забалтываешься», рассказ превращается в сработанный, отрепетированный номер с проверенными «на публике» деталями, которые «стоят насмерть» и не дают хода другим.

Не знаю, как другие, но я против записной книжки.

Окончательно возненавидел я ее года полтора тому назад в своем родном Киеве, когда туда приехал Данило Дольчи. Крупный итальянский общественный деятель, лауреат Ленинской премии, в прошлом триестинский архитектор, сейчас он навсегда переселился в Сицилию,

чтоб жить среди крестьян и рыбаков, которым посвятил всю свою жизнь. Это очень добрый, честный, самоотверженный человек. Жизнь его достойна удивления и подражания. Он бесребренник, почти нищий. Все, что имеет, отдает крестьянам и рыбакам. Он пытается организовать для них сносное существование. Познакомились мы с ним еще в Италии, в 1957 году. Он усиленно приглашал тогда к себе на Сицилию, но, как обычно, помешали регламент и расписание, и поездка не состоялась. Сейчас он приехал в Советский Союз, чтоб ознакомиться с системой нашего планирования — авось удастся применить что-нибудь и у себя на родине.

В Киеве он был занят с утра до вечера — разрывался между министерствами, госпланами и совнархозами; я забежал к нему на часок в гостиницу, чтоб позжать ему руку и вместе пообедать. Не успели мы сесть за столик, как он вытащил блокнот. Ни одного моего слова он не пропустил, все записал. Возможно, то, что он записал, было ему очень нужно, но мне было как-то грустно — вместо беседы получилось интервью.

Нет, я определенно против записной книжки и против планирования «осмотров и встреч», против расписания. Самое интересное возникает вдруг, неожиданно-негаданно, хотя в этой неожиданно-негаданности есть свои рифы и пороги.

Для затравки я расскажу об одном случае, происшедшем, правда, не в Италии, а у нас, в Советском Союзе, но с итальянцем. Я до сих пор хожу-лежу при одном воспоминании об этом случае.

Итальянец этот — Джулио Эйнаути — крупный туринский издатель, сын бывшего президента, друг Советского Союза, много сделавший для популяризации советской литературы в Италии. Приехал он не один, а с женой и с другом — венецианским писателем Карантото-Гамбини.

В Киеве они пробыли дня два или три. Ездили по городу, знакомились с достопримечательностями — все честь честью, как положено. И вдруг ни с того ни с сего захотелось Эйнаути на базар. Иностранцы, нужно сказать, вообще любят знакомиться с базарами, но нашему Эйнаути кто-то сказал к тому же, что только на базаре можно приобрести настоящие произведения народного искусства. Как потом выяснилось, речь шла ни больше ни меньше, как о намалеванных на клеенке лебедях и полосатых лупоглазых кошках из папье-маше. Ну что ж, базар так базар. Сели в интуристскую машину и покатали на Подол, на Житний базар. Кроме гостей, была переводчица и еще один мой друг. Без всяких помех доехали куда надо. Вылезая из машины, Эйнаути спросил:

— А фотографировать у вас можно?

— А как же, — сказал я. — Все, кроме военных и стратегических объектов.

Через минуту вокруг бедного Эйнаути собралась толпа, и толпа далеко не безмолвная. Его обвиняли в том, что он фотографировал какую-то старуху, торговавшую муравьями (от ревматизма, что ли?). Кое-кто шел дальше, утверждая, что съемки производились со шпионской целью. Так или иначе, но все мы четверо — главный виновник и трое нас, советских граждан, — оказались в отделении милиции. Что и говорить, это было не самое образцовое отделение. Продержали нас там минут сорок — куда-то звонили, выясняли, требовали фотопленку, — и только после активных наших убеждений («Сын президента! Директор крупнейшего издательства!») и дополнительных звонков нас отпустили и даже извинились. Нужно сказать, что все эти сорок минут, проведенные по соседству с какими-то спавшими в углу базарными пьяницами, наш директор крупнейшего издательства держал себя с большим достоинством и даже пытался утешить меня, повторяя по-русски:

— Бывает... бывает...

Потом, в Москве, говорят, он очень весело рассказывал об этом инциденте, добавляя, что в Италии подобная история длилась бы по крайней мере несколько часов. Вообще же он остался очень доволен и огорчился лишь тем, что нам так и не удалось купить «произведения народного искусства» — торговки наотрез отказались продавать. Одна из них прямо сказала мне:

— Если б знала, что для него, сделала бы по-художественному, а это ж так...

* * *

— Скажите, пожалуйста, что самое интересное было у вас в Италии (или в Америке)?

На первых порах я затруднялся на это прямо ответить. Сейчас могу. Самое интересное — это споры. Не скажу, что это самое легкое, но это самое увлекательное и, может быть, самое нужное. Но об этом позже. Сейчас же о том, что самое приятное.

Я часто задаю себе вопрос, что доставляет большее удовольствие: когда окружающие тебя люди знают, кто ты такой, или когда не знают?

Не буду лукавить — очень лестно сидеть за одним «круглым столом» (хоть он на деле и продолговатый) вместе с Альберто Моравиа, Карло Леви, Пьером-Паоло Пазолини, Гвидо Пьовене, рядом с советскими писателями, представляющими здесь, в Риме, во дворце Мариньоли, нашу литературу. И выступление по римскому телевидению тоже приятно. Подумать только, Чухрай и ты — первые советские люди, которые попали в это громадное, усиленно охраняемое здание, хозяева которого далеко не симпатизируют нашему строю, нашим взглядам. Чухрай почему-то абсолютно спокоен (привык, черт!), а я волнуюсь. Волнуюсь, может быть, чуть меньше, чем милая молоденькая переводчица, дальнейшая работа, а значит, и судьба которой зависит от того, как она справится сегодня с переводом выступлений этих двух «советико». И муж ее рядом, тоже волнуется. (Могу успокоить — все сошло хорошо, и на следующий день юные муж и жена прислали нам с Чухраем трогательные сувениры и кулечки засахаренного миндаля — традиционный подарок молодоженов.)

Одним словом, что скрывать — популярность всегда доставляет удовольствие.

И все-таки не это самое приятное.

Не знаю, как другие, но я часто, смотря какой-нибудь хороший фильм (ну хотя бы «Машиниста» Пьетро Джерми или «Улицу Прери» с Жаном Габеном), невольно устраиваюсь за одним из столиков того самого парижского «бистро», где Габен спорит со своими друзьями о велосипедных гонщиках, или подсаживаюсь со своим стаканом кьянти к захмелевшему Джерми-машинисту, когда у него так тяжело на душе. Джерми-машинист... Как мы его полюбили, большого, седого, жесткого и мягкого, любителя выпить. Как полюбили его жену — за всех ей надо думать, за всех решать, все нести на своих плечах. Полюбили детей, и старших и младшего, обаятельного черноглазого пострела. Полюбили и кабачок, в который всегда после дежурства забегает машинист — даже перед Новым годом и то забегал! — полюбили и самого кабаччика.

И вот ты в этой стране. В стране Джерми-машиниста, в его городе.

В один день мы пролетели чуть ли не всю Европу. Полчаса в Варшаве, три часа в Париже. Потом через выглядывающую из туч вершину Монблана — в Рим. Сверкающий огнями и стеклами новый аэропорт Фиумичино (не знаю, что лучше — новый Орли в Париже или Фиумичино). Автобусом мимо Колизея к Станционе Термини — римскому вокзалу.

Десять часов вечера. Впереди еще четыре часа поездом до Флоренции — конечного пункта нашего путешествия.

Забрались в вагоны, забили сетки своими чемоданами. Тронулись. Я открыл окно и высунулся... Высунулся и оказался в фильме «Машинист»! Черт возьми, тот же вокзал, тот же поезд, так же все быстрее и быстрее стучат колеса электропоезда по стыкам и стрелкам, те же проносятся будки, мачты, дома... Кто ведет поезд? Когда мы приехали во Флоренцию — она встретила нас дождем, сыростью, холодом, — я не удержался и заглянул в переднее окно электровоза. Можете смеяться надо мной, но там сидел Пьетро Джерми. Честное слово!

Я, конечно, не мог найти, да и не искал того кабачка, где машинист пел песни и играл на гитаре со своими друзьями, но я был в другом, в который он мог зайти. И Кабирия могла. И любой герой из «Рима в 11 часов». Там играли в какую-то игру. Я выпил пива и тоже включился в эту игру. Это была электрическая игра. Над большим ящиком ходит небольшой порталый кран. В ящике лежат всякие завлекательные вещи — брошки, портсигары, мундштуки. Ты опускаешь в щель автомата пятьдесят лир и нажимаешь кнопку. Кран начинает двигаться. Когда он доходит до соблазвившего тебя предмета, ты нажимаешь другую кнопку, кран останавливается и опускается ковшиком, который захватывает или не захватывает то, что тебе хотелось. Я ничего не захватил. Истратил лир триста. да еще веснушчатому рыжему пацану дал сто, но оба мы остались с носом. Впрочем, остальные тоже, за исключением шоферского типа парня в комбинезоне, вытащившего перочинный ножик. А в общем было весело. Все ржали, особенно при чьей-нибудь неудаче. И пили пиво. И рылись в карманах, опять опускали монетку. Потом жены стали увлакивать своих мужей. Те сопротивлялись. Опять пили пиво. Было весело. Особенно мне. Я чувствовал себя своим в этом окраинном рабочем кабачке. На меня никто не обращал внимания. Вернее, столько же, сколько на других. Вот это, пожалуй, самое приятное.

И еще. Мы бродили по ночной Флоренции. Я и двое моих друзей. Было очень поздно. На улицах пусто. Шли без всякой цели, куда глаза глядят. По улочкам, переулочкам, вдоль набережной Арно. Вышли к Понто-Веккио. Это стариннейший мост, через два года ему минет четыреста лет. Живописнее его нет в мире мостов. Он мост и в то же время улица. На нем лавки и магазины, в основном ювелирные. Существует, вероятно, миллион фотографий и открыток этого моста. И днем и ночью, и сверху и снизу. Я его тоже фотографировал и рисовал и в детстве и теперь. Это очень знаменитый мост. Он чудом уцелел в эту войну, хотя одно время линия фронта проходила через Флоренцию по реке Арно.

И вот мы вышли на этот мост. Облокотились о перила. Смотрели на стремительную Арно под нашими ногами, на огни ночного города, отражающиеся в ней. И тут подошли к нам два ночных сторожа. Попросили закурить. Один из нас знал итальянский. Заговорили. И знаете, о чем они через несколько минут уже спорили? О Чили! О том, кто выйдет победителем на всемирном футбольном чемпионате.

На Понто-Веккио о футболе? Кошунство? А по-моему, нет. За те пять или шесть дней, которые мы пробыли во Флоренции, Понто-Веккио из знакомого постепенно превратился в друга, а мы чуть-чуть меньше стали туристами.

Когда я впервые, пять лет тому назад, попал на площадь Синьории, я чуть ли не на цыпочках вошел в Палаццо Веккио, постоял в знаменитом дворике, поднялся по лестнице. с трепетом ходил по громадным залам, украшенным картинами Вазари и скульптурами Микеланджело. Святилище.

В этот приезд Палаццо Веккио был для меня уже не только замечательным памятником архитектуры и эпохи, но и местом, где мы сидели с наушниками на голове, слушая выступления делегатов Конгресса Европейского сообщества писателей. Заседания происходили в Зале Пятисот (том самом, где Вазари и Микеланджело), во время официальных приемов у входа и на лестницах стояла стража в средневековых одеждах, с алебардами и факелами. Что говорить, к концу конгресса все немного устали. Стоит ли удивляться, что кое-кто из нас не всегда досиживал до конца заседания и «смывался» в город побродить по тихим улочкам. Я думаю, Палаццо Веккио за это на нас не в обиде — он тоже стал другом, а в дружбе этикет только мешает. Правда, за него обиделся мой киевский друг, архитектор, когда, рассказывая ему о чем-то, я неловко обмолвился, что в какой-то там вечер не захотелось идти в Палаццо Веккио — все-таки каждый день утром и вечером...

— Дожили, — сказал мой друг, и в голосе его не было и тени сочувствия, — а Флоренция тебе не надоела? И утром и вечером, и днем и ночью...

Я почувствовал снова неловкость.

Да, самое приятное — это когда перестаешь чувствовать себя туристом. Когда чуть-чуть обживаешься. Когда идешь пешком от Вилла Боргезе к себе домой, в гостиницу «Империо» возле Станционе Термини, и никого не спрашиваешь, как пройти, и не разеваешь уже рот на вокзал, а думаешь о нем как о месте, где можно сейчас купить последний номер «Пари-матч» с продолжением воспоминаний о Хемингуэе его младшего брата. Когда можешь сказать своему товарищу, футбольному болельщику: «Между прочим, завтра на стадионе Фламинио любопытный матч: Рим—Милан. Интересуешься? Это недалеко. Сядешь у вокзала на шестьдесят девятый автобус и до площади Фламинио. А там два шага. Можно и тридцать третьим, но он с пересадкой». (Сам я облазил вчера весь этот стадион, ведь его построил Пьер-Луиджи Нерви, знаменитейший итальянский архитектор, а теперь говорю о нем, будто это стадион «Динамо».)

Есть еще одно, что доставляет неизъяснимое наслаждение, — вторичные встречи. Встречи, открывающие тебе в уже знакомом что-то новое, неожиданное.

Я не злоупотреблял музеями. Лучше меньше, да лучше. В Уффици, во Флоренции, я обошел залов десять, не больше. И открыл для себя заново Бронзино, Филиппино Липпи, Паоло Учелло. Особенно последнего. Скажу прямо, хотя это немного и стыдно: я о нем ничего не знал, увидел впервые.

Зайдя в один из первых залов Кватроченто, я остановился перед картиной, которая меня неожиданно вдруг поразила. Как мог я ее не заметить, когда был здесь в прошлый раз? Вот что значит туристская беготня! Картина была необычна. Называлась она «Битва». По изысканности и ритмичной законченности композиции, по тонкости рисунка, по колориту, по удивительной смелости сочетания цветов и, наконец, по какому-то совершенно исключительному умению разъединить и в то же время объединить между собой первый и задний планы я, пожалуй, не знаю ничего равного. Первое, что тебе бросается в глаза, когда тыходишь в зал, это брыкающаяся обеими задними ногами лошадь в правой части картины. И еще две лошади — поверженные, голубого цвета. Почему они голубые? Не знаю. Но они должны быть голубыми. От картины невозможно оторваться. Первый план — сражающиеся рыцари. В центре на белом коне — падающий от удара копьем воин. Копье, невероятной длины, мощно пересекает картину по горизонтали. Слева и справа лес других копий, создающих редкой красоты, почти музыкальный ритм.

И все это на фоне пересеченных какими-то низкими посадками полей, по которым там и сям прыгают крохотные гончие. И еще какие-то войска идут из-за пригорка...

Описал картину? Да разве опишешь? Я затрудняюсь толком объяснить, что в ней поражает. В первую очередь какое-то магическое — я не нахожу другого слова — сочетание условности и реальности. Плоскостность картины нигде не нарушена, иллюзорности никакой, и в то же время глубина, причем глубина, созданная не элементарными законами перспективы (которой, кстати, Учелло был великим мастером), а чем-то другим, гораздо более близким искусству. Плоскость картины не разрушена, не прорвана, а сохранена в своей неприкосновенности. Для этого же и не дано небо, которое сразу же создало бы иллюзию глубины. Нет, иллюзии никакой! Глубина создана только планами, размерами фигур переднего и заднего. Не изображать, а выражать — вот в чем весь Учелло... И теперь мне понятно, почему поверженные лошади голубые. Они мертвы. Это выражение смерти. А я-то сначала думал, что эти два серо-голубых пятна на переднем плане нужны художнику для цветового равновесия, как белые гончие и зайцы на втором плане...

Кем же он был, этот кудесник раннего Возрождения, Паоло ди Доно, прозванный «Учелло» («Птица» — говорят, он очень любил животных, особенно птиц)? Флорентинец, сын цирюльника, золотых дел мастер, мозаичист, автор рисунков для витражей знаменитого флорентийского собора, работал у Гиберти, дружил с Донателло. Прожил большую жизнь, умер в 1475 году. Большинство работ его не сохранилось. Наиболее значительная — «Битва», на мой взгляд, недооцененная современниками, да и нами тоже.

Вот что пишет о нем Джорджо Вазари в своих знаменитых «Жизнеописаниях наиболее известных живописцев, ваятелей и зодчих»: «Паоло Учелло был бы изящнейшим и изобретательнейшим гением, какой со времени Джотто был в искусстве живописи, если бы к людским фигурам и к животным он проявлял столько же усердия, сколько усердствовал он и тратил времени в делах перспективы... Паоло Учелло от природы был одарен умом гибким и тонким, но не знал другого удовлетворения, кроме как искать решения для каких-нибудь трудных и невозможных задач перспективы... Паоло, не давая себе отдыха, находился в вечной погоне за самыми трудными вещами в искусстве... В итоге он до такой степени стал искушен в этих трудностях, что нашел способы, приемы и правила, как вводить в свои перспективы стоящие на ногах фигуры так, чтобы они постепенно, от одной к другой, укорачивались, соответственно уменьшались и совсем исчезали из виду; между тем до него это делалось, как приведет случай... Все эти изобретательства пристрастили его к одиночеству, почти к нелюдимости, так что он сидел дома, не перекидываясь ни с кем ни словом в течение недель и месяцев и не показываясь на люди... Потратив время на эти головоломки, он в течение всей жизни находился скорее на положении бедняка, нежели знаменитого человека... Так прожил он до глубокой старости, испытывая мало радостей от своих преклонных лет, и умер на восемьдесят третьем году жизни... После себя он оставил дочь и жену, которая рассказывала, что Паоло все ночи напролет проводил в мастерской за поисками законов перспективы, а когда она звала его спать, отвечал ей: «О, какая приятная вещь эта перспектива!»

Мне кажется, Вазари несправедлив к Учелло. Достаточно взглянуть на «Битву» в Уффици (среднюю часть триптиха, левое крыло которого хранится в Лондоне, а правое — в Лувре), чтобы понять, что не одной только перспективой заслужил себе славу Паоло ди Доно по прозвищу Учелло. Впрочем, что можно сказать об эпохе, в которой рядом или один

после другого работали Чимабуэ, Джотто, Учелло, Гиберти, Мазаччо, Брунеллески, Донателло, Пьеро делла Франческа и десятки других, об эпохе, которая дала миру Микеланджело.

Встречи с Микеланджело особенно радостны. Я опять пошел на поклон к «Моисею», к «Пиета» в соборе святого Петра. Но в соборе было слишком много народу и ставили какие-то загородки, готовясь к празднику, а в Сан-Пьетро ин Винколи возле «Моисея» появились ящики с наушниками: опустишь монету — и пленка тебе все расскажет на итальянском, французском, английском и немецком языках. Группа американских морячков толпилась у английского ящика. Я опустил монету во французский, послушал, и захотелось на улицу.

Зато в Сан-Лоренцо в капелле Медичи не было никого.

Капелла Медичи...

Мне всегда казалось преувеличением, когда говорили, например: «Можно часами стоять перед «Сикстинской мадонной». Теперь не кажется. В капелле Медичи я пробыл, вероятно, не менее часа. Для меня сейчас бесспорно — это величайшее произведение искусства. Человечество не знает другого примера столь совершенного синтеза скульптуры и архитектуры. Сила эмоционального воздействия громадна. В чем секрет? И тут загадка.

Когда смотришь на надгробие Лоренцо и Джулиано Медичи, все кажется совершенным. И глубина мысли, и способ ее выражения, и пластичность самих фигур... Нет, это все не те слова. Перед вами прекрасное. Вот и все. Нечего убавить, нечего прибавить. Предельная законченность.

Законченность? Но почему же тогда лица у фигур, олицетворяющих «День» и «Вечер»¹, не завершены? Трудно предположить, чтоб Микеланджело просто не успел их закончить, хотя в целом работы после Микеланджело завершал Вазари. Вряд ли гениальный мастер столько времени уделил бы второ- и третьестепенным деталям (капители колонн, например, с крохотными масками каких-то смеющихся существ с бараньими рогами), не завершив основного. Нет, внешняя незаконченность эта, очевидно, входила в намерения скульптора.

В замечательной своей книге «Образы Италии» П. Муратов пишет: «Освобождение духа, образующего форму из инертного и бесформенного вещества, всегда было главной задачей скульптуры. Преобладающим искусством античного мира скульптура сделалась потому, что античное мирозерцание держалось на признании одухотворенности всех вещей... Но родным домом духа, каким он был для греческих ваятелей, или новой прекрасной страной его, какой он был для живописцев раннего Возрождения, мир перестал быть для Микеланджело. В своих сонетах он говорит о бессмертных формах, обреченных на заключение в земной тюрьме. Его резец освобождает дух не для гармоничного и по-античному примиренного существования вместе с материей, но для разлуки с ней. О невозможности этой разлуки, о крепости земного плена как бы свидетельствуют неотработанные куски камня, вторгающиеся в совершенство его одухотворенных форм».

Прав ли Муратов? Об этом ли думал Микеланджело, создавая свои полузагадочные фигуры? Или объяснения эти можно скорее отнести к голько-только начавшим вырываться из-под ига мрамора «пленникам», находящимся в Академии художеств? Я не берусь судить. Для меня это загадка, которую я не могу разгадать.

¹ Очевидно, у нас прижился неправильный перевод. По-итальянски не «Вечер», а «Сумерки» (*le Serepuscolo*) и не «Утро», а «Рассвет» (*l'Aurora*) — это точнее.

Все эти вопросы возникли у меня именно во второе посещение Сап-Лоренцо. В капелле пусто. Тишина. Только откуда-то доносится колокольный звон, не наш, не русский. Но и он что-то дополняет, как орган в готическом соборе. Сажу в большом кожаном кресле. Я как бы растворился в окружающем, но мозг, проклятый, не выключился. Задает вопросы. Почему? Почему? Что значит незаконченная рука «Ночи», опирающаяся на маску, олицетворяющую сон? Случайность? А маленькая маска усатого человечка на спине у Джулиано Медичи,— маска, которую смогли увидеть, только сняв фигуру с постамента для каких-то реставрационных работ? Все это загадка.

Такая же загадка и мадонна с младенцем. Почему не закончена, к тому же и анатомически явно не верна левая рука младенца Христа? Наконец почему вся скульптура, стоящая на фоне гладкой белой стены, явно и безусловно сознательно оторвана от архитектуры капеллы, которая является венцом синтеза архитектуры и скульптуры?

Нет, не проникли мы еще, даже в наш век расщепленного атома и космических кораблей,— не проникли мы в тайное тайных искусства. Венера Милосская прекрасна без рук. Их где-то, говорят, ищут на дне Эгейского моря. Стоит ли?

* * *

Позади уже восемь страниц. Придирчивый читатель вправе возмутиться: сумбур какой-то. И о том и о сем. Напрасно все-таки автор нарушил вторую заповедь — с планом оно все-таки лучше, плавнее, понятнее...

Что ж, ничем не могу порадовать такого читателя — дальше будет так же. Можно было, конечно, как в энциклопедическом словаре:

Италия.

1. Географическое положение.
2. Народонаселение.
3. Государственное устройство.
4. История.
5. Промышленность.
6. Сельское хозяйство.
7. Искусство и т. д.,

но что-то не хочется, скучно. И по порядку рассказывать тоже скучно. Помню, как один мой приятель, вернувшись из путешествия, стал рассказывать о нем. Вынул блокнот (опять злосчастный блокнот!) и по порядку начал: «Итак, в первый день мы были там-то и там-то, во второй там-то и там-то, в третий...» Здесь его кто-то перебил и спросил о чем-то. «А это было на шестой день, мы еще дойдем до него». Но мы так и не дошли: разговор шел за вечерним и отнюдь не пустым столом.

Одним словом, никакого порядка наперед не обещаю. И все же, чтоб не обидеть педантичного и любящего ясность читателя, сделаю небольшое информационное сообщение.

Одиннадцатого марта 1962 года на Конгресс Европейского сообщества писателей в г. Флоренцию (Италия) вылетела советская делегация в составе: А. Сурков (председатель), М. Бажан, В. Панова, А. Твардовский, Г. Чухрай, Г. Брейтбурд (секретарь). В качестве гостей на конгресс приглашены были: И. Андроников, С. Антонов, Е. Винокуров, А. Вознесенский, Д. Гранин, Э. Казакевич, В. Некрасов, И. Огородникова, Н. Томашевский, В. Шкловский. Члены делегации и гости приняли участие в заседаниях ассамблеи и конгресса сообщества (11—15 марта, Флоренция), конференции «круглого стола» (16 марта, Рим), встреча-

лись с членами общества «Италия—СССР», с отдельными писателями, художниками и кинорежиссерами, студентами Римского университета, выступали по телевидению. Кроме Рима и Флоренции, группа посетила гг. Прато, Равенну, Сиену, Сан-Джиминиано. 24 марта советские писатели самолетом отбыли на родину.

В дополнение к вышеизложенному скажу: кроме заседаний и «круглых столов», были еще приемы, обеды и ужины, избежать которые никак нельзя, хотя они и не являются самым идеальным способом ознакомления со страной. В Сан-Джиминиано, например,— одним из красивейших городов Италии — мы пробыли часа три, не больше, из них два провели за столом (в удивительно, правда, колоритном ресторане), утоляя голод и произнося тосты. Для полноты картины скажу, что утром того же дня у нас было два небольших «приемчика» — у мэра и в муниципалитете г. Сиены, а вечером — выступления во Флоренции в обществе «Италия — СССР» на тему о советской кинематографии.

* * *

Из Флоренции нам не хотелось уезжать. Она невелика, и мы как-то сразу привыкли и сроднились с нею. Мы гуляли по ее паркам и улицам, ходили в музеи, нашли дом, где Достоевский написал своего «Идиота» (хотели найти квартиру, но так и не нашли; спускавшийся по лестнице — очень «достоевской» лестнице — молодой человек сказал нам, что «синьор Достоевский теперь здесь не живет, он давно умер»), встречались с интересными и симпатичными людьми, пили кьянти и не только кьянти, покупали сувениры и открытки, дарили марки и спички, а на прощанье получили от мэра, или синдика, как здесь называется, города Флоренции Ла-Пира памятные медали конгресса с изящной флорентийской лилией.

Не хотелось уезжать. Казалось, что ничего красивее Флоренции с ее Дуомо, Синьорией, Давидом, мутно-желтой Арно, пересеченной мостами, с ее улочками и серо-бурой черепицей крыш, с печальным звоном колоколов Санта-Кроче, будившим нас по утрам,— казалось, что ничего красивее мы и не увидим уже. Уезжали с грустью.

И вот Сиена.

Сиена знаменита не многим меньше, чем Флоренция. Когда-то они враждовали, эти два города, соперничали — и в политике и в искусстве. И оба дали миру великих художников. Сиену, слава которой родилась еще в XII веке, называют городом итальянской готики, сиенский собор — один из редчайших примеров ее. Сиена — родина «сиенской школы». Сиена — сердце Тосканы, центр виноделия, мать кьянти. На весь мир знаменит сиенский мрамор, травертин. А ко всему этому она, взгромоздившаяся на свои холмы, удивительно красива.

Когда мы на машине подъезжали к городу, я вначале слегка испугался — какие-то новые кварталы, кубические дома. Но попали в центр — и страх прошел. Даже Флоренция как-то померкла. Средневековье, карабкающиеся в гору улочки, лестницы, аркады, внезапно открывающиеся маленькие площади, дворики с фонтанами. И все это XIV, XIII, XII век. И все это какого-то особого, своего, коричневато-рыжеватого, «сиенского» цвета, такого же, как и пейзаж Тосканы.

Тосканский пейзаж... Я видел много красивых дорог — Военно-Грузинскую дорогу, на озеро Рица, крымские серпантины, дороги Саксонии, Шварцвальда, Южной Чехии, Словакии, но, пожалуй, ни одна из них не сравнится с дорогой из Сиены в Сан-Джиминиано. День был солнечный, весенний и какой-то удивительной прозрачности. Дорога вьется по холмам, через небольшие леса, серебристые оливковые рощи, потом вырывается в долину — и перед тобой открывается такой красоты и, я

бы сказал, изысканности линия горизонта, что невольно умолкаешь. Я никогда и нигде не видел такого горизонта. Он поразительно четок, он холмист и извилист, и на нем точно тоненькой кистью нарисованные деревья, замки на вершинах холмов, монастыри, колокольни... Красно-вато-бурая земля, матовое серебро оливок и пронзительной голубизны небо с крохотными белыми облачками. До чего ж красиво! И почему-то знакомо. Ну да, видел же. В Уффици, в Палаццо Питти, в самой Сиене — «сиенская школа»...

И вдруг на горизонте башни. Много-много башен. То скрываются, то появляются — дорога вьется среди виноградников. Сан-Джиминиано, «город тринадцати башен»...

Что может удивить после Флоренции и Сиены? Ничто... И вот, оказывается, есть такой город. Это уж совсем старина. Это Данте, это Боккаччо, это удары шпаг, развевающиеся плащи, шелковые лестницы с балконов, замирающий звук лютни, гулкие шаги ночной стражи по булыжной мостовой, трепетное пламя задуваемых ветром фонарей.

Подъезжаешь к городу и не веришь глазам своим. Неужели в середине XX века могло сохраниться такое? А может, это декорации? Кто же художник? Художник — XIV век. Такие же башни — квадратные, суровые — были когда-то и во Флоренции и в Сиене¹. Строили их знатные фамилии. Маленький Сан-Джиминиано, находящийся между Флоренцией и Сиеной, ощущал на себе их соперничество. Но только в нем чудом уцелели эти башни, до сих пор хранящие имена своих бывших хозяев: есть башня Сальвучи, башня Ардинчелли — двух враждовавших фамилий. Чудо чудом, но, кроме того, Сан-Джиминиано обязан своим нынешним видом отцам города, которые еще в XVII веке приказали гражданам под их личную ответственность сохранять неприкосновенность башен, а тем, кто допустит разрушение, немедленно восстановить в первоначальном виде. «Per la grandezza della terra» — для величия Земли...

Был уже вечер. Я стоял у небольшого стрельчатого окна Палаццо Коммунале и смотрел на город. Солнце садилось, и башни, ставшие вдруг красными, отбрасывали одна на другую причудливые тени. Небо было по-прежнему ярко-голубым, с белыми облачками. В разрыве между двумя башнями был виден тосканский горизонт и бурые, как тосканская земля, черепичные крыши. Я стоял у окна и мысленно благодарил тех неизвестных мне синдиков XVII века, которые сохранили для меня, для всех нас эту сказочную, неправдоподобную красоту.

Per la grandezza della terra — для величия Земли... Покидая Сан-Джиминиано, прощаясь с его башнями, которые вряд ли я когда увижу, я невольно думал о своем родном Киеве. Когда подъезжаешь сейчас к нему по железнодорожному мосту и любишь его силуэтом, невольно радуешься сиянию куполов реставрированной Лавры, радуешься строительным лесам на Выдубецком монастыре. Софийский собор тоже помолодел — доташные реставраторы много над ним поработали. Но, если станешь к собору спиной, на противоположной стороне площади увидишь невыразительные заборы и крыши. Там когда-то высился Михайловский Златоверхий монастырь. Сейчас его нет. В 1937 году его снесли. Снесли, чтобы на его месте построить административное здание, которое так и не построили. А монастыря XI века нет — заборы и крыши.

Я бы не вспоминал об этом прискорбном факте двадцатипятилетней давности, если б и сейчас кое-кому из тех, от кого зависит судьба того

¹ Глядя на башни Сан-Джиминиано, я невольно вспомнил башни Сванетии. Эта маленькая горная страна лежала когда-то на пути крестоносцев — отсюда, очевидно, и общность форм.

или иного памятника архитектуры, не казалось, что всякая церковь или икона — в первую очередь «опиум для народа», а потом уже произведения искусства. Около года или полутора лет тому назад в одной достаточно влиятельной киевской газете появилась статья, в которой писалось, что там-то и там-то необходимо снести такие-то и такие-то церкви и синагоги XI—XII веков. Они, видите ли, портят пейзаж... Убедительно, не правда ли?

Совсем недавно мне пришлось присутствовать на одном заседании в Киеве, где пересматривался список архитектурных памятников, подлежащих охране государства. Возможно, не все памятники являются действительно памятниками и не все из них государство должно охранять, но когда такое заседание собирается для того, чтобы «пересмотреть список и сократить его на пятьдесят процентов», это вызывает не только удивление, но и тревогу.

Мы любим свою историю, свое прошлое, и то, что от этого прошлого сохранилось, нужно не уничтожать, а бережно сохранять.

Увы, поздно уже об этом говорить (а в свое время и говорилось и писалось), но то, что происходит сейчас на Мамаевом кургане, ничего, кроме горечи, вызвать не может. Там возводится сейчас нечто пышное, громоздкое, с обилием гранитных лестниц, барельефов, сотней скульптур и бюстов — одним словом, от Мамаева кургана, каким он был в сорок втором году, когда весь мир следил за событиями, развернувшимися на его пологих склонах, — от этого Мамаева кургана ничего не останется. Не лучше ли было сохранить его таким, каким он был в те дни, с его окопами, блиндажами, ходами сообщения, воронками от бомб, таким, каким он дорог всем, не только тем, кто на нем воевал? Восстановить можно было все с абсолютной точностью — вплоть до КП рот и взводов, до расположения отдельных пулеметов и сорокапятков, с указанием номеров дивизий, полков, батальонов, рот...

Придя сейчас, через двадцать лет (а через сто лет еще интересней), на вершину Мамаева кургана, экскурсант прошел бы по передовой, залез бы в землянку, увидел бы ту самую печурку, от которой до смерти четыре шага. Пощупал бы пушку, пулемет, посмотрел бы в стереотрубу и увидел бы, что до немцев было сто, а то и шестьдесят метров. Уверен, что о Сталинградской битве он узнал бы куда больше, чем стоя на гранитных ступенях парадных лестниц у подножья символических фигур из бронзы или, того лучше, позолоченного бетона, которые вскоре «украсят» Мамаев курган.

Когда восстанавливали «дом Павлова», кто-то додумался замазать на нем все надписи, которыми он был испещрен в дни обороны. На моих глазах лихой маляр толстой кистью замазывал розовой краской историческую (я не боюсь преувеличения) надпись: «Этот дом защищали сержант Яков Павлов и бойцы...» Дальше уже прочесть нельзя было. Удержать маляра оказалось невозможным. Я успел только сфотографировать последние секунды жизни этой надписи. Сейчас «дом Павлова» стоит гладкий, розовый и скучный, будто и не воевал никогда...

В свое время в полку, в Сталинграде, мы частенько подтрунивали над нашим ПНШ-1 (он был историком по профессии) за то, что он все собирал: какие-то схемы, формуляры, отчетные карточки, донесения. «Всему этому когда-нибудь цены не будет», — говорил он, а мы смеялись, считали это занятие недостойным солдата. Сейчас, потеряв как-то кисточку для бритья, я полдня сокрушался, пока не нашел ее, — ведь это единственное, что у меня сохранилось от Сталинграда.

Тут я невольно предвижу замечания некоторых моих будущих критиков. Вот вы поехали в Италию, скажут они, увидели красивый город

Сан-Джиминиано, в котором благодаря каким-то там синдикам XVII века сохранились древние башни, и в силу каких-то там ассоциаций заговорили вдруг о Сталинграде. Но, заговорив о нем, вспомнили почему-то одни только упущения, чьи-то недосмотры, не упомянув ни словом о тех воистину грандиозных восстановительных работах, которые охватили весь город. Ведь город-то восстановили фактически заново.

Да, заново. Об этом уже писали, и много писали. И тем обиднее, что есть вещи, которые уже восстановить нельзя, хотя можно было.

А о Сталинграде я заговорил не только в силу каких-то ассоциаций, связанных с вопросами сохранения и восстановления прошлого, а еще и потому, что именно в Сан-Джиминиано я особенно остро ощутил, что значит Сталинград не только для нас, советских людей, но и для всех, кому ненавистен фашизм.

В том самом старинном ресторане с толстыми деревянными балками и неоштукатуренными кирпичными стенами, который отнял у нас два часа из трех, проведенных в Сан-Джиминиано, к нам обратился с речью немолодой человек, сидевший за соседним столом, член христианско-демократической партии. Он так и сказал:

— Я католик. Убеденный католик. Я верю в бога. Но мне хочется сказать вам, людям, приехавшим из страны атеистов, что мы благодарны вам. Вы отстояли Сталинград. Вы воевали и гибли там не только за себя, но и за нас, людей других убеждений, другой страны, — страны, которая воевала тогда против вас. Вы в Сталинграде сломали хребет фашизму. Мы благодарим вас за это.

Я не ручаюсь за точность слов, но смысл их передаю точно. И сказаны они были от чистого сердца. И они дошли до моего сердца, до сердца каждого из нас.

В Сиене я встретился с писателем Карло Монтеллой. Он живет в Пизе, но узнав, что мы будем в Сиене, приехал туда на своей машине. Я познакомился с ним еще в 1959 году в Ялте. Прилетел он туда на несколько дней из Москвы, со съезда писателей, вместе с известным гаитянским писателем и общественным деятелем Жаком Стефеном Алексисом, томящимся сейчас у себя на родине в тюрьме. Рядом с Алексисом, веселым, оживленным, общительным, Монтелла показался мне угрюмым и замкнутым. Вокруг Алексиса всегда были люди, всегда все кипело, Монтелла же предпочитал в одиночестве бродить по дорожкам парка. Потом, когда я прочитал его рассказы (несколько из них напечатано было у нас в журналах), я понял, что он отнюдь не угрюмый, а, наоборот, полный юмора и иронии человек. К тому же очень честный, искренний и правдивый.

Из Сиены в Сан-Джиминиано я ехал в его машине. По пути мы не очень много разговаривали. Причин этому было три: мое слабое знание французского языка, изумительной красоты дорога и киноаппарат, которым я мучительно пытался запечатлеть эти красоты. И вот недавно один мой друг получил от него письмо. В нем были такие строки: «Я прошу извиниться перед Некрасовым за то, что был так молчалив по дороге из Сиены в Сан-Джиминиано. За рулем я вообще никогда не разговариваю, но, наверное, не говорил бы с ним, даже если бы не вел машину. У меня нет потребности разговаривать с ним, потому что, я чувствую, у него нет потребности разговаривать со мной — в этом он похож на меня, и в этом мы друг друга понимаем. Тем не менее я хотел бы видеть его своим гостем и предоставил бы ему полную свободу. Скажи ему об этом».

Первые строки меня огорчили, последние несколько успокоили. Потребность разговаривать? Это сложная штука. Пожалуй, высшая форма дружбы — это когда совместное молчание не тяготит. Молчание с Монтеллой меня не тяготило (хотя я и не имею еще права приписывать это

дружбе), так же как и не безразличен, а, наоборот, интересен был разговор с ним. Интересен еще и потому, что Монтелла для меня один из серьезнейших и требовательнейших критиков моего творчества.

«Кира Георгиевна» ему не понравилась. «Первое знакомство» тоже не очень. Он мне это прямо сказал. Должен тут же заметить, что очень трудно что-либо слушать: даже если речь идет о твоём произведении, когда идешь по улицам Сиены. Тут как-то не до разговоров. Возможно, именно поэтому я не очень активно защищался. Но многое из того, что высказал Монтелла, верно.

— Вы знаете,— сказал он,— я что-то не очень верю достоверности двух ваших вставных новелл в «Первом знакомстве». О влюбчивом берсальере и старом гондольере с отмороженными ушами. Уж не сочинили ли вы их, а?

Я молча улыбнулся.

Вообще в Италии достаточно критически отнеслись к «Первому знакомству». Доброжелательно, дружелюбно, но критически. Вышла книга там под названием «Sovietico in Italia» («Советский человек в Италии»), что, конечно, недостаточно точно переводит несколько извиняющуюся интонацию русского названия. Прессу имела она не малую — около пятидесяти статей. Критиковали — я знаю это из разговоров, статей мне, увы, не пришлось читать — за некоторую поверхностность, за «туристский галоп». «Все очень мило, и интересно, и написано легко, но, знаете ли, хотелось бы, чтоб все-таки немножко поглубже, а то...»

Хотелось бы! Ох, как хотелось бы. И хочется. Ведь Италия — страна очень активной, бурной политической жизни. Страна контрастов и противоречий — отсталый сельскохозяйственный Юг и экономически расцветающий сейчас промышленный Север, — страна высокой культуры и большого еще процента неграмотных, страна сильнейшей в буржуазном мире компартии и крохотного, но могущественного Ватикана, страна забастовок и американских ракетных баз, страна «Сладкой жизни» и «Рокко и его братьев».

Но для того, чтобы во всем этом разобраться, вникнуть «поглубже», надо быть не клиентом туристской компании «Гранди-Виаджи» («За пятнадцать дней — красивейшие, знаменитейшие места Италии!»), — надо настолько сдружиться с Уффици и Ватиканским музеем, чтобы они не обижались, когда ты к ним даже не заходишь, и жить надо не в отеле «Виктория» на виа Венето и даже не во второразрядном «Имперео», а в простой рабочей семье — ну, хотя бы у того же Джерми-машиниста, как ни сложна там семейная обстановка, — и не неделю, и не две... Впрочем, самое главное, конечно, знать язык. И тут я умолкаю.

Хочу, однако, кое в чем упрекнуть и наших друзей. Нет, кажется, итальянца, которого бы я при встречах не просил бы прислать мне литературу о так называемом «неокапитализме», в частности об Оливетти, о котором писал в первой книге в самых общих чертах. А это явление очень сложное, от которого не отмахнешься, если по-настоящему хочешь разобраться в современной жизни Италии, жизни ее рабочего класса. В беседах с отдельными товарищами, даже коммунистами, я точного и ясного ответа так и не получил.

Я написал: «в беседах», но, если говорить начистоту, применительно к большинству итальянцев слово «беседа» мало подходит. Почти всегда она если не начинается, то кончается спором. Иногда очень даже горячим, с повышением голоса и взаимными обвинениями.

Вот я и подошел к тому, что в самом начале назвал наиболее интересным, — к спорам, к дискуссиям, к тому, что итальянцы особенно любят и в чем они безусловно мастера.

Мне пришлось столкнуться с тремя видами таких дискуссий: а) с недоброжелателями, стремящимися задать каверзный вопрос, поставить тебя в тупик; б) с людьми не нашего лагеря, но ищущими общего языка, и в) с друзьями, в основном с коммунистами. С последними спорить, пожалуй, труднее всего.

В последний день нашего пребывания в Риме мне и поэту Вознесенскому пришлось выступать на вечере, организованном обществом «Италия — СССР». Народу было много, зал маленький, накурено, жарко. Выступать было трудно, особенно к концу очень напряженного, заполненного всякими делами дня. После доклада и наших выступлений начались вопросы. И тут вдруг стало легко и весело. Вероятнее всего потому, что наиболее активными были корреспондент журнала «Темпо» и студент-американец, в свое время работавший гидом у нас на американской выставке в Москве. У обоих у них была одна цель — поставить нас в тупик. На следующий день, уже в самолете, мы не без удовольствия прочитали отчет об этом вечере в правительственной «Мессаджеро»: «Советские писатели поразили всех артистизмом, юмором и меткостью своих ответов, подобными ударам рапиры». До сих пор не могу понять, почему отнюдь не симпатизирующая нам газета решила нам польстить — никакого особого артистизма не требовалось, чтоб отвечать на вопросы, подобные: «Правда ли, что Евтушенко после какого-то выступления Хрущева исключили из комсомола?» Или: «Почему в Советский Союз не допускается ни одна иностранная книга?» Впрочем, возможно, под артистизмом подразумевалась быстрота ответов и не обязательная глубокомысленная многозначительность их. Юмор — лучшее оружие против недоброжелателей; мы с Вознесенским пытались об этом не забывать.

Сложнее было, пожалуй, за «круглым столом» в Палаццо Мариньоли. Это была встреча советских и итальянских писателей, вылившаяся в основном в обсуждение проблемы «завербованности» современных писателей. У нас слово «завербованность» звучит несколько иначе и более грубо, чем французское «engagé», но смысл ясен: примыкает ли тот или иной писатель к тому или иному лагерю, какую идею он воплощает, какими путями и в какой именно форме. Интерес дискуссия вызвала громадный, зал был набит до отказа, все проходы были забиты, люди не сидели, а стояли в задних рядах даже на стульях.

На улице, у входа в зал, какие-то молодые люди разбрасывали профашистские листовки: «Моравиа, Леви, Пазолини — не встречайтесь с русскими!» Но встреча произошла.

По итальянскому обычаю, никакой специальной подготовки не было. Председательствующий Алатри (генеральный секретарь общества «Италия—СССР») давал слово по своему выбору, и каждый говорил что хотел.

На мой взгляд, дискуссия — по началу своему — носила излишне академический, теоретический и, я бы сказал, даже абстрактный характер. Мне кажется, она была бы интереснее и плодотворнее, если бы опиралась на какие-то конкретные примеры — книги, фильмы, статьи, если бы выступающие поменьше оперировали общими понятиями. В своем небольшом выступлении я об этом говорил, сказав, между прочим, что мне лично гораздо легче было бы выступать, если б я посмотрел, допустим, нашумевший сейчас в Италии, да и во всей Европе фильм Пазолини «Аккатоне». Дело не в том, что я мог бы потом высказать свои претензии автору или, наоборот, поблагодарить его (с великим наслаждением посмотрев позднее этот фильм, я смог осуществить второе), а в том, что мы почти не знаем итальянской критики, так же как итальянцы нашей (в меньшей, правда, степени). Не знаем, что друг о друге пишем. Вот и поговорили бы, поспорили. Мне кажется, что «Аккатоне» как раз и есть

тот фильм, на котором можно скрестить оружие в спорах о путях и направлениях современной кинематографии, да и искусства вообще. Если б к тому же мы смогли привезти с собой новый советский фильм А. Тарковского «Иваново детство» (приедь мы на десять дней позже, мы могли бы взять его с собой, он был бы совсем уже готов), дискуссия затянулась бы дня на два, а то и на три.

Принимать участие в дискуссии, в которой между тобой, твоими оппонентами и зрителем находится пусть даже самый превосходный, как было у нас, например, переводчик, очень трудно. Об этом, кстати, говорил Пазолини, посетовавший на то, что латынь — язык гуманизма, как он сказал, — дважды сыграла с ним в этой дискуссии злую шутку. Но о Пазолини позже. До него (а он говорил дважды) выступали Пьевене, Моравиа, Леви, Сурков, Панова, Твардовский (кстати, тоже дважды выступавший и именно в связи со вторым выступлением Пазолини).

Итак, речь за «круглым столом» шла о «завербованности», о долге писателя. Итальянцы больше говорили о долге и «долгах» нашей литературы, нежели своей. Твардовский вежливо обратил внимание на некоторую, что ли, неделикатность такого подхода («Мы очень признательны нашим итальянским коллегам за то, что они так хорошо ориентируются во всем, что касается нашего развития, но лично я не решился бы поступить так же в отношении итальянского искусства и литературы»).

— Нас с собой не равняйте, на вас все смотрят, с вас и спрос, — слышали мы не раз.

Вот так вокруг нас все и вертелось.

Наиболее интересным было, на мой взгляд, выступление Пазолини. Оно было конкретнее других и, я бы сказал, пожалуй, резче.

Пьер-Паоло Пазолини занимает сейчас в итальянской литературе одно из первых мест. Мы его стихов и романов, к сожалению, почти не знаем. Он очень труден в переводе. Герои его говорят даже не на диалекте, а на полублатном жаргоне римских окраин, который и не всякий-то коренной римлянин поймет. Фильм «Аккатоне» — первая работа писателя в кинематографе, в этой картине он не только сценарист, но и режиссер. Фильм превосходный — но о нем отдельно.

О чем же говорил Пазолини?

Небольшого роста, черноглазый и черноволосый, с простым серьезным лицом то ли рабочего, то ли крестьянина, в недавнем прошлом (сейчас ему лет тридцать пять) профессиональный футболист, сейчас знаменитый писатель, он встал и негромким голосом начал говорить. Говорил он о своих претензиях к советской литературе. На его взгляд, она излишне наивна и сентиментальна (итальянцы, сами по себе народ сентиментальный, в искусстве не переносят сентиментальности ни в каком виде). Он ссылался на «Звездный билет» Аксенова, на стихи Евшушенко, на «Балладу о солдате».

— Деятели советской культуры, — сказал он, — в сложный для них период кризиса, который мы наблюдаем с большой тревогой и симпатией, стремятся преодолеть мертвую точку — следствие сталинской эпохи, стараясь перескочить — и они поступают правильно — через то, что для нас является опытом декаданса. Но, перескакивая через этот опыт декаданса, они находят, в некотором смысле, то, что ему предшествовало: романтизм, понимаемый как невинность, чистота. Этот романтический, сладостный, добродушный, пропитанный юмором и в лучшем случае классический наивный и чистый воздух теперь не может полностью удовлетворить нас. Положение, сложившееся в Советском Союзе и отразившееся на положении у нас, потому что мы тесно связаны друг с другом, требует чего-то совсем иного. Сталинский период был истинной трагедией для всех нас. В свою очередь технический прогресс в России вместе с пробудившимся

чувством удивительного оптимизма ставит столь же серьезные проблемы перед всем человечеством: ракета, посланная на Луну, помимо того, что она является источником огромной гордости для Советского Союза, в то же время заставляет по-новому, я бы сказал, со всех сторон взглянуть на страдания, невежество, нищету земного шара. Так что положение действительно нелегкое. Мы ждем от советских писателей создания поистине трагического произведения, горького, даже жестокого, если необходимо, произведения, в котором было бы высказано все это.

Я привел столь пространную цитату из выступления Пазолини, поскольку именно оно разбило академичность дискуссии, именно вокруг него начались споры. Мы не соглашались, что наша литература наивна, что она избегает трагического (в связи с этим упоминали «Разгром» Фадеева, «Звезду» Казакевича, «Тихий Дон»). Пазолини в своем ответе стремился внести ясность, ссылаясь на ту самую латынь, которая сыграла с ним злую шутку: он, мол, употребил слово «наивный» в том смысле, в каком им пользуются филологи — «ingenuo» — «естественный», а отнюдь не в смысле «невинный, ребячливый», и говоря, что искусство Чухрая — наивное искусство, он хотел сделать Чухраю только комплимент.

Некоторая путаница произошла и вокруг итальянского слова «tragico», которое одновременно означает и «трагическое» и «трагедийное», а это понятия отнюдь не одинаковые.

Чего же хочет от нашей литературы Пазолини? Трагедии как жанра?

На первый взгляд можно подумать, что именно этого: талант Пазолини беспощаден, философия его произведений — философия безысходности. Но, оказывается, нет, не этого он от нас ждет (хотя и этого, очевидно, тоже) — в своем втором выступлении он прямо об этом сказал, вспомнив о второй злой шутке, разыгранной с ним латынью.

— Говоря «трагедия», «трагическое», я не имел в виду трагедию как литературный жанр: самые большие трагедии те, что смешат. Я говорил о трагедии, которая ни в какой мере не обманывала бы нашу жажду знать все об исторической и политической трагедии недавних лет, которую глубоко переживали советские писатели.

На это пожелание или требование Пазолини ответил Твардовский, сказавший, что он всегда испытывает «чувство неловкости и страха, когда присутствующие на той или иной дискуссии пытаются разрешить проблемы, которые очень трудно разрешить даже в самом дружеском интимном разговоре, даже одному, за рабочим столом, когда напрягаешь разум в процессе творчества».

Это верно — есть еще о чем подумать наедине с самим собой, прежде чем начать об этом писать...

Мне очень жаль, дорогой Пазолини, что в тот вечер, вернее, ночь, когда после просмотра вашего фильма вы повели нас ужинать в небольшой ресторан, мы с вами так и не поговорили о самом главном и для меня и для вас. Возможно, для этого серьезного разговора было слишком много людей, а может быть, мы просто устали и не хотели уже спорить, но, я знаю, разговор этот — не легкий разговор — произойдет, не может не произойти. Хотелось бы только, чтоб до того, как он состоится, вы и друзья ваши (надеюсь, что они и наши) знали: все, что вы называете и считаете трагическим, мы помним очень и очень хорошо. Но говорить тем более писать об этом, уверяю вас, не так-то просто. Ведь речь идет не о трагедии одного, двух, трех, десяти, ста, ну, даже тысячи человек — речь идет о трагедии всенародной. И если литература наша до сих пор еще по-настоящему не заговорила о том сложном, горьком и противоречивом, что связано с тем, что мы называем сейчас периодом культа личности, то это дело только времени. Миновать трагические события нашей жизни советская литература, при всем ее стремлении к жизнеутверждаю-

шему (а может быть, именно в силу этого), просто не может. Не может, потому что, как сказал Твардовский в заключение своей речи, «в искусстве, в литературе, как и в любви, можно лгать лишь до поры — раньше или позже настанет время сказать всю правду». Мне очень хотелось бы, дорогой Пазолини, чтобы вы это поняли до нашей встречи, а после нее, если она состоится, чтобы вы не говорили, как сказали за «круглым столом»: с русскими можно говорить, но нельзя спорить. Кстати, может быть, именно из-за этой вашей позиции, сидя ночью в ресторане после просмотра «Аккатоне», мы говорили о чем угодно, только не о главном.

* * *

В первый же вечер в Риме, сразу же после «круглого стола», меня увлекла за собой группа молодых журналистов. «Для начала пойдем в тратторию, — было сказано, — а потом увидим». В траттории сдвинули столы, и тут же появились графины с красным и белым римским вином, без которого в Италии не обходится ни одна встреча (впрочем, итальянцы утверждают, что в России ни одна встреча не обходится без водки, что, на их взгляд, гораздо труднее).

В компании нашей я знал только двоих, остальных я видел впервые. Среди них был некто Серджо, молодой коммунист лет тридцати с чем-то, журналист, непримиримый, злой, с которым, начиная с этого вечера и до дня моего отъезда, у меня происходили наиболее ожесточенные схватки.

Знакомство наше началось с его заявления, что ему не понравилось мое выступление за «круглым столом». Почему? Недостаточно смелое. Это был первый удар. Затем он сказал, что «Кира Георгиевна» ему тоже не нравится. Второй удар. Дальше удары стали сыпаться один за другим. Острый, неуступчивый, может быть излишне желчный, с горящими черными глазами, то веселыми, то злыми (чаще злыми), Серджо мне очень понравился. Спорили мы с ним по поводу всего — литературы, искусства, журналистики, образа жизни, социальных систем, методов построения коммунизма, избирательных систем, различных течений в кинематографии — одним словом, по поводу всего, к чему бы мы ни прикасались. Споры эти доходили иногда до такого накала, что однажды в милой компании довели одну из присутствовавших девушек до слез. «Ну что вы все ссоритесь, ссоритесь, ссоритесь? — всхлипывала она. — Разве нельзя поговорить о чем-нибудь спокойном?» Мы с Серджо выпили примирительную, попытались заговорить о спокойном, но минут через двадцать опять сцепились. Одним словом, беседы с ним проходили, как говорится, в духе партийной прямоты и откровенности. И, должен сказать, мне это нравилось. Мы сдружились с Серджо.

Итальянские коммунисты — во всяком случае те, с которыми я встречался (и в Италии, и у нас, в Советском Союзе), — не догматики и отнюдь не ревизионисты. Решения XX и XXII съездов для них не менее важны и существенны, чем для нас.

Сни говорят так, например:

— Решения двух этих съездов абсолютно правильные. Культ личности должен был быть разоблачен, и вы сделали это со всей вам присущей смелостью. Но надо понять и нас. Мы живем в других условиях. Мы в капиталистическом мире, у него свои законы. Вы — ваше поколение во всяком случае — знаете эти законы только по книгам, а мы сталкиваемся с ними на каждом шагу, каждую минуту. Рядовой итальянец находится постоянно под воздействием двух взаимнопротивоположных идеологий. И вот итальянец — рабочий, служащий, крестьянин — должен выбирать. А для того, чтоб выбрать, должен знать, что лучше. Он читает газеты — купить он может любую: ватиканская «Осерваторе

романо» стоит столько же, сколько «Унита». Одна говорит одно, другая — другое. В одной он читает, что в Советском Союзе все плохо, в другой — что все хорошо. Так во всяком случае мы писали до определенного времени — именно, что все хорошо. Потом выяснилось, что не все, далеко не все... Мы писали, что Сталин велик, мудр и непогрешим. И нам верили, очень многие верили. Теперь мы уже не пишем о его непогрешимости, больше о его грехах, и нам задают вопрос: а о чем вы раньше думали? Поймите, миллионы людей тянутся к вам. Для них вы первая в мире страна, в которой у власти стал рабочий класс. Поэтому они хотят знать о вас все, всю правду. Что хорошо и что плохо, что мешает. И вот тут-то вы не всегда нас понимаете. Мы все радуемся победам Гагарина и Титова, но рядовой итальянец, особенно побывавший у вас в Союзе (а таких сейчас все больше и больше), обязательно задает вопрос: «А почему они, запустив спутник вокруг Луны, не могут до сих пор отделаться от очередей?» — и еще десятки других вопросов. И это не праздные вопросы, это очень существенные. И мы обязаны на них ответить. Но в первую очередь вы. А вы часто с ответом тянете, отвлекаетесь в сторону. Тем временем ответ — правильный или неправильный, это уже другое дело — дает враг, и к нему часто прислушиваются. И вы не учитываете этого.

Вот так говорят многие коммунисты. И тут же сами начинают задавать вопросы. Почему, почему, почему? Сто тысяч почему, от которых у меня иногда голова шла кругом.

И, должен прямо сказать, на некоторые «почему» мне очень трудно было найти ответ.

Как-то у меня зашел разговор с одним молодым кинематографистом, побывавшим на Московском фестивале в прошлом году. Заговорив о фильме «Голый остров», получившем первую премию, он упомянул фамилии двух японских режиссеров — Мизогучи и Куросава, о которых я ничего не знал. Он несколько удивился, но когда затем узнал, что я не видел ни одной картины Бергмана и Микеланджело Антониони, он не поверил своим ушам.

— Вы не видели картин Антониони?

— Не видел.

— Но почему?

Я пожал плечами.

— Просто мы не закупили их.

— Не закупили Антониони? Но ведь это самый знаменитый сейчас режиссер. О нем спорят сейчас во всем мире. Не видеть его картин — это то же самое, что не видеть, ну... ну, хотя бы «Сладкую жизнь» Феллини.

— Но я и «Сладкую жизнь» не видел.

Он развел руками.

— Не видели?

— Не видел.

— Нет, просто вы не любите кино, не интересуетесь им. Я не могу поверить, чтоб у вас не купили «Сладкую жизнь», ведь это очень серьезный, умный, страшный, к тому же разоблачительный фильм... Не верю...

Другой итальянец спросил меня, какого я мнения о последних картинах Чарли Чаплина «Огни рампы» и «Король в Нью-Йорке». Я опять-таки вынужден был сказать, что не видел их, что их нет у нас в прокате.

— Но почему? Чаплин — величайший артист современности. Каждая его картина — событие...

Я не знал, что ответить. Я сам не понимаю, почему у нас не идет Чаплин. В версию, что его картины слишком дороги, поверить трудно.

В третий раз меня поставили в довольно затруднительное положение

ние, спросив, почему мы не издаем тех или иных писателей. (Тут я вспомнил, как неловко мы себя чувствовали, группа советских писателей, в том числе Панова и Гранин, когда лет шесть тому назад Альберто Моравиа, будучи в Ленинграде, спросил нас что-то о Кафке. Мы молча переглянулись и ничего не смогли ответить: тогда мы о нем даже не слыхали.)

— Я понимаю,— сказал мой собеседник, кстати тоже коммунист,— я понимаю, что у вас есть свои взгляды на задачи литературы, есть свои издательские планы, охотно понимаю, что кто-то из писателей вам ближе, кто-то дальше, кто-то совсем чужд. Если б вы вдруг вздумали издать «Лолиту» Набокова, считающуюся сейчас в Америке бестселлером, это было бы просто нелепо. Но почему вы так медлительны с Фолкнером? Почему не печатаете Кафку? Почему так старательно избегаете Альбера Камю? В конце концов вы вовсе не обязаны издавать их сотысячными тиражами. Но ведь каждый из них в своем роде значителен, даже Саган, которую многие считают несерьезной. Ведь они, эти писатели, крайне типичны для своего времени, эпохи, настроения умов. Их можно не любить, критиковать, наконец отрицать, но их нельзя не знать...

Прав ли мой собеседник? По-моему, прав.

У нас издается сейчас много переводов иностранной литературы. Чуть ли не со всех языков мира. И большими тиражами. И все же многие крупнейшие события зарубежной литературной жизни проходят мимо нас или в лучшем случае доходят до нас с большим запозданием.

К слову сказать, с переводами советской литературы в Италии сейчас во много раз благополучнее, чем было три-четыре года назад и чем в других западных странах сейчас. Если до определенного времени книги советских писателей привлекали к себе внимание главным образом как нечто экзотическое или сенсационное, то за последние годы положение это в корне изменилось. Круг переводимых писателей сейчас очень широк и разнообразен. И не только прозаиков, но и поэтов. Я собственными глазами видал в книжных магазинах книги Тендрякова, Каверина, Вс. Иванова, Эренбурга, Кузнецова, Аксенова, Берггольц, Айтматова, пьесы Арбузова, Володина, Хмелика, Розова, стихи Евтушенко, Вознесенского, Заболоцкого, Окуджавы, Винокурова... Список этот спокойно можно продолжить, так как наиболее крупные итальянские издательства (Эйнауди, Фельтринелли, Эдитори Риунити) очень внимательно следят за нашими журналами и буквально через два-три месяца после опубликования у нас заинтересовавшие их произведения выходят уже в свет... Эх, нашим бы издательствам такую оперативность!

Теперь о кино. Мы покупаем много иностранных фильмов. Мы видали первоклассные картины Росселини, Де Сика, Де Сантиса, Висконти, Феллини, Трюффо, Отан-Лара, Бардема, Карела Земана, Кавалеровича, но наряду с этим по нашим экранам победно шествуют не имеющие никакого отношения к искусству всякие «Графы Монте-Кристо», да еще в двух сериях, «Оклахомы» или какие-то там «серенады». А ведь это тоже деньги, на которые можно было бы купить и «Гражданина Кэйна» — американцы считают его вершиной своего киноискусства,— или «Хиросима, любовь моя» Алена Рене, или «Мост через реку Квай», или «Цепел и алмаз» Анджея Вайды — одним словом, картины, которые являются этапами на пути развития мирового киноискусства.

Кстати, об этом пути и об Антониони, из-за которого мне пришлось краснеть. Много ли мы знаем о тех горячих спорах, которые развернулись сейчас в среде прогрессивных режиссеров и кинокритиков мира вокруг этого самого пути, пути современного кино, о двух основных направлениях, по которым оно развивается,— о «школе», как уже теперь говорят,

Антониони и о «киноправде» Жана Руша? Я, например, до последнего времени ничего не знал. А это очень интересно. Западное кино переживает сейчас кризис. Знаменитый Голливуд со своими ковбойскими «вестернами» и картинами ужасов шаг за шагом теряет свои позиции. Посещаемость кино — не без участия, правда, телевидения — резко пала. В Англии за один только 1961 год закрылось триста кинотеатров. Во Франции по сравнению с 1957 годом число кинозрителей сократилось на восемьдесят миллионов человек. Почему все это происходит? Я не буду вдаваться во все детали этого довольно сложного процесса. Приведу только последние строки «Манифеста молодого американского кино». «Мы не хотим больше лживых и лакировочных фильмов,— взывают ко всем молодые американские режиссеры Рагозин, Роберт Френк, Берт Стерн, братья Сандрос и другие,— мы предпочитаем фильмы пусть грубые, но живые. Мы не хотим больше фильмов розовой водички. Нужны фильмы цвета крови!»

Фильмы цвета крови. Сказано забористо — вряд ли розовой водичке надо противопоставлять именно кровь,— но в общем ясно: надоела ложь, фальшь, нужно что-то новое, свежее, современное. И вот в поисках этого нового наметилось два пути. Один — это Антониони (сюда можно отнести Алена Рене с его «Хиросима, любовь моя», «В прошлом году в Мариенбаде»), другой — это Жан Руш и его фильм «Хроника одного лета».

«Хроника одного лета» (Рушу помогал социолог Эдгар Морэн) — это прогулка с кинокамерой и микрофоном по улицам Парижа. Авторы фильма подходят к различным людям — служащим, рабочим, студентам — и задают им один вопрос: счастливы ли они. Ни кинокамеру, ни микрофон они не скрывают — говорите что хотите, не стесняйтесь, будьте самими собой. И люди говорят. Потом их сводят друг с другом на улице, дома, в кафе, они начинают спорить о разных разностях, о своей работе, алжирской войне, Конго... Кончается картина тем (длится она нормальные полтора часа), что всех действующих лиц собирают в одном кинозале, показывают им отснятую пленку, и мы видим, как каждый на это реагирует.

Авторы фильма хотят показать, так сказать, абсолютную правду. Они не прячутся, не подглядывают, ничего не подстраивают, они застигают людей врасплох и в конце концов, побеседовав с десятком из них, выясняют, что особого счастья никто из них не испытывает. Всех мучает, всем надоела работа, никто от нее удовольствия не получает, все думают в основном о своих личных делах. Скучают даже богачи, с которыми авторы встречаются на модном курорте Сан-Тропез. Впрочем, скука на курорте — это тоже мода.

Картина вызвала много споров. Одни хвалят, другие говорят, что настоящую правду все же так и не удалось ухватить за хвост. Невыдуманные персонажи фильма не могут, мол, в силу определенных человеческих качеств держаться перед кинообъективом абсолютно естественно. Они тоже играют. Одни хотят показаться лучше или умнее, чем они есть, другие, наоборот, как бы кокетничают своей искренностью. Но, так или иначе, путь, по которому идет Жан Руш, хотя он и не очень нов — вспомним двадцатые годы и нашего Дзигу Вертова, — путь интересный, говорящий о серьезных поисках. И в поисках этих он не одинок — в Америке по этому же пути идут режиссеры Ширли Кларк (в своей картине «Связной» она ввела на экран даже съемочный аппарат) и Лайонел Рагозин.

Я видал две картины Рагозина — «На Бауэри» и «Вернись, Африка». Обе они создали режиссеру мировую славу. Первая из них (снята она в 1956 году) — это рассказ о тридцатилетнем американском без-

работном, попавшем на Бауэри — самое страшное место в центре Нью-Йорка, где прозябают и спиваются выброшенные за борт жизни люмпены, профессиональные безработные, алкоголики. Картина документальная. Актеров в ней нет. Валяющиеся на тротуарах пьяницы, кабаки, ночлежки, проститутки, драки, потасовки — все это правда, действительность, ничего не «подстроено». Только двое в фильме играют (но и они не актеры, а самые что ни на есть заправские жители Бауэри) — молодой безработный и его друг и собутыльник старик. Сюжет очень прост: старик крадет у своего «друга» чемодан, потом продает его и часть вырученных денег отдает ему же, молодому безработному, чтоб тот мог вырваться из Нью-Йорка. Впечатление от картины потрясающее. Обличительный документ огромной силы.

«Вернись, Африка» снята три года спустя в Южно-Африканском Союзе, куда Рагозин не без осложнений пробрался, сделав вид, что хочет снять музыкальную комедию. Комедия оказалась отнюдь не веселой — это печальная история негра Захария, приехавшего на заработки в Йоганнесбург, крупнейший центр добычи алмазов. Фильм несколько затянут, в нем больше придуманного, чем в первой картине, но актеров тоже нет, и обличительная сила его ничуть не меньшая, чем в «На Бауэри».

Жан Руш, Ширли Кларк, Рагозин — это один путь, путь поисков правды методами документального кино в сочетании его с элементами художественного кинематографа. Путь, по-моему, очень интересный и нужный.

Несколько сложнее другой путь, по которому идут — хотя их и нельзя стричь под одну гребенку, у каждого свое ярко выраженное лицо — Антониони и Ален Рене. Это кино некоей дедрамматизации. Оно тоже ищет правду, но все, что зритель видит на экране, происходит не в реальной действительности, а в воображении самих авторов или действующих лиц. Антониони, например, считает, что сама действительность настолько неопределенна и ускользающа, что только интуитивным путем можно ее постичь. Это его высказывание я читал в «Юманите», в статье, посвященной фильму «Затмение», за который Антониони получил специальную премию на Каннском фестивале 1962 года. Но, посмотрев недавно саму картину, я того, о чем он писал, откровенно говоря, не ощутил. Фильм абсолютно реален и, я сказал бы даже, правдив в своей безысходности. В нем, как ни в каком другом из виденных мною фильмов, вскрыта язва, разъедающая современную западную цивилизацию, — полное разобщение, отчуждение, некоммуникабельность (есть такой термин теперь на Западе) — невозможность найти путей сближения между людьми. Режиссура фильма, игра актеров превосходны (в главной роли Ален Делон, знакомый нам по фильму «Рокко и его братья», где он играет Рокко), понятна и мысль автора, но вся эта история несостоявшейся любви молодого биржевого маклера и девушки, бросившей своего богатого любовника, оставляет меня, зрителя, абсолютно холодным. Мне совершенно безразлично, чем кончится этот роман. Красивый парень, красивая девушка, и целуются они соблазнительно, а мне все это неинтересно — ну сойдутся, ну разойдутся, мне какое дело? — с куда большим интересом я разглядывал римские улицы и пытался узнавать знакомые места. Одним словом, картина мне не понравилась, хотя социальное звучание безусловно значительно.

Полная противоположность «Затмению» — «Аккатоне» Пазолини, фильм, который я видал дважды и после вторичного просмотра понравившийся мне еще больше.

«Аккатоне» — слово непере译имое. У нас пытались его перевести как нищий, побирушка, подонок. На самом же деле это нищий, который

хочет разбогатеть, используя для этой цели своих товарищей по несчастью. Вот о таком аккатоне, римском сутенере, и рассказывает нам фильм. Сам фильм очень длинный, очень «разговорный», и в этом его основная сложность для нас: герои говорят на римском воровском жаргоне, который почти не переводим на русский. Не буду подробно рассказывать содержания картины, да внешне оно и несложно — разными путями аккатоне хочет стать на ноги, даже пытается начать работать, но в конце концов гибнет. Снято все очень просто. Никаких павильонов, декораций — все на улице, во дворе, в кабачке, очевидно, тоже настоящим. Никакого искусственного освещения. Полное отсутствие монтажных ухищрений (кстати, увлечение монтажом на Западе считается уже анахронизмом), а главное, никаких актеров. Герои играют самих себя. И как играют! А герои — нищие сутенеры, проститутки. Только сам аккатоне играет не совсем себя, в жизни он — зовут его Франко Читти — маляр. Ко всему этому, как я уже говорил, Пазолини тоже не профессионал — это его первая картина.

Каково же ощущение после просмотра? Ощущение, будто бы два часа прожил с этими людьми. Эффект присутствия — твоего присутствия на экране — поразительный. Тут, конечно, много от неореализма, но в чем-то есть новое — в очень длинных сценах, в неподвижности кинокамеры, в том же отсутствии монтажа. Но дело не в приемах — в картину влезашь с потрохами, забываешь, что перед тобой экран. Для меня как для зрителя это очень важно — я верю режиссеру, верю артистам, а значит, и тому, что они мне показывают.

Почему же я затрудняюсь отнести «Аккатоне» к разряду картин неореалистических? Ведь в те же влезашь с потрохами, веришь актеру, режиссеру. И почему вообще пошел разговор, что неореализм изжил себя?

Думаю, что дело тут не в «изжитии», а в том, что неореализм как явление все-таки национальное, чисто итальянское (влияние его на мировую кинематографию огромно, но в чистом виде он ни в какой стране не повторился), так вот, стиль этот в силу определенных причин как бы переродился, сконцентрировал свое внимание на другом, более узком. Неореализм родился сразу после войны, в разрушенной, полугодной, нищей Италии. И этой Италии, ее людям, трудностям их повседневной жизни, благородству характеров этих людей — обыкновенных римлян, миланцев, неаполитанцев, крестьян, рабочих, мелких служащих, — их умению помочь друг другу в тяжелую минуту и посвящены были картины, которые мы так полюбили. Сейчас Италия уже не та, экономически она очень окрепла (почему — это отдельный разговор), и на многом уже видна печать внешнего благополучия. Возможно, в силу именно этого (итальянцы в искусстве как огня боятся всякого вида благополучия) взгляд художника обратился в сторону деклассированных, не нашедших своего места в жизни людей («Ночи Кабирии», «Аккатоне», «Рокко и его братья») или, наоборот, обращается к разложившемуся, с жиру бесящемуся миру «Сладкой жизни». Возможно, это обращение и закономерно, но круг охвата, как будто расширившись, явно сузился. Внешне то же самое — достоверность, правдивость, точность, — по сути же нечто уже другое, более частное.

Итак, неореализм изжил себя. Так во всяком случае считают на Западе. На смену ему пришло нечто новое. Появились даже новые термины — неотрадиционализм (Пазолини), неэкспериментализм (Антониони). Я еще не успел в этом разобраться. Могу сказать только одно: «Аккатоне» — умный, серьезный, трагичный (что поделаешь — Пазолини!) и очень талантливый фильм. В нем много грязи — в буквальном и переносном смысле, — но сам фильм чист. Человек оступается, падает,

подымается, ищет выхода в работе, в любви, не находит его и погибает, убегая от полицейских. Умирая на пыльной мостовой, аккатоне говорит: «Вот теперь мне хорошо...» Фильм тяжелый, безысходный, местами страшный, но сколько в нем правды!

В тот же день, когда я смотрел «Аккатоне» (вторично уже в Москве), я видел другой фильм — «Жестокая жизнь» («La vie violente»), сделанный по роману Пазолини, но снятый не им. В нем играют тот же Франко Читти и еще несколько актеров из «Аккатоне», играют превосходно, но в целом фильм оставляет чувство неудовлетворенности. Сравнение этих двух фильмов еще раз убедило меня, что экранизация — это все же паллиатив и, больше того, что соединение в одном лице сценариста и режиссера дает блестящие результаты. После «Аккатоне» окончательно убедила меня в этом «Застава Ильича» Марлена Хуциева, но об этом позже.

Несколько слов о дальнейшем кинопути Пазолини. На Венецианском фестивале 1962 года он показал свою вторую картину — «Мама Рома» с Анной Маньяни в главной роли. Люди, видавшие ее, говорят, что это превосходный, очень сильный фильм. Премии он не получил («Аккатоне», обошедший все экраны Европы, получил премию в Карловых Варах). Определенные круги в Италии — церковь, полиция, крупная буржуазия — чинят Пазолини всяческие препятствия. Его не любят. Он «не то» снимает. На него подают в суд, как только могут, мешают его работе. Дошло до того, что чуть ли не были сорваны съемки «Мамы Ромы», которая наполовину была уже снята. В главной роли снимался знакомый нам уже Франко Читти. Как-то в нетрезвом виде он вступил в пререкание с полицией, закончившееся небольшой потасовкой и годом тюрьмы для Франко Читти. Не будь он артистом Пазолини, мера пресечения не превышала бы десяти дней. Пазолини пришлось взять другого артиста и начать съемки сначала. А Читти сидит. Я видал его фотографию в наручниках.

Незадолго до того, как я посмотрел «Аккатоне», буквально за день до нашего отъезда в Италию я видел картину молодого советского режиссера Андрея Тарковского «Иваново детство». Не увидев предварительно ее и посмотрев фильм Пазолини, я сказал бы: вот как надо ставить картины, или: вот как поставил бы я картину, если бы был режиссером. Но после «Иванова детства» я этого уже не могу сказать. Странное дело (мне об этом уже приходилось писать), картина Тарковского сделана в ключе, который никак не близок мне. Более того, во многом мне она как зрителю и как человеку, работавшему в кино, противопоказана. Если в «Аккатоне» я не замечал экрана, здесь я его все время вижу, ощущаю. В «Ивановом детстве» много придуманного, сделанного, много режиссерских и операторских «штучек» — изысканных ракурсов, красивого освещения, неожиданных поворотов, наездов, каких-то особенных крупных планов. Картина сделана непросто — в ней есть и настоящее, и прошлое, и воспоминания, и сны (в «Аккатоне», кстати, тоже), и целые куски несуществовавшей действительности (что могло бы быть, если бы не было так, как было) — одним словом, имей я желание разругать картину, я сказал бы: «Накручено дай бог чего». Есть в картине, на мой взгляд, и другие недостатки. Всякий воевавший человек особенно придирчив ко всему, что касается войны. А это фильм о войне. И, к сожалению, не все тут точно.

И вот, несмотря на все это, картина Тарковского и оператора Юсова, на мой взгляд, картина не только хорошая, а, я бы сказал, значительная. Это большая, радостная удача — и режиссера, и оператора, и актеров. В чем же ее значительность и почему с такой радостью я об этом го-

ворю, хотя по приему своему «Иваново детство» скорее ближе к Довженко, чем к милому моему сердцу неореализму? Все дело в том, что в основу фильма положена правда человеческих отношений. А это главное. И правда эта рассказана нам умным, талантливым художником. Пусть художником, избегающим простоты, художником, все время как бы говорящим нам: «Смотрите, как я это сделал», но художником, верящим в тех людей, которых он нам показывает. Поэтому и я им верю. А героям «Поэмы о море» и «Повести пламенных лет» не верю, хотя делали их люди безусловно тоже талантливые и умные.

В свое время мне крепко досталось от не менее полутора десятка критиков за то, что я, мол, поднял руку на Довженко в своей статье «Слова «великие» и простые», что я «перечеркнул» его наследие, что вообще я тяну к серягине и что, упаси бог, как выразился один из критиков, окажись я вдруг министром культуры, вся наша кинематография превратилась бы в нечто до смерти нудное и приземленное. К счастью — для меня и для министерства, — министром я не стал, но за годы, прошедшие после напечатания статьи, я окончательно убедился, что «великие» слова — то есть ложнопатетическая приподнятость, символическая многозначительность, неоправданность ситуаций, риторика и многословность — одним словом, подмена жизни выдумкой, — что все это до сердца зрителя не доходит, а форма, в которой сделана та или иная картина, пусть она хоть вся будет на негативной пленке (прием, использованный, кстати, и в «Ивановом детстве», и в фильме «В прошлом году в Мариенбаде»), может быть любой, лишь бы она помогла мысли, а мысль была бы правдива. «Иваново детство» Тарковского убедило меня в этом.

А чтоб покончить со спором о словах «великих» и «простых», мне очень хочется привести одну цитату из Толстого, из его «Набега»:

«Француз, который при Ватерлоо сказал: «Гвардия умирает, но не сдается», и другие, в особенности французские герои, которые говорили достопамятные изречения, были храбры и действительно говорили достопамятные изречения; но между их храбростью и храбростью капитана есть та разница, что если бы великое слово, в каком бы то ни было случае, даже шевелилось в душе моего героя, я уверен, он не сказал бы его: во-первых, потому, что, сказав великое слово, он боялся бы этим самым испортить великое дело, а во-вторых, потому, что, когда человек чувствует в себе силы сделать великое дело, какое бы то ни было слово не нужно. Это, по моему мнению, особенная и высокая черта русской храбрости...»

Почему я так много говорю о кино? Не только потому, что люблю его и даже немного занимался им. Но и потому, что это действительно самый массовый, самый интернациональный, самый доходчивый вид искусства, некое эсперанто, как назвал его Пазолини. Кстати, конгресс, на который мы ездили, был посвящен именно наиболее массовым видам воздействия на людей — кинематографии и телевидению. Но на конгрессе мне не пришлось выступить, вот я и пытаюсь как-то компенсировать это.

В Риме, в небольшой аудитории общества «Италия — СССР», я демонстрировал фильм режиссера Р. Нахмановича, производства Украинской студии кинохроники, под названием «Неизвестному солдату...». Это фильм, построенный на старых кинодокументах периода Отечественной войны и кадрах, снятых уже теперь, в наши дни. Он посвящен судьбам людей, которые воевали на фронте, работали в подполье, томились в фашистских концлагерях, тем, кто победил, и тем, кто, как сказано в заключительных кадрах, «отдал свою жизнь за то, чтоб продолжалась наша». Фильм документальный от начала до конца, в нем ничего не придумано.

И вот, сидя в зале, я с трепетом следил за тем, как реагирует на него итальянский зритель. А демонстрировать и воспринимать фильм было нелегко — мне приходилось переводить его переводчику тут же, в зале, с украинского языка на русский, а ему уже с русского на итальянский. И все же фильм дошел. Многие, я видел, плакали.

Плачут, я знаю, и на душещипательных мелодрамах, но слезы, вызванные документальным кино, — другие слезы. Когда видишь заснятый немецкими операторами горящий Киев, взмывающий в воздух Крещатик или вереницу узников Штутгота за решеткой, а потом тех же узников (пусть не тех, других), пишущих протест по поводу освобождения начальника концлагеря Хоппе из тюрьмы, когда слышишь голос взрослого Виктора Бажанова (а до этого мы видели его десятилетним мальчишкой, убежавшим на фронт и подносящим патроны своему старшему товарищу Чернобаю), когда слышишь, как он, сейчас инструктор физкультуры, обращается к нам с призывом помочь ему разыскать этого самого Чернобая, когда все это видишь и вспоминаешь прошлое — трудно усидеть спокойно. Даже мне, автору сценария этого фильма.

Сила воздействия документального кино огромна. Вспомним картины Торндайков «Операция «Тевтонский меч», «Отпуск на Зильте», «Этого нельзя забыть», — какая сила обличения заключена в них! А «Майн кампф» Эрвина Лейзера или «Нюрнбергский процесс», который, кстати, мы не видели — и опять-таки непонятно почему? Не настало ли время рассказать о Великой Отечественной войне языком документального кино? Это должна быть большая, серьезная и очень правдивая картина-документ, летопись наших побед и поражений, фронта и тыла, тяжелых дней оккупации, партизанской войны, Освенцима и Бабьего Яра, Мюнхена и Нюрнберга...

Есть такое слово — «кинопублицистика». Пока это только слово. Хорошо, если б оно превратилось в дело. Охотники найдутся, и люди, которые могут помочь в этом сложном и новом деле, тоже, хотя бы те же Торндайки. Мне кажется, что эксперимент Жана Руша тоже интересен. А почему бы и нам не попробовать такое? Непривычно? Да. Куда легче снимать срепетированные сцены с передовиками производства или свеженагражденными лауреатами, которые, старательно причесавшись и повязав галстук, садятся за большие письменные столы, желательно на фоне книжных полок, или, стоя у своих станков, произносят заранее выученные слова. А что, если выйти на улицу с портативной кинокамерой и магнитофоном и повторить в Москве, в Киеве, в Братске, в любом советском городе то, что сделал в Париже Жан Руш? Почему не попробовать?

* * *

Как далеко я отошел от того, с чего начал. А начал со споров. Вот так у нас они и шли. Начинали со сравнения цен у нас и в Италии, а кончали системой Станиславского — жива она или мертва. Начинали на улице, а кончали в какой-нибудь маленькой траттории в районе Трастевере.

Траттория... Рискуя навлечь на себя все громы и молнии, не могу не воспеть тебя, милая итальянская траттория, без которой Италия немислима, как без апельсинов, памятников Гарибальди и белых треугольных пепельниц на твоих столах, обязательных пепельниц с надписью «cinzano» или «martini». Боюсь, если бы по каким-либо причинам все траттории, остерии и бары в Италии были б закрыты, итальянец взбунтовался бы. Произойди это страшное событие, куда б ему, бедняжке, забежать, узнать последние новости, выпить стаканчик вина, сыграть в домино, встретиться с каким-нибудь Карло или Альберто, который ему до зарезу нужен, или с хорошенькой Люцией, или просто так посидеть в углу и подумать о том, о чем не удастся подумать дома?

Траттория не ресторан, она подобие клуба, место встречи, место, где тебя всегда приветливо примут, быстро обслужат — виноват, это не то слово: когда ты заходишь в тратторию, ощущение такое, что ты попал к своему лучшему другу и самое большое удовольствие для него — это хорошо угостить тебя. Ах, если б так было в нашей киевской «Абхазии»! Зайдешь — и вдруг не пахнет кухней, каким-то прогорклым маслом, и не смотрят на тебя волком, и не говорят: «Подождите, не умрете, я одна, а вас много», и скатерти все чистые, и официантки не ругаются между собой из-за вилок, и нет плюшевых занавесок с бомбошками и злого, надутого швейцара... Ах, как было бы хорошо. А что, если б в порядке, так сказать, культурного обмена, углубления контактов предложить нашей киевской «Абхазии» завязать дружбу, соревнование, ну, допустим, с флорентийской «Бука-Лапи»? Обе они небольшие, обе в подвалах, только «Бука-Лапи» чуть постарше, в этом году ей минет восемьдесят лет. Мы там как-то были целой компанией. Попадаешь туда через кухню, что-то жарится, шкварится, но ни дыма, ни чада. Входишь в зал со сводами, и весь он сверху донизу заклеен плакатами каких-то туристских и мореходных компаний. Больше ничего, одни плакаты. Итальянские, французские, немецкие, испанские, американские, аргентинские, мексиканские... Только русских нет. «Может, вы нам пришлете, когда вернетесь домой? Мы повесим его тут, над этим столиком, где вы сейчас сидите...» Вместо плакатов наши поэты написали несколько шуточных строк на открытках, и хозяин тут же пристроил их на стене. «Вот и от русских память будет». Взамен мы получили каждый по пепельнице, на память об уютных минутах, проведенных в этом симпатичном, приветливом подвальчике... Ох, боюсь, ничего не получится из этой дружбы-соревнования, а мне, попадись эти заметки директору «Абхазии», никогда уже там не бывать.

Я как-то в шутку спросил Серджио:

— Скажи мне, когда на всем земном шаре восторжествует коммунизм, что вы сделаете с тратториями? Национализуете, обобществите?

— Ну, нет,— сказал он,— с этим мы торопиться не будем...

Я чувствую, что эта небольшая «ода траттории» вызовет кое у кого совершенно противоположную реакцию. «Ну вот,— скажут,— траттория ему, видите ли, у нас не хватает. Великое дело. И, между прочим, Италия знаменита не только ими. И не только музеями. Это страна борющегося рабочего класса, страна массовых забастовок, непрекращающейся безработицы, нелегкой жизни крестьян. Почему об этом пока ни слова?»

Эти будущие, ожидаемые мною претензии напоминают мне высказывания одного не очень умного нашего журналиста, с которым я ездил по Америке. На третий или четвертый день он начал жаловаться:

— Когда же нам наконец покажут трущобы? А то и писать-то не о чем — все гладко, чисто, удобно...

Что-то не очень хочется уподобляться ему. Видели мы и трущобы, и страшные чикагские улицы без света, с гремящими над головами по эстакадам поездами, видели и классических безработных на Бауэри в Нью-Йорке, видели и нечто похуже — мы не были на Юге, но смотрели по телевизору, как негритянские школьники идут в школу под охраной полиции, чтоб их не растерзала озверевшая толпа. Все это мы видели, и все это есть. Но если ты едешь в чужую страну выискивать только это, стоит ли ездить? Мне почему-то всегда стыдно, когда радуются чужой беде. Когда я вижу трущобы, мне жаль людей, которые в них живут, и я ничуть не рад, что эти страшные дома и бараки еще существуют, хотя это

и чуждый мне капиталистический мир. Тот же журналист, о котором я уже писал, сказал мне как-то:

— Что за черт, ты видел, в нашей гостинице живут негры? Даже в ресторане сегодня парочка сидела.

Мне казалось, ему даже обидно, что этих двух негров не выдворили с треском из ресторана — вот бы материяльчик для статейки! А на Юге действительно выдворяют, и это несколько меня не радует.

Но ладно, Америка будет еще впереди, вернемся к Италии, к ее жизни, к тому, о чем в трагедии говорят не меньше, чем о футбольных матчах и последнем процессе сицилийских монахов.

Борьба рабочего класса, забастовки... Я, правда, не видел, как народ выходит на улицы (видел только весьма жиденькую профашистскую демонстрацию — десятка три молодых людей в машинах и на мотоциклах с развевающимися знаменами и лозунгами «Фанфани + Ненни = Тольятти»), но года полтора тому назад в Москве один из руководителей итальянской компартии Аликата рассказывал о событиях в Генуе в 1960 году. Профашистские элементы постарались организовать в этом большом портовом городе нечто вроде своего съезда. Народ не допустил этого, вышел на улицы, в основном молодежь. Произошли схватки, поднялась стрельба, вмешалась полиция. У нас в газетах об этом не очень подробно писали, Италия же только о том и говорила. Любопытно, что особую активность в схватках с неофашистами проявила и молодежь «стиляжного», «битниковского» толка, даже подобная героям Пазоллини. «Эти ребята, — рассказывал Аликата, — дрались великолепно. Но пока что поддерживают они нас только в моменты обострения классовой борьбы. Вопрос сложный, очень даже сложный. Переманить их окончательно на нашу сторону не так-то и просто. Они сами за себе. Они не хотят, чтобы ими руководили, но фашизм ненавидят и готовы с ним бороться насмерть. И нам, коммунистам, серьезно надо подумать, как использовать, как направить в настоящее русло эту бьющую через край энергию».

К сожалению, за все время, что мы были в Италии, нам удалось посетить только один завод, ткацкую фабрику в городе Прато, недалеко от Флоренции. По сравнению с предприятиями Оливетти, которые я видел в прошлый свой приезд, эта фабрика, с точки зрения организации технического процесса, не очень интересна. Мы выслушали не слишком утомительные объяснения одного из директоров фабрики, задали положенное количество вопросов, выпили по рюмке вермута, обошли цеха, перекинулись несколькими словами с рабочими, даже снялись с ними, а потом отправились, как всегда, в мэрию выпить очередную рюмку и посмотреть великолепные картины Филиппино Липпи, барельефы Донателло и майолики Андреа делла Роббиа.

Но не на всех заводах и фабриках так мирно. В тот самый день, когда мы были на ткацкой фабрике в Прато, в Риме шли переговоры между представителями ВИКТ (Всеобщей Итальянской конфедерации труда) и вновь сформированным правительством о прекращении забастовки на туринском заводе «Мишлен», одном из крупнейших в Италии предприятий по выпуску автомобильных покрышек. Завод бастовал с января месяца. Предприниматели попытались объявить локаут. Но ничего не помогло, даже штрейкбрехеры. К концу второго месяца предприниматели сдались. Рабочие, не получившие за эти два месяца ни одной лиры, победили. Без преувеличения можно сказать: им помогал весь город. Был организован комитет солидарности. Деньги собирали на стадионах, рынках, просто на улице. Даже крупнейший в городе театр передал сбор от нескольких спектаклей в фонд помощи бастующим.

Все это говорит об очень многом. И случаи эти вовсе не единичны: забастовки рабочих, служащих, железнодорожников, почтовых служа-

щих, на Юге батраков — явление повсеместное. И, как правило, победа остается не за предпринимателями. Италия — страна очень активной политической борьбы, страна, где с рабочим классом, с коммунистической партией (сейчас уже почти двухмиллионной) нельзя не считаться.

Италия сейчас переживает период экономического подъема. Явление это характерно не только для Италии. Подобный подъем испытывает сейчас и ФРГ и Япония, то есть страны, потерпевшие поражение в последней войне. Уровень жизни в Италии заметно повысился — за последние пять лет зарплата рабочего значительно увеличилась, уменьшилось количество безработных, развернулось в больших масштабах жилищное строительство, продукция итальянской промышленности все больше и больше выходит на мировой рынок. В силу чего все это происходит?

Причин много. Вот основные. Во-первых, последствие войны — почти полностью обновилось промышленное оборудование страны. Весьма сложный в мирных условиях процесс замены старого оборудования новым произошел, так сказать, не от хорошей жизни — большая часть фабрик и заводов в стране была разрушена. Сейчас техника производства в Италии стоит на большой высоте. Второе — побежденные страны лишены колоний, а значит, и тяжести колониальных войн. И, наконец, третье — относительно небольшой военный бюджет: не приходится тратить деньги на ракеты, их любезно предлагает Америка в рамках НАТО.

Все это и привело к тому положению в экономике, которое называется сейчас на Западе «экономическим чудом». Следует добавить еще, что капитализм на данном своем этапе вынужден выискивать различные новые формы взаимоотношений предпринимателя с рабочим («неокапитализм», «народный капитализм», «социальное партнерство», оливеттиевский «патернализм»), но это уже требует специального исследования, которому не место в этих отнюдь не претендующих на научность очерках.

Как пойдет дело дальше? На этот вопрос я также не берусь ответить. Думаю, если речь идет об Италии, многое зависит не от того, что происходит в самой стране, а главным образом за ее пределами. Мир лихорадит. И от того, что делается сейчас на улицах Алжира, у Бранденбургских ворот, на мысе Канаверал или в залах нью-йоркской биржи, во многом зависит, как сложится жизнь туринаского рабочего, римского школьника и батрака из Лукании.

* * *

А сейчас мне хочется рассказать об одном молодом итальянце из города Карпи, возле Модены, с которым я встретился в Москве осенью 1961 года. И вот при каких обстоятельствах.

В Карпи есть фабрика, изготавливающая знаменитые на всю Италию шерстяные рубашки. Директор этой фабрики Бенито Гуальди — человек экспансивный, богатый и по характеру своему, я бы сказал, даже демократичный. Кроме фабрик, в Карпи, как и во всех итальянских городах, есть бензиновые колонки. Одну из них обслуживает молодой и очень живой парень Данило Кремаски. Итальянцы народ общительный и, как я уже говорил, любят поспорить о том о сем в своих тратториях. И вот как-то в одной из таких тратторий между Бенито и Данило произошел спор. Дело в том, что незадолго до этого Гуальди побывал в Советском Союзе. Туристом. Ему у нас не понравилось, и вместо положенных двух недель он пробыл ровно четыре дня и укатил то ли в Испанию, то ли в Португалию. Что же не понравилось Бенито Гуальди в Советском Союзе? Многое и весьма существенное. Во-первых: в Останкинской гостинице, в которой он жил, все часы стоят; во-вторых: мало такси, и вообще, кроме них, других машин в Москве нет; в-третьих: кассирши в ма-

газинах считают на счетах, а не на арифмометрах; в-четвертых: московские домохозяйки в коммунальных кухнях вешают на свои кастрюли замки, ну и так далее, в том же роде...

Обо всем этом Гуальди с увлечением рассказывал в траттории, и его слушали, раскрыв рты. Данило возмущился:

— Все это ложь!

— Нет, не ложь!

— А я говорю: ложь!

— А я говорю: нет!..

— А чем ты докажешь?

— Как чем? Я ж там был...

— Но я-то не был. Как тебя проверить?

— Меня?

— Тебя. Может, ты все сочиняешь?

— Сочиняю?.. Ладно! Хочешь сам проверить?

— То есть как это?

— А вот так. Поезжай в Советский Союз, а я оплачу расходы.

— Не оплатишь...

— Оплачу!

— Всю дорогу?

— И дорогу и гостиницу. Все!

— Что ж! Тогда поеду.

И Данило поехал.

Похоже на выдумку? Похоже. Но вот поехал-таки, я сам его видел. Не помню, на сколько и на что они поспорили, но Данило должен был подтвердить или опровергнуть то, что видел Гуальди, а по приезде все честно рассказать. Окруженный репортерами и друзьями, Данило Кремаски, страж бензоколонки из города Карпи, сел в прямой вагон Рим — Москва и укатил в неведомые края.

Пробыл он в Москве дней десять, заполненные до краев бесчисленными «мероприятиями». Театры, музеи, клубы, встречи, опять же корреспонденты. Парень он молодой, полный энергии, в Москву попал впервые, вот и крутился с утра до вечера как белка в колесе. И все записывал, записывал, записывал, целую кучу блокнотов извел. Ездил в Останкино, проверял часы (они, кажется, стояли-таки), считал на улице такси, изучал московских кассирш — одним словом, дела было по горло. И всем он был доволен — хохотал: «Приеду домой, будет что рассказать...»

В последний день у него, в номере гостиницы «Берлин», мы — я с товарищами и он со своим другом Коррадо Саки, студентом Московского университета, — на прощанье малость выпили, потом мы усадили их обоих в такси, помахали ручкой, и они уехали на вокзал.

Чем кончилась вся эта история, я не знаю. Думаю, что молчание буржуазных газет говорит о победе Данило над Гуальди. Повидать Данило мне не удалось — ни в Модене, ни в Карпи я не был, а Данило, вероятно, просто не знал о нашем приезде. Недавно, правда, пришла из Карпи цветная открытка — две строчки добрых пожеланий и две подписи: Данило Кремаски и Коррадо Саки; он тоже родом из тех мест и, вероятно, поехал на каникулы.

Забавная история — не правда ли? Чисто итальянская.

Между прочим — это уже попутно, — в один из тех осенних дней поехали мы с Данило, Коррадо и еще одним моим приятелем в Загорск, в Троице-Сергиевскую лавру. Нам показалось, что их это должно заинтересовать: все-таки интересно посмотреть, как у нас обстоят всякого рода религиозные дела, особенно им, людям из страны, где церковь так сильна. Ну, и архитектура ж тому же в Загорске замечательная.

Поехали..И вот оказалось, что я с моим приятелем куда более были потрясены всем увиденным, чем наши друзья-итальянцы. Очевидно, они уже привыкли у себя на родине ко всякого рода религиозным изуверствам и радениям и их ничем не удивишь. Мы же с приятелем просто не верили своим глазам.

Оказывается,— кто бы мог подумать? — в каких-нибудь ста километрах от Москвы существует еще самая настоящая, невыдуманная, глухая, дремучая, страшная допетровская Русь... Несметное количество старух, все в черном, худющие, злые, ненавидящие. Бродят по двору, стоят и что-то бормочут в церквях, длиннющим хвостом выстроились приложиться к останкам святого Сергия Радонежского...

Мы с трудом, под перекрестным обстрелом испепеляющих взглядов протиснулись внутрь церкви. Низко, тесно, полумрак, своды. Потрескивают свечи. Со стен глядят на нас суровые лики святых. У раки с мощами — красивый, гладкий священник. Медленно, молча движется очередь. Есть и мужчины, даже молодые. Все крестятся, прикладываются к мощам, нас ненавидят, презирают: «Нехристи, басурмане...»

Мы вышли во двор. В прозрачном осеннем небе над изумительной красоты куполами кружится воронье, а внизу, у белых стен собора, кликуши топчутся вокруг совсем еще молоденького, тощего, бескровного, закатывающего глаза юродивого. Зачем-то ему льют на голову воду, а он, мокрый, жалкий, поглаживает по волосам прижавшуюся к нему молодую женщину — она не сводит с него восторженного взгляда — и что-то говорит, прорицает:

— Войны не будет, нет, не будет, живите спокойненько, любите друг друга, главнсе — любите. а ты не смотри на меня, не отвечу, все равно не отвечу, глаз у тебя плохой, уйди, уйди, уйди. А церкви конец, последние дни доживает, молитесь, богу молитесь, ибо надвигаются черные дни, война надвигается, побоище будет, и жизнь на земле кончится, только цветы останутся, и листья, и трава, и море, и небо, и не спрашивайте меня, все равно молчать буду, год, два, три, с воскресенья сегодняшнего...

А старухи вокруг:

— Мне, мне, мне, родненький, скажи...

А «родненький» обнимает прижавшуюся к нему девицу, и они начинают вдруг тереться носами, торопливо, исступленно... Становится страшно.

Ходит по двору женщина, молодая, изможденная, тоже в черном, заламывает руки и тоже что-то говорит, говорит, говорит о конце церкви, о каком-то обмане, о неверии во что-то...

Мы находились в самом центре православия, и предстало оно перед нами не благостным, любвеобильным и богобоязненным, а злым, ненавидящим. И была в этом какая-то мрачная, опасная сила, которая все еще существует и совсем рядом с нами.

Надолго запомнится мне этот день, эти черные старухи с котомками, трясущийся юродивый, цветущие, красивые, гладкие попы. И низкий, бархатный голос дьякона. И воронье, тучи воронья в чистом небе. И люгые взгляды...

Я вспомнил этот день полгода спустя, в Италии, стоя на площади перед собором святого Петра и ожидая появления папы. Каждое воскресенье ровно в двенадцать часов он появляется в окне своей резиденции и благословляет верующих. Громадная, охваченная колоннадой площадь заполнена до краев. Когда пробило двенадцать и в окне, из которого свешивалось длинное красное покрывало, появилась маленькая белая фигурка Иоанна XXIII, многие бросились на колени. Папа произ-

нес недлинную проповедь, разносимую по площади десятками репродукторов, и, воздев руки к небу, скрылся. Его проводили салютом автомобильных гудков.

И хотя вокруг меня множество коленапреклоненных — среди них молодые монахи и монахини всех цветов кожи и сутан — возносили молитву господу богу, во всем этом был уже какой-то «модерн». Проводив папу, все, в том числе и монахи, заговорили о чем-то своем, житейском и, весело лавируя среди машин, шумным потоком ринулись на прямую широкую виа Кончилагione.

Сила и влияние католической церкви огромны, я знаю, и формы, в которые выливаются в Италии всякого рода проявления религиозности, часто бывают уродливы (вспомним хотя бы, правда значительно урезанные у нас, сцены в церкви из фильма «Ночи Кабирии»), но по сравнению с тем, что я видел в Загорске, воскресная встреча с папой показалась мне просто веселым спектаклем или одним из номеров в туристской программе компании «Гранди-Виаджи».

Впрочем, «модерн» современной католической церкви в какой-то степени и является ее новым оружием. Формы воздействия на прихожан меняются. Даже папа и тот другим стал. Говорят, например (сужу по итальянским газетам), что восьмидесятилетний Иоанн XXIII очень демократичен, может сесть за стол и даже выпить вместе со своим шофером. Папа — сторонник мирного сосуществования. После запуска «Востока-3» он устроил в своей летней резиденции Кастель-Гандольфо специальный молебен в честь Николаева. Все течет, все изменяется...

* * *

Настало наконец время несколько подробнее рассказать о Конгрессе Европейского сообщества писателей, на который мы, собственно-то, и приехали.

Это был весьма многолюдный и представительный конгресс. Его освещали почти все газеты мира. Съехалось около четырехсот писателей всех европейских стран, кроме Албании (она не является членом сообщества) и ГДР, представителям которой помешало приехать американское командование в Берлине. В залах заседания и кулуарах можно было встретить и Халдора Лакснеса из маленькой далекой Исландии, и Джузеппе Унгаретти, избранного президентом сообщества вместо скончавшегося Джанбаттиста Анжолетти, и молодого, но уже очень известного Хуана Гойтисоло, и бодрюю, несмотря на свои восемьдесят лет, всем интересующую Марию Майерову, и Маргэрит Дюрас — автора «Хиросима, любовь моя», и Назыма Хикмета, представлявшего на конгрессе литературу Турции, и Ярослава Ивашкевича, и Андре Шамсона, и Чезаре Джаваттини, и многих, многих других. Овацией были встречены представители Алжира и Кубы. Ожидали приезда самого Фанфани, но смена кабинета помешала ему это сделать, и вместо него конгресс приветствовал министр Кодаччи-Пизанелли, преподнесший от имени итальянского правительства всем присутствующим «маленький подарок» в виде знаменитой виллы Петрайя, которая отныне является резиденцией сообщества.

Конгресс был посвящен роли и значению литературы в кинематографе, радио и телевидении — это была, так сказать, его «повестка дня», — на самом же деле объединяющим началом конгресса была его ярко выраженная антифашистская направленность, его поддержка идей борьбы за мир, за развитие контактов между Западом и Востоком. В наш нелегкий век труднее всего встретиться и поговорить друг с другом. И поговорить по возможности чистосердечно, откровенно. И не только с трибуны... Прав был корреспондент газеты «Джорнале де Матина», когда

он писал (впрочем, другие газеты тоже): «Я не смог бы сказать вам, где происходил подлинный конгресс — в Зале Пятисот или в прилегающих к нему залах и холлах гостиниц, на улицах Флоренции, когда стихали яростные порывы ветра. Важно, что писатели разных стран встречаются, беседуют, знакомятся друг с другом. В конце концов работы конгресса в какой-то степени служат предлогом для этого». Да, это действительно было так.

Но вернемся к «повестке дня». На конгрессе говорили о литературе, кинематографе, телевидении, о связи между ними. Мнений было много, часто диаметрально противоположных. Писательница Маргэрит Дюрас, автор сценария «Хиросима, любовь моя», заявила, например, что «кино не имеет ничего общего с литературой» и что «понятие времени в романе никак не совпадает с понятием времени в кино». Она говорила о том, что ни разу не присутствовала на съемках фильма по своему сценарию и не позволила режиссеру проявлять интерес к работе над сценарием. Несмотря на успех фильма «Хиросима, любовь моя», Маргэрит Дюрас заявила, что никогда более не будет работать для кино. В том же духе высказался и французский писатель Бернар Пенго.

Но наиболее интересным, как писали все итальянские газеты, было выступление на конгрессе Григория Чухрая. Вообще он был «звездой» первой величины, и толпы корреспондентов ни на минуту не оставляли его в покое. Шестнадцатого марта газета «Унита» писала: «Чухрай является наиболее заметной фигурой конгресса. Его выступление против спекуляции эротикой в кино вызвало целую бурю. Советский режиссер испытал несколько горькую участь. Он увидел, как его восхваляет консервативная, клерикальная печать и как некоторые либеральные умы заклеили его кличкой моралиста. Вчера с трибуны конгресса его атаковал писатель Репачи, а сегодня его защищал Пазолини».

Дело в том, что в Италии сейчас церковь и прогрессивная интеллигенция, в том числе и коммунисты, ведут между собой ожесточенную борьбу по поводу того, что дозволено и что не дозволено в кино. Чухрай говорил о нравственных задачах искусства. Клерикалы пытались обратить его выступление в свою пользу. На следующий день в газете «Паэзе» появилась беседа Чухрая с корреспондентом газеты. «Выслушайте меня внимательно, — сказал он. — Если б вы слушали меня внимательно, вы бы поняли, что я не защищаю конформистов и не выступал в пользу морали лицемеров. Я признаю за художником право касаться любой темы и изображать действительность в условиях полной свободы. Я выступал лишь против спекуляции на сексуальной стороне любви».

Долго еще не смолкали споры вокруг выступления Чухрая, долго не сходили его портреты с газетных полос, а «Баллада о солдате», фильм с «наивной и сентиментальной основой», как сказал Пазолини, по-прежнему собирал полные залы и о многом заставлял думать итальянского зрителя.

Четыре дня продолжался конгресс. Четыре дня шумно и оживленно было в Зале Пятисот, в его коридорах, на старинных лестницах, охраняемых стражей с алебардами. Попади вы туда в те дни, вы невольно обратили бы внимание на маленького, очень оживленного человека лет сорока, появлявшегося то тут, то там, с кем-то разговаривающего, о чем-то спорящего, куда-то торопящегося, опять останавливающегося, опять с кем-то говорящего. Это Ла-Пира — мэр Флоренции, одна из интереснейших и своеобразнейших фигур современной Италии.

Ла-Пира — убежденный католик, более того — он идейный вдохновитель левого католического крыла. Он близок к папе. Он дружен с Фанфани. Он инициатор встречи мэров европейских столиц, которых собрал в 1955 году во Флоренции с единственной целью объединить их

в борьбе за мир. Он активный сторонник алжирского народа в его борьбе за независимость, и не только алжирского — все народы Африки считают его своим другом. Он не монах, но живет как монах в одном из монастырей францисканского ордена. Он бескорыстен и честен. И очень активен. Не будь его, не было бы, очевидно, и конгресса — как мэра города он не пожалел средств на его организацию. В какой-то степени он был сердцем конгресса. И одним из активнейших его участников.

На заключительном заседании он сказал:

— Когда вы вернетесь в ваши страны и вас спросят, какие известия привезли вы из Флоренции, — ответьте: превосходные! Вы сможете выразить надежду на то, что не будет войны. Произойдет атомное разрушение, исполнится пророчество Исайи, пушки перекуют на плуги, а ракеты на космические корабли, взлетные площадки для ракет станут стартовыми площадками космических кораблей. Близится наступление мира; наиболее близким к нам признаком мира является перемирие между алжирцами и французами... Цивилизация будущего станет цивилизацией диалога; Флоренция, гражданами которой вы символически стали, поручает вам передать братский привет столицам ваших наций, с которыми наш город четвертого октября 1955 года заключил пакт дружбы и мира. Передайте мэрам ваших столиц, которых прошу посетить, что Флоренция осталась верна этому пакту мира, заключенному семь лет тому назад, и что Флоренция вновь ждет к себе мэров столиц, которых она примет во имя этого пакта надежды.

Если сердцем конгресса был Ла-Пира, то душой его безусловно был Вигорелли, генеральный секретарь сообщества, он же редактор журнала «Эуропа литерариа». Кипучий, вездесущий — это он с тремя своими помощниками сумел собрать под своды Палаццо Веккио четыреста европейских писателей и блестяще организовать, как у нас говорят, их быт. Помню, когда несколько лет тому назад Вигорелли приехал в Советский Союз и заглянул на денек в Ирпень, о Европейском сообществе шли тогда только более или менее абстрактные разговоры на веранде за чашкой кофе. Сейчас же оно уже есть и, как видим, вполне себя оправдало. Более тысячи писателей из разных стран являются его членами. И во всем этом великая заслуга деятельного, всегда бодрого, энергичного, хотя под конец конгресса немного и уставшего Джанкарло Вигорелли — редактора, критика, общественного деятеля, а к тому же еще и интересного веселого собеседника.

На конгрессе встретился я и с единственным знакомым мне графом, писателем Гвидо Пьевене, с которым два года тому назад бродил по заснеженным аллеям Подмосковья, в Малеевке. Тогда, в меховой шубе и шапке, он держал путь в Сибирь, о которой написал потом серию очерков. Сейчас же с трибуны конгресса он сказал:

— Впервые мир предстает перед нами как абсолютное благо, от которого зависит все; в силу этого впервые в истории миролюбие и защита мира становятся неотделимыми от художественного творчества.

К сожалению, на конгрессе не было Ренато Гуттузо — одного из крупнейших художников Италии, милого, обаятельного и удивительно простого человека. В прошлом году, когда он приехал на Украину в гости к Бажану, я был счастлив познакомить его с киевскими художниками — Зиновием Толкачевым и молодыми ребятами Адой Рыбачук и Владимиром Мельниченко, работы которых он очень высоко оценил. В те дни в Москве была выставка работ Гуттузо, попасть на нее мне не удалось, и сейчас, оказавшись в Италии, я предвкушал удовольствие ознакомиться с его картинами у него в мастерской. Это не удалось — в дни конгресса Гуттузо был в Лондоне, где была его выставка.

Зато мне посчастливилось познакомиться на конгрессе с Хуаном Гойтисоло, прибывшим с группой испанских и португальских писателей. Не все из них имеют возможность жить у себя на родине (Гойтисоло вынужден, например, жить сейчас в Париже), но голос их, громкий и сильный, не удалось подавить ни Франко, ни Салазару. Мне очень жаль, что встреча наша ограничилась сидением за общим столом во время одного из очередных приемов,— хорошо уж и то, что она состоялась, и я очень хотел бы, чтоб она повторилась. Для моего поколения, хорошо помнящего героические дни обороны Мадрида — Университетский городок, дом Веласкеса, Мансанарес, Карабанчель Альто и Бахо,— все связанное с Испанией до сих пор дорого и близко. Поэтому и хотелось бы, чтоб встреча эта не оборвалась на дружеском брудершафте, который мы выпили с Хуаном Гойтисоло.

Встретился я во Флоренции и с давнишним своим другом Витторио Страда. Знакомство наше завязалось еще в 1955 году с переписки (он переводил тогда «В родном городе»), окрепла и превратилась в дружбу в Москве, где он учился в аспирантуре, а сейчас я рад был его обнять в его родной Италии. Он большой знаток, может быть даже один из лучших знатоков, русской и советской литературы в Италии. Работает сейчас в Турине у издателя Эйнауди, и его знаниям и стараниям итальянский читатель обязан тем, что может ознакомиться в хороших переводах с нашей прозой и поэзией. Во Флоренции мы довольно часто встречались, и как радостно было видеть Витторио веселым и бодрым, хотя в то же время с неким патриотическим эгоизмом я не мог не радоваться тому, что он все-таки слегка скучает по России. Все же он прожил там четыре года, и хотя привез оттуда жену, но многого, как я понимал, из того, что осталось там, ему не хватает.

Всех и не перечислишь, кого рад был встретить, с кем бродил по римским и флорентийским улицам. Увидел я опять и всех своих друзей из общества «Италия — СССР»: Лизу Фоа, и Умберто Черрони, и по-прежнему обсыпанного пеплом сигары Пьетро Цветеремича (вместе с ним мы мучились, переводя с украинского на русский, а затем на итальянский «Неизвестного солдата...»), и Анджелло Риппелино, водившего нас к молодому и очень талантливому художнику Акилле Перилли, для картин которого на ближайшей венецианской Бьеннале выделен отдельный зал. Между прочим, взглянув сейчас на проспект его последней выставки, я невольно подумал об Аде Рыбачук и Владимире Мельниченко. Они, правда, несколько моложе Перилли (им лет по тридцать, ему тридцать пять), но он на своем веку имел уже пять персональных выставок, а кроме того, выставлял свои работы вместе с другими на двадцати семи выставках у себя на родине и за границей — в Праге, Париже, Вене, Монако, Копенгагене, Стокгольме, Осло, Берлине, Мельбурне, дважды в Нью-Йорке, Мексике, Сан-Франциско, Дюссельдорфе, Риме и Брюсселе. Наши же киевляне — повторяю, очень талантливые — до сих пор никак не дождутся своей выставки. В этом году им предложено было организовать персональную выставку в Праге. Союз художников в Киеве наложил свое «вето»: вам, мол, рано еще, ребята, поработайте... А для художника, да еще молодого, выставляться так нужно, так важно.

Был я и у Карло Леви в его мастерской, смотрел картины, которые он отобрал для своей выставки в Москве. С Ириной Колетти (она же Малышева, русская по происхождению) мы бродили прошлой зимой по московскому Кремлю и занесенным снегом арбатским переулочкам, и я показывал ей старинный особняк на углу Гагаринского и Хрущовского переулков (названия старые!), где собирались когда-то масоны и бывал даже Пушкин,— а сейчас она водила меня по римским улицам и пока-

зывала древнюю церковь францисканцев, стены и потолки которой выложены из человеческих костей и черепов...

С веселым, подвижным, знающим Рим, как никто другой, Джорджо Пасторе мы встречались уже много многократно — и в Риме, и в Москве, и в Киеве. Он много лет прожил в Советском Союзе, хорошо говорит по-русски, поэтому с ним легче и проще всего. Он катал нас в своей машине по Риму, угощал ужином в «Олд Америка», где на вертеле в центре зала вращается над огнем целая баранья или бог его знает чья туша и повар в белом колпаке руками накладывает гарнир в тарелки, а официанты стремительно проносятся между столиками с болтающимися на боку «смитт-и-вессонами», как заправские ковбои. Вместе с ним мы смотрели, как с престарелыми леди и синьорами танцуют за деньги молодые люди знаменитый твист (кстати, когда танцует молодежь, твист очень занимателен и, я бы сказал, даже красив), потом он повез нас на Пассаджиатта Аркеолоджика — то самое место, где подралась со своей коллегой Кабирия, — и на наших глазах подкатили две полицейские машины, и мирно поджидавшие у древних стен терм Каракаллы своих клиентов «девочки» пустились враспынную. В воскресный день Джорджо приглашал нас поехать в горы, покататься на лыжах, но, как это ни было соблазнительно — в Италии на лыжах! — жаль было покидать Рим, и мы отказались.

Возил нас по Риму и Альберто, кинопродюсер, как он себя называет. С ним мы любовались с Авентинского холма распластавшимся у наших ног сумеречным Римом и, приоткрыв массивные ворота, заглядывали в густо заросший парк Ложы мальтийских рыцарей, потом петляли по тихим аллеям Английского кладбища у пирамиды di Caio Cestio и сорвали на память по цветку с могил Шелли и Китса... Он же, Альберто, показывал нам старый, средневековый Рим. В тот день было дождливо и холодно, на углу тесной извилистой улочки разведен был костер, и живописные старухи и мальчишки грелись возле него, а я снимал их своим киноаппаратом, и они заулыбались, узнав, что мы русские, «советико», и стали рассматривать мою камеру...

А в самый последний день я колесил по городу с милым Марчелло, тем самым, с которым колесил и в прошлый свой приезд и который, когда мы проезжали мимо какой-нибудь старинной церкви, всегда говорил: «Смотри, бабушка...» К сожалению, у меня не было его адреса, а он сменил место работы и работает сейчас в редакции газеты «Паэзе», и только за день до отъезда я добрался до этой самой редакции и оставил ему в гараже записку — он должен был ночью дежурить.

На следующий день рано утром он явился на своей машине.

— Чао, Виктор!

— Чао, Марчелло!

Он нисколько не изменился — такой же черноглазый, курчавый, улыбающийся, белозубый, такой же веселый и приветливый, только за эти пять лет появилось у него двое малышей, таких же черноглазых и курчавых, как он. Две крохотные фотографии этих мальчишек прикреплены в маленькой рамке к ветровому стеклу его машины, а внизу рамки надпись: «Папа, не гони!» Я выклянчил у Марчелло эти фотографии, и теперь они стоят у меня на столе. Два чудных кудрявых парнишки, которых я, к сожалению, так и не знаю.

С Марчелло мы занялись делом — приобретением сувениров и подарков для киевлян и москвичей. Это было нетрудно — громадный книжный развал находится буквально за углом напротив вокзала Термини. Там можно купить все, начиная от дешевых комиксов и кончая роскошными изданиями по искусству. Но мы покупали главным обра-

зом репродукции. Их здесь сотни, чтоб не сказать тысячи: и большие — на полотне, с ловко имитированной фактурой, и маленькие — величиной с папиросную коробку, сделанные из какой-то небьющейся и нецарапающейся пластмассы. Они лежат на прилавке горой — Ван-Гоги, Джотто, Рублевы, Боттичелли, Хокусай, Сезанна, Клеи, Мантеньи, Рафаэли, Клоды Монэ, Матиссы, — стой хоть целый день и выбирай. Занятие увлекательное и мучительное — денег не ахти сколько, а хочется забрать почти все. Кстати, маленькие эти репродукции совсем недорого — пятьсот лир штука. Это столько же, сколько стоит билет в кино, или чуть больше пачки сигарет «Честерфильд».

(Несколько слов о ценах. Вопрос, который задают друг другу все, и русские и итальянцы, — что сколько стоит. На это ответить очень трудно. Например, средний обед с вином — 1000 лир, хорошие туфли, правда, в «уцененном» магазине — 1500 лир, бутылка вина — 300 лир, не ахти какой, но в общем приличный костюм — 15—20 тысяч, великолепно изданная книга с цветными иллюстрациями — 10, 15—20 тысяч. Библия на любом языке мира — 1700 лир, подержанная машина — 200 000 лир, новый «фиат» — 600—650 000 лир. Поди разберись во всем этом...)

Нагруженные репродукциями и немножко керамикой (рядом с развалом есть специальный магазин, в котором любитель может промотать целое состояние, но у нас уже денег не было), мы вернулись в гостиницу, потом ездили в посольство, к Карло Леви в мастерскую, еще куда-то, потом пообедали и разошлись. Вечером нам не удалось встретиться — заболела жена Марчелло, — и явился он провожать нас уже на следующее утро в аэропорт Фиумичино.

За один день вся наша компания полюбила Марчелло. Прощались с ним, как со старым другом. На прощанье он, совсем по-грузински, подарил мне свою крохотную полосатую кепочку (я как-то мимоходом сказал: «Какая у тебя славная кепочка, Марчелло...»). и, пожимая всем руки, говорил на своем русско-французско-итальянском языке:

— До будущего года. В шестьдесят третьем году приеду в Советский Союз. Обязательно. Это уже решено... Ариведерчи, Моска! До встречи в Москве...

— И в Киеве.

— И в Киеве, Киеве...

Четырехмоторный «Вайкаунт» вырливал уже на взлетную дорожку, а Марчелло все стоял и махал рукой. Мы тоже махали. В его лице мы прощались с Италией, со всеми друзьями, оставшимися там.

Внизу показалось мелко гофрированное зеленовато-голубое Тирренское море, потом проплыл суховатый, изрезанный бухтами остров Эльба, а я все думал о том, как славно будет, когда придет будущим летом в Киев Марчелло на своей «альфа-ромео», и мы будем с ним колесить уже не по римским улицам, а по киевским, и, проезжая мимо Софийского собора, я ему скажу: «Смотри, Марчелло, бабушка...»

Единственное, что меня беспокоит, — это его встреча с киевскими постовами: как истый римлянин, он презирает светофоры и любит сто двадцать километров в час. Впрочем, у меня уже есть кое-какой опыт — хоть Марчелло и не сын президента, но, думаю, как-нибудь выкрутимся.

(Окончание следует.)



Е. СТЮАРТ

★

ПОДРАСТАЮТ МАЛЬЧИШКИ

*Здравствуй, племя
Младое, незнакомое!*

А. Пушкин.

Подрастают мальчишки,
что знают войну понаслышке,
избалованы слишком
и самоуверенны слишком.

Подрастают девчонки,
не выдавшие «похоронки»,
с легкой талией тонкой
и с короткою гривкой девчонки.

Чуть стемнеет —
 девчонки шагают по городу,
поджидают мальчишек,
 покамест не бреющих бороду.

В чем-то очень еще молодые,
умудренные в чем-то,
те мальчишки немного смешные
и чудные девчонки
громко судят о мире
и тихо целуются.

 Парами
долго бродят в обнимку
ночными бульварами,
в чем-то схожие очень
и вовсе не схожие:
есть такие,
что будут везде, как прохожие,
а в сердцах у других,
по-особому в каждом,
зреет творчества жажда
и подвигов жажда.

И какие ни есть эти девочки, мальчики —
то скептически не в меру, то слишком запальчивы,—
все ж они,
 подымаясь по новым ступеням,
подрастают сменяющим нас поколеньем.

Это мальчикам, с их шелухой словесною,
становиться бесстрашными, умными, честными.
Это девочкам, с их маникюрами, пудрами,
становиться спокойными, верными, мудрыми.

Это им
 задаваться высокими целями,
это им выполнять, что мечтою повéлено,
это им оставляем с надеждой, с любовью
нашу родину,
 нашей омытую кровью,
строки наших стихов, им порой непонятные,
карту звездных путей,
 еще с белыми пятнами,
ту эпоху, куда мы торили дороги,
где их юность сейчас,
как у счастья, стоит на пороге.

Пусть же счастье свершится!
Покамест о том и не чая,
пусть потом и они
до конца за него отвечают.



АНАТОЛИЙ ПАВЛЕНКО

★

БОЛЬШАЯ ЗНАМЕНКА

Ни толпы, ни цветов.
Пароходик сообщения местного,
С носа кинув швартов,
Упирается в кручу отвесную.

Заклопочет вода,
И по сходням рискованно узеньким
Вы сойдете туда,
Где — подвода с лошадкой кургузенькой;

Где рыбацкая сеть
Ослепительным солнцем пронизана,
Где и пристани нет,
Что отметите вы укоризненно.

Не играет волной,
Не шумит оно, море Каховское,
Но в полуденный зной,
Как великое, дышит спокойствием.

Не по юным летам
Оно вечностью кажется синюю,
Словно за морем там
И лежит она, вечная Индия...

Дело чьих это рук?!
Заглядевшись надолго и пристально,
Вы забудете вдруг
О еще непостроенной пристани.

И с душою иной,
Как живую водой обновленною,
Станьте к морю спиной
И лицом к половодью зеленому.

В этом царстве садов
И живут земляки мои, знаменцы.
А помимо плодов,
Чем еще земляки мои славятся?

Человека за труд
Уважают — и это ведь здорово!
А когда снизойдут —
Угощают борщом с помидорами...

Но не в том их судьба,
Есть и дело, в зените стоящее:
Поспевают хлеба,
И приходит оно — настоящее...

И сейчас, среди дня,
Вы пройдете по знаменской улице:
Редко где у плетня
Одиноко старушка сутулится.

Только солнечный свет
Над садами, над хатами царствует.
Вот и сельский совет,
Где один секретарь секретарствует.

Он любитель вздыхать.
Вы пред ним документы положите.
— Отдыхать?
— Отдыхать.
— Кукурузу ломать не поможете?

А в бойнице окна —
Степь да степь, и над ней в отдалении
То ли пыли стена,
То ли дым, как над полем сражения...

И родная земля
Каждым колосом,
Каждой тропкой у ног
Говорит мне раздумчивым голосом:
«Возвращайся, сынок...»

Токсово, Ленинградская область.



ЭРНЕСТ ХЕМИНГУЭЙ

★

МОТЫЛЕК И ТАНК

Рассказ

В этот вечер я под дождем возвращался домой из цензуры в отель «Флорида». Дождь мне надоел, и на полпути я зашел выпить в бар Чикоте. Шла уже вторая зима непрерывного обстрела Мадрида, все было на исходе — и табак и нервы, и все время хотелось есть, и вы вдруг нелепо раздражались на то, что вам неподвластно, например, на погоду. Мне бы лучше было пойти домой. До отеля оставалось каких-нибудь пять кварталов, но, увидев дверь бара, я решил сначала выпить стаканчик, а потом уже одолеть пять-шесть кварталов по грязной, развороченной снарядами и заваленной обломками Гран Виа.

В баре былолюдно. К стойке не подойти и ни одного свободного столика. Клубы дыма, нестройное пение, мужчины в военной форме, запах мокрых кожаных курток, а за стаканом надо тянуться через тройную шеренгу осаждавших бармена.

Знакомый официант достал мне где-то стул, и я подсел за столик к поджарому, бледному, кадыкастому немцу, который, как я знал, служил в цензуре. С ним сидело еще двое, мне незнакомые. Стол был почти посредине комнаты, справа от входа.

От пения не слышно было собственного голоса, но я все-таки заказал джин и горькой, чтобы принять их против дождя. Бар был битком набит, и все очень веселы, может быть, даже слишком веселы, пробуя какое-то недобродившее каталонское пойло. Мимоходом меня разок-другой хлопнули по спине незнакомые мне люди, а когда девушка за нашим столом что-то мне сказала, я не расслышал и сказал в ответ:

— Конечно.

Перестав озираться и поглядев на соседей по столу, я понял, что она ужасно, просто ужасно противна. Но когда вернулся официант, оказалось, что, обратившись ко мне, она предлагала мне выпить с ними. Ее кавалер был не очень-то решителен, но ее решительности хватало на обоих. Лицо у нее было жесткое, полуклассического типа и сложение под стать укротительнице львов, а кавалеру ее не следовало еще расставаться со школьной курточкой и галстуком. Однако он их сменил. На нем, как и на всех прочих, была кожаная куртка. Только на нем она была сухая, должно быть, они сидели тут еще до начала дождя. На ней тоже была кожаная куртка, и она шла к типу ее лица.

К этому времени я уже пожалел, что забрел к Чикоте, а не вернулся прямо домой, где можно было переодеться в сухое и выпить в свое удовольствие, лежа и задрвав ноги на спинку кровати. К тому же мне надоело смотреть на эту парочку. Лет нам отпущено мало, а противных женщин на земле слишком много, и, сидя за столиком, я решил, что хотя я и писатель и должен бы обладать ненасытным любопытством, но мне все же вовсе неинтересно, женаты ли они, и чем они друг другу при-

глянулись, и каковы их взгляды на политику, и кто на чьих деньгах женился, и все прочее. Я решил, что они, должно быть, работают на радио. Каждый раз, когда встречались в Мадриде странного вида люди, они, как правило, работали на радио. Просто чтобы что-нибудь сказать, я, повысив голос и перекрикивая шум, спросил:

— Вы что, с радио?

— Вот именно,— сказала девушка.

Так оно и есть. Они с радио.

— Как поживаете, товарищ? — спросил я немца.

— Превосходно. А вы?

— Вот промок,— сказал я, и он засмеялся, склонив голову набок.

— У вас не найдется покурить? — спросил он.

Я протянул ему одну из последних моих пачек, и он взял две сигареты. Решительная девушка — тоже две, а молодой человек, напоминавший о школьном галстуке,— одну.

— Берите еще,— прокричал я.

— Нет, спасибо,— ответил он, и немец взял вместо него.

— Вы не возражаете? — улыбнулся немец.

— Конечно, нет,— сказал я, хотя охотно возразил бы, и он это знал.

Но ему так хотелось курить, что тут уж ничего не поделаешь.

Вдруг пение смолкло, или, вернее, наступило затишье, как бывает перед бурей, и можно было разговаривать без крика.

— А вы давно здесь? — спросила решительная.

— Да, но с перерывами,— сказал я.

— Нам надо с вами поговорить,— сказал немец.— Серьезно поговорить. Когда бы нам для этого встретиться?

— Я позвоню вам,— сказал я.

Этот немец был очень странный немец, и никто из хороших немцев не любил его. Он жил, уверив себя, что может играть на фортепиано, и, когда не играл, был ничего себе немец, если только не пьянствовал и не сплетничал, а никто не мог отучить его ни от того, ни от другого.

Сплетник он был исключительный и всегда знал что-нибудь порочащее о любом человеке в Мадриде, Валенсии, Барселоне и других политических центрах страны.

Однако пение возобновилось, а сплетничать в голос не так-то удобно. Все это обещало скучное времяпрепровождение, и я решил уйти из бара, как только сам всех угощу.

Тут-то все и началось. Мужчина в коричневом костюме, белой сорочке с черным галстуком и волосами, гладко зачесанными с высокого лба, переходивший, паясничая, от стола к столу, нацелился духовым ружьем на одного из официантов. Все смеялись, кроме официанта, который тащил поднос, сплошь уставленный стаканами. Он возмутился.

— No hay derecho,— сказал он. Это значит: «Не имеете права» — простейший и энергичнейший протест в устах испанца.

Человек с духовым ружьем, восхищенный успехом и словно не отдавая отчета, что мы на исходе второго года войны, что он в осажденном городе, где нервы у всех натянуты, и что в гражданском платье нас всего четверо, прицелился в другого официанта.

Я оглянулся, ища куда бы укрыться. Второй официант возмутился не меньше первого, а «стрелок», дурачась, прицелился в него еще два раза. Кое-кто, включая и решительную девицу, все еще считал это забавной шуткой. Но официант остановился и покачал головой. Губы у него дрожали. Это был пожилой человек, и на моей памяти он работал у Чикоте уже десять лет.

— No hay derecho,— сказал он с достоинством.

Среди публики снова послышался смех, а шутник, не замечая, как

затихло пение, наставил дуло своего ружья в затылок еще одного официанта. Тот обернулся, балансируя подносом.

— No hay degecho,— сказал он.

На этот раз это был не протест. Это было обвинение, и я увидел, как трое в военной форме поднялись из-за стола, сгребли приставаду, протиснулись вместе с ним через вертушку двери, и с улицы слышно было, как один из них ударил его по лицу. Кто-то из публики подобрал с пола ружьецо и выкинул его в дверь на улицу.

Трое вернулись в бар серьезные, неприступные, с сознанием выполненного долга. Потом в вертушке двери снова появился человек с духовым ружьем. Волосы у него свисали на глаза, лицо было в крови, галстук сбился на сторону, а рубашка была разорвана. В руках у него было все то же ружье, и когда он, бледный, дико озираясь, ввалился в бар, он выставил ружье вперед и широко провел им по воздуху.

Я увидел, как один из тех троих поднялся ему навстречу, и видел лицо этого человека. За ним поднялись еще несколько, и они стали теснить стрелка между столиками в левый угол. Тот бешено отбивался, и, когда прозвучал выстрел, я схватил решительную девицу за руку и нырнул с ней в сторону кухонной двери.

Но дверь была заперта, и, когда я нажал плечом, она не поддавалась.

— Лезьте туда, за угол стойки,— сказал я.

Она пригнулась.

— Плашмя,— сказал я и толкнул ее на пол. Она была в ярости.

У всех мужчин, кроме немца, залегшего под столом, и школьного вида юноши, вжавшегося в стену в дальнем углу, в руках были пистолеты. На скамье вдоль левой стены три крашенные блондинки с темными корешками волос, стоя на цыпочках, заглядывали через головы и не переставая визжали.

— Я не боюсь,— сказала решительная девица.— Пустите. Это же смешно.

— А вы что, хотите, чтобы вас застрелили в кабацкой перепалке?— сказал я.— Если у этого героя найдутся тут друзья — быть беде.

Но, видимо, друзей у него не оказалось, потому что пистолеты постепенно вернулись в кобуры и карманы, визгливых блондинок сняли со скамьи, и все прихлынувшие в левый угол разошлись по местам, а на полу спокойно лежал человек с духовым ружьем.

— До прихода полиции никому не выходить! — крикнул кто-то от дверей.

Двое полицейских с карабинами, отделившиеся от уличного патруля, уже стояли у входа. Но тут же я увидел, как шестеро посетителей выстроились цепочкой в затылок, как футболисты, выбегающие на поле, и один за другим протиснулись в дверь. Трое из них были те самые, что выкинули стрелка на улицу. Один из них застрелил его. Они проходили мимо полицейских, как посторонние, не замешанные в уличной драке. А когда они прошли, один из полицейских перегородил вход карабином и объявил:

— Никому не выходить. Всем до одного оставаться.

— А почему же их выпустили? Почему нам нельзя, а им можно?

— Это авиамеханики, им надо на аэродром,— объяснил кто-то.

— Но если выпустили одних, глупо задерживать других.

— Надо ждать службу безопасности. Все должно быть по закону и в установленном порядке.

— Но согласитесь, что, если хоть кто-нибудь ушел, глупо задерживать остальных.

— Никому не выходить. Всем оставаться на месте.

— Потеха,— сказал я решительной девице.

— Не нахожу. Это просто ужасно.

Мы уже поднялись с полу, и она с негодованием поглядывала туда, где лежал человек с духовым ружьем. Руки у него были широко раскинуты, одна нога подвернута.

— Я пойду помогу этому бедняге. Он ранен. Почему никто не поможет, не перевяжет его?

— Я бы оставил его в покое,— сказал я.— Не впутывайтесь в это дело.

— Но это же просто бесчеловечно. Я готовилась на сестру и окажу ему первую помощь.

— Не стоит,— сказал я.— И не подходите к нему.

— А почему? — Она была взволнована, почти в истерике.

— А потому, что он мертв,— сказал я.

Когда явилась полиция, нас задержали на три часа. Начали с того, что перенюхали все пистолеты. Думали таким путем установить, кто здесь стрелял. Но на сороковом им это, видимо, надоело: и в самом деле, в комнате пахло только мокрыми кожаными куртками. Потом они уселись за столик возле покойного героя и стали проверять документы, а он лежал на полу — серое восковое подобие самого себя, с серыми восковыми руками и серым восковым лицом.

Под разорванной рубашкой у него не было нижней сорочки, а подошвы были проношены. Теперь, лежа на полу, он казался маленьким и жалким. Подходя к столу, за которым двое сыщиков проверяли паспорта, приходилось перешагивать через него. Муж девицы несколько раз терял и снова находил свои документы. Где-то у него был пропуск, но он его куда-то заложил и весь в поту нервно обшаривал карманы, пока наконец не нашел его. Потом он засунул пропуск в другой карман и снова принялся искать. На лице его выступил пот, волосы закурчавились, и он густо покраснел. Теперь казалось, что ему недостает не только школьного галстука, но и картузика, какие носят в младших классах. Говорят, что переживания старят людей. Но этот выстрел еще на десять лет помолодил его.

Пока мы ждали, я сказал решительной девице, что из всего этого может получиться довольно хороший рассказ и что я его, вероятно, когда-нибудь напишу. Например, как эти шестеро построились цепочкой и прорвались в дверь — разве это не производит впечатления? Ее это возмутило, и она сказала, что нельзя писать об этом, потому что это повредит делу Испанской Республики. Я возразил, что давно уже знаю Испанию, и что в старые времена, еще при монархии, в Валенсии перестреляли бог знает сколько народу, и что за сотни лет до установления республики здесь резали друг друга ножами, или — как их называют в Андалузии, навахами, и что, если мне случилось быть свидетелем нелепого происшествия в баре Чикоте в военное время, я вправе писать об этом, как если бы это произошло в Нью-Йорке, Чикаго, Ки-Уэст или Марселе. Это не имеет ровно никакого отношения к политике. Но она стояла на своем. Вероятно, многие, как и она, сочтут, что писать об этом не следовало. Но немец, например, кажется, считал, что это ничего себе история, и я отдал ему последнюю из своих папирос. Как бы то ни было, но спустя три с лишним часа полиция нас отпустила.

В отеле «Флорида» обо мне беспокоились, потому что в те времена бомбардировок, если вы собирались вернуться домой пешком и не возвращались после закрытия баров в семь тридцать, о вас начинали беспокоиться. Я рад был вернуться домой и рассказал о том, что произошло, пока мы готовили ужин на электрической плитке, и рассказ мой имел успех.

За ночь дождь перестал, и наутро погода была сухая, ясная, холодная, как это бывает здесь в начале зимы. Без четверти час я прошел во вращающуюся дверь бара Чикоте выпить джину перед завтраком. В этот час там бывает мало народу, и к моему столику подошли бармен и двое официантов. Все они улыбались.

— Ну как, поймали убийцу? — спросил я.

— Не начинайте день шутками, — сказал бармен. — Вы видели, как он стрелял?

— Да, — сказал я.

— И я тоже, — сказал он. — Вот где это случилось. — Он показал на угольный столик. — Он приставил дуло пистолета к самой его груди и выстрелил.

— И долго еще задерживали публику?

— До двух ночи.

— А за *fiambre*, — бармен назвал труп жаргонным словечком, которым обозначают в меню холодное мясо, — явились только сегодня в одиннадцать. Да вы, должно быть, всего-то и не знаете.

— Нет, откуда же ему знать, — вмешался официант.

— Да, удивительное дело, — добавил второй официант. — Редкий случай.

— И печальный к тому же, — сказал бармен. Он покачал головой.

— Да. Печальный и удивительный, — подхватил официант. — Очень печальный.

— А в чем дело? Расскажите.

— Редчайший случай, — сказал бармен. — *Mi cu ga go*.

— Так расскажите. Говорите же!

Бармен пригнулся к моему уху с доверительным видом.

— В том духовом ружье, вы понимаете, — сказал он, — в нем был одеколон. Вот ведь бедняга!

— И вовсе не такая это была глупая шутка, — сказал официант.

— Конечно, он это просто для смеху. И нечего было на него обижаться, — сказал бармен. — Бедный малый!

— Понимаю, — сказал я. — Значит, он просто собирался всех позабыть.

— Видимо, — сказал бармен. — И надо же, такое печальное недоразумение.

— А что с его пушкой?

— Полиция взяла. Отослали его родным.

— Воображаю, как они довольны, — сказал я.

— Да, — сказал бармен. — Конечно. Распылитель всегда пригодится.

— А кто он был?

— Мебельщик.

— Женат?

— Да, жена приходила утром с полицией.

— И что она сказала?

— Она бросилась к нему на грудь и все твердила: «Педро, что они с тобой сделали, Педро? Кто это с тобой сделал? О Педро!»

— А потом полиция пришлось увести ее, потому что она была не в себе, — сказал официант.

— Говорят, что он был слабогрудый, — сказал бармен. — Он сражался в первые дни восстания. Говорили, что он сражался в горах Сьерры, но потом не смог. Чахотка.

— А вчера он пришел в бар, просто чтобы поднять настроение, — предположил я.

— Да нет, — сказал бармен. — Это в самом деле редкий случай. *Mi cu ga go*. Я разузнал об этом у полицейских, а они народ дотошный, если уж

возьмутся за дело. Они допросили его товарищей по мастерской. А ее установили по карточке профсоюза у него в кармане. Вчера он купил это духовое ружье и одеколон, чтобы подшутить на чьей-то свадьбе. Он так об этом и говорил. Он купил одеколон в лавчонке напротив. Адрес был на ярлыке флакона, а самый флакон нашли в уборной. Он там заряжал свое ружье одеколоном. А пришел он сюда, когда начался дождь.

— Я видел, как он вошел,— сказал один из официантов.

— А тут пели, ну он и развеселился.

— Да, весел он был, это правда,— сказал я.— Его словно на крыльях несло.

Бармен изрек с безжалостной испанской логикой:

— Вот оно, веселье, когда пьют слабогрудые.

— Не нравится мне вся эта история,— сказал я.

— Послушайте,— сказал бармен.— Ну не странно ли? Его веселость столкнулась с серьезностью войны, как мотылек...

— Вот это правильно,— сказал я.— Суший мотылек.

— Да я не шучу,— сказал бармен.— Понимаете? Как мотылек и танк.

Сравнение ему очень понравилось. Он впадал в любезную испанцам метафизику.

— Угощаю,— заявил он.— Вы должны написать об этом рассказ.

Я вспомнил того парня с ружьем, его серое восковое лицо, его широко раскинутые серые восковые руки, его подогнутую ногу — он в самом деле походил на мотылька. Не то чтобы очень, но и на человека он был мало похож. Мне он напомнил подбитого воробья.

— Дайте мне джину с хинной.

— Вы должны непременно написать об этом рассказ,— твердил бармен.— Ваше здоровье!

— И ваше,— сказал я.— А вот вчера одна англичанка сказала мне, чтобы я не смел об этом писать. Что это повредит делу.

— Что за чушь,— сказал бармен.— Это очень интересно и важно: непонятая веселость сталкивается со страшной серьезностью, а у нас всегда так страшно серьезно. Это для меня, пожалуй, одно из интереснейших, редчайших происшествий за последнее время. Вы должны непременно написать об этом.

— Ладно,— сказал я.— Напишу. А у него были дети?

— Нет,— сказал он.— Я спрашивал полицейских. Но вы непременно напишите и назовите «Мотылек и Танк».

— Ладно,— сказал я.— Напишу. Но заглавие мне не очень нравится.

— Шикарное заглавие,— сказал бармен.— Очень литературное.

— Ладно,— сказал я.— Согласен. Так и назовем рассказ: «Мотылек и Танк».

И вот я сидел там в то ясное, веселое утро; пахло чистотой, только что подметенным, вымытым и проветренным помещением, и рядом был мой старый друг бармен, который был очень доволен, что мы с ним оба создаем литературу, и я отпил глоток джина с хинной, и глядел в заложненное мешками окно, и думал о том, как стояла здесь на коленях возле убитого его жена и твердила: «Педро, Педро, кто это сделал с тобой, Педро?» И я подумал, что полиция не сумела бы ответить на ее вопрос, даже если бы знала имя человека, спустившего курок.



НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

ЮРИЙ ЖУКОВ

★

ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ ПАТРИСА ЛУМУМБЫ

Я читал эти страшные строки поздней февральской ночью 1961 года, пристроившись на краешке стола, заваленного грудой депеш, поступавших из всех столиц мира. Безумолчно стучали, торопясь обогнать время, радиотелетайпы, змеились желтоватые ленты телеграфных свитков, испещренные мелкими буквами, — в эфире бушевал невероятный шторм новостей: весь мир бурно протестовал против убийства Лумумбы. И даже дежурный по радиосвязи, привыкший за долгие годы своей беспокойной службы ко всякому, был бледен и сумрачен.

— Мерзавцы, какие мерзавцы, — глухо говорил он, кладя передо мной поверх всех депеш еще одну, самую последнюю, циничную в своем лаконизме: «НЬЮ-ЙОРК, Ассошиэтед Пресс. Из Элизабетвила сообщают, что тело убитого Лумумбы было сожжено. Находящийся на службе у Мобуту пилот, который доставлял пленного Лумумбу в Элизабетвиль, рассказал в беседе с корреспондентами: «Они вырывали у него пряди волос из головы и пытались заставить его их есть...»

«Они вырывали у него пряди волос из головы и пытались заставить его их есть...» Не знаю, кто этот пилот, но в его хладнокровном, без тени человеческой эмоции описании пытки, которой подвергся человек, увозимый на смерть, было что-то, напоминающее регистры эсэсовских архивов.

А я смотрел на этот неровно оборванный лист телеграммы и где-то далеко за ним видел гордое и сильное лицо большого человека, которого палачи не смогли сломить никакими пытками и который даже после смерти своей настолько страшил их, что они поспешили сжечь его тело и рассеять пепел. И мне захотелось рассказать о встречах с этим интереснейшим человеком — судьба свела меня с ним в те дни, когда лощенные чиновники Хаммаршельда еще подобострастно улыбались ему, а участники заговора, готовившие свержение законного правительства республики и убийство его главы, клялись в верности и ходили за ним как тени.

Это было во второй половине августа 1960 года. Небольшая группа советских работников прилетела в Леопольдвиль чтобы обсудить с министерством просвещения Конго по его просьбе некоторые вопросы культурных связей: молодая республика просила помочь ей врачами, ей нужно было организовать обучение своих специалистов у себя дома и за границей, требовалась помощь в восстановлении радиостанции, передатчик которой частично вывели из строя колонизаторы, покидая Леопольдвиль.

Наш самолет после долгого беспосадочного полета приземлился на отличной бетонированной полосе современного аэродрома. Стих свист моторов, и в уши ударила оглушительная тишина. Можно было подумать, что мы попали на необитаемый остров. Аэродром был пуст. Лишь поодаль стояло несколько пузатых военно-транспортных самолетов с маркой Соединенных Штатов — они использовались для переброски в Конго войск ООН. Открыв дверцу самолета, мы ломали себе голову, как бы спуститься вниз, как вдруг увидели медленно приближавший-

ся трап. Его катили несколько человек — черных и белых. Они делали нам дружелюбные знаки.

Вскоре выяснилось, что это министр просвещения, а с ним встречающие нас работники советского посольства. Чины ООН, завладевшие аэродромом, уже разогнали весь обслуживающий персонал, а сами не желали наладить работу. Встреча была самой радушной и теплой, и вскоре мы уже сидели в тесном кабинете министра и толковали о будничных, но таких важных и больших делах...

Министр просвещения рассказывал нам, что в Конго из тридцати шести тысяч учителей двадцать шесть тысяч не имеют даже законченного среднего образования — колонизаторы не хотели и боялись дать образование африканцам; правительство хочет срочно организовать центр заочного обучения для всех педагогов моложе сорока лет и просит помочь ему в этом деле. Надо срочно создать хотя бы одну — для начала! — среднюю техническую школу для подготовки техников из числа квалифицированных рабочих: срочно требуются специалисты по металлообработке, котельщики, автомеханики, наладчики, чертежники, химики, техники аэродромного обслуживания, техники по радиоаппаратуре и электронике, счетные работники, экономисты. Этих специалистов нет — значит, их надо готовить как можно быстрее. Наконец надо решить вопрос о посылке студентов на учебу за границу. В Конго есть два университета, но оба они пока еще под контролем католической церкви, ими руководят бельгийцы, и они не будут обучать тех, кто не хочет служить колонизаторам.

Когда мы проезжали мимо Дворца парламента, мы увидели развевавшиеся у входа стяги многих африканских стран: там только что открылась конференция руководящих деятелей стран Африки — Конго, Ганы, Гвинеи, Камеруна, Того, Эфиопии, Либерии, Судана, Марокко, Объединенной Арабской Республики, Алжира и Анголы. Они собрались здесь, в Леопольдвиле, чтобы поднять свой голос в защиту независимого Конго, над которым все гуще клубились тяжелые тучи заговора колонизаторов. Конференцию открыл премьер Конго Патрис Лумумба, и на завтра мы прочли в газете «Конго», в заголовке которой значилось: «Первая в Конго ежедневная газета, принадлежащая африканцам», его смелую и взволнованную речь:

«Ваше присутствие здесь в такой момент служит для моего правительства, для всех нас, конголезцев, самым живым доказательством той африканской действительности, реальность которой наши враги всегда отрицали. Но вы знаете, что эта действительность упряма и что Африка жива и здравствует. Она отказывается умереть... Мы все знаем — и весь мир это знает, — что Алжир — не французский, что Ангола — не португальская, что Кения — не английская, что Руанда-Урунди — не бельгийская... Мы знаем цель Запада. Вчера они нас раскалывали на уровне племен и кланов. Сегодня, когда Африка неудержимо освобождается, они хотят нас разделить на уровне государств. Они хотят создать в Африке антагонистические блоки, создать государства-сателлиты, а затем на этой основе вернуть «холодную войну», усилить раскол и сохранить вечную опеку. Но я верю, что Африка хочет единства и что она не поддастся этим махинациям...»

Тем временем Леопольдвиль все больше приобретал вид осажденного города. Он производил на нас удивительное, ни с чем не сравнимое впечатление. Собственно говоря, есть два Леопольдвилья: один — ультрасовременный город с небоскребами, широкими проспектами, сверкающими никелем и хромом автомобилями последних американских марок, открытыми кафе парижского типа, удивительно красивыми парками, где огромные деревья усеяны крупными экзотическими красными, белыми, желтыми, малиновыми цветами, а изгороди обвиты вечно цветущими плетями каких-то ползущих растений, — это город, построенный колонизаторами на крови туземцев ради своего удобства и утех. И рядом другой город — город грязных лагуз и кривых, немощеных улиц, где в пыли копошатся голые дети с блестящей черной кожей, — город, где живут настоящие хозяева Конго.

Так вот, оба эти города в те дни выглядели необычно. «Белый» город был пуст, до такой степени пуст, что его улицы напоминали жуткие кадры из фанта-

стического американского фильма «На последнем берегу», в которых показан большой город, умерщвленный атомной радиацией. Роскошные витрины магазинов, брошенных бежавшими в Брюссель колонизаторами, уже запылились. Заносило песком оставленные у подъездов комфортабельных вилл автомобили. Почти все кафе закрылись.

Еще недавно вход африканцам в эту часть города был строжайше запрещен, если только они не работали здесь. Теперь некоторые из них, правда еще робко, с опаской, выходили на недостижимый прежде бульвар имени короля Альберта, садились на террасах брошенных бельгийскими хозяевами кафе, где были в беспорядке свалены запыленные столы и стулья. В те кафе, где еще обслуживали посетителей, они не заходили: у них не было денег. Ведь с тех пор, как хозяева заводов, фабрик, магазинов бежали, из ста тысяч коренных жителей Леопольдвилля семьдесят тысяч стали безработными. И даже корреспонденты западноевропейской буржуазной прессы, в ожидании новостей убивавшие время в баре гостиницы «Стэнли», где мы жили, невесело шутили:

— Барьер расовой сегрегации сменился барьером кошелька.

Бросалось в глаза, что при всех материальных затруднениях коренное население Леопольдвилля вело себя в высшей степени благородно в отношении своих вчерашних хозяев. Люди голодали, но не позволяли ни себе, ни своим детям войти в брошенные колонизаторами дома, рестораны и магазины и взять там хотя бы кусок хлеба. Это засвидетельствовал побывавший в Леопольдвиле одновременно с нами западногерманский корреспондент П. Шолль-Латур. В своей книге «Мятеж в Конго», изданной в Штутгарте вскоре после описываемых событий, он написал: «Две трети всех европейцев сломя голову покинули этот город. Большинство магазинов закрыто. Однако нигде не видно никаких следов уличных боев. Все окна целы. Обслуживающий персонал показался мне еще более вежливым, чем год тому назад. Неворуженные полицейские регулируют уличное движение. Снабжение водой и электричеством никогда не прерывалось... В Леопольдвиле не была изнасилована ни одна белая женщина... В покинутых магазинах не была разбита ни одна витрина, а празднующимся чернокожим, плотно прижимающим свои носы к стеклам заманчивых витрин, казалось, даже не приходила в голову мысль о том, чтобы разбить это стекло и взять то, что им нужно, тем более что никто не мог воспрепятствовать им в этом... Конечно, в Конго произошла революция, однако она была далеко не столь кровавой и жестокой, какой она могла бы быть при подобных обстоятельствах в Европе».

В первоклассных отелях еще было шумно, но их заполняла специфическая публика: бесчисленные репортеры буржуазных газет, радио и телевидения, слетевшие сюда в поисках сенсаций, и чиновники ООН, бродившие по городу с видом маклеров, приценивающихся на аукционе к распродаваемому по дешевке имуществу банкрота.

Необычно выглядел и «черный» город — там царила лихорадочная активность. В обшарпанных бедных кофейнях и пивных спорили до хрипоты о политике. Временами стихийно вспыхивали какие-то демонстрации, участники которых далеко не всегда отдавали себе отчет в том, что же происходит и кого надо поддерживать — то ли премьера, то ли его противников. Чьи-то руки по ночам засыпали тротуары подметными листками.

Я подобрал несколько листовок, отпечатанных на ротаторе. Они были написаны рукой опытного литератора, который знает психологию тех, на кого рассчитано то, что он пишет, — анонимный автор вколачивал в головы темных, не разбирающихся в политике людей свои гнусные, клеветнические призывы, словно гвозди, без конца повторяя одно и то же в ритме какого-то псалма. Эти тексты были рассчитаны на то, чтобы их читать нараспев, ритмично покачиваясь, под ритмичный аккомпанемент там-тама.

Одна из листовок называлась «Торжественный призыв к безработным», и в ней говорилось: «Мирные граждане, страдающие граждане, граждане без свободы, граждане без работы! Лумумба насмехается над вами. Это вы боролись против

колониализма, это вы завоевали независимость, это вы изгнали бельгийцев, это вы — хозяева своей земли. И вот Лумумба, коммунист и лжец, насмехается над вами. Граждане без работы, Лумумба не хочет, чтобы вы работали, он доволен тем, что вы несчастливы. Граждане без родины, Лумумба продал вашу страну. Граждане без гроша, Лумумба получает миллион франков в месяц и позволяет себе говорить вам, что он ничего не зарабатывает. Страдающие граждане, не слушайте больше Лумумбу — Лумумба лжец, Лумумба вор, Лумумба предатель, Лумумба продал вашу страну. Вставайте! Давайте прогоним Лумумбу! Не бойтесь военных: они наши братья и они согласны с нами...»

Другая листовка воспроизводила мифический «план коммунистической колонизации Конго», якобы разработанный Лумумбой. Эта совершенно смехотворная фальшивка также была рассчитана на самых отсталых и темных людей, которые ничего не понимают в политике и не знают, что такое коммунизм.

Я видел, как люди подбирали эти листовки и вертели их в руках, раздумывая, какое применение им найти: подавляющее большинство не умело читать. Иногда подзывали лавочника, или клерка, или школьника и просили прочесть. Слушали внимательно — неграмотным людям свойственно уважение к печатному слову. И сразу же разгорался жаркий спор. Чаще всего листовку рвали и начинали топтать. Но были и такие люди, которые противились этому.

А тем временем анонимные агенты лихорадочно плели нити заговора против правительства. В городе почти открыто говорили о том, что к этому заговору причастно весьма любопытное учреждение с латинским названием «Лованиум», расположенное среди лесистых холмов неподалеку от столицы. Это был католический университет, названный так в честь знаменитого центра религиозного образования, находящегося в бельгийском городе Лувэн. Говорили, что ведающие Лованиумом святые отцы, принадлежащие к ордену иезуитов, заранее продумали во всех деталях план действий.

Я побывал у этих ученых иезуитов в самый канун событий, которые должны были нанести такой тяжелый удар по Республике Конго. Нас встретил на пороге огромного, сверкающего новизной административного корпуса сам монсеньер Жильон — ректор этого университета, сорокалетний, пышущий здоровьем мужчина с умными, пронзительными и хитрыми глазами, в которых можно прочесть все, кроме заботы о загробном мире. Он был одет в парадную белую сутану до пят, подпоясанную широким малиновым шелковым поясом, но своими решительными жестами, широкоим, смелым шагом он скорее напоминал боксера, который поднимается на ринг — вот-вот сбросит халат и встанет в боевую позицию.

Но монсеньер был предельно любезен и мил. Несмотря на всю свою занятость, он охотно и подробно рассказывал о Лованиуме, о себе и о своих коллегах и даже вызвался быть нашим гидом. Мы уже знали, что монсеньер Жильон занимает весьма почетное место в католической иерархии: он имеет ранг личного священника его святейшества папы, что теоретически означает, что папа может призвать его к себе, чтобы исповедаться перед ним в своих грехах. Но это чисто почетная нагрузка, а на практике достопочтенный монсеньер занят гораздо более земными делами. Его научная специальность — ядерная физика, он прошел научную школу в Соединенных Штатах и теперь соорудил здесь, на территории Лованиума, атомный реактор, чтобы продолжать научные исследования. Кроме того, у него уйма административной работы: ведь под началом у монсеньера сотни профессоров, преподавателей и исследователей, которые заняты, конечно, отнюдь не одной теологией, хотя огромный храм, только что выстроенный по последней модернистской моде, и стоит в самом центре большого университетского города...

Жильон, конечно, не упоминает о главном — о том, чем заняты он и его коллеги сейчас, но, в сущности, об этом нетрудно догадаться. Это станет известно всем несколько дней спустя, когда готовящийся сейчас заговор будет приведен в исполнение.

А пока достопочтенный ректор выводит нас на широкий балкон своего огромного кабинета и показывает нам панораму Лованиума. На многие десятки квад-

ратных километров раскинулся огромный, пока еще не достроенный городок. Корпуса некоторых факультетов уже вступили в строй, другие пока еще в лесах. Здесь же студенческие общежития со всеми удобствами, стадион, бассейн, городок профессоров и преподавателей. На все это ушли десятки миллионов долларов, но чего не сделают святые отцы ради подготовки кадров надежных коллаборационистов? Сыновья вождей племен, богатых купцов, землевладельцев находят здесь сказочные условия.

— Вы знаете, — говорит мне с кроткой усмешкой монсеньер Жильон, — порой мне кажется, что мы слишком балуем наших питомцев. Когда они едут на стажировку в Брюссель, Париж или в американские университеты, недовольствам нет конца. «У нас в Лованиуме гораздо лучше, — говорят они, — у каждого своя комната, душевая, отличные условия для учебы и отдыха, а здесь какая-то нищета...»

— И много у вас таких напризных питомцев?

— Около ста...

— А всего?

— Я же сказал: около ста!..

Монсеньер смотрит на меня, испытующе прищурившись: я не понимаю, видимо, самых простых вещей. Да, весь этот огромный город рассчитан на то, чтобы обучать пока что всего лишь около ста чернокожих, из которых хотят создать элиту. Сейчас в Республике Конго с ее четырнадцатимиллионным населением нельзя насчитать и пятнадцати африканцев с высшим образованием, и все они верой и правдой служат своим хозяевам. Этого оказалось мало. Ну что ж, святые отцы позаботятся о том, чтобы их было больше. Больше, но не слишком много!

Монсеньер приглашает нас осмотреть хотя бы некоторые факультеты. Он садится за руль своей новенькой автомашины и везет меня по отличным дорогам Лованиума, продолжая рассказывать историю университета: вначале это был колледж, потом было решено строить настоящее высшее учебное заведение. О, католическая церковь и, в частности, орден Иисуса, к которому имеет честь принадлежать господин Жильон, на славу потрудились в Конго! Им удалось крестить во имя святой троицы пять миллионов чернокожих. Но впереди еще огромная работа; один из помощников Жильона философски заметил, беседуя с корреспондентами: «Обратить Конго в христианство — это все равно, что вспахать океан». И все же святые отцы не отступают от своего — они упорно пашут этот океан...

В 1954 году на холме Амба начались первые земляные работы, и уже в 1956 году создание университета было официально провозглашено королевским декретом. Святые отцы торопились: у них острый слух, и они первыми услышали раскаты приближающегося грома. И все-таки события их опередили: к тому моменту, когда Конго пришлось предоставлять независимость, кадры коллаборационистов еще не были обучены и колонизаторы оказались в трудном положении, — это я, конечно, добавлю от себя, сам монсеньер не ставит точек над «i».

— Каковы у вас отношения с правительством?

— До провозглашения независимости мы получали субсидии от бельгийских властей, — говорит монсеньер. — Сейчас мы рассчитываем на помощь правительства: ведь мы готовим кадры для Конго. Пока что Лованиум не получает ничего, но я надеюсь, что это вопрос времени...

Ректор Лованиума показывал нам корпус за корпусом, факультет за факультетом. Всюду царствовала блаженная прохлада: был обеспечен искусственный климат. Кабинеты для научно-исследовательской работы изобиловали новейшим дорогостоящим оборудованием. На медицинском факультете целый этаж занят опытной клиникой — это первоклассная больница на четыреста пятьдесят коек с пятью хирургическими кабинетами. В распоряжение факультета естественных наук предоставлены богато обставленные лаборатории. В них работают белолицые молодые люди — это профессора и преподаватели из Бельгии, Франции, Соединенных Штатов. Людей с черными лицами мы почти не видели.

— Студенты отдыхают, — скромно сказал ректор.

Когда мы прощались с ректором Лованиума, к подъезду подкатил автомобиль с флажком Республики Конго.

— Сейчас подъедут участники конференции африканских стран, — как бы мимоходом бросил монсеньер Жильон. — Мы даем в честь делегатов конференции завтрак...

Пройдет несколько дней — в Леопольдивиле разразится военный путч против законного правительства и к власти будет поставлен весьма странный орган под названием «Студенческая коллегия». Тогда станет яснее, почему святые отцы, воспитывающие своих питомцев в Лованиуме, проявляют такой живой интерес к политике.

А пока монсеньер Жильон вежливо пожимает нам руки и раскланивается. Мы возвращаемся в опустевший центр города, в атмосфере которого разлито неясное, но глубокое ощущение тревоги. На тротуарах совсем мало пешеходов, люди предпочитают отсиживаться дома. Не видно на улицах и автомашин; всюду носятся лишь военные грузовики и «джипы», переполненные солдатами в касках; в руках у них автоматы и ручные пулеметы. Каски разноцветные: белые с красной полосой — это жандармерия; темно-зеленые — это вооруженные силы республики; голубые — это вооруженные силы ООН. Редкие прохожие глядят на солдат ООН исподлобья, хмуро: их голубые каски неожиданно напоминают им о голубом флаге бельгийского короля Леопольда Второго, который три четверти века тому назад превратил эту страну в свою колонию. Здесь ожидают, что в Конго придут двадцать тысяч солдат и офицеров ООН, а с ними — тысячи чиновников. Многие деятели миссии ООН открыто говорят, что они намерены остаться здесь лет на пять, а быть может, и на пятнадцать. Новая опека? Это конголезцам не нравится.

В большом военном лагере «Леопольд», который с некоторых пор привлекает к себе особое внимание журналистов, усиленное движение. Военной дисциплины там не чувствуется; солдаты недовольны тем, что им не платят жалованья и что их плохо кормят. Их жены, живущие вместе с ними, громко жалуются: нечем кормить детей. Чем все это кончится? Опять-таки это покажут ближайшие дни. Пока что город полон слухами об обострении конфликта с сепаратистами из Катанги.

Катанга — самая богатая провинция Конго, она дает шестьдесят шесть процентов всех доходов страны, а корпорация «Юнион миньер», чьей марионеткой является правящий этой провинцией Чомбе, преуспевающий сын владельца плантаций, универсальных магазинов и гостиниц, занимает одно из самых видных мест в ряду мировых концернов. На рудниках и заводах Катанги работает под началом у бельгийских надсмотрщиков свыше двадцати тысяч рабочих, извлекающих из недр страны цинк, серебро, золото, кадмий, германий, радий, уран, — именно здесь, на руднике Шинколобве, был добыт уран для бомбы, сброшенной на Хиросиму. Катанга дает шестьдесят процентов мирового производства кобальта и девять процентов мирового производства меди. Дело весьма доходное: даже в этот беспокойный 1960 год «Юнион миньер» объявила о том, что ее прибыли составят девяносто миллионов новых французских франков...

Вечером премьер-министр дает ужин в честь делегатов всеафриканской конференции. Туда приглашен весь дипломатический корпус, приглашены и иностранные гости, находящиеся в Леопольдивиле. В освещенном прожекторами тенистом саду на берегу могучей африканской реки лихо играет военный оркестр. Одна за другой подкатывают автомашины, из которых выходят одетые в свои живописные национальные костюмы посланцы африканских стран. Здесь же послы Запада в смокингах и фраках. Некоторые из них изо всех сил стараются изобразить на своих лицах любезность, но это им не всегда удается.

Гостей встречает премьер-министр, высокий стройный человек тридцати пяти лет, со своей молодой красивой супругой в европейском бальном платье. Энергичное, одухотворенное лицо Лумумбы сразу запоминается: пронизательные, горящие огнем карие глаза, в которых отражается глубокая убежденность и душевное благородство, как бы заглядывают в душу собеседника.

На политической арене этот человек появился совсем недавно — около трех лет назад. Но что это были за годы, какой огромной школой послужили они для него и его друзей! Всего лишь в 1958 году скромный помощник начальника почтового отделения в Стэнливиле, никому не известный тогда Патрис Лумумба основал со своими товарищами первую независимую партию в стране — «Национальное движение Конго», выступившую под лозунгом «Свободу родине!». Он не имел тогда ни опыта политической борьбы, ни необходимых знаний, но горячее желание помочь своему народу окрыляло его. Позднее, осенью 1960 года, Лумумба так рассказал о себе и о своей борьбе:

— Мне тридцать пять лет... Мои родители были крестьянами. Я начал учиться грамоте в школе миссионеров, бегая на уроки в набедренной повязке... Я старался изучать все, что мне попадалось под руку, учился беспорядочно, вразброд, хотелось изучить разные, порой противоречивые, теории и идеи. Отец и мать были верующими католиками. Они воспитывали меня и трех моих братьев в духе католической доктрины. Но узнав, что есть еще и протестантская доктрина, я немедленно стал вникать и в нее. Вам это может показаться наивным, но это факт: изучив две разные религиозные доктрины, я, простой крестьянский парень, приобрел дух критического и независимого мышления. Я стал думать о таких вещах, о которых в нашей деревне люди боялись даже говорить вслух.

Мои отец и мать часто говорили мне: «Не надо быть злым, надо быть добрым». Священники поучали: «Вы не должны никого обижать, надо любить ближних, а если тебя ударят в правую щеку, надо подставить левую». Но я невольно сравнивал мораль бельгийских миссионеров с делами бельгийских колонистов и видел, что сами они руководствуются совсем иными законами, чиня произвол и расправы с чернокожими.

Помнится, меня поразила описанная в священной книге история, согласно которой бедный маленький Христос родился в яслях. В книге была картинка, и то, что я видел в ней, вовсе не говорило, на мой взгляд, о бедности: в пещере стояли бык и осел, Иосиф и Мария были одеты, как мне казалось, в роскошные одежды. А мои родители, как и я, ходили голыми, и у нас не было ни быка, ни осла. Я начал догадываться, что понятия о нищете у негров и у белых совсем разные...

— И тогда,— продолжал Лумумба,— я стал читать не только церковные книги, но и светские. Я искал в них ответа на мучивший меня вопрос: как люди добиваются свободы? И я узнал, что есть на свете такая полезная вещь — революция. Я стал разыскивать повсюду книги о революциях, и в частности о французской революции восемнадцатого века. Я старался узнать из книг, почему восставали люди, как они боролись за свободу и чего они добивались. И я начал понимать, что в каждой революции есть один главный, ключевой элемент: борьба народа против несправедливости и угнетения. Мне стало ясно, что надо делать.

Бельгийцы заметили меня, им захотелось привлечь молодого грамотного негра на свою сторону, чтобы использовать у себя на службе, как это им нередко удавалось. И вот в 1956 году меня включили в делегацию, которая была послана в Брюссель по приглашению министра по делам колоний. Но расчеты колонизаторов не оправдались: эта поездка лишь укрепила мою решимость посвятить жизнь борьбе с угнетателями. И по возвращении на родину я предложил своим друзьям создать «Национальное движение». Они горячо поддержали эту идею.

Мы сказали друг другу: «Если мы хотим добиться успеха, надо, чтобы наше движение стало подлинно всенародным, а не партией какого-нибудь одного племени». У нас много племен, но народ в Конго один, и наше движение должно стать общенациональным, в его рядах должны объединиться все слои населения, все люди, независимо от племенных различий, только тогда мы одолеем колонизаторов.

— Вначале,— заметил Лумумба,— нас было всего одиннадцать человек. Но наша малочисленность нас не пугала: мы знали, что движение станет быстро расти, если мы сумеем хорошо разъяснить народу свои цели. Меня избрали президентом «Национального движения», и мы приступили к работе. Два месяца спустя мне по-

счастливилось побывать в Гане — там собралась конференция африканских народов, борющихся за свою независимость. Встреча с представителями других африканских стран научила меня многому и, главное, воодушевила, вселила веру в нашу общую победу. Когда я вернулся из Ганы, нам удалось собрать первый массовый митинг — на него пришли более десяти тысяч человек, и я сказал им: «Теперь мы можем и должны завоевать независимость. Эта задача нам по плечу...» Вот так мы и начали свою борьбу...

Национально-освободительное движение развивалось стремительно и грозно. Уже год спустя имя Лумумбы лишило покоя колонизаторов, и осенью 1959 года они упрятали его в тюрьму: он был брошен в мрачный застенок Жадовиля в Катанге. Но было уже поздно — народ Конго пробудился. Несколько месяцев спустя тюремщики были вынуждены выпустить его, и он с красными следами от наручников на запястьях сразу же сел за стол переговоров с бельгийским правительством об условиях предоставления независимости Конго, а еще несколькими месяцами позднее стал премьером государства, немногим меньшего, чем Западная Европа...

Многим запомнились гневные и сильные слова, которые 30 июня 1960 года молодой премьер-министр Республики Конго бросил в лицо бельгийскому королю Бодуэну, прибывшему в Леопольдвиль на празднование провозглашения независимости. Строго глядя в глаза побледневшему монарху, руки которого непроизвольно вцепились в золоченый эфес сабли, Лумумба громко и четко заговорил перед притихшим залом парламента:

— Наши раны еще слишком свежи и болезненны, чтобы мы могли изгнать из памяти то, что было нашей долей на протяжении восьмидесяти лет колониального режима. От нас требовали изнуряющего труда за ничтожную заработную плату, которая не позволяла нам ни есть досыта, ни покупать одежду, ни иметь жилья, ни давать образование нашим детям. Над нами издевались, нас оскорбляли, нас били с утра до вечера только за то, что мы негры... У нас отнимали землю, опираясь на право сильного. Мы узнали, что законы имеют двойное толкование: в применении к белым они милостивы, к черным — грубы и бесчеловечны... Мы узнали, что к услугам белых — чудесные дома, а для негров — жалкие, обваливающиеся хижины, что чернокожий не имеет права входить ни в кино, ни в ресторан, ни в магазин, если туда ходят европейцы, что чернокожий должен путешествовать на палубе баржи, тогда как белые пользуются роскошными каютами. И кто забудет наконец массовые расстрелы, когда под пулями погибло столько наших братьев, или тюремные застенки, куда загоняли тех, кто не желал подчиниться режиму несправедливости, угнетения и эксплуатации? Мы глубоко страдали от всего этого, но теперь мы, законно избранные народом руководители, говорим вам: отныне со всем этим покончено!..

Разразился грандиозный скандал. Король демонстративно покинул торжественное заседание. Задуманная колонизаторами лицемерная церемония дарования независимости народу Конго была сорвана. Конголезцев это ни чуточки не расстроило: ведь они сами, своими руками, кровью своей завоевали свободу, и эта церемония их только тяготила. Весь народ пел и танцевал. Лишь в резиденции колониалистов царил мрачная тишина. То, что произошло в этот день, было равносильно объявлению войны: колонизаторы поняли, что премьер-министр Конго не примирится с ролью послушной марионетки и поведет народ дальше — к завоеванию полной независимости, в том числе и экономической. И уже через несколько недель в стране разразились грозные события: воспользовавшись солдатскими беспорядками, спровоцированными бельгийскими офицерами, колонизаторы начали перебрасывать сюда войска. Премьер-министр Лумумба обратился за помощью к ООН, но прибывшие в Конго вооруженные силы Хаммаршельда по сути дела встали на сторону врагов законного правительства. Обстановка до крайности обострилась...

И вот передо мной уже ставший легендарным, отражающий все атаки врагов республики премьер-министр Пагрис Лумумба, о котором все мы так много чита-

ли и слышали в эти беспокойные дни. Узнав о том, что мы из Москвы, Лумумба тепло приветствовал нас и пригласил завтра же зайти к нему. Здесь же мы познакомились с вице-премьером Гизенгой — невысоким хладнокровным и рассудительным человеком и молодым и веселым М'Поло — министром по делам молодежи и спорта.

Рядом со мной за столом сидел делегат одной из африканских стран в длинном белоснежном одеянии, с мусульманской шапочкой на голове. Перед нами были посол одной из западных держав с рассеянной улыбкой на лице и затаенный в смокинг круглолицый улыбающийся министр иностранных дел Бомбоко. Он играл роль радушного хозяина, который глубоко опечален, что по причинам, от него не зависящим, гости не могут получить того удовольствия, на которое они могли бы рассчитывать.

Дипломат, представлявший западную державу, сначала болтал о погоде, а потом вдруг заговорил, косясь на своего соседа, о том, что он не любит неоправданных арестов, которые у него, как у цивилизованного человека, вызывают глубокое отвращение.

— В принципе вы правы, — вдруг откликается сидящий рядом со мной африканец. — Но еще ни один из корреспондентов западных газет, которые много пишут о якобы неоправданных арестах в Конго, не смог привести ни одного конкретного примера. Не кажется ли вам, ваше превосходительство, что в действительности в Леопольдвиле следовало бы произвести несколько оправданных арестов? Патрис Лумумба слишком великодушен!

Дипломат западной державы мрачнеет и умолкает. Тем временем премьер-министр встает и берет слово. Он выступает страстно, как прирожденный оратор. Лумумба говорит о необратимости охватившего сейчас всю Африку движения за свободу и единство, о том, что с колониальной системой будет покончено раз и навсегда. Он призывает представителей западных держав проявить трезвое понимание реальности и приступить к сотрудничеству с Республикой Конго как с независимым партнером.

— Мы протягиваем руку всем, кто хочет такого сотрудничества, — говорит он, — американцам и русским, французам и англичанам и даже бельгийцам, если они готовы прекратить свою интервенцию.

Гости из стран Запада вежливо улыбаются, но по их лицам видно, что они далеки от согласия с премьер-министром. Мой сосед шепчет мне на ухо:

— От них ничего хорошего ждать не приходится. И попомните мое слово: Патрис зря церемонится с их агентами.

Снова звучит музыка. Бесшумно скользящие между столами официанты разносят мороженое на блюдах с ледяными плитами, пылающими в синем огне горящего рома. Может показаться, что все идет тихо и мирно: хозяева улыбаются гостям, послы ведут светский разговор. И только необычное движение военных связных, которые то и дело подходят к банкетному столу, чтобы доложить о чем-то своему руководству, вносит в эту светскую атмосферу необычную нотку. В эти часы, как мы узнаем потом, идет переброска войск к границам Катанги, где зреет военное столкновение. Мы не знаем пока и того, что чья-то рука организует эти переброски так, чтобы отправить на юг верные Лумумбе войска и оставить в Леопольдвиле только тех, кто под руководством находящихся в подполье бельгийских офицеров сможет свергнуть законное правительство...

Наутро мы пришли в резиденцию премьер-министра — небольшой дом на берегу реки Конго, по которой плыли зеленые островки плавучих речных гиацинтов. За утопающей в цветах оградой звучали веселые детские голоса: по перилам с крылечка скатывались чернокожие курчавые ребятишки — дети премьера; они с любопытством и гордостью глядели на застывших, словно изваяния, часовых в касках с автоматами — все еще не могли привыкнуть, что их папу охраняют такие важные люди.

В небольшой гостиной толклись десятки людей, добивавшихся приема у премьера. Чувствовалось, что они здесь находятся уже давно. Усталый секретарь

тщетно уговаривал их пойти к министрам, которые могли бы решить интересующие их вопросы, — все хотели встретиться только с Лумумбой: и торговец, которому надо было получить патент на торговлю, и чиновник, хлопотавший о переводе в другой город, и учитель, добивавшийся повышения оклада. Чувствовалось, что государственный аппарат молодого государства еще не сколочен так, как это следовало бы сделать, — еще не хватает опыта и уйма мелких забот отвлекает премьера от больших государственных дел.

Нас провели к Лумумбе через черный ход, у которого, кстати сказать, тоже стояла толпа людей, добивавшихся приема вне очереди. Премьер-министр, увидев гостей, кое-как выпроводил из кабинета большую группу своих сотрудников, обступивших его стол, заваленный бумагами и книгами, сел рядом с нами на старенький диван, и мы начали беседу. Правда, и теперь беседа часто нарушалась телефонными звонками: премьеру звонили все, и звонили по любому поводу, он должен был ежеминутно рассматривать и решать немислимое количество самых различных дел.

Пока Лумумба разговаривал по телефону, мы рассмотрели его скромный, по-спартански обставленный кабинет. На полке лежал под рукой автомат. Здесь же стояла переносная радиостанция. С тех пор как были раскрыты один за другим два заговора убийц, премьер был вынужден предпринять некоторые меры предосторожности.

На лице у премьера написана огромная усталость, но глаза его по-прежнему горят неукротимой силой — он совсем не спал в эту ночь, а сегодня в конце дня ему предстоит лететь в Стэнливилль: он хочет сам встретить прибывающие туда советские самолеты с продовольствием, которое правительство Советского Союза посылает в дар народу Конго. Одновременно Лумумба направляет двух членов правительства в порт Матади, чтобы принять доставленные туда пароходом советские грузовики.

— Эта помощь — драгоценное свидетельство дружественных чувств вашего народа к нам, — взволнованно говорит премьер-министр. — Я очень прошу передать советским людям, что мы никогда не забудем о том, что они для нас сделали в эти трудные дни...

Лумумба с огромной заинтересованностью расспрашивает о результатах наших бесед с министром просвещения. Он является горячим сторонником развития культурных связей республики со всеми странами, в том числе и с Советским Союзом. С болью и гневом говорит премьер о том, до какой степени отсталости довели его народ колонизаторы. Они заработали миллиарды, беззащитно эксплуатируя колоссальные богатства этой страны, недра которой изобилуют ураном, золотом, алмазами, медью, углем. А что они дали ей? За время их господства население страны сократилось почти вдвое. Народ гибнет от голода и болезней. Люди неграмотны и нищи. Сейчас надо начинать строительство государства заново. Нужна огромная помощь. Кто ее предоставит? Правительство республики ожидало многого от ООН, когда простодушно попросило эту организацию прислать сюда международные войска, чтобы изгнать колонизаторов и помочь навести порядок в стране. Но похоже на то, что, пригласив их, конголезцы попали из огня в полымя. Хаммаршелд ведет себя не лучше, чем король Бодуэн...

Премьер-министр горько усмехается. Его нервные, тонкие пальцы вздрагивают: он глубоко взволнован тем, что происходит. Войска ООН ничего не предпринимают против колонизаторов. Не успеет правительство раскрыть один заговор, как затевается другой.

Премьер-министр снова и снова возвращается к практическим проблемам строительства республики, которыми он сейчас занят: создание сети больниц, подготовка к началу нового учебного года, забота о том, в какие страны и сколько направить молодых людей для подготовки из них квалифицированных специалистов, в которых так остро нуждается эта страна, укрепление государственного аппарата.

Лумумба говорит о том, с каким большим подъемом встретили участники все-

африканской конференции послание, с которым к ним обратился глава Советского правительства Н. С. Хрущев.

— Это наш большой, искренний друг, — заявляет он. — Я никогда не встречался с ним, но я не теряю надежды, что мы еще увидимся. Очень прошу вас, передайте господину Хрущеву, что наш народ от всего сердца благодарен ему за заботу и помощь. Мы уверены, что между нашими странами будут развиваться дружественные отношения, основанные на взаимном уважении суверенитета. Сейчас империалисты делают все, чтобы сорвать выполнение решения Совета Безопасности о выводе бельгийских войск из Конго. Может быть, мы, африканцы, все еще слишком наивные люди, но мы искренне верили в Устав ООН и надеялись, что все те, кто его подписал, будут его соблюдать. Именно поэтому мы попросили эту организацию нам помочь. А что получилось из этого?..

Лумумба опять горько усмехнулся и развел руками. И вдруг в его глазах мелькнула грозная искра:

— Ничего!.. Может быть, это дорого, даже очень дорого нам обойдется, но Африка воспримет урок. Она научится на нем... Африка поймет, где наши друзья, а где враги и как надо отличать друзей от врагов...

Мы не являемся противниками какой-либо нации, — продолжал Лумумба, — и мы готовы сотрудничать со всеми, вчера я об этом сказал достаточно ясно. Но мы против гнета и эксплуатации. Мы не за тем свергли бельгийское иго, чтобы снова надеть на себя чье бы то ни было ярмо. И как бы дальше ни развивались события — пусть даже очень неблагоприятно для нас, — это будет полезно для Африки, вся она сейчас смотрит на нас, и то, что здесь происходит, это для нее университет борьбы...

Он хотел сказать что-то еще, но в этот момент дверь кабинета с треском распахнулась и в комнату быстрым шагом вошла группа военных. Они что-то возбужденно говорили.

Премьер-министр встал и спокойно сказал мне по-французски:

— Простите, но сейчас произошло важное событие: на аэродроме высадилась группа переодетых бельгийских офицеров. Представители ООН отобрали у нас контроль над аэродромами под предлогом необходимости предотвратить гражданскую войну. Нам было сказано, что это «нейтрализация». Теперь вы видите, что значит это слово. Сейчас мы поедем ловить бельгийских негодяев...

Лумумба еще раз попросил нас передать самый искренний привет и благодарность главе Советского правительства, тепло распрощался, быстрым шагом вышел на улицу, сел в «джип», наполненный солдатами, и умчался к аэродрому.

Больше мне не удалось поговорить с ним: я спешил в Эфиопию и не мог больше задерживаться в Конго. О дальнейшем развитии событий в Леопольдвиле пришлось следить уже по сообщениям, опубликованным на страницах газет Аддис-Абебы. А эти сообщения говорили о том, что в Конго уже был приведен в действие давно готовившийся заговор и наряду с действовавшими за кулисами святыми отцами из Лованнума в нем сыграли коварную роль представители ООН — той самой ООН, на помощь которой хотел опереться Лумумба.

Сообщения, поступающие из Конго в сентябре 1960 года, еще живы в памяти у читателей, и сейчас вряд ли необходимо вновь подробно рассказывать о них. Я напомним здесь лишь некоторые детали, которые сильнее всяких рассуждений говорят о том, кто несет прямую ответственность за все те трагические события, которые произошли в Конго. Вот эти детали — я излагаю их предельно кратко, буквально телеграфным языком...

5 сентября. 20 часов 30 минут. По радио внезапно объявлено, что премьер-министр Лумумба смещен.

5 сентября. 21 час. Лумумба отвечает по радио: «Правительство, избранное нацией демократическим путем и получившее единодушное одобрение парламента, не может быть смещено без санкции парламента. Правительство остается у власти и продолжает свою миссию. Народ Конго! Будь наготове! Враги отечества, коллаборационисты колонизаторов сейчас демаскируют себя».

6 сентября. Лидеры партий, образующих правительственную коалицию, подтверждают в выступлениях по радио свою поддержку правительству Лумумбы. Подавляющее большинство членов правительства солидарно с премьер-министром. Но в эту минуту на помощь противникам правительства Лумумбы приходят вооруженные силы ООН: они захватывают радиостанцию и закрывают туда доступ членам правительства, а ведь радио играет в политической жизни Африки решающую роль — народ неграмотен и вся информация и пропаганда идет по радио. Дважды Лумумба пытается пройти на радиостанцию, и дважды солдаты ООН встречают его штыками. В то же время войска ООН, захватившие аэродромы Леопольдвилья, не допускают посадки самолета, на борту которого в столицу спешит главнокомандующий вооруженными силами республики. «Запрещаем вам приземляться. Если попытаетесь сесть, будем стрелять», — радируют ему.

7 сентября. После долгих и страстных дебатов палата депутатов большинством в три четверти голосов аннулирует решение об отстранении Лумумбы от власти. У выхода из парламента народ бурно приветствует Лумумбу криками «ухуру!», что значит «свобода!».

8 сентября. Сенат подавляющим большинством голосов подтверждает решение палаты депутатов. Премьер-министр, облеченный полным доверием обеих палат, оглашает на пресс-конференции меморандум о действиях представителей ООН против законного правительства республики, грубо нарушающих резолюцию Совета Безопасности от 9 августа, в которой было сказано, что «войска ООН в Конго не будут участвовать ни в каком внутреннем конфликте». В действительности же войска ООН захватили национальное радио и все аэродромы, разгрузили самолеты, с помощью которых правительство в интересах безопасности хотело направить оружие и боеприпасы во внутренние районы страны, воспрепятствовали возвращению в Леопольдвилья главнокомандующего вооруженными силами Конго.

Лумумба заявил: «По соседству с нами по радио Браззавиля против нас ведется систематическая кампания. Империалисты хотят повлиять на наш народ, повернуть его против правительства. Миссия ООН информировала обо всем этом и вместо того, чтобы оказать нам помощь, отняла у нас наше собственное радио, лишила нас возможности информировать население о подлинных событиях. Почему войска ООН не оккупировали радио Чомбе в Элизабетвиле?.. ООН знает, что из Браззавиля на самолетах переправляется оружие и боеприпасы повстанцам в Катанге и в Касаи. Они не препятствуют этому, а нам запретили пользоваться нашими аэродромами. У наших солдат в Касаи в связи с этим нет продовольствия, боеприпасов, ибо у нас нет возможности доставить их им. Разве все это не участие в заговоре «олснизаторов»? Мы уверены, что существует план — лишить нас суверенности, поставить нас под опеку ООН...»

9 сентября. Войска ООН продолжают держать под своим контролем национальное радио и аэродром. Миссия ООН игнорирует правительство, связываясь через его голову с провинциальными властями.

10 сентября. Правительство направляет в Совет Безопасности протест против незаконных действий миссии Хаммаршельда. Лумумба говорит: «Что стало бы с генеральным секретарем ООН, если бы он попытался блокировать в Нью-Йорке передачи американского радио или во Франции — передачи парижского радио? Мы тоже суверенная страна, как и эти два государства. Почему миссия ООН не вмешивается и не блокирует радио Элизабетвиля, которое днем и ночью ведет от имени и в интересах бельгийцев пропаганду против законного центрального правительства?»

11 сентября. Войска ООН начинают разоружать конголезские воинские части, верные правительству. Лумумба снова пытается проникнуть на радиостанцию, чтобы выступить перед народом, но вооруженные силы ООН снова преграждают ему путь. Парламент и сенат направляют новый протест в Организацию Объединенных Наций.

12 сентября. В ход пущена новая карта: произведен военный переворот и

объявлено, что власть передается «Студенческой коллегии». Группе солдат отдан приказ арестовать Лумумбу. Но Лумумбе удается раскрыть глаза солдатам, и они заявляют: «Нет, мы лучше арестуем прокурора, который подписал ордер на арест премьера». В конце концов противникам премьер-министра все же удается взять его в плен и заточить в военный лагерь «Леопольд», но неукротимый Лумумба и там ухитряется собрать солдат на митинг и убедить их в своей правоте. Войска бурно приветствуют его, и он с триумфом выходит на свободу под охраной верных ему солдат. Он проезжает по улицам города с криками: «Победа! Победа! Долой колониалистов!..»

13 сентября. Обе палаты парламента принимают закон о предоставлении законному правительству чрезвычайных полномочий...

Казалось бы, положение в стране совершенно ясно: законно избранное правительство облечено полным доверием парламента; оно успешно противостоит всем заговорам; войска ООН, призванные правительством Лумумбы на помощь, должны выполнить свой долг — обуздать подрывные силы и заставить наконец колонизаторов убраться восюзи. Но вместо всего этого войска ООН, выполняя приказ Хаммаршельда, продолжают блокировать правительство, предоставляя полную свободу действий его врагам. Парламент разогнан. Против резиденции Лумумбы поставлены броневики — премьер-министра не выпускают на улицу. Верные правительству воинские части разоружены. Помещения министерств захвачены противниками Лумумбы, а министры арестованы. Управление страной парализовано. Конго начинают растаскивать по кусочкам: что ни день — появляется какая-нибудь новая «независимая» республика...

Запертый в своем доме, Патрис Лумумба имеет время для горестных размышлений. Он не может не отдавать себе отчета в тех ошибках, которые он допустил по неопытности либо по благородству своей души: не надо было звать в Конго войска ООН, не надо было проявлять милосердия к заговорщикам, когда были разоблачены их планы, не надо было доверять тем сотрудникам, связи которых с бельгийской разведкой были известны и ранее, не надо было медлить с ответными мерами, когда враги в открытую перешли в атаку на правительство. Лумумба думал, что голосование парламента будет законом для всех, но вот обе палаты выразили ему доверие и даже облечли чрезвычайными полномочиями, а реальная власть захвачена людьми, игнорирующими это решение. Что им парламента? И даже господа из ООН, которые так любили говорить о демократии и законности, теперь уже не вспоминают о них. Они самым усердным образом помогают противникам правительства довести до конца их черное дело.

И все-таки еще не все потеряно. Лумумба знает, что народ не подчинился тем, кто блокировал его. Их власть, да и то непрочная, пока ограничивается пределами Леопольдвилья. На большей части территории Конго сохраняется полный порядок — у руководства остаются люди, преданные правительству. Вот если бы удалось добраться до Стэнливилля! Там можно было бы основать временную столицу и потом, опираясь на народ, вышвырнуть захватчиков из страны... Так созревает смелый план тайного отъезда из Леопольдвилья.

Патрис Лумумба с женой, его заместитель Гизенга и группа министров покинули Леопольдвиль в глухую грозовую ночь 27 ноября 1960 года, когда проливной тропический ливень разогнал стражу, дежурившую круглые сутки у ворот резиденции премьер-министра. Читатели помнят, что несколько дней спустя Лумумба с женой и часть его спутников были схвачены в провинции Касаи, опять-таки только из-за того, что находившиеся там войска ООН отказались защитить законное правительство республики от его противников. Но Гизенге и группе министров все же удалось добраться до Стэнливилля.

А Патрис Лумумба, избитый до полусмерти, связанный по рукам и ногам, был доставлен на самолете в Леопольдвиль 2 декабря в семнадцать часов сорок пять минут. Господин Хаммаршельд с поразительным безразличием доложил об этом Совету Безопасности, живописуя детали, но всячески уклоняясь от изложения своего мнения о том, что произошло:

«Когда он (Лумумба. — Ю. Ж.) вышел из самолета на аэродроме Нджили, то, по сообщениям наблюдателей (!) Организации Объединенных Наций, на нем не было его очков и он был одет в грязную рубашку, его волосы были растрепаны, на его щеке был кровоподтек, и его руки были связаны за спиной. Его грубо втолкнули ударами приклада в грузовик и увезли... Он был помещен на ночь в лагерь «Бинза». На следующее утро, 3 декабря, он был доставлен под сильным конвоем бронированных автомашин и хорошо вооруженных конголезских солдат в автомашинах в Тисвиль. Его отъезд (!) видели сотрудники международной прессы, которые сообщают, что г-н Лумумба с трудом дошел до грузовика. Он был в растерзанном виде, и на его лице были следы побоев. Войска Организации Объединенных Наций в Тисвиле сообщили, что г-н Лумумба находится под арестом в лагере «Гарди». По сведениям, он страдает от серьезных ранений, которые он получил до своего прибытия. Его голова была обрита, и руки оставались связанными. Его держат в подвале в условиях, которые называют (!) нечеловеческими в смысле санитарии и гигиены...»

Почему Лумумба был отвезен именно в Тисвиль? Да потому, что именно там размещались самые недисциплинированные, разложившиеся воинские части, командиры которых были готовы на все, в том числе и на самосуд над кем угодно, если за это хорошо заплатят. Хаммаршельда все это не смутило. Он думал о другом: надо было обеспечить себе алиби, чтобы потом не сказали, что генеральный секретарь ООН непосредственно причастен к такой грязной расправе. И вместо того, чтобы немедленно освободить главу законного правительства, призвавшего на помощь войска Объединенных Наций, и добиться наказания тех, кто совершил такое страшное насилие над премьер-министром, Хаммаршельд 3 декабря пишет противникам Лумумбы витиеватое письмо, сквозь каждую строку которого проглядывает лицемерие:

«Доверяя Вашей мудрости и чувству справедливости, я уверен в том, что Вы разделяете мою точку зрения о крайней необходимости для молодой республики твердо следовать тем общим принципам, которыми она желает руководствоваться в своей жизни и под которыми она поставила свою подпись, став членом Организации Объединенных Наций... Поэтому я полагаю, что вы проявите свое решительное влияние и достигнете того, что в дальнейшем ходе событий будет соблюдаться законное судебное разбирательство и учитываться особые обстоятельства, которые, по мнению значительной части международной общественности, определяют положение г-на Лумумбы. Говоря это, я, конечно, ни в коем случае не хочу (!) выразить свое мнение относительно каких-либо внутренних проблем в Конго или повлиять как-либо на то, каким образом эти проблемы должны быть решены...»

Это унижительное для генерального секретаря ООН письмо осталось без ответа, хотя он просил об очень немногом: создать хотя бы видимость судебного разбирательства, чтобы сделать «более приличной» расправу с премьер-министром. Хаммаршельд струхнул: чего доброго, закулисные организаторы этой расправы могут подумать, что он заступается за Лумумбу! И через день он пишет новое письмо, которое звучит как извинение:

«Как я подчеркнул в своем предыдущем письме, мне явно не подобает (!) стараться повлиять так или иначе на разрешение какой-либо внутренней политической проблемы в Республике Конго... Я уверен, что вы уже тщательно взвесили все обстоятельства... Я уверен, что вы сами желаете и намерены соблюсти эти надлежащие процессуальные гарантии, которые, как вы знаете, должны применяться на каждой стадии полицейской или судебных административных мер, включая арест и заключение под стражу... Я имею в виду, в частности, необходимость и законность ордера на арест, требование сообщения арестованному не позже чем через 24 часа причины его ареста и подробного формального обвинения...»

Все эти подсказки умудренного опытом юриста были отвергнуты.

Хаммаршельд молча проглотил пилюлю.

Казалось, Патрис Лумумба был окончательно убран с политической сцены.

Но он сумел еще раз сотворить подлинное чудо: в первой половине января 1961 года брошенный в застенки премьер ухитрился найти путь к очерствевшим сердцам своих тюремщиков. Солдаты Тисвиле взбунтовались, освободили Лумумбу и арестовали своих офицеров. Понадобились чрезвычайные меры для того, чтобы подавить это неожиданное восстание и снова водворить премьер-министра в застенки. Но эхо событий в Тисвиле уже потрясло Конго. Народ повсюду требовал возвращения законному правительству всей полноты власти, ареста и наказания мятежников. Западногерманский журналист Шолль-Латур, находившийся в Леопольдвиле, озабоченно писал в эти дни: «Как и летом 1960 года. Патрис Лумумба находится в центре всех политических событий и расчетов. Он — господин Конго...» Становилось все яснее, что освобождение и возврат к власти премьер-министра неизбежны.

В этот критический момент и был приведен в действие давно задуманный дьявольский план — убить Лумумбу и его соратников. Еще 13 августа министр внутренних дел Катанги Мунонго подписал циркуляр, адресованный всем начальникам жандармерий, в котором было сказано, что если Лумумба появится в пределах провинции, то «он должен исчезнуть». Заговорщики решили, что теперь пришло время осуществить этот замысел. Всесильная компания «Юнион миньер», этот фактический хозяин Катанги, не остановилась перед крупными затратами ради такой цели. 20 января 1961 года французская газета «Пари пресс» опубликовала следующее сообщение, напечатанное жирным шрифтом на видном месте:

«Вот цена, которую Чомбе уплатил за выдачу бывшего конголезского премьера, — Лумумба стоит 50 миллионов.

Элизабетвиль, 19 января. Пятьдесят миллионов старых франков — такова сумма, которую Моиз Чомбе уплатил за то, чтобы ему был выдан Патрис Лумумба. Этими пятьюдесятью миллионами расплатятся с солдатами военного лагеря в Тисвиле. Недовольные солдаты чуть было не освободили Лумумбу несколько дней тому назад...»

Так проданный за пятьдесят миллионов старых франков премьер-министр законного правительства Республики Конго вместе со своими соратниками М'Поло и Окито был послан на смерть в Элизабетвиль.

Несколько месяцев спустя, когда мир был потрясен известиями о страшной расправе с Лумумбой, Хаммаршельду пришлось все-таки заняться хлопотами о том, чтобы как-то обелить поведение войск ООН в Конго, которые молча присутствовали при этой трагедии, не пошевелив и пальцем в защиту премьер-министра республики.

Весь Совет Безопасности постановил 21 февраля 1961 года, что «будет проведено немедленное и беспристрастное расследование с целью выяснения обстоятельств смерти г-на Лумумбы и его соратников», и Генеральная Ассамблея полтора месяца спустя такую комиссию создала.

И вот передо мною лежит толстый том — отчет этой комиссии, в состав которой вошли представители Бирмы, Мексики, Того и Эфиопии.

Г-н Хаммаршельд не погрешил избытком внимания к работе этой комиссии: его энергии не хватило даже на то, чтобы доставить ее в Конго — туда, где она должна была вести свое расследование, и комиссии пришлось работать лишь в Нью-Йорке, Лондоне, Брюсселе и Женеве, где она организовала допрос тех свидетелей, каких смогла там разыскать.

Но факты, с которыми столкнулись члены комиссии — судья Аунг Хина, посол Мартинес де Альва, г-н Анте д'Альмейда и г-н Ташома Айлемариам, — были столь разительны и столь очевидны, что даже их скромный, изобилующий недомолвками доклад звучит как страшный обвинительный акт. И как ни стараются авторы доклада представить в лучшем свете мнимые «вмешательства генерального секретаря и его представителей в пользу заключенных», факты говорят, что в действительности позиция невмешательства, занятая Хаммаршельдом и подчиненными ему войсками, лишь облегчила страшную расправу с Патриком Лумумбой и его соратниками...

Хаммаршельд и его подопечные в Конго — и прежде всего Чомбе, сыгравший самую подлую и гнусную роль в описываемых событиях, — слишком хорошо знали эти факты, чтобы позволить себе роскошь допустить следственную комиссию ООН к месту преступления. Вот почему власти Леопольдвилля, к которым комиссия еще 12 мая 1961 года обратилась за разрешением на въезд в Конго, отмалчивались целый месяц, а потом разразились грубым и резким отказом, сославшись на «бесполезность и некомпетентность» комиссии, созданной Генеральной Ассамблеей ООН.

Ну, а что же Хаммаршельд? Он смолчал! Куда девалась его хваленая настойчивость и энергия, которую он проявлял так бурно, когда подчиненные ему войска захватывали радиостанцию и аэродромы, чтобы помешать законному правительству Конго осуществлять свою деятельность? И комиссия была вынуждена отправиться вместо Конго в Швейцарию...

Но вернемся к событиям, разыгравшимся в Тисвиле в памятный день 17 января 1961 года, — здесь и в дальнейшем я буду опираться на официальные и неопровержимые данные, приведенные в отчете следственной комиссии ООН.

Днем 17 января в военный лагерь в Тисвиле прибыл представитель «службы безопасности» из Леопольдвилля. Он вбежал в застенки, где находился Лумумба, и взволнованно сказал:

— Господин премьер-министр! Я счастлив уведомить вас, что в Леопольдвиле только что произошел переворот... Народ вас ждет... Ваше присутствие необходимо для образования нового правительства...

Пленников развязали. Лумумба, расправляя затекшие руки, переглянулся со своими соратниками. Неожиданная новость и радовала и вызвала сомнения. Лумумба не знал присланного к нему гонца. Если в Леопольдвиле действительно разыгрались такие важные события, почему не прибыла представительная делегация? А что, если это ловушка?.. В лагере Тисвила обстановка стала складываться в пользу Лумумбы. Если бы его силой потащили отсюда в другое место, солдаты могли бы опять взбунтоваться и встать на сторону законного премьер-министра...

Как же быть? Но посланец из Леопольдвилля говорил так горячо, он так торопил Лумумбу, Окито и М'Поло, что они подавили сомнения и дали согласие на отъезд. На аэродроме в Лукала, в нескольких километрах от Тисвила, их ждал небольшой самолет бельгийской компании «Аэробрусс». Лумумбу и его спутников встретили с почетом, усадили в самолет, и они в сопровождении посланца из Леопольдвилля поднялись в воздух.

К удивлению Лумумбы, самолет взял курс на запад, к океану.

— Маленькая машина, — улыбаясь, сказал спутник, — не хватит горючего долететь до Лео... В Моанде пересядем на большой самолет...

В Моанде действительно ждал четырехмоторный «дуглас-4» компании «Аэроконго». Но едва Лумумба и его спутники поднялись на борт самолета и дверца захлопнулась, на них набросились дюжие жандармы и начали дико избивать. Пилот самолета бельгиец Бовенс повел самолет на взлет. Он взял курс не на Леопольдвилль, а на Элизабетвиль. Потом Бовенс передал управление второму пилоту и из любопытства заглянул в пассажирскую кабину, откуда доносились глухие удары и отчаянные крики. Он увидел, что три пленника лежали на полу и жандармы топтали Лумумбу, Окито и М'Поло подкованными башмаками.

Как сказано в отчете следственной комиссии ООН, «Бовенс также уточнил, что избивали их в такой степени, что бельгийская команда заперлась в передней кабине, так как они были полны отвращения к происходившему». Каково человеческое!

И вот уже старенький «дуглас» со страшным грузом на борту — залитыми кровью полумертвыми людьми — приближается к «столице» Катанги. Внизу чернеют пирамиды терриконов, рудоподъемные копры, заводские цехи. Над городом, построенном в старомодном стиле, высится кирпичная труба медеплавильного завода Лубумбаши. Облако дыма, подобно граурному покрывалу, висит в пустом

небе. За терриконами до самого горизонта тянется унылая саванна. Над аэродромом торчит оцетинившаяся антеннами контрольная башня. Там трое людей: двое белых и один уроженец Катанги, одетый в европейский костюм, — это сам Годфруа Муонго, «министр внутренних дел» марионетки Чомбе, еще в августе отдавший приказ о том, чтобы Лумумба «исчез», как только окажется на подконтрольной ему территории.

— На этот раз, — говорит он, — я возьму реванш.

Белые советники Муонго утвердительно кивают головами, широко улыбаясь. Самолет идет на посадку... Раздается рев сирены, и навстречу «дугласу» бешено мчится грузовик, набитый черными и белыми жандармами. Дверца остановившегося поодаль самолета открывается. Ни мостков, ни трапа не нужно: из машины выбрасывают связанного по рукам и ногам негра высокого роста с распухшим от побоев лицом, выдранной бородой, за ним выбрасывают двух других. И сразу же на пленников, еще не пришедших в себя после страшной расправы в самолете, снова набрасываются жандармы. Со страшным хлюпающим звуком уходят под ребра окованные сталью приклады винтовок. Слышится хряск костей. Жандармы с размаху бьют своих пленников подкованными башмаками в лицо, топчут их, снова и снова пускают в ход приклады. Текут струйки крови.

Рослые белокурые солдаты в голубых касках — шведы из войск ООН — смотрят на все это невидящими глазами, словно то, что происходит у самолета, их совершенно не касается. Наконец жандармы, устав избивать недвижимые тела, бросают их, словно кули с мукой, в грузовик, с хриплым хохотом усаживаются на них, и машина трогается в путь мимо здания аэровокзала, где красуется огромный плакат с подписью, который сейчас звучит издевательски: «Д о б р о п о ж а л о в а т ь в с в о б о д н у ю и н е з а в и с и м у ю К а т а н г у!» За грузовиком мчатся еще две автомашины, набитые до отказа охраной, производящей адский шум.

И только тогда, когда шум моторов и победные крики жандармов затихают вдаль, представители войск ООН начинают обретать дар речи. Один из них тут же дает интервью представителю агентства Ассошиэйтед Пресс, который весьма кстати — бываюи же такие случайности! — оказался здесь.

— Это было удручающе, — говорит швед, снимая голубую каску и вытирая обильно выступивший пот. — Лумумбу и двух других вытащили из самолета и начали избивать. Жандармы — европейцы и африканцы — били их долго. Они били их дубинками, ударяли в лицо прикладами винтовок, ногами и кулаками. Потом жандармы передохнули несколько минут и снова начали их избивать... Под ударами господин Лумумба и двое других пленников стонали, но они не могли произнести ни слова...

Скажите на милость, сколь наблюдательными оказались воины мистера Хаммаршельда! Они подметили все детали расправы с премьер-министром Республики Конго, пригласившим их на помощь. Не догадались только об одном: о том, что их долг — уж если не судебный, то хотя бы человеческий — заключается в том, чтобы помешать бандитам Муонго свершить этот страшный самосуд.

Выжили ли пленники после расправы, учиненной с ними на аэродроме? В этом есть основания сомневаться. Уже 18 января агентство Юнайтед Пресс проболталось, что «Морис М'Поло умер в результате плохого обращения с ним». Журналист Пьер де Воз написал во французском еженедельнике «Экспресс», что Лумумбу, М'Поло и Окито жандармы прирезали, едва выехав за ворота аэродрома, тут же в зарослях саванны, но что потом перепугавшийся Чомбе приказал положить их тела в холодильник и сохранять их там, пока не будет придумана версия об убийстве при попытке к бегству. Де Воз утверждал, что тела убитых сначала сохранялись в холодильнике лаборатории бельгийской горнорудной фирмы, а потом для лучшей сохранности были погружены в ванну с формалином.

Эта версия не была официально подтверждена следственной комиссией ООН, но в общем-то Пьер де Воз был недалек от истины: после того, как Лумумбу, Окито и М'Поло доставили в Элизабетвиль, им осталось жить уже не считанные

дни, а считанные часы... Во всяком случае представитель Хаммаршельда в Элизабетвиле И. Берендсен, давая показания следственной комиссии Организации Объединенных Наций, сказал:

— На следующий же день (!) после прибытия г-на Лумумбы в Элизабетвиль в городе прошел слух, что и он сам и его коллеги были убиты.

Что же сделало командование войск ООН, узнав об этом зловещем «слухе»? Да ровным счетом ничего! Оно по-прежнему сохраняло «нейтралитет»...

Телеграммы о том, что произошло на аэродроме Элизабетвиля 17 января, взбудоражили весь мир. Отовсюду полетели телеграммы протеста. Потрясенная страшной вестью, жена Патриса Лумумбы подала написанное дрожащей рукой прошение представителю ООН в Леопольдвиле: «Если мой муж должен быть расстрелян, я прошу, чтобы Объединенные Нации предоставили мне возможность добраться до Элизабетвиля, чтобы я смогла его повидать перед смертью». Эта просьба осталась без ответа.

Г-н Хаммаршельд в эти часы был занят другим: он опять думал о том, как ему обеспечить свое алиби, как умыть руки... И 19 января он сочинил новый меморандум, направив его на этот раз Чомбе. В нем речь шла все о том же. «Вы, конечно, не преминете предусмотреть, — почтительно обращался Хаммаршельд к Чомбе, — какие меры следует предпринять, чтобы к г-ну Лумумбе и его соратникам был применен нормальный порядок в компетентном суде».

Чомбе ответил на это письмо только двадцать дней спустя, когда Лумумбы, Окито и М'Поло уже наверняка не было в живых. Ответ был на редкость грубым: «...Я весьма удивлен тем интересом, который Организация Объединенных Наций проявляет в отношении бывшего премьер-министра... Существенно необходимо, чтобы власти бывшего Бельгийского Конго оставались единственными судьями, без всякого иностранного вмешательства, в отношении того, какому он должен быть подвержен обращению, и того, какова будет его судьба».

А тревожные сигналы из Катанги все учащались. 3 февраля представитель Республики Мали в ООН предал гласности детали заговора, целью которого было убийство Лумумбы и его соратников, — их привезли в Элизабетвиль на расправу. Это сообщение не было ни опровергнуто, ни подтверждено миссией ООН в Конго. Из Элизабетвиля и Леопольдвиля градом сыпались телеграммы корреспондентов о том, что Лумумбы, М'Поло и Окито уже нет в живых. Чомбе и Мунонго молчали, словно все эти сообщения их нисколько не касались. И только 10 февраля, когда уже все радиостанции мира говорили об убийстве лидеров Республики Конго как о совершившемся факте, власти Элизабетвиля пустили в ход нелепейшую дезинформацию, от которой за километр разило дурным полицейским романом дешевого бельгийского автора. В коммюнике, переданном Мунонго журналистам, говорилось:

«Три пленника, прибывших из Леопольдвилля и находившихся в заключении на частной ферме близ Мучача, сбежали минувшей ночью, схватив и связав двух охранявших их часовых. Одна из машин полицейского эскорта исчезла, по-видимому, она похищена беглецами. Речь идет о черном «форде», резервуар которого содержит достаточно бензина, чтобы проехать сто километров. Исчезли две винтовки. Беглецы используют (!) это оружие в случае, если их настигнут. В окрестностях фермы начаты поиски...»

Опытные журналисты, прочтя это коммюнике, пожали плечами: теперь оставалось ждать второго коммюнике о том, что беглецы настигнуты и убиты. И действительно, не прошло и трех дней, как Мунонго созвал корреспондентов и торжествующим тоном заявил им:

— Дженгльмены! Я созвал вас здесь, чтобы объявить о смерти Лумумбы и его сообщников — Окито и М'Поло. Вчера вечером в мою частную резиденцию явился один катангез из района Кольвези — я не хочу уточнять место, — чтобы информировать меня, что они были вчера утром зарезаны жителями небольшой деревни, расположенной на довольно значительном расстоянии от того места, где

была обнаружена брошенная ими автомашина. Жители получают за это награду. Мы до сих пор удивляемся, каким образом трое беглецов могли туда добраться...

Мунонго хрипло хохотнул, подмигивая слушателям. Никто его не поддержал. В зале стояла напряженная тишина. Мунонго нахмурился: эти господа, видимо, не понимают шуток. И он заговорил грубо и резко:

— Я не сообщу вам ничего относительно обстоятельств смерти беглецов. Я бы солгал, если бы сказал, что смерть Лумумбы опечалила меня... Я знаю, что некоторые скажут, что мы их убили. Я отвечаю на это так: докажите это!..

Рассказывая впоследствии об этой удивительной пресс-конференции членам следственной комиссии ООН, один из журналистов, присутствовавших на ней, сказал:

— Я считаю своим долгом подчеркнуть, что Мунонго говорил тоном, приближающимся к вызову, вызывающим тоном... Для меня этот тон явно означал: «Верьте этому, если вы хотите, а мне это совершенно безразлично. Я прекрасно знаю, что вы не можете ничего доказать». Именно таким образом я истолковал его слова, и мои коллеги истолковали их таким же образом... У меня и у моих коллег создалось впечатление, что г-н Мунонго врал, не слишком пытаясь даже убедить нас в том, что он не врал. Во-первых, как я вам сказал, он, по-видимому, не слишком старался убедить нас: «Докажите это...» Во-вторых, когда мы засыпали его вопросами, его ответы сделались весьма неловкими. так как в этом отношении они не были подготовлены и он боялся впасть в известные противоречия и начал тогда действительно врать, как ребенок. Он производил такое впечатление еще потому, что рассердился: «Довольно, хватит с меня ваших вопросов» и т. д. Он даже произнес следующую, довольно неожиданную фразу: «Господа, задавайте мне умные вопросы, потому что вы имеете дело с умным министром». Затем он закрыл пресс-конференцию, и мы ушли...

Назавтра, когда во всем мире поднялась буря протестов против расправы с Лумумбой и его соратниками, Мунонго послал представителю Хаммаршельда в Конго письмо, повторяющее то, что он уже говорил журналистам, и оснащенное лихими аналогиями, явно подсказанными бельгийскими советниками. Вот что в нем было сказано:

«Настоящим сообщая вам о смерти Лумумбы и его сообщников Окито и М'Поло. Вчера вечером из района Кольвези в мою частную резиденцию прибыл житель Катанги (я не даю более точных сведений) и сообщил мне, что Лумумба, Окито и М'Поло были убиты вчера утром жителями небольшой деревни... Эта деревня получит награду в 40 000 франков, обещанную советом министров. Я вам не скажу больше ничего об обстоятельствах смерти беглецов. Я солгал бы, если бы сказал, что смерть Лумумбы меня опечалила... Я говорю с вами откровенно и без обиняков, как я привык это делать. Нас будут обвинять в том, что мы их убили. Я отвечаю: докажите это... Я ожидаю также, что друзья-коммунисты (!!) Лумумбы поднимут в Совете Безопасности ООН вопрос о смерти трех беглецов. Даже если бы мы их казнили (что мы категорически отрицаем и что совершенно не доказано), я заранее отрицаю за Организацией Объединенных Наций право занять позицию по этому вопросу.

Я напоминаю здесь о делах Сакко и Ванцетти, Джулиуса и Этель Розенберг, а также о деле Карилы Чесмена в Соединенных Штатах. Я не хочу их сравнивать с Лумумбой и его сообщниками или судить об их виновности или невиновности. Я хочу лишь напомнить, что в связи с этими громкими делами мировая общественность и самые высокие духовные лица неустанно требовали помилования осужденных. Напрасно. Соединенные Штаты с этим не побоялись; по их мнению, эти вопросы были исключительно их собственным делом.

Нам хотя и отказать в этом праве только потому, что мы черные и наше государство — молодое государство...»

Невозможно даже вообразить, чтобы тупой и невежественный «министр» Мунонго был в состоянии сочинить такое лихое письмо — он наверняка и понятия не имел о том, кто такие Сакко и Ванцетти или Джулиус и Этель Розенберг.

И уж во всяком случае его рука дрогнула бы написать что-нибудь обидное в адрес США. Нет, совершенно очевидно, что в данном случае пером водила по бумаге сильная анонимная рука из всемогущей корпорации «Юнион миньер», которая уже тогда готовилась дать бой американским монополиям, вторгающимся в Катангу под голубым флагом Хаммаршельда. Смысл этой бумаги был ясен: «Не лезьте в Катангу, а то хуже будет. Пока был жив Лумумба и надо было с ним бороться, мы молчали. Но теперь, когда его уже нет, мы с вами померяемся силами...»

Но открытое столкновение враждующих монополий было еще довольно далеко, а пока что надо было подумать о том, как устранить следы преступления, вызвавшего такое негодование во всем мире.

Убийцы разыскали потерявшего совесть врача, которому было поручено подтвердить их версию. Некий доктор Петерс, который был представлен прессе как «глава хирургической службы в Катанге», пряча глаза, заявил журналистам, что он собственными глазами видел тела убитых лидеров Конго.

— Я увидел три трупа, — заявил он, — и мне сказали: «Это Лумумба, это М'Поло, а это Окито».

— Видели ли вы когда-нибудь Лумумбу раньше? — спросили его.

— Нет, — дрогнувшим голосом ответил он. — Но все знают Лумумбу, его широко открытые глаза и бородку...

— Отчего они умерли? — прозвучал иронический вопрос.

— Никто не просил меня производить вскрытие, — еще более растерянно ответил Петерс.

— Когда наступила смерть?

— По крайней мере (!) за двадцать четыре часа до того, как я их увидел...

— Не могла ли она наступить за несколько недель до этого?

Петерс не ответил.

— Если ООН пожелает провести расследование, сочтете ли вы себя обязанным сказать больше?

— Нет, — испуганно замотал головой Петерс. — Я бы не сказал больше ни королю Бельгии, ни де Голлю... Это... вопрос врачебной этики...

Так закончились эти неуклюжие объяснения. Стремясь как можно быстрее положить им конец, Чомбе в тот же день заявил:

— Лумумба больше не существует. Он мертв. Не будем больше говорить о нем.

Но мир продолжал говорить о Лумумбе. И чем дальше, тем больше. И все грознее. По всей земле покатила волна народного гнева.

Началось в Леопольдвиле, где вдова премьер-министра Опанга Полин Лумумба, сопровождаемая большой толпой своих соотечественников, направилась к зданию миссии ООН с требованием выдать ей для погребения тело своего супруга. Она шла полуобнаженная, в рубище, неся на руках своего двухлетнего сына Роланда. В ней трудно было узнать сейчас ту красивую, элегантно одетую женщину, которая каких-нибудь полгода назад принимала, стоя рядом со своим мужем, иностранных дипломатов на торжественном приеме в саду резиденции премьер-министра. Теперь она выглядела как простая женщина из народа, босая, поху-девшая, не по летам состарившаяся. Но тем ближе и дороже она была народу, и люди, завидев ее, спешили присоединиться к демонстрации.

Сколько горя пережила эта женщина! После ареста Лумумбы друзья помогли ей добраться до Швейцарии с двухлетним сыном Роландом и с годовалым ребенком. Еще трое детей: Франсуа десяти лет, Патрис восьми лет и Юлиана пяти лет — были отправлены в Каир, где их взяла на свое попечение жена советника министерства иностранных дел ОАР Абдель Азиз Иссах. В Женеве младший ребенок умер. Обезумевшая от горя женщина молила авиационные компании доставить его тельце на родину, чтобы похоронить его там по обычаям своего племени. Над плачущей негритянкой смеялись. Полин обратилась в женевское представительство ООН за содействием. Ей отказали в этом, заявив, что доставка

на родину тела годовалого ребенка Лумумбы означала бы вмешательство во внутренние дела Республики Конго. В конце концов Полин удалось уговорить команду какого-то самолета, зафрахтованного для доставки грузов в Леопольдвиль, захватить с собой маленький гробик. Сама она улетела с пассажирским самолетом. Но гроб с телом ребенка в Леопольдвиль так и не прибыл. Его сбросили где-то в пути, а Полин пояснили: «Ваш груз затерялся»...

После ареста Патриса Лумумбы Полин скрывалась в «черном» городе. Ей пришлось сорок раз сменить хижину. Она жила в ужасных трущобах, но была спокойна: ее окружали друзья. И вот теперь, выйдя из подполья, верная подруга замученного врагами премьер-министра с гордо поднятой головой идет босыми ногами по раскаленной мостовой через весь город и громко повторяет: «Отдайте мне прах Патриса! Отдайте мне прах Патриса!» И эхо ее голоса отдается по всей Африке и по всему миру.

Представитель ООН в Конго индеец Даял написал Чомбе письмо, которое нельзя читать без волнения:

«Сегодня меня посетили неутешные семьи гг. Лумумбы, М'Поло и Окито. Они просили меня прибегнуть к добрым услугам Организации Объединенных Наций для того, чтобы добиться Вашего распоряжения о передаче им останков погибших. Мой долг повелительно требует, чтобы я присоединился к этой просьбе, и я имею честь выступить от имени этих лиц, ставших жертвами страшной трагедии, и настоятельно просить Вас удовлетворить их просьбу. Во всех цивилизованных странах лица, повергнутые в траур, могут рассчитывать на помощь властей в воздании умершим должных им почестей. В частности, в Конго традиции банту, как же как и христианские традиции, налагают на родственников священный долг оплакивать и погребать своих усопших вместе с членами их семей в родном месте...»

Чомбе ответил коротким, но грубым отказом. Даял возобновил свою просьбу. Тогда Чомбе прислал более пространное издевательское письмо с разъяснением, будто «обычай банту... запрещают выкапывание тела, даже если оно совершается семьей в случае естественной смерти... поскольку это является серьезным оскорблением умершего и побуждает его душу преследовать оставшихся в живых». С присущей ему наглостью Чомбе подчеркнул, что «такое невежество в отношении обычаев банту лишний раз доказывает полную некомпетентность Организации Объединенных Наций в деле опеки над территориями, о которых она ничего не знает».

Но дело, конечно, было вовсе не в традициях банту. Чомбе проболтался, что обряд, на соблюдении которого настаивали близкие погибших, «выявил бы название деревни, в которой беглецы были погребены». А этого, как выяснилось позднее, Чомбе боялся больше всего, ибо тела Лумумбы и его соратников надо было искать совсем не там, куда указывал Мунонго. Об этом я расскажу ниже...

Пока длилась эта тягостная переписка, во всем мире бушевала буря негодования. Советские люди, протестуя против страшного преступления, совершенного в Конго, слали народу этой многострадальной страны самые искренние знаки сочувствия и солидарности. Выражая общую волю народа, товарищ Н. С. Хрущев писал 14 февраля в своей телеграмме, адресованной неутешной вдове национального героя Опанга Полин Лумумба:

«Разделяю Вашу глубокую скорбь по поводу тяжелой утраты, постигшей Вашу семью и весь конголезский народ, — трагической гибели от руки врагов Республики Конго Вашего супруга, национального героя конголезского народа, премьер-министра Патриса Лумумбы. Память о его великом патриотическом подвиге будет всегда жить в сердцах советских людей. Можете быть уверены, что семья Патриса Лумумбы всегда найдет самое искреннее сочувствие и поддержку со стороны Советского Союза и его правительства».

Имя Лумумбы было присвоено Московскому университету дружбы. Правительство Кубы приказало на три дня приспустить всюду национальные флаги и направило в Совет Безопасности протест против преступных действий Хаммаршельда —

главного виновника смерти Лумумбы. В Хартуме тысячи суданцев организовали демонстрацию протеста, на всех такси были укреплены траурные флаги, а юристы прошли молчаливой процессией, одетые в свои черные мантии. В Коломбо огромная демонстрация буддийских священников, студентов и рабочих потребовала снятия Хаммаршельда с поста генерального секретаря ООН и немедленного изгнания колонизаторов из Конго. В Каире и Белграде были до основания разгромлены здания бельгийских посольств.

И даже в Соединенных Штатах — в Нью-Йорке, Вашингтоне и Чикаго — прошли бурные и гневные демонстрации протеста против дикой расправы колонизаторов с законно избранным премьер-министром Республики Конго. В демонстрациях участвовали студенты Ганы, Судана, Кении, Танганьики, Сьерра-Леоне, Нигерии. Вместе с ними шли американские негры и многие белые американцы. Демонстранты проникли даже в здание ООН, где заседал Совет Безопасности, и прервали возгласами протеста выступление представителя США Стивенсона. Заседание пришлось прервать. Демонстрантов с трудом выдворили. Журналисты спросили их:

— Почему вы это сделали?

Они ответили:

— Потому что Стивенсон защищал убийцу Хаммаршельда...

Такова была обстановка, в которой Совет Безопасности создал следственную комиссию для выяснения обстоятельств смерти Лумумбы и его соратников. И хотя этой комиссии, повторяю, не удалось добраться до Конго, она собрала бесспорные доказательства того, что руководитель законного правительства республики и два его министра были зверски замучены агентами колонизаторов.

Официальная версия смерти Лумумбы, Окито и М'Поло была полностью отклонена комиссией. Как сказано в ее отчете, эту версию опроверг даже «один из близких соратников г-на Муноngo, являющийся также советником г-на Чомбе». В отчете комиссии этот свидетель, как и все остальные, не назван по имени, но из его заявления следует, что это не африканец, а один из так называемых «белых наемников» Чомбе.

— С моим западноевропейским складом ума, — развязно заявил этот свидетель, — я сомневаюсь в правдоподобности этой официальной версии. У меня сложилось впечатление, что общее мнение сводится к следующему. Боже мой! Инсценировка побега заключенных — это старый прием. Некоторые диктаторские режимы хорошо знакомы с этим приемом. Таким образом, это объяснение, по-видимому, приходит на ум в первую очередь...

Еще более категорически высказался бывший начальник полиции Женевы некий Кнехт, который в феврале 1961 года был прикомандирован к миссии ООН в Катанге и имел возможность на месте изучить все обстоятельства этого «мокрого дела» с профессиональной дотошностью. Опросив людей, выезжавших на пресловутую виллу, с которой якобы бежали узники, и изучив объяснения властей, он заявил главной следственной комиссии:

— Все эти объяснения мне показались смехотворными. Мне кажется, что любой человек признал бы их смешными. Когда три арестованных содержатся на вилле и имеется лишь два часовых, то по крайней мере часовые стоят по одному с каждой стороны. В данном случае оба часовых якобы стояли с одной стороны. В доме было две постели и были крюки для занавесок, при помощи которых якобы удалось проделать отверстие в стене. Занавесок не было. Простыней не было. Но в объяснении властей сказано, что для того, чтобы связать часовых, были использованы занавески и простыни... Заключенные якобы прошли мимо помещения для стражи, но ведь если есть помещение для стражи, то это значит, что есть и стража. Однако в этот день, по утверждению властей, стражи не было. Они прошли немного дальше, где была машина «форд». У заключенных, которые содержались под арестом уже четыре месяца, якобы нашелся электрический провод, чтобы завести мотор... Затем они проехали через мост, на котором всегда есть два человека, однако в этот день часовых не было — неизвестно, по какой

причине... Эта версия побега полностью вымышлена ввиду всех фактов, которые я вам объяснил...

Что же произошло в действительности?

Следственная комиссия ООН со всей очевидностью установила, что Лумумба, М'Поло и Окито были убиты задолго до того, как была сочинена фантастическая история об их мнимом побеге, а произошло это не позднее, чем через сорок восемь часов после того, как их доставили в Элизабетвиль. Слухи об убийстве Лумумбы и его соратников, распространившиеся 19 января, были совершенно справедливы. Установлен и их источник: проболтался министр информации Самаленге. Сообщивший об этом комиссии «чиновник высокого ранга, служащий в правительственном учреждении в провинции Катанга и близкий сотрудник г-на Чомбе» (фамилия его опять-таки держится в секрете), сказал, продолжая свой рассказ:

— Президент (то есть Чомбе.— Ю. Ж.), которого я видел в среду утром, как и в другие дни, казалось, был в затруднении. Я хочу этим сказать, что вид у него был необычный и он казался очень озабоченным. Я констатировал, что он вызвал министра информации господина Самаленге, с которым он довольно долго у себя беседовал. Я помню, что на другой день президент не созывал своего совета и что он был болен. Во вторник вечером мне сказали, что некоторые министры правительства Катанги якобы посетили господина Лумумбу; по-видимому, они были в очень взволнованном состоянии, и один министр в какой-то момент ударил господина Лумумбу, который упал... Как мне сказали, он, по-видимому, потерял сознание и будто бы умер от удара...

Когда этого «свидетеля» спросили, какая судьба постигла спутников Лумумбы, он сказал:

— По слухам, они также были убиты, но в результате несчастного случая (?!), происшедшего, когда били премьер-министра.— Он уточнил наконец и место этой страшной расправы: — Говорили, что дело произошло в гостинице, находящейся недалеко от аэродрома. На самом деле имелось в виду помещение, представляющее собой что-то вроде скакового клуба. Я сказал «гостиница», но на самом деле это вовсе не гостиница. Это был скорее трактир, который вместе с тем служил местом, где собирались любители верховой езды...

Таким образом, неопровержимо установлено, что злодейская расправа с руководителями законного правительства Республики Конго была учинена не только с ведома Чомбе и его «министров», но и в их присутствии и даже при их активном участии задолго до того, как была затеяна грубая инсценировка с «побегом» уже мертвых людей. Только животный страх перед ответственностью вынуждал Чомбе и его хозяев скрывать известие о смерти Лумумбы, пока дальнейшее отрицание фактов стало уже невозможным.

В отчете следственной комиссии записано: «Со времени перевода в Катангу гг. Лумумбы, Окито и М'Поло слухи об их смерти не переставали циркулировать как в Катанге, так и в других районах Конго. Слухи эти внезапно стали настойчивыми в Элизабетвиле около 9 февраля... В самом Леопольдвиле один корреспондент газеты сообщил 10 февраля, что гг. Лумумба, Окито и М'Поло были казнены в Элизабетвиле 18 января. Этот журналист утверждал, что он получил сведения от одного конголезского источника, якобы бывшего свидетелем этих казней».

Больше молчать было невозможно. Вот почему в тот же день, 10 февраля в сообщении, переданном радиостанцией Катанги, «министр внутренних дел» Мунонго объявил, что «г-н Лумумба, равно как и два других заключенных, гг. Окито и М'Поло, бежали ночью с фермы Колатей, расположенной близ дороги из Касаи в Мучача, где они содержались под стражей...»

Но что же произошло в тот страшный январский вечер в злодейском притоне, который дававший показания советник Чомбе, пугаясь, именовал то «гостиницей», то «скаковым клубом», то «виллой», то просто «трактиром»? Этот «свидетель», имя которого, как, впрочем, и многие другие имена, комиссия ООН предпочла сохранить в тайне, убоился рассказать о том, как же были убиты герои

и мученики молодой республики, — он предпочитал болтать что-то невразумительное о «несчастном случае», который произошел, «когда били (!) премьер-министра»...

Но нашлись более циничные и отпетые люди, которым на все наплевать и которые не понимали, почему же, собственно, надо скрывать то, что произошло в этом проклятом «трактире», если в расправе участвовал сам неуязвимый Чомбе, перед которым пасует командование войск ООН? И вот в отчет следственной комиссии попадают два поистине страшных документа: показания «одного из британских наемников» Чомбе и «другого британского наемника» — фамилий и адресов опять-таки нет как нет; как сказано в отчете, «все эти свидетели, опасаясь, что они сами и их семьи могут подвергнуться преследованиям, просили комиссию не предавать гласности их имена и фамилии».

Так вот, «один из британских наемников», служа в жандармерии Катанги, узнал, что Лумумба и его два товарища были убиты при участии самого Чомбе, Мунонго и других «министров» бельгийскими наемниками полковником Гюйгом и капитаном Гатом. Услышав об этом, любопытный британец, как сказано в отчете, «сам познакомился с полковником Гюйгом и просил его подтвердить эти слухи». И что же?

— Полковник Гюйг, — сообщил «один из британских наемников», — сказал, что он действительно убил г-на Лумумбу и двух его товарищей и что он совершил это убийство с помощью еще одного бельгийского наемника, некоего капитана Гата, и нескольких других европейцев, служивших добровольцами в жандармерии Катайги. Убийство произошло в Элизабетвиле на вилле, где собралось несколько человек для того, чтобы «отпраздновать» прибытие г-на Лумумбы и его товарищей.

Как сказано далее в отчете, «британский наемник» добавил, что в момент убийства там присутствовали г-н Чомбе, г-н Мунонго и несколько других «министров». Он не мог указать точной даты убийства, но, насколько он помнил, заключенные были убиты в день их прибытия в Элизабетвиль. Полковник Гюйг говорил, что убийство было подготовлено заранее (!). Трупы были затем увезены, но никаких подробностей о том, куда их доставили и каким образом они были уничтожены, сообщено не было...

Показания «другого британского наемника» изложены в отчете еще более красочно. Этот тип тоже знал Гюйга — они были собутыльниками, и вот как он живописует рассказ убийцы:

— Я не в состоянии дословно передать наш разговор. Как я уже сказал, мы оба были не совсем трезвыми, но все же я совершенно ясно помню его ответы. Я спросил Гюйга: «Правда ли, как это сообщается в печати, что Лумумба сбежал на автомобиле? Если это действительно так, то глупо было оставлять автомобиль перед домом, в котором содержались заключенные, если только все это не было инсценировкой». В ответ на этот вопрос Гюйг сказал мне: «Я присутствовал при расправе с Лумумбой»...

И дальше этот «британский наемник» так излагает рассказ своего приятеля-палача:

— Он сказал, что в комнату привели двух товарищей Лумумбы. Им предложили прочесть молитву перед смертью, и в то время, когда они стояли на коленях, оба были убиты выстрелами в затылок. После этого он сказал, что Лумумба был приведен в ту же комнату и он сам убил его выстрелом из револьвера. Гюйг рассказал, что, когда Лумумбу привели в комнату, он начал кричать... Гюйг продолжал свой рассказ в следующих словах: «Тогда я сказал ему: «Молись, сволочь» (я прошу извинить меня за это грубое ругательство, но это его подлинные слова)... По словам Гюйга, Лумумба упал на колени, и в этот момент, продолжал Гюйг, «я застрелил его, когда он валялся на земле». — «Боже мой. Шарль, это неправда!» Но он снова подтвердил. «Нет, Роди, все это правда»...

И авторы отчета заключили: «В показаниях, данных этими двумя наемниками, имеются незначительные расхождения по второстепенным вопросам, но в отноше-

нии главных вопросов, касающихся убийства, они сходятся». В примечании отмечено: «Полковник Гюиг, так же как и капитан Гат, имел возможность (!) явиться в комиссию, но они старательно уклонились от допросов. Несмотря на то, что им было известно, что комиссия хотела их видеть».

Вот какова демократия! Убийцы имели возможность явиться к следователю, но им этого не захотелось. Что же тут поделаешь?..

Все же неопровержимые факты, уличающие не только наемных палачей, но и тех, чью волю они исполняли, заставили членов следственной комиссии сделать весьма важные заявления в своих выводах:

«На основании материалов и свидетельских показаний комиссия пришла к следующим заключениям:

1. Факты, выявляющиеся в результате свидетельских показаний и материалов, содержащихся в досье, противоречат версии правительства Катанги, согласно которой гг. Лумумба, Окито и М'Поло будто бы были убиты 12 февраля 1961 года лицами, принадлежащими к одному из племен.

2. С другой стороны, комиссия считает в основном правдоподобной ту версию, согласно которой заключенные были убиты 17 января 1961 года после их прибытия в одной из вилл в Элизабетвиле и, весьма вероятно, в присутствии некоторых членов правительства провинции Катанга, в частности гг. Чомбе, Муонго и Кибве, и полагает, что утверждение о бегстве было выдуманно от начала до конца.

3. Серьезные подозрения падают на бельгийского наемника некоего полковника Гюига, который, вероятно, был фактическим убийцей г-на Лумумбы и который совершил свое преступление в соответствии с предумышленным планом при соучастии некоего капитана Гата, бывшего также бельгийским наемником. Что касается гг. Окито и М'Поло, то представляется трудным установить, кто их фактически убил, но полученные указания позволяют предполагать, что они были убиты одновременно с г-ном Лумумбой».

Члены комиссии, к их чести, нашли в себе мужество произнести нужные слова в осуждение тех, кто, выдав Лумумбу и его соратников на расправу палачам, тем самым обрек их на смерть. Они заявили, что с органов власти Леопольдвилля, с одной стороны, и с правительства провинции Катанга, с другой, не может быть снята вся ответственность за обстоятельства, касающиеся смерти г-на Лумумбы, г-на Окито и г-на М'Поло. «Что же касается правительства провинции Катанга, — говорится в этом документе, — то оно не только не приняло мер к охране трех арестованных, но своими действиями непосредственно или косвенно содействовало убийству этих узников...»

Досье комиссии изобилует материалом, свидетельствующим о значительной роли, которую играл министр внутренних дел Катанги г-н Муонго во всем заговоре, закончившемся убийством гг. Лумумбы, Окито и М'Поло.

И в заключение члены комиссии написали:

«Комиссия надеется, что результаты, которых она могла достигнуть, смогут в известной мере служить основой для проведения последующего расследования в Конго и для судебного следствия, которое, по мнению комиссии, должно последовать в самом близком времени».

Этот доклад был предан гласности еще 11 ноября 1961 года как официальный документ Генеральной Ассамблеи ООН под номером А/4964, С/4976. С тех пор много воды утекло в могучей реке Конго, а судебное следствие, которое, по мнению авторов этого документа, должно было «последовать в самом близком времени», так и не состоялось. Отчет следственной комиссии был погребен под ворохом других документов ООН, и те, кого это касается, сделали все, чтобы предать его забвению.

События в Конго тем временем шли сложным, извилистым путем. Колониальные державы, выступавшие сообща, пока шла борьба против правительства Лумумбы, упорно отстаивавшего независимость своей страны, перессорились между собой: одни делали ставку на одних послушных им людей, другие — на других.

Честные деятели, входившие в состав администрации ООН, уходили в отставку, тяготясь выпавшей на их долю неблагоприятной задачей и устав от закулисных интриг. А Хаммаршельд, увязавший в этой трясине все глубже, сам бесславно погиб при таинственных обстоятельствах, расследование которых было так же беспощадно приглушено чьей-то властной рукой, как и расследование убийства Лумумбы.

Проходят месяцы и годы с тех пор, как законный глава правительства Республики Конго был насильственно отстранен от руководства страной, и она начала медленно погружаться в трагический хаос. Давно уже выцвели под жарким тропическим солнцем голубые каски и флаги войск ООН, при сем присутствующих, не раз сменилось их командование, а просвета впереди все еще не видно.

Еще 24 ноября прошлого года Совет Безопасности ООН потребовал, чтобы сепаратистская деятельность в Катанге была «немедленно прекращена», и заявил о своей «решимости содействовать» центральному правительству Конго в восстановлении государственной целостности страны. С этой целью Совет Безопасности уполномочил генерального секретаря «принять энергичные меры, включая, если это необходимо, использование силы», чтобы арестовать, задержать и выслать всех наемников и иностранных советников Чомбе.

И что же?

Двадцать четвертого июля на очередной пресс-конференции у Кеннеди один корреспондент вдруг сказал, как бы размышляя вслух:

— Господин президент, Конго, по-видимому, скорее удаляется от объединения, чем приближается к нему.

— Это верно, — уныло откликнулся Кеннеди.

— Есть ли у вас какие-либо идеи на этот счет и что можно было бы сделать? — поинтересовался журналист.

Президент задумался на мгновение и сказал:

— Меня очень беспокоит Конго, потому что мы не смогли добиться соглашения между Катангой и правительством Конго... Я полагаю, что те, кто сочувственно относится к усилиям Катанги, — иронически заметил президент, намекая на Лондон, Париж и Брюссель, — должны неизбежно обнаружить полный хаос в остальном Конго...

Что же дальше? Может быть, «банду клоунов», как назвал марионеточное правительство Чомбе исполняющий обязанности генерального секретаря ООН У Тан, могли бы укротить вооруженные силы ООН? Ведь пока что — то есть почти за два года своего пребывания в Конго — они эффективно использовались лишь один-единственный раз: когда надо было помешать законному правительству Лумумбы восстановить порядок в стране. Да, эти войска без большого труда могли бы ликвидировать пресловутую «проблему Катанги». Но есть тайная сила, которая сковывает их. И хотя сам президент Кеннеди меланхолично говорит, что центральное правительство Конго не в состоянии нормально функционировать, пока оно не контролирует основных ресурсов страны, находящихся в Катанге, госдепартамент хладнокровно заявляет: «ООН не имеет полномочий начинать военные действия против войск провинции Катанга».

Итак, снова закулисный торг? Да, США в данном случае предпочитают келейный метод. За кулисами фабрикуется решение, которое узаконило бы расчленение Конго; имеется в виду превратить его не то в федерацию, не то в конфедерацию «государств» типа Катанги. При этом центральное правительство республики ставится на одну доску с марионеточным режимом Чомбе. Не случайно, видимо, американский обозреватель Липпман, разъясняя читателям, что происходит в Конго, пишет: «Главная сила, стоящая за Адулой, — это правительство Соединенных Штатов. Главная сила, стоящая за Чомбе, — это частные круги Англии и Бельгии».

Отвергая самое сопоставление центрального правительства страны с «бандой клоунов», орудующей в одной из провинций, мы скажем иначе: все, что происходит в Конго, начиная с того момента, когда было свергнуто избранное народом

правительство Патриса Лумумбы. несет на себе глубокий след закулисной борьбы колонизаторов. Борьба эта разыгрывается на спине народа Конго и стоит ему крови и жертв.

Новые колонизаторы с превеликим удовольствием загрызли бы насмерть старых, и кости владеющей Катангой корпорации «Юнион миньер» захрустели бы под натиском еще более сильных заокеанских монополий. Но и те и другие связаны круговой порукой НАТО, которая обязывает их удерживаться от открытой драки между собой. Вот почему эта борьба ведется по преимуществу тайно, затягивается, один маневр сменяется другим, а наглый марионеточный правитель Катанги Моиз Чомбе всякий раз выскакивает, как чертик из баночки с клеймом «Юнион миньер», и, дергаясь на ниточке, показывает нос правительству Конго и ООН...

Африку часто сравнивают с огнедышащим вулканом. Что ж, это правильное сравнение. Гигантский материк извергает сейчас огненное пламя ненависти к угнетателям, испепеляющее тех, кто так долго грабил, мучил и убивал, пользуясь своей временной безнаказанностью. Но кое-кто за океаном судит так: ну что ж, побушует вулкан, да и успокоится, а мы на остывшем туфе начнем все сначала. Близорукие иллюзии! Пламя сердец — это не пламя кипящего базальта: их жар никогда не стихает. И горе тем, кто не поймет этого. В Африке борьба идет не на жизнь, а на смерть!

Как бы ни запутывались хитрые петли интриг вокруг Конго, как бы ни складывалась на том или ином этапе обстановка в Леопольдивиле, Элизабетвиле или в каком-нибудь другом углу многострадальной страны, неизбежные законы общественного развития делают свое дело. И когда я перелистываю по утрам ворох депеш телеграфных агентств об очередных событиях в Конго, я вижу сквозь их строчки такое знакомое, выразительное лицо Патриса Лумумбы с небольшой черной, как смоль, бородкой, его большие, глубоко человеческие искрящиеся глаза, вспоминаю его порывистые жесты, его легкую стремительную походку, его своеобразную манеру говорить — четкие, чеканные фразы, подчеркнутые интонацией, отражающей глубокую внутреннюю убежденность в правоте каждого слова.

Это был поистине незаурядный человек, и можно не сомневаться, что он стал бы одним из выдающихся деятелей нашей эпохи, если бы его жизнь не была грубо оборвана в самом начале его политической карьеры теми, кто страшился его. Он принадлежал к числу тех, чей талант и воля способны совершить самые невероятные дела. Сейчас он мертв. Но даже мертвый Лумумба страшен для его палачей.

Мне запомнилась такая деталь: когда в Каире стало известно о страшной расправе с главой правительства Конго, разгневанный народ вышел на улицы, чтобы провести демонстрацию протеста; и вот манифестанты, ворвавшись в посольство Бельгии, сорвали портреты короля Бодуэна и заменили его портретами Лумумбы — его глаза гневно глядели сквозь стекла очков, испепеляя тех, кто хочет восстановить колониальное иго в Африке. В этой детали есть что-то символическое.

Таков уж этот человек — даже после смерти он остается в строю своего народа, продолжающего борьбу за свободу!



В М И Р Е Н А У К И

БОРИС ВОЛОДИН

★

КОСМИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

*Как рассказал о ней действительный член Академии
медицинских наук В. В. Парин*

Профессор Василий Васильевич Парин — физиолог. На протяжении всей своей жизни он занимался физиологией кровообращения. Именно эта проблема оказалась в центре внимания новой, недавно возникшей науки — космической медицины; ведь в космическом полете точкой приложения действия и гигантских перегрузок и факторов, связанных с невесомостью, оказываются в первую очередь сердце и кровеносная система космонавта.

Рассказ об этой новой науке Василий Васильевич начал так:

— У старинных химиков существовало понятие *atom in statu nascendi* — «атом в состоянии рождения». Они же считали, что новые атомы постоянно возникают из «эфира», — и вот как раз будто бы в «момент рождения» атомы и активны более всего. Потом было доказано, что атомы из «эфира» не рождаются, и этот термин выпал из обихода.

Но зато мы можем говорить теперь о науках «*in statu nascendi*». Они в этом состоянии действительно активны необычайно. Они жадно схватывают все наиболее новое и сложное у всех наук — предшественниц и соседок. Возьмите, например, кибернетику: в какие только области она не проникла! И наша наука, космическая медицина, энергично использует все лучшее, новое, что можно было взять у других наук. Ведь именно у нас, в космической медицине, прежде, чем в других медицинских науках, стали по-настоящему применяться электроника и кибернетические методы анализа.

В науках «старых» методы работы складывались десятилетиями, а с ними сложились и представления о мире, например, о деятельности организма. Расставание с ними — дело сложное. Физиологи помнят, как в 1950 году на Объединенной павловской сессии группа ученых осуждала электрофизиологические методы исследования высшей нервной деятельности. Сейчас наши представления изменились. Кажется диким: мол, как это можно «осудить» методику изучения? А тогда просто было сказано, что электрофизиологические исследования — дело никчемное, потому что служат «для регистрации тех явлений, которые в лучшем случае уточняют уже известные нам механизмы». Просто и решительно: «Мы уже все хорошее постигли, дальше изучать не надо».

Представьте себе, что бы получилось, если бы космическая медицина, космическая физиология приняла такой «символ веры». Да и не только она...

Ведь на протяжении многих десятилетий — с самого ее рождения — экспериментальной физиологии недоставало методов, которыми можно было бы изучать жизнедеятельность организма, не повреждая его. Поэтому объектами ее исследований были по большей части не сами люди, а биологические модели, экспериментальные животные. Основные законы были распознаны на собаках, на

кошках и лягушках, но о многих физиологических особенностях, специфических только для человека, приходилось судить лишь на основе сложных ассоциаций и аналогий. Наступило время, когда вынужденная приблизительность многих наших представлений стала чересчур ограничивать нас и начался упорный поиск способов изучения физиологических процессов непосредственно на человеке. Родилась клиническая физиология: она изучала и здоровый организм и изменения, происходящие в его жизнедеятельности при развитии болезни. Наконец она изучала, и это особенно важно, возможности человеческого организма приспособляться к различным неблагоприятным условиям и искала методы, которые помогали бы организму справляться с последствиями действий этих неблагоприятных условий.

Я назову для примера одну из областей «земной» медицины, которой клиническая физиология положила начало. Это — «операционная патофизиология», или, как ее называют некоторые наши зарубежные коллеги, «агрессология» (наука о хирургической «агрессии»).

По словам крупнейшего французского хирурга Лериша, операция спасает жизнь больного путями, которые могут убить. «Агрессология» разрабатывает методы исследования, дающие врачу возможность своевременно и быстро увидеть угрожающие изменения в состоянии больного, и другие — лечебные — методы, помогающие сохранить жизнь человеку в чрезвычайных обстоятельствах, в которые его повергает операция. (В эти методы входит современный наркоз, применение гипотермии, то есть общего охлаждения организма, стимуляция нормальной деятельности сердца электричеством, искусственное кровообращение и многое другое.)

Авиационная медицина и развившаяся из нее медицина космическая во многом сходны с этой наукой. Ведь в полете, особенно в полете космическом, человек оказывается (вспомним афоризм Лериша) на «путях, которые могут убить». Но «космический медик» находится в более сложном положении, чем его коллега-хирург. У хирурга пациент рядом с ним, на больничной койке, на операционном столе. Он может изучать его состояние сотнями способов, он имеет возможность даже зондировать кровеносное русло, измерить давление в полостях сердца — я не говорю о других общеизвестных методах диагностики. Наконец он может помочь своему подопечному любым способом из десятков, имеющихся в его распоряжении.

Космическая медицина необычна тем, что врачу приходится контролировать состояние своего пациента на дистанции в сотни, в тысячи километров. И даже не в полете, а на земле, в барокамере, во время тренировки «пациент» отделен от медика-опекуна. Поэтому космическая медицина особенно тщательно разрабатывала электрофизиологические методы исследования, которые позволяют непрерывно в течение долгого времени получать данные, например, о функции сердца и ее изменениях — без непосредственного контакта с «пациентом». Наконец была создана новая радиоэлектронная, радиотелеметрическая аппаратура. Она может преобразовывать в радиосигналы и передавать на огромные расстояния сведения об изменениях электрических потенциалов в ткани сердца, в ткани мозга (то есть те, что мы видим на кривых электрокардиограмм и электроэнцефалограмм). Она может сообщать таким же образом данные о частоте и глубине дыхания, а в будущем — безусловно, и о многих других функциях организма. Радиотелеметрия стала для медицины «золотым ключиком» к одной из самых сложных проблем — проблеме врачебного контроля в космосе.

Но события в космосе разыгрываются с огромной быстротой. Темпы наших «земных» процессов мышления могут оказаться слишком малыми для того, чтобы врач успел своевременно (ведь счет времени идет на секунды) и точно проанализировать, что произошло с его «космическим пациентом». Поэтому нам необходимо приспособить кибернетические машины для сверхбыстрого анализа сигналов об изменениях, происходящих в организме космонавта.

И сейчас уже разрабатываются первые аппараты, которые могут не только постоянно сообщать на землю сведения о частоте дыхания, о пульсе или непрерывно передавать кардиограмму. Новые приборы сумеют непосредственно там, в корабле, обрабатывать полученные сведения и посылать сигналы только о нарушениях. Создан, например, такой прибор — кардиомонитор. Он дает сигналы только при перебоих в работе сердца...

— Вы видите, космическая медицина, — сказал Василий Васильевич Парин, — берет на вооружение все новое, что есть в науке. Более того, она оказывает определенное «стимулирующее действие» на пограничные с ней дисциплины. Наши работы привлекли к радиотелеметрии внимание физиологов, работающих в других, не связанных с космосом областях... Я недавно знакомился с диссертацией доктора Розенблата из Свердловска. Он получал данные об изменениях пульса, дыхания и снимал кардиограмму у лыжников во время прыжков с Уткусского трамплина, а также у велогонщиков... Радиотелеметрия оказалась необходимой и в физиологии спорта. Да и в других областях.

Рассказывая о радиотелеметрии, Василий Васильевич достал из стола какой-то проводок в яркой голубой оболочке из пластика.

— Все это выглядит просто, — пояснил Василий Васильевич. — Вот такой электрод... — он показал припаянный к проводку кружочек из белого металла, величиной примерно с двугривенный, — крепится пластырем к телу, как при обычной кардиографии, а датчик... — Парин показал на другой конец проводка: он исчезал в белой обтекаемой пластмассовой коробочке размером поменьше спичечной. — ...А датчик укладывается в кармашек скафандра космонавта или в карман лыжного костюма...

Василий Васильевич отложил проводок и закончил свою мысль на чисто профессиональном языке:

— Мы фиксируем на теле нужное количество электродов и получаем на любом расстоянии данные: основные отведения кардиограммы и другие физиологические параметры.

Он положил проводок и коробочку на стол. Конечно, я тотчас взял в свои руки эту белую пластинку величиной с двугривенный — «такой же самый» электрод и белую обтекаемую коробочку — «такой же самый» датчик, как те, которые прикрепляются к настоящему скафандру и к телу космонавта, чтобы по радиотелеметрической системе на частотах в 19 или 20 мегагерц с десятками и сотнями (они точно указываются в каждом тассовском сообщении о полетах) получать данные о работе его сердца и легких, чтобы вести неусыпный врачебный контроль за здоровьем человека, находящегося в заоблачной, уже совсем неземной дали...

— Медики тоже не прочь все пощупать своими руками; ощутить собственной кожей, — сказал Василий Васильевич с улыбкой. — Впрочем, это не единственно любопытства ради... Леону Абгаровичу Орбели было уже за пятьдесят, когда в тридцать третьем году он поставил на себе опыт в барокамере... Он потерял сознание, когда разреженность воздуха достигла уровня, соответствующего двенадцати тысячам метров. Он был отличным экспериментатором, Орбели. Вся динамика кислородного голодания зарегистрирована в том опыте с предельной тщательностью. Это была важная проблема авиационной медицины.

Когда занялись космосом, сразу было ясно, что выход один: создать в корабле маленькое подобие земной, постоянно обновляющейся атмосферы, точно такого же состава, как та, в которой мы с вами находимся и в которой дышим. На первых четырех кораблях, рассчитанных на ближние полеты, все было решено техническими средствами: автоматический контроль за давлением воздуха, химическая система регенерации и порядочный запас кислорода. Системы, регулировавшие состав воздуха, давление, температуру, влажность, оказались надежными. Поэтому во всех четырех полетах не произошло никаких неприятностей вроде тех, что достались американцу Карпентеру уже на втором витке.

Но в будущем все придется устраивать по-другому. В будущем предстоят многомесячные полеты. Полетный вес корабля ограничен. Это понятно даже неспециалистам, даже тем, кто и с популярной литературой знаком кое-как. Значит, будет ограничен и запас кислорода, и запас химических веществ — регенераторов воздуха, и продуктов питания.

Кораблям для дальних рейсов придется сделаться как бы маленькими планетами с собственной системой круговорота веществ, где, как на Земле, ничего не пропадает. Придется утилизировать все шлаки, выводимые из организма людьми... В шлаках — азот, растительные полисахариды и многое другое. И главное — вода. Человек выводит из себя почти столько же воды, сколько ему нужно поглотить за сутки. Эту воду придется немедленно подвергать химической переработке.

Что же касается регенерации кислорода, то в специальной и в научно-популярной литературе много говорилось о возможностях применения для этой цели одноклеточной водоросли хлореллы. У хлореллы бурный фотосинтез, она очень хорошо восстанавливает нормальную атмосферу в замкнутом пространстве, жадно усваивает углекислоту, выделяет много кислорода, она, наконец, быстро размножается, содержит полноценный белок и пригодна в пищу... Это знают сейчас школьники, и на первый взгляд сразу две проблемы кажутся решенными уже самой идеей использования хлореллы.

Однако дело обстоит совсем не просто. Представьте себе, что вы конструируете корабль и вам нужно вмонтировать в него огромные баки, где хлорелла будет жить и размножаться в воде. И ее должно быть много, так много, чтобы водоросль действительно могла взять на себя всю работу по регенерации воздуха. Она должна получать много ультрафиолетовых лучей и не подвергаться проникающей космической радиации. От больших доз радиации хлорелла может погибать так же, как и все живое. А в результате действия малых доз — дать мутации, изменить свою наследственность, и еще неизвестно, в какую сторону... Вот вам маленькая частичка одной проблемы. Поэтому уже два года — с августа 1960 года — на каждом взлетающем корабле отправляют в космос контейнеры с биологическими объектами. Отправляют пробирки с ДНК — дезоксирибонуклеиновой кислотой, отправляют мух-дрозофил и хлореллу. Четырнадцать лет назад классическую генетику кое-кто называл «мушиной наукой». А дрозофилы — отличная модель для радиобиологических экспериментов. Они очень «пластичны». Стоит радиации превысить допустимый уровень, как у дрозофилы наступают изменения в хромосомном аппарате. Они быстро размножаются, и последствия радиации — мутации, изменения наследственности — можно в короткий срок изучить на многих поколениях потомков дрозофил, побывавших в космосе. Это хороший контроль надежности защиты человека от космической радиации. Именно «защиты человека». Пока что люди летали в космосе, не заходя в пояса высокой радиации. Но ведь дальше придется «пробивать» их, как самолеты «пробивают» облака. И поэтому еще много предстоит работы над биологической защитой.

Однако мы не кончили говорить о хлорелле. Ее все-таки придется, наверное, использовать как пищу. Вы не пробовали хлореллу?.. Впрочем, Алан Бомбар, плывя через океан на своем «Еретике», кормился планктоном. Мне не кажется, что хлорелла вкуснее...

В эту секунду у меня мелькнуло предположение, что мой собеседник, следуя обычаю медиков, о котором вспоминал в беседе, все же подробовал хлореллу. Но я не успел задать ему прямого вопроса; он начал новую мысль, и не хотелось перебивать ее.

— То, о чем мы сейчас толковали, это в общем космическая биология, космическая экология, если хотите, — сказал профессор Парин. — Ее проблемы решаются при конструировании и оснащении кораблей, предназначенных для дальних полетов.

Задача новой области медицины — помочь организму космонавта справиться с неблагоприятным воздействием условий космического полета. При этом в отличие от «земного» врача «космический медик» не может в любую минуту оказать пациенту непосредственную помощь. Конечно, полет по орбите вокруг Земли можно прервать, можно посадить корабль на Землю. Но на возвращение корабля, ушедшего к самой близкой из планет Солнечной системы, понадобятся недели и месяцы, а возможности у медика, находящегося на его борту, тоже будут ограничены.

Именно поэтому космическая медицина старается максимально развить способность организма компенсировать неблагоприятные воздействия факторов космического полета. Разрабатываются тесты для отбора космонавтов, методы тренировок. Проблемы приспособления организма к перегрузкам, к вибрации, к невесомости, к многодневному пребыванию в ограниченном пространстве — вот чем занимается космическая медицина. И она, кстати, в какой-то мере олицетворяет собой идеал медицинской науки, ибо занимается только профилактикой.

Данных о действии перегрузок от ускорения и резкого торможения накоплено множество и нашими и зарубежными учеными. Ход экспериментов не раз подробно описывался в литературе. Они засняты на пленку, и такие кадры включены в популярные кинофильмы, посвященные подготовке первых космических полетов человека.

Я хочу только привести некоторые данные о не совсем обычных экспериментах, при которых изучалось воздействие необычно больших перегрузок. Одна из центрифуг, построенная в Джонсвилле (США), имеет диаметр в тридцать метров и мотор мощностью в четыре тысячи лошадиных сил. На ней была достигнута двадцатикратная перегрузка от ускорения, действовавшая в течение секунды, причем оказалось, что человек способен перенести такую перегрузку.

Известны более суровые эксперименты. По специально построенной прямой железной дороге разгоняли до гигантской скорости тележку с реактивным двигателем. При резком торможении возникали пятидесяти- и шестидесятикратные перегрузки, правда, непродолжительные, действовавшие две-три десятых доли секунды. Оказалось, и они переносимы.

Однако очевидно было, что дело не только в величине перегрузок, но и в продолжительности их воздействия, ибо именно при длительном воздействии могут произойти изменения в организме, связанные с перераспределением в нем крови, кислородным голоданием мозга и другими последствиями перегрузок.

Выход был в четко разработанной системе тренировок на центрифугах и других испытательных стендах. Эта система, как показывают полеты, вполне себя оправдала.

В будущем, когда ракетные корабли станут развивать еще большие скорости, для преодоления больших перегрузок придется прибегнуть к противоперегрузочным костюмам и к гидравлическим амортизаторам, о которых писал еще Циолковский. Наконец в самое последнее время многие наши коллеги с увлечением обсуждают еще один возможный вариант предохранения организма космонавта от неблагоприятных воздействий. Кстати говоря, мысль о нем впервые была высказана не физиологом, а писателем-фантастом. Это применение наркоза в сочетании с искусственной гипотермией. Действительно, в таком состоянии организм меньше страдает от самых неблагоприятных условий, в том числе от недостатка кислорода в клетках мозга. И если сейчас это представляется нам слишком сложным и еще не может быть осуществлено, все же не следует считать замысел абсолютно утопическим.

Значительно большие волнения доставляла физиологам проблема приспособления организма к невесомости. Ее труднее всего было разрабатывать из-за невозможности поставить в земных условиях длительные эксперименты. Удавалось лишь получить сорока-, пятидесятисекундное состояние невесомости при полете скоростных самолетов по параболической кривой. Но эти эксперименты были слишком кратковременными. Правда, они сочетались с многими иными трени-

ровками, где физиологи пытались воспроизвести хоть в какой-нибудь мере аналогичные воздействия на организм, — «качающийся стол», вращение будущего космонавта на лопинге, прыжки на батуте, испытания в кабине ротора, вращающейся одновременно в трех плоскостях. Тем не менее лишь после многодневного полета А. Николаева и П. Поповича мы окончательно убедились, что все нежелательные явления, связанные с условиями невесомости, могут быть предупреждены при подготовке пилотов космических кораблей.

До этого полета было ясно далеко не все. Когда у Титова в полете появились вестибулярные расстройства — если говорить обычным языком, он почувствовал «укачивание», — не так просто было разобраться, отчего это. От самой «невесомости» или оттого, что корабль, двигаясь на орбите, подчиняясь законам небесной механики, начинал вращаться, кувыркаться, как только космонавт переставал маневрировать, удерживать его рулевыми двигателями в определенном положении. Поэтому приходилось ставить еще эксперимент, и еще, и еще... И тренировать космонавтов так сурово, чтобы они могли перенести долгое действие перегрузок и невесомости и мало ли чего еще, что могло встретиться... А эксперименты и тренировки — это очень тяжелая работа. Ежедневная и во многом монотонная.

...Весной, за несколько месяцев до этого разговора с Василием Васильевичем, я беседовал с другим «космическим физиологом». Мой собеседник занимался тренировкой летчиков и будущих космонавтов на центрифуге. Он сказал, что кое-кто из новичков после первой тренировки (на первую же они шли без опаски) появлялся в зале, где была установлена центрифуга, уже с выражением некоторой робости на лице и на обязательный вопрос о самочувствии и настроении отвечал обтекаемой формулой: «Опасаясь за свои результаты». Но он никогда не слышал этой фразы от Гагарина — не случайно именно Гагарин был избран первопроходцем, — не слышал и от Титова...

Он сказал мне, что и сейчас тренирует замечательных ребят — их фамилии, конечно, назвать не может, — эти ребята упорно работают на центрифуге и на других стендах и готовы тренироваться больше положенного...

О здоровье космонавтов заботятся не одни лишь медики, но и конструкторы. Им предстоит проектировать корабли, которые будут набирать космические скорости медленно, чтобы не создавались большие перегрузки. Им предстоит разработать способы создания в кораблях искусственной силы тяжести... Тридцать лет назад, если вы хотели купить билет на самолет, нужно было предъявить медицинскую справку о годности к полету в качестве пассажира. Как знать! Может быть, со временем такую справку не потребуют и при посадке в космический корабль, как сейчас при посадке на лайнер, летящий в Адлер.

— ...Во время последнего полета космонавтов, — продолжал Василий Васильевич, — я впервые смог наблюдать за всем происходящим с некоторым спокойствием, необходимым, чтобы запомнить какие-то детали. И главное, стало всплывать в памяти то, что видел прежде и что спряталось тогда куда-то и оставалось лишь волнение, а потом, когда все завершилось, — радость...

Когда запускали «Восток», самым спокойным человеком на космодроме был Гагарин. Я же, как и другие, был взволнован и многого не заметил. А сейчас я вспомнил, какой была тогда степь у Байконура — в весенних ярких тюльпанах, красных, желтых, оранжевых... Там необычные тюльпаны, с зубчатыми листьями. Они и теперь стояли в степи, только зубчатые листья были уже серыми и не было самих цветов. уже созрели коробочки, и семена разнесло ветром...

В момент старта я снова волновался. При старте ощущение времени совершенно теряется, и все видишь, как при замедленной съемке. Появляется сначала багровое зарево у дна ракеты, оно превращается в огненный клуб, потом все окутывается дымом, из дыма медленно поднимается ракета, и тут уж ее видно всю — раньше так ее увидеть мешали конструкции пусковой установки.

Кажется, что она какое-то время стоит в воздухе, только позже (непонятно, через несколько секунд или минут) замечаешь, что она оказывается еще выше и еще...

Я не очень склонен к сентиментальности, но тут — склонен ты к этому обычно или нет — все равно горло перехватывает, и надо протирать глаза, и бинокль прыгает в руках. А рядом стоит почтенный седовласый, хоть и не старый еще академик, много разного переживший, и тоже ищет носовой платок, тяжело дышит и никак не может поймать стеклами бинокля ракету...

Это состояние продолжалось раньше до самого приземления космонавта. Я не помню, что говорил на первых запусках, когда мои коллеги-медики со мной о чем-то советовались, хотя, по их словам, говорил дельно. А когда полетел Николаев, а потом — Попович, после взлета наступало ощущение полного спокойствия. Была просто абсолютная уверенность в надежности техники, да и в подготовленности. Это не самоуспокоенность. Просто в первый раз мы все-таки не знали, каково будет человеку в космосе. А во второй — какие неожиданности принесет суточное состояние невесомости.

Теперь же было ясно, что все будет хорошо. Когда на витке корабль шел сквозь зону, из которой сигналы достигали нашего телеметрического пункта — время было точно рассчитано, — войдешь в комнату и смотришь на прыгающие на экране осциллографа зеленые столбики. Следишь по секундомеру за их колебаниями, считаешь пульс, частоту дыхания. Все в норме...

Работа в космосе и наша работа на земле постепенно становится будничной. Это, по-моему, убедительней всего показывает, что нами достигнуто, хотя впереди еще много дел, много трудного и опасного.



ЛЮБИЛИСЬ ИЖА

П. ВОЛИН

★

О ТОМ, ЧТО МЕШАЕТ ИЗОБРЕТАТЕЛЯМ

КОЭФФИЦИЕНТ ВРЕМЕНИ

Статистика свидетельствует: в нашей стране ученые, инженеры, рабочие ежегодно разрабатывают миллионы изобретений и рационализаторских предложений. Миллионы оригинальных и полезных вещей рождаются воображением и сообразительностью, взлетом мысли и напряжением воли, талантом и знаниями миллионов людей.

Это массовое творчество — выразительное проявление нашей действительности. В самом деле, разве оно не свидетельствует о высокой сознательности трудящихся, об их истинно хозяйском отношении к народному добру, о глубокой заинтересованности каждого в приумножении общих богатств? И разве не говорит оно об образованности широких слоев населения, об их культурном и техническом уровне, о грандиозных достижениях действительно всеобщего образования в СССР? И разве не проявляется в этом душевная щедрость, богатство мыслей и чувств советского человека!

Число изобретений и рационализаторских предложений растет и растет: 1950 год — свыше миллиона двухсот сорока тысяч, 1955 год — больше двух миллионов, 1960 год — без малого четыре миллиона. Неудержимый натиск наступающей техники, рожденной народной самодеятельностью!

Но ценность изобретательских и рационализаторских предложений, конечно, не только в том, что они самим фактом своего существования показывают великие социальные достижения нашего строя, а прежде всего в их реальной полезности. Самые блестящие и перспективнейшие находки изобретателей и рационализаторов мало чего стоят, пока они не «материализованы», пока не нашли практического применения.

С каждым годом в нашей стране осуществляется все больше изобретательских идей и замыслов. За один только год процент внедренных изобретений (от числа зарегистрированных) повысился с двадцати пяти до тридцати одного. Следовательно, организация изобретательского дела непрерывно улучшается. Здесь сказались и усиление заботы государства об изобретательстве, и возникновение новых форм технической самодеятельности масс — развитие коллективизма в техническом творчестве (общественные конструкторские бюро и технические советы, группы общественных экспертов, общественные бюро технической информации и т. д.).

И все же, если сегодняшние достижения сравнивать не со вчерашними и позавчерашними показателями, а с возможностями, с целиной и залежами нетронутых резервов, то освещенной окажется другая сторона картины: более чем из десяти тысяч зарегистрированных в минувшем году изобретений нашли практическое применение всего лишь три тысячи двести. Это означает, что изо всех предложений, направленных к выгоде и новым успехам нашего народного хозяйства, мы сумели использовать менее одной трети. Даже если эта цифра и превышает цифры прошлых лет, она еще не дает оснований для удовлетворения.

Где же захлебывается поток технических новшеств? Что преграждает ему путь в промышленность и строительство, на транспорт и в сельское хозяйство?

В позапрошлом году на Невском машиностроительном заводе имени В. И. Ленина я познакомился с электриком Аркадием Петровичем Корниенко. Он находился тогда, что называется, в зените славы: о нем писали в заводской многотиражке и в центральной печати, говорили на собраниях и по местному радио. По собственной инициативе рабочий взялся заменить в кузнице допотопный пламенный нагрев металла электрическим.

Корниенко успешно модернизировал установку, вырабатывающую токи высокой частоты, приспособив ее к нагреву кузнечных заготовок. (Кстати, с помощью этой установки цех стал втрое быстрее выполнять план по некоторым деталям.) Механизировал подачу нагретых заготовок к кузнечным машинам. Он на практике доказал, опровергнув мнение ряда ученых, что одна установка, вырабатывающая ТВЧ, может обслуживать несколько удаленных от нее машин. Шаг за шагом рационализатор, подержанный руководителями цеха и предприятия, приближался к осуществлению своего замысла: автоматизировать в кузнице весь процесс производства, навсегда погасив чадающие печи.

Несколько месяцев назад оказавшись в Ленинграде, я позвонил Корниенко на завод. Мне ответили, что он у них не работает. Ушел по собственному желанию.

Я все же разыскал Аркадия Петровича. Затем побывал на Невском заводе, в совнархозе, в Научно-исследовательском институте токов высокой частоты. И вот что я узнал.

В конце прошлого года на заводе начался перевод кузницы с мазутного топлива на газ. К замыслу Корниенко стали быстро охладевать, затем вовсе прекратили внедрение токов высокой частоты в кузнечном цехе, а созданную установку законсервировали.

Корниенко, растерянный и обескураженный, ходил по кабинетам. Однако на его доводы ответ был один: экономическая целесообразность. Все, правда, соглашались, что нагрев металла токами высокой частоты — дело очень перспективное. Но когда еще индукционный нагрев получит «право гражданства» в кузнечном производстве! Газ пока и дешевле и менее дефицитен, чем электроэнергия. Газификацию в широком масштабе можно осуществлять уже сегодня без больших хлопот и риска. Заводу, собственно, даже усилий особых прилагать не надо: все работы проводит специализированная организация. Всему свой черед. Придет время, и Невский машиностроительный вместе с другими предприятиями, не тратя лишних сил и времени на исследования и эксперименты, переведет свою кузницу на электронагрев. В плановом, централизованном порядке.

Газификация, экономичность, плановость. Ничего не скажешь — звучит вполне убедительно.

В самом деле, можно ли упрекнуть руководителей Невского завода в том, что они стали на путь замены мазутного топлива газом? Разумеется, нет!

В «конкуренции» между газом и электроэнергией экономическая выгода сегодня на стороне первого. Газ пока достается нам легче и дешевле, чем электричество. Пока. Но ведь завтра будет иначе. Должно стать иначе! Не будем же мы вечно, по классическому выражению Д. И. Менделеева, «топить ассигнациями!» Не в отдаленном, а в самом ближайшем будущем, как голько окажется достигнутым достаточный уровень энергетических мощностей, мы перестанем газ сжигать, а начнем полностью «переводить» его на строительные материалы, на одежду и обувь, детали машин и предметы домашнего обихода. Недаром же в Программе партии говорится о преимущественном развитии добычи нефти и газа «с возрастающим их использованием как сырья для химических производств».

Экономическая целесообразность. А не слишком ли упрощенно понимают ее на Невском заводе? Ведь это куда более широкое и емкое понятие, нежели простой арифметический подсчет: дороже — дешевле. Вспомним, как партия еще совсем недавно решала вопрос о развитии энергетики в ближайшие годы. Какие электростанции строить: гидравлические, вырабатывающие более дешевую энергию, или тепловые, сооружение которых требует меньше времени и затрат? И те и другие. В зависимости от экономической целесообразности. От экономической целесообразности, скла-

дывающейся из самых различных факторов, при этом обязательно с учетом того, как станут изменяться эти факторы. Учитывался, например, достигнутый уровень энергомашиностроения — и перспективы его развития. Степень индустриализации строительства — и ее дальнейшие возможности. Экономический профиль данного района — и его будущее. И так далее и так далее.

Целесообразность. Сообразность и цель. Цель всегда в будущем, в отдалении от настоящего. Сообразуются ли данный предмет, происходящее действие, случившийся факт с целью? «Ложатся» ли они в русло общего движения вперед? Отвечают ли направленности, тенденции, перспективам развития? Прицельны ли по главным ориентирам завтрашнего дня? Вот что такое целесообразность — сегодняшнее, помноженное на коэффициент времени.

Только так рассматривая любое открытие, изобретение, рационализацию — словом, всякое новое в науке, технике, производстве, — можно правильно оценить это новое, его значимость и необходимость.

Пароход и паровоз были изобретены почти одновременно (что такое для истории разница в два десятка лет!), и на первых порах они вовсе не оказались дешевле, нежели парусный корабль или гужевой транспорт. Тем не менее новые средства сообщения интенсивно развивались — они были экономически целесообразны, так как без них сдерживалось бы дальнейшее развитие цивилизации. Чтобы увидеть дальние перспективы использования научной идеи или технической новинки, мы непременно должны сделать поправку на время. Помнить, что оно несет с собой открытия и изобретения, которые не только создадут новую технику, но и «омолодят» существующую.

Без такой поправки нельзя верно представить себе технику будущего, а значит, сегодняшние задачи ее развития. Между тем подобные ошибки иногда допускали весьма крупные авторитеты.

Великий Ньютон, основоположник научной оптики, был убежден, что в оптических приборах никогда не удастся устранить явление так называемой хроматической аберрации, и потому считал, что не следует работать над устранением погрешности изображения, вызванной преломлением луча в линзе. Однако современные фотоаппараты, например, начисто лишены хроматической аберрации.

Генрих Герц, впервые получивший на созданном им приборе электромагнитные волны и изучивший их свойства, решительно отвергал возможность осуществления беспроводной связи. А буквально несколько лет спустя Александр Степанович Попов изобрел приемник и передатчик радиоволн.

Эдисон был абсолютно уверен, что телефон никогда не сможет быть использован для межконтинентальной связи...

А вот пример из нашего времени. В 1934 году английское правительство официально заявило: «Научные исследования (подчеркнуто мною.— П. В.) возможностей реактивных двигателей не дают указания, что они могут быть серьезными конкурентами винтомоторной силовой установке». Обладало бы сегодня человечество многообразными типами ТУ, ИЛов, «каравелл», «комет», пересекающих в несколько часов океаны и континенты? Преодолели бы люди силы земного притяжения? Увидели бы мы «другую» сторону Луны? Взлетели бы в небо советские и американские космонавты? Одним словом, свершилось бы все это, если бы когда-то страстные мечтатели, поэты техники не вносили смелые «поправки на время» в свои замыслы и проекты?

НЕ САМОЦЕЛЬ, А РУКОВОДСТВО К ДЕЙСТВИЮ

Без загляда в будущее нельзя быть ни плодотворным изобретателем, ни хорошим хозяйственником. Изобретательство, новаторство — это стремление шагнуть дальше достигнутого уровня техники, выйти на новый рубеж технического прогресса. Это борьба с привычными представлениями о закономерностях и причинных связях в способах, методах производства. Борьба за разгадку тайн природы и выявление глубинных возможностей техники, за «материализацию», практическое использование научных достижений и открытий.

Замена мазутного топлива газом — мера, безусловно, полезная, прогрессивная. Но газ не погасил пламени в печах, не открыл дорогу полной автоматизации кузнечного производства. Все это сделает электричество, и потому газ все равно уступит ему место. Следовательно, эта мера — по сути дела лишь временная передышка в борьбе за дальнейшее развитие кузнечной техники.

Какой командир в перерыве между боями забудет о разведке, о поднятии боеспособности своих войск, о подготовке их к предстоящим битвам? На Невском же заводе не захотели использовать благоприятную возможность, чтобы проверить оружие, накопить опыт, сконцентрировать силы на одном из решающих участков борьбы за технический прогресс. Там поспешили выплеснуть накопленный опыт, который в будущем придется снова собирать по крупицам. Не подумали о завтрашних требованиях. Значит, в дальнейшем борьба за выявление закономерностей и особенностей индукционного нагрева, за создание и освоение новой техники по выработке и применению токов высокой частоты предстоит более длительная и трудная.

— На Невском проявили, конечно, недальновидность, отказавшись от продолжения поисков и опытов, начатых Корниенко, — сказал мне инженер Борис Сергеевич Булгаков из отдела главного металлурга Ленинградского совнархоза.

И это нередкий случай, когда недальновидность хозяйственников тормозит внедрение технических новшеств.

В чем же причины такой недальновидности? В недостаточной технической грамотности руководителей предприятий? Нет, наши хозяйственные руководители, как правило, люди технически образованные.

Дело, видимо, и не в воинствующем консерватизме, порождаемом чисто субъективными качествами людей. Озлобленные завистники, безграмотные деляги, трусы «по убеждению» составляют среди нас хотя и печальное, но, к счастью, все более редкое исключение. Или так уж много у нас косных, равнодушных ко всему новому руководителей?

Уж кого-кого, а главного инженера Днепровского алюминиевого завода Владимира Ивановича Рушук просто невозможно заподозрить в косности. Это крупный специалист, остро чувствующий новое в технике. В нынешнем году за участие в создании оригинальных, исключительно экономичных электротехнических агрегатов он в числе других был удостоен Ленинской премии. Рушук обладает удивительным умением находить людей талантливых, настоящих энтузиастов технического прогресса. Умеет захватить их интересными идеями, увлечь нелегкими поисками. Это по его инициативе на заводе создан первоклассный экспериментальный цех, в котором объединились самые опоспособные изобретатели и рационализаторы предприятия. С его помощью и при его участии нашли дорогу в производство многие новшества, созданные на заводе или «раскопанные» в патентах, технических журналах и других изданиях.

Вот что рассказал однажды в откровенной беседе Владимир Иванович:

— Что такое в конечном счете для нас, хозяйственников, техническая новинка? Дополнительный резерв производства. Возможность работать с лучшими, чем прежде, показателями. Но возможность еще не есть действительность. Новое почти всегда несет в себе какие-то неожиданности, что-то непредвиденное, непредусмотренное. Чтобы дело довести, как у нас говорят, до ума, необходимо многое проверить, отработать. Пусть даже с самого начала все ясно и отработано — все равно нужна подготовка: поломать старую технологическую цепочку и создать новую, перепланировать и переналадить машины, сделать дополнительную оснастку, обучить людей. На все это, естественно, требуется время. Новый, повышенный темп не возьмешь оразу, с места в карьер. Нужен разбег. А это очень редко учитывают, скажем, в совнархозе или Госплане. Там едва услышат о вводимом на заводе новом агрегате или автоматической линии, как сейчас же увеличивают план. Тут, пока идет освоение незнакомого оборудования или технологических новшеств, не знаешь, как и старую-то программу вытянуть, а тебе уже новую дали — побольше да посложнее. Вот иной хозяйственник и задумается: то ли по старинке дело вести, но зато спокойненько, без лишних хлопот, без ругани с начальством, то ли вваливать на свои плечи тяготы и заботы.

— Потому-то,— продолжал Рушук,— бывают разные директора. Один своими возможностями не хвастает, добивается плана полетче и понемножку его перевыполняет. Он в почете, всегда в королях ходит. Его и начальство жалует, и на заводе любят. Тут и благодарности и премии. Другой завод, заметьте, выполняет объем работы куда больший, а людям — ни славы, ни денег. Почему? Да потому, что резервов директор не скрывает, обязательства берет максимальные — ему и программу соответственно увеличивают. Он из кожи лезет вон, чтобы выполнить план. Ни себе, ни людям покоя не дает, а ему — выговоры да предупреждения...

Слушая Рушук, я подумал тогда, что он слишком стеснил краски. Что беспокойная жизнь главного инженера, ответственность, заботы руководителя технической политики на крупном предприятии вызвали у него преувеличенно мрачный взгляд на вещи.

Но вот совсем недавно, побывав на Кучинском заводе керамических блоков, я вспомнил Запорожье, Днепровский алюминиевый завод и Владимира Ивановича Рушук. Увиденное здесь, под Москвой, как бы служило живой иллюстрацией к услышанному несколько лет назад «крику души» главного инженера алюминиевого завода.

Кучинский завод в числе других строительных изделий выпускает глазурованную плитку. Производство такой плитки в крупных масштабах началось в нашей стране лишь после войны и все время увеличивается. Однако оно не поспевает за темпами нашего строительства — жилищного, промышленного, коммунально-бытового. Потребность в глазурованной плитке пока удовлетворяется лишь немногим более чем наполовину.

Научно-исследовательский институт строительной керамики разработал новую технологию изготовления глазурованной плитки. Новшество заключается в том, что вдвое сокращается число ее обжигов. Благодаря этому высвобождается половина печей, а выпуск продукции увеличивается на семьдесят — восемьдесят процентов.

Совет Министров РСФСР в позапрошлом году принял специальное постановление о переводе ряда заводов строительных материалов на производство глазурованной плитки по новой технологии. Кучинский завод керамических блоков — первое и пока единственное предприятие, осуществившее решение правительства. И он же оказался в гораздо более трудном положении, чем остальные.

Возникает сразу несколько вопросов. Почему переход к более совершенной технологии затруднил работу кучинцев? Почему этот шаг поставил их в менее выгодные условия по сравнению с другими предприятиями?

Не успел еще Кучинский завод выдать первую партию плитки, сделанной по-новому, как ему тут же повысили и без того напряженный план. На возражения кучинцев в Госплане РСФСР отвечали лаконично:

— Технология прогрессивная, вырабатывать должны больше.

— Но ведь прогрессивную технологию надо сначала освоить, отработать как следует,— доказывали кучинцы. Однако убедить не смогли.

Где уж тут было проводить эксперименты, испытания — все силы бросили на выполнение увеличенной программы. Освоением новой технологии вынуждены были заниматься между делом. Так продолжалось два с половиной года. План рос, внедрение однообжигового способа изготовления плитки, сулящего огромный выигрыш, шло медленно. А ведь этот способ давно уже могли бы взять на вооружение все предприятия, изготавливающие глазурованную плитку. Страна получила бы дополнительно те миллионы квадратных метров глазурованной плитки, которых постоянно не хватает на стройках жилых домов и предприятий, магазинов и детских садов, прачечных и институтов. Нужно было одно: дать Кучинскому заводу возможность быстро освоить новую технологию, перевести на нее производство и затем помочь сделать то же самое другим предприятиям. А возможность эта заключается в том, чтобы на период освоения новой технологии несколько сократить заводу объем выпуска плитки. Сократить очень незначительно, в масштабах же страны — совсем незначительно.

Уменьшить план? В Моссовете (которому подчинен Кучинский завод) эти «красмольные» слова произносят чуть ли не шепотом. Сама мысль эта кажется кощунственной. Здесь длительное время наотрез отказывались подписать письмо с соответствующей просьбой в Госплан республики.

Каким же несуразным, нелепым оказывается бездумное поклонение плану, если оно лишает возможности маневрировать, запрещает взять разбег для нового продвижения вперед!

План — основа основ развития нашей экономики, заложенная Ильичем в первые годы советской власти. Эффективнейший метод социалистического хозяйствования, выработанный и отточенный партийными и хозяйственными кадрами, проверенный многотрудными десятилетиями героической истории страны. Но ведь всякую истину, по словам В. И. Ленина, если сделать ее чрезмерной, можно довести до абсурда. Так и план. Из средства — только из средства! — достижения цели он нередко становится самоцелью. Владимир Ильич предостерегал: «Самая большая опасность, это — забюрократизировать дело с планом государственного хозяйства».

Разве не абсурд, что коллектив, стремящийся раньше других применить более совершенную технологию, оказывается в худшем положении, чем остальные (как выразился один производственник, «сам надевает себе петлю на шею»)?

Главный инженер Кучинского завода керамических блоков Яков Борисович Киршенбаум — человек энергичный, неунывающий. Но и он, когда речь зашла о новом способе изготовления глазурированной плитки, как-то сник:

— Поймите, мы не просим каких-то поблажек, не ждем легкой жизни. Но раз мы стали пионерами нужного дела, поддержать-то нас, черт возьми, следует? Создать для нас благоприятные условия работы должны? Какая, скажите, может быть у людей заинтересованность в поисках и внедрении нового, если это несет одни только огорчения и беды?

Парадокс, нелепость. И причина в одном: в том, что мы часто относимся к плану, словно язычники — к божеству. Что оцениваем работу предприятия лишь по бесплотному понятию «процент». Что забываем слова В. И. Ленина о необходимости принятый план постоянно, внимательнейшим образом изучать и исправлять «на основании указаний практического опыта...»

Вот характерный пример. Железнодорожники просят промышленность давать облегченные колеса, это позволит достичь скорости движения на стальных магистралях в сто сорок километров в час. А Днепропетровский завод имени К. Либкнехта старается делать колеса как раз наоборот — потяжелее, старается вогнать в них побольше металла. Странно? Да ничего странного: выпуск продукции планируется не в единицах изделий, а в тоннах — вот завод и «стареется».

На этой «неувязочке» государство ежегодно теряет двадцать тысяч тонн стали и два миллиона рублей. Заместитель председателя Госплана СССР тов. Василенко однажды распорядился вести учет колес в штуках и по этому, а не по какому-либо другому показателю оценивать работу цеха и премировать инженерно-технических работников. Но легко ли отказаться от привычной, хотя и окостеневшей системы планирования и учета? Видимо, нет: через несколько месяцев тов. Василенко свое распоряжение отменил...

А разве не нелепость, что предприятия, дающее больше продукции с меньшими затратами труда, «отстает» от предприятия такой же мощности, но имеющего более высокие цифры выполнения плана? Ведь планы-то бывают разные — напряженные, завышенные, заниженные. Между тем подобных нелепостей легко избежать, если оценивать работу завода, фабрики, шахты, строительного треста не только и не столько по показателям, выраженным условным языком плана, но прежде всего по действительным достижениям. Например, по абсолютному и относительному приросту выпуска продукции, по фактическому снижению ее себестоимости. При этом сравнительные данные брать не за месяц или квартал, а, скажем, за год. Тогда на предприятии при освоении новой техники всегда найдется время на «разбег».

Разве не нелепость, что изделие, необходимое стране, становится «невыгодным» предприятию? Что ценное изобретение бьет по плану?

Наш известный электросварщик дважды Герой Социалистического Труда Алексей Александрович Улесов вспоминает такой случай:

— Когда наша бригада взялась впервые в стране осваивать ванный способ сварки, нам неожиданно утвердили очень низкие расценки. Дело оказалось в том, что хозяй-

ственники в душе не поддерживали ванную сварку. Они рассуждали примерно так: старым методом план мы выполняем, получаем премии за перевыполнение плана, а новый метод, чего доброго, еще подведет! Ради спокойной жизни и устоявшихся премий они пошли на то, чтобы не очень-то давать дорогу новому.

На одном из южных кабельных заводов продолжительное время почти бездействуют два первоклассных прессы для изготовления кабеля в алюминиевой оболочке. Такой кабель очень нужен стране: он сберегает ценнейший металл — свинец, легче по весу, обходится намного дешевле. Вот это, последнее, и «режет» план. Себестоимость и отпускная цена кабеля в алюминиевой оболочке ниже, чем в свинцовой. А план по валу составляется в рублях. Следовательно, чтобы выполнить план, алюминиевого кабеля нужно выпустить гораздо больше, чем свинцового.

Тогда, может, планировать продукцию следует не в денежном выражении, а в количестве?

Нет, и это, как нам кажется, не выход из положения.

Ценность любого промышленного изделия определяется прежде всего его эффективностью. Телефонный кабель, по которому одновременно передается сто двадцать разговоров, более выгоден народному хозяйству, нежели кабель, «вмещающий» шестьдесят разговоров. Более выгоден для страны и — менее выгоден сейчас для кабельного завода. Почему? Потому что изготовление такого кабеля более трудоемко. Отпускная же цена на него лишь незначительно выше, чем на менее «производительный» кабель. В результате завод тратит больше сил, времени, средств, а получает за это практически столько же, сколько обычно. Понятно, что он постарается «освободиться» от такого рода заказов. При нынешнем планировании так же будет обстоять дело и при переходе на изготовление более производительных станков и прокатных станов, более быстходных тракторов и угольных комбайнов, более вместительных судов и вагонов, более долговечных приборов и инструментов, более мощных генераторов и землеройных машин...

Вывод напрашивается сам собой: планировать выпуск промышленных изделий следует, исходя из их эксплуатационных возможностей. Тогда будет учитываться не только количественная, но и качественная сторона. Тогда на предприятиях будут хвататься за изобретения, будут кровно заинтересованы в производстве новых, более совершенных изделий новыми, прогрессивными способами.

СТЕПЕНЬ ГОТОВНОСТИ

Член Комитета по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР Виктор Николаевич Бакастов на вопрос, чем он объясняет слишком длинный и долгий путь внедрения в производство многих технических новинок, ответил:

— Только одним: их недоработанностью. Отсюда и сложность внедрения. В идеале должно быть так: появилась на заводе новинка — и сразу же ее в дело, сразу же получить осязательный результат, экономический эффект. Словом, максимум выгоды, минимум затрат. Тогда, будьте уверены, на предприятии не откажутся ни от одного стоящего изобретения. Но от идеала мы, к сожалению, еще очень далеки. Доводка, доделка явно неотработанных новых изделий и технологических приемов обычно отнимает много времени, сил и материальных средств. Поэтому на предприятии немало поразмыслят, прежде чем браться за внедрение даже очень нужного изобретения.

Степень готовности изобретения к практическому использованию, к «работе» — проблема чрезвычайно важная.

Вопрос, казалось бы, наивен до смешного. Что лучше: потратить в лаборатории, конструкторском бюро, на испытательном стенде — в общем там, где создается изобретение, — лишний час, день, месяц, чтобы отшлифовать в новой машине каждый винтик, отладить каждый технологический прием, или заставить делать это производственников, вынуждая их по многу раз переставлять оборудование, перекраивать оснастку — одним словом, заниматься экспериментальной работой и одновременно выполнением текущего плана? Ответ совершенно ясен. Однако ж...

Мне довелось недавно побывать в Климовском СКБ (специальном конструкторском бюро текстильных машин). Вот уж два года здесь ведется интереснейший и перспективнейший изобретательский поиск.

Ткацкий станок — одно из древнейших творений человеческого разума. Он появился на свет за пять тысяч лет до нашей эры, и Фридрих Энгельс приравнивал его изобретение к таким эпохальным событиям истории, как начало плавки руд и обработки металлов. На пути от примитивного ручного «стана для тканья» к современному ткацкому автомату станок претерпел бесчисленные метаморфозы. Менялись его конструктивные принципы, рабочие характеристики, внешний вид. Но одно оставалось почти неизменным: движение главного рабочего органа — челнока с заключенной в нем утробной нитью. Как века назад, он и поныне с оглушающим треском снует из края в край широкой полосы «основы». Тянется из него, из железного кокона, нить, ложится рядом с тысячами таких же нитей, чтобы, тесно прижавшись к ним, слиться с ними в фактуре новой ткани.

Климовские конструкторы создали ткацкий станок без челнока. Такой станок не надо то и дело останавливать, чтобы менять в нем шпулю. Нить, почти что бесконечная, мчится с огромной скоростью «сама», увлекаемая струей сжатого воздуха. Оригинальнейшее создание талантливой коллектива! Его авторы, еще не подав изобретательской заявки на станок в целом, уже получили несколько авторских свидетельств на отдельные его узлы.

Первый промышленный образец такого станка к концу нынешнего года Климовскому конструкторскому бюро предписано изготовить и испытать. Скажем прямо, срок не очень большой. Всемирно известная швейцарская фирма «Братья Зульцер», например, выпускающая отличное текстильное оборудование, отработывает новые конструкции ткацких станков десятки лет!.. Но сейчас дело не в этом.

Сейчас речь идет о другом. Первую промышленную серию станков по образцу, сделанному в СКБ, запланировано выпустить на Климовском машиностроительном заводе... тоже в этом году.

Спрашивается: как же завод это осуществит? Одновременно с работой конструкторов над опытным образцом? До его испытаний? А если испытания покажут необходимость серьезных переделок? Приступить к серийному производству нового станка «втемную»? Рискнуть? В крайнем случае доводить его самим, на ходу, кинув на это лучших специалистов и рабочих? Но это значит поставить под угрозу месячный, кварталный и годовой планы (дело ведь будет происходить в октябре — декабре!). Не слишком ли велик риск? А не лучше ли подождать, пока конструкторы закончат работу? Во всяком случае будет куда надежнее.

Я не знаю, как в данном случае поступят на Климовском машиностроительном заводе. Но хорошо запомнил фразу, оброненную в разговоре начальником Климовского СКБ Львом Дмитриевичем Голубевым:

— За план с директора завода спрашивают каждый день. А за новую технику, ну, раз, что ли, в квартал. Сорвет завод месячную программу — с директора шкуру снимут. Такой шум поднимут и столько на всю округу шуметь будут — только держись!.. А не выполнит мероприятие по новой технике — самое большое, дадут выговор. Да и то скоро о нем забудут.

Может, в Московском областном совнархозе, планируя заводу выпуск первой серии бесчелночных станков, не знали о том, что еще не готов и не испытан опытный образец? Нет, отлично знали: завод и СКБ подчинены одним и тем же людям. А вот поди же...

«Поспешай медленно» — этот принцип оберегал наших предков от многих бед. Работники руководящих и планирующих органов, решая вопросы внедрения новой техники, порой «поспешают» торопливо. Не задумываясь о степени готовности только что созданных изделий и технологических процессов к «самостоятельной жизни». Не забывая и не тревожась за судьбу новшеств. Подбадривая себя и других призывно-трубным «давай-давай!».

При этом себя скорее ослепляют, других оглушают. Изобретателей, конструкторов, ученых торопят выдавать в промышленность явно недоработанные, «сырые» вещи.

Тем самым ставя под угрозу судьбу новинок, ибо легче всего их загубить «на корню». А в производственниках, хозяйственниках «воспитывают» чрезмерно настороженное, побеликовски боязливое, перестраховочное отношение к новой технике.

Степень готовности особенно важна, когда речь идет об изобретениях кардинальных, о новшествах, круто меняющих производство, закладывающих в него иные основы и принципы. Особенно важна, должно быть, потому, что в таких случаях степень готовности проявляется не только в неодушевленных вещах, в «безмолвных предметах неорганического мира», но и в самих людях.

Пример с заключением английского кабинета министров об экономической бесперспективности реактивной авиации говорит о том, что столь скептическую оценку дали все же не специалисты, а политики. Бесчелночный ткацкий станок еще несколько лет назад вызывал иронические смешки и категорические отрицательные отзывы некоторых инженеров и ученых-текстильщиков. Особенно во ВНИИтекмаше — Всесоюзном научно-исследовательском институте текстильного машиностроения. Это тоже степень готовности, и, к сожалению, очень низкая степень готовности людей принимать и верно оценивать новые технические идеи, открытия, изобретения.

Помню, приехав впервые в Климовск, я удивился: почему в СКБ над бесчелночным станком — проблемой самой, пожалуй, здесь масштабной — работают всего несколько конструкторов?

— Людей не хватает?— спросил я Голубева.

— Людей-то хватает,— ответил Лев Дмитриевич.— Да не имеет пока смысла ставить на это многих конструкторов.

— ?!

— Мы ведь еще только технологию пневматического ткачества разрабатываем. Процесс формирования ткани очень сложный, тонкий. А тем более без челнока. Изучаем его, так сказать, эмпирически, ведь теории-то бесчелночного ткачества нет. Экспериментируем, исследуем. Ищем оптимальные режимы. Словом, проводим теоретические изыскания. Когда все станет ясным, тогда и засядем вплотную за конструирование.

— Но вы же не научно-исследовательский институт, вы же СКБ!

Голубев молча вытащил из ящика стола лист бумаги и протянул мне.

Это было заключение комиссии республиканского Комитета по координации научно-исследовательских работ. В нем говорилось, что работы климовских конструкторов по созданию нового-станка обогнали теоретические разработки в области бесчелночного ткачества, проводимые (а вернее, не проводимые!) во ВНИИтекмаше. Институту предлагалось «обобщить практический опыт» климовцев. Так сказать, подвести теоретическую базу постфактум.

Но теперь, когда бесчелночный станок по существу создан, его авторы вряд ли особенно нуждаются в советах, разъяснениях, рекомендациях теоретиков.

Наука — служанка практики. Однако это вовсе не значит, что сегодня наука служит человечеству точно так же, как служила сотни и даже десятки лет назад. Повышается ее «активность», усиливается воздействие на практическую деятельность людей. Из мудрого толкователя явлений и фактов она все более превращается в смелого и проныцательного разведчика, умелого и зоркого поводыря. «...Венец научной работы есть предсказание», — писал знаменитый русский физик Николай Алексеевич Умов.

Теоретические разработки не нужны ни для чего, кроме как для практики. Значит, они должны идти впереди нее, освещая и облегчая ей путь. Только такая наука и есть настоящая наука, в которой нуждается человечество, в том числе и самые беспокойные, дерзкие и неутомимые его представители — изобретатели.

Эдисон, как известно, проделал десятки тысяч опытов, создавая щелочной аккумулятор. Эксперимент и в наше время занимает почетное место в арсенале поисковых средств ученых, изобретателей, конструкторов. Но эксперимент не с завязанными глазами, не на ощупь, а высвеченный теорией, ею подготовленный и объясненный. «Метод проб и ошибок» — не самый короткий, надежный и экономичный метод поиска. Это вынужденный путь. И в данном случае его можно было избежать.

Разве не известно ВНИИтекмашу, который по положению головного института в отрасли обязан выполнять роль впередсмотрящего, что производительность труда в ткачестве на челночных станках почти достигла предела? Что скачок в этом направлении может быть достигнут только переходом к бесчелночному ткачеству? Достаточно привести такой расчет: замена в стране всех механических и автоматических станков пневматическими позволила бы почти на семьдесят процентов увеличить производство тканей.

А ведь бесчелночный станок мог бы значительно раньше прийти в нашу текстильную индустрию, если бы во ВНИИтекмаше не приняли эту идею сначала резко отрицательно. Потом к ней стали относиться с нескрываемой иронией. И лишь после долгих уговоров со стороны практиков сменили гнев на милость. При этом «милость» выглядела примерно так: ну что ж, мешать не будем, но и на помощь нашу не рассчитывайте.

Трудны не научные истины, писал Александр Иванович Герцен, «а расчистка человеческого сознания от всего наследственного хлама, от всего осевшего ила, от принижения неестественного за естественное, непонятного за понятное».

Степень человеческой готовности — готовности ловить, подхватывать «идеи, витающие в воздухе», — зависит не только от этих идей, от того, насколько назрело их рождение, но прежде всего от самих людей. От их умения сбрасывать груз устаревших воззрений и тенденциозных мерок, рвать пути традиционных представлений. Если хотите, от их смелости и самостоятельности мышления, от талантливости, от внутреннего чутья и широты эрудиции, от беспокойности характера, от устремленности вперед.

А раз так, то не следует ли в конце концов прямо и откровенно требовать это у тех, от кого зависят судьбы изобретений, рождение и жизнь новшеств! Требовать решительно, без ложной стеснительности. Так же, как мы требуем технических знаний, организаторских навыков, хозяйственного опыта от тех, кому доверяем руководство промышленностью. Так же, как требуем профессиональной пригодности и умения от каждого на любом посту.

Но ведь тут не спросишь «в лоб», не вменишь в обязанность, не убедишь приказом. Косное отношение к новому не укладывается в анкетные рамки, не обнаруживается так же, как повышенная температура у больного. Оно обойдет любую инструкцию.

Привычное, традиционное порой так цепко, так ухватисто, что излишняя осторожность представляется нам предусмотрительностью, перестраховка — расчетливостью. В едва прикрытом консерватизме мы зачастую хотим видеть нечто вполне «разумное» и уж во всяком случае не больше, чем порожденное «объективными» причинами «доброосветное заблуждение».

Однажды в беседе со мной лауреат Ленинской премии доктор технических наук Иоханнес Александрович Хинт заметил как бы между прочим:

— Один наш известный ученый утверждает: чтобы новое в науке и технике завоевало признание, требуется не меньше десяти лет.

Я был удивлен его тоном — спокойным, даже веселым.

— И вы с этим согласны? — спросил я. — Десять лет на то, чтобы доказать свои преимущества!

— Не доказать преимущества, а завоевать признание.

— Разве это не одно и то же?!

— О, разумеется, нет. Возьмите силикальцит. Высокие свои качества он доказал совершенно неоспоримо. А вот признание получил далеко не везде.

О созданном И. Хинтом и его помощниками новом строительном материале я много слышал еще до приезда в Эстонию. А побывав там, убедился, что чудесный искусственный камень вполне достоин восторженных отзывов.

Силикальцит готовится из песка и извести. Это первое, что в нем подкупает: сырье имеется повсюду и в любом количестве (между прочим, в Таллине исследовали песок более тысячи советских карьеров и многих зарубежных карьеров, он во всех случаях оказался вполне пригодным для силикальцита).

Однако из природного песка сразу сделать силикальцит невозможно. На вопрос «почему?» сам изобретатель отвечает довольно образно:

— По той же самой причине, по которой нельзя испечь булку из неочищенных и немолотых зерен пшеницы.

С каждой песчинки надо снять «шкурку», крепкую и твердую, как сталь.

И. Хинт нашел способ особого размола природных песков и создал технологию получения из них и извести такого строительного материала, который во многом превосходит цемент.

Превосходит цемент? Превосходит то, что мы по праву и с гордостью называем хлебом строительства? То, что составляет основу основ нашей строительной мощи? То, без чего мы не имели бы ни заводов, ни электростанций, ни городов, ни дорог? Возможно ли такое?!

Борьба за цемент стала такой же давней и славной традицией, как борьба за нефть, сталь, электроэнергию. Показатель производства «главного строительного материала» — своеобразный барометр хозяйственной жизни страны. Ну может ли для строительной индустрии быть что-то лучше, важнее, нужнее цемента?!

В принципе, теоретически, «вообще» никто такой возможности, естественно, не отвергает. Однако на практике ее отрицают многие.

Лабораторные опыты и испытания в условиях длительной эксплуатации, скрупулезные подсчеты показали, что во многих случаях силикальцит прочнее и долговечнее бетона. Что изготовление его быстрее, проще и менее трудоемко. Что строительство силикальцитных заводов требует гораздо меньше материальных затрат и времени, чем цементных. Что производство силикальцитных изделий значительно дешевле, нежели бетонных...

Ну что здесь, казалось бы, раздумывать? Всемерно двигать вперед производство нового строительного материала — и точка. Оно и движется — благодаря инициативе, самодеятельности местных организаций, которым позарез нужен дешевый, простой в изготовлении, отличный строительный материал. Движется не при поддержке главного строительного штаба страны — Госстроя СССР, а наперекор ему.

Десятки силикальцитных заводов и цехов выросли в стране — в Эстонии и в Голодной степи, на Украине и в Сибири, в Причерноморье и на Алтае, под Ленинградом и в Москве. Силикальцит, который один американский бизнесмен назвал «спутником советской строительной индустрии», шагнул и за рубежи нашей страны. Лицензии на его производство приобрели Италия и Япония, к нему проявляют большой интерес и в других государствах.

И. Хинт вместе с создателями других силикатных крупногабаритных изделий в этом году был удостоен Ленинской премии. Слава силикальцита растет, как бегущая к берегу морская волна. И так же, как морская волна, она разбивается о неприступные стены Госстроя СССР. Здесь долгое время новый строительный материал встречал непонятное и упорное сопротивление. Силикальцитные заводы в большинстве строились не в виде крупных современных предприятий — Госстрой не давал на это своего благословения, — а в качестве подсобных цехов при машиностроительных и металлургических заводах, при местных хозяйственных организациях. Они сооружались без типовых проектов, без утвержденных нормативов, не получали оборудование в централизованном порядке, а изготавливали его кто как может, иногда полукустарным способом.

О силикальците написаны сотни хвалебных статей и очерков. Неудивительно: у него множество сторонников. Но, как видим, немало у него и недругов. Однако мне ни разу не пришлось прочитать отрицательный отзыв о силикальците. Нелогично? Напротив, вполне логично: во-первых, трудно белое во всеуслышание назвать черным; во-вторых, недруги силикальцита — это чаще всего не столько убежденные его противники, сколько ярые поклонники других строительных материалов, прежде всего цемента. А поклонение всегда в какой-то мере слепо. Оно, вероятно, и мешает признать, что лучшее — враг хорошего.

Член президиума Академии строительства и архитектуры Борис Григорьевич Скрамтаев рассказал мне о колоссальных успехах нашей страны в развитии цементной промышленности. За последние десять лет производство цемента выросло более чем в четы-

ре раза. Многие наши цементные заводы и по мощности и по оснащенности — предприятия экстракласса. Уже в самое ближайшее время (видимо, не в годы, а месяцы) мы догоним США по выпуску цемента.

— Мы и на дальнейшие годы предусматриваем крутой рост производства цемента,— подчеркнул Б. Г. Скрамтаев.

— А по силикатным материалам, в частности по силикальциту? Намечены ли конкретные рубежи на ближайшие годы?—спросил я.

— Нет. Должен сказать, что ни на семилетку, ни на двадцатилетие производство силикальцита не запланировано. Дело в том, что до последнего времени известь считалась местным материалом.

Но ведь и природный газ считался когда-то (сравнительно не так уж давно) местным топливом. А силикальцит имеет уже десятилетний «производственный стаж»!

Не всегда легко преодолеть в себе силу инерции, сломить собственное сопротивление новому. Не потому ли заместитель начальника отдела стройматериалов Госстроя СССР Ю. В. Николаев так старательно избегает всякого разговора о перспективах использования силикальцита?

Но еще труднее в наше время придерживаться догм в науке и технике. Ибо никогда прежде столь быстро не «старелись» новшества, столь решительно не переоценивались взгляды и теории, столь быстро и смело не прогрессировала наука, не развивалась техника, не обновлялось производство.

Когда речь идет о применении на практике научных открытий, о претворении в жизнь изобретений и рационализаторских предложений, об использовании в производстве новой техники, мы неизменно произносим слово «внедрить».

В различных толковых словарях русского языка слово «внедрить» объяснено так: заставить укреплиться в чем-нибудь, заставить прочно войти куда-то, заставить утвердиться в чем-либо.

Заставить. Сделать что-то, сломив сопротивление, преодолев препятствия.

Конечно, сопротивление старого новому в какой-то степени неизбежно и даже естественно. Но сейчас мы говорим о причинах, искусственно сдерживающих технический прогресс. И таких причин, разумеется, гораздо больше, нежели их удалось назвать в статье.

Тут и недостаточно четкая, непродуманная информация о технических новинках (доходящая иногда до анекдотов — когда, скажем, Ленинградскому совнархозу усиленно рекомендуют изобретение в области... искусственного осеменения овец). И «страстное» стремление отдельных хозяйственников к «спокойной жизни» с проистекающей отсюда леностью мысли. А иногда и прямое сопротивление новому, порожденное завистью к талантливому автору, корыстолюбием, карьеризмом, и другие подобные проявления морального уродства. Такие факты требуют разоблачения и осуждения всеми возможными средствами.

Цель же этой статьи — откровенный разговор о некоторых причинах, сдерживающих максимальное использование в производстве изобретательских находок и удач. О некоторых сторонах очень большой и многогранной проблемы, имеющей исключительное значение для создания материально-технической базы коммунизма.

Техническое творчество в нашей стране имеет давние и замечательные традиции. Пожалуй, нам легче, чем другим, осуществлять научный и технический прогресс. Творчество у нас «в крови», изобретательство, новаторство, поиск сродни самому духу нашего строя. Ведь социализм в СССР — это тоже поиск, тоже новаторство, ибо подобных примеров история не знала. Это тоже разведка — для всего человечества. Это тоже эксперимент — только не сравнимый по масштабам, значимости, целям ни с какими научными и техническими опытами. Наконец это тоже «материализация» науки — воплощение в жизнь марксистско-ленинского учения.

Традиции изобретательства в СССР начали складываться буквально в колыбели советского строя. Под грохот пушек и боевые революционные песни, под звон лопат, долбивших мерзлую землю, чтобы построить на ней заводы, электростанции, города. Тогда изобретательские задачи не столько выросли из назревших проблем науки и

техники, сколько диктовались — прямо, «в лоб» — военной, политической обстановкой. Тогда вели технический поиск, чтобы выжить, выстоять.

В разоренной, голодной, холодной России невиданно скоро было применено на практике выдающееся изобретение Р. Э. Классона — гидроторф (гидравлический способ добычи торфа). Страна осталась без угля и нефти, борьба за топливо стала борьбой за само существование советской власти. И для осуществления гидроторфа было сделано все: изысканы средства, найдены материалы, привлечены специалисты.

Мы начинали строить голыми руками. У нас многого не хватало, еще большего и вовсе не было. Резина, например, требовалась всем — металлургам и горнякам, военным и строителям, шоферам и фармацевтам. Но резины не было потому, что ее не из чего было производить: каучук в России не рос. Советское правительство объявило международный конкурс на создание способа получения искусственного каучука. И такой способ был разработан советским химиком Сергеем Васильевичем Лебедевым.

Подобных примеров тысячи. Мы сами в своих лабораториях, в своих цехах и конструкторских бюро открывали секреты производства, которые от нас тщательно оберегали, изобретали машины, потому что нам не желали их продавать, разрабатывали собственные технологические приемы и методы труда, чтобы догнать, а затем и перегнать других.

И те, другие, сначала над нами смеялись, затем удивлялись, потом немели — скорее от ужаса, нежели от восторга. И — начинали спрашивать, учиться, заимствовать у нас.

Нет нужды сегодня доказывать ведущее положение в мире советской науки и техники. Это отлично знаем и мы сами, и наши друзья, и наши недруги. Но мы вовсе не закрываем глаза на то, что начинает сдерживать натиск наступающей техники, откровенно и всенародно обсуждаем меры, которые следует предпринять, чтобы убрать преграды на ее пути.

Каждый общественный строй вырабатывает свои стимулы прогресса техники, собственные экономические рычаги развития производства. Капитализму сотни лет. Частная же собственность существует тысячелетия. «По ту сторону» человеческой истории, до Октября 1917 года, веками вырабатывались экономические рычаги развития производства, переплавляющие в звонкую монету людские силы, разум, волю, устремления. Веками утверждался единственный стимул прогресса техники — всеобщая беспощадная конкуренция. Социалистическому строю всего сорок пять лет. Его молодость не в одном лишь возрасте. Он гарантирован от «старения» еще и потому, что постоянно обновляет и развивает не только технику производства, но и методы хозяйствования, творчески ищет и находит самые целесообразные пути развития своей экономики.



Читатели обсуждают вопросы школы

В. СЕМЕНИХИН,

учитель



УЧИТЬ И УЧИТЬСЯ РАЗУМНО

Наша Бузовская одиннадцатилетка по составу учителей и другим показателям считается лучшей в Жашковском районе Черкасской области. Но вот что обнаружилось во время недавней проверки: успеваемость в пятых — десятых классах по украинскому языку — семьдесят пять процентов, русскому — пятьдесят три, математике — семнадцать, а в двух классах даже нуль процентов!

Подумать только: двадцать пять, сорок семь, восемьдесят три, а то и все сто процентов брака! В чем же дело? Плохи учителя? Нет, это результат превращения учения в заучивание.

Главное лицо в школе — учитель, однако главное в обучении зависит не от него. Нынешняя программа по литературе, например, требует от учащихся знать наизусть отрывок «Русь — тройка» из «Мертвых душ» Гоголя. Отрывок несомненно хорош. Но что дает учащимся заучивание его? Ведь они все равно тотчас забудут текст. А зубрежка вызывает лишь неприязнь к такому «учению». Во сто крат разумнее было бы научить учеников умело прочесть отрывок.

Кто же повинен в том, что в школах укоренилась зубрежка? Многие склонны обвинять в этом нас, учителей. Но как же, скажем, поступать мне, словеснику, если в изданных в этом году Министерством просвещения Украины билетах по русской литературе для экзаменов в девярых классах все пятьдесят два вопроса (все до единого!) требуют заучивания? Ученик должен запомнить наизусть одиннадцать текстов. Так что же я скажу ему, что посоветую? Меня, конечно, так и подмывает крикнуть во весь голос: «Не зубри!» — но ведь билеты — государственный документ, и я немею.

Те же билеты требуют запомнить (заучить) биографии Грибоедова, Пушкина, Лермонтова, Гоголя, характеристики созданных ими персонажей... Не ясно ли, что школьнику нужно уметь хорошо разобраться во всем этом, понять, а не просто запомнить.

Вот приехал в школу инспектор. Чем он интересуется? Прежде всего проверяет, что ученики помнят. Отсюда он и делает выводы об их знаниях.

Грамотность учащихся проявляется во всем, что они пишут. Просмотри тетради — и ты составишь себе ясное представление об уровне их грамотности, а заодно подстернешь и нерадивого учителя, который плохо эти тетради проверяет.

А что делает инспектор? Он заставляет детей писать под диктовку нарочито «каверзные» тексты.

Когда я пишу, я пользуюсь словами, в написании которых не сомневаюсь. В противном случае меня выручат справочники. Это — в жизни. А в школе? Здесь учащегося лишают права заглянуть в словарь, проконсультироваться у учителя. Правда, иногда учитель, чтобы не подвести своих воспитанников, читает тексты так, что не написать их правильно трудно. Но ценой какого унижения это достигается!

Другой пример. Шестиклассники в начале учебного года решали определенный тип задач и, как это часто бывает, через полгода его забыли. Но в конце года прибыл ин-

спектор и потребовал решить задачу как раз этого (уже забытого) типа. Результат, конечно, плачевный. Утратить знания так же естественно, как и приобрести их. И совершенно неразумно пытаться избежать их утраты искусственно: путем зубрежки.

«Нам не нужно зубрежки»,— указывал В. И. Ленин. Это ясное и четкое указание органы министерств просвещения до сих пор обходят. Они даже не осознали того, что заучивание и зубрежка — одно и то же.

Ради чего мы учимся? Обычно говорят: ради знаний. Школа, преподаватели вооружают учащихся знаниями основ наук. Хорошо. Но основы наук можно изучать и ради того, чтобы их просто механически запомнить, и ради того, чтобы стать умелым, обученным. Преимущества второго вида знаний очевидны. Ибо грош цена человеку, хотя и напшигованному разными сведениями, но на деле беспомощному. Из всех приобретений учащегося практическое умение В. И. Ленин считал ценнейшим. Между тем школа стала прививать не умение, а именно запоминание.

Пришло время учить и учиться по-новому. И это принесет реальные выгоды и учащимся и государству. Ведь существующее обучение вынуждает учащихся большую часть своих усилий тратить совершенно впустую, ибо наша память удерживает лишь самое необходимое, без чего не прожить, а остальное отсеивает. Стремление удержать «наизусть» в памяти учащихся всё, что они изучают, так же нелепо, как попытка удержать в них тот воздух, который они вдыхают и выдыхают. Думать, что знания ученика станут особо прочными оттого, что он лишний раз повторит их, наивно.

Спросите школьника, как он готовится к урокам, и он скажет: «Читаю учебники до тех пор, пока не запомню заданное. Прочитаю раз пять-шесть. Если могу точно рассказать прочитанное, значит выучил, если нет, то опять читаю».

Таким образом, зубрежка, на словах отрицаемая, нередко даже «преследуемая» методистами,— характернейшая черта существующей системы обучения. Под влиянием традиции зубрежка и — как следствие ее — растраниживание учебного времени и усилий детей приняли у нас форму стихийного бедствия.

О том, что для обучения совершенно недостаточно запоминания различных сведений, знали давно. Еще Ян Коменский писал: «От многих раздаются жалобы, да и факты это подтверждают, что только немногие ученики выносят из школ основательное образование.... Это происходит либо потому, что в школах... обращают внимание на ничтожное и пустое, либо потому, что ученики снова забывают то, что они выучили... Этот второй недостаток настолько распространен, что мало людей, которые на него не жаловались бы». А вот что писал об этом же К. Д. Ушинский: «Наши школы... много сыплют в детей и редко справляются, осталось ли что-нибудь из насыпанного. Хорошо еще, если ученик меньше забывает, чем учит; но если приход с расходом равен, то остается в голове нуль и еще хуже, чем нуль,— привычка ничего не усваивать прочно и забывать быстро».

Когда человек поступает на работу, у него не спрашивают, что он помнит и чего не помнит, а прежде всего интересуются, что он умеет делать. Когда человек выполняет те или иные обязанности, ему больше всего нужно умение. Повторение, при котором мы зря тратим время и усилия, не только не способствует, но мешает развитию нашего умения. Ведь чем больше мы повторяем ускользающие из памяти знания, тем меньше заботимся о приобретении практических навыков. Умение развивается от упражнений. Для того, чтобы научиться грамотно писать сочинения, надо побольше писать их, а не повторять правила их написания. При этом, понятно, будут использованы и правила.

В особых случаях повторение, конечно, необходимо. Актер, например, чтобы сыграть свою роль на сцене, должен заучить ее: такова специфика его профессии. Но и такое заучивание предполагает проникновение в суть образа, постижение этой сути — то, что называют перевоплощением актера, то есть качества отнюдь не механические...

Если мы действительно хотим улучшить обучение, мы должны вооружить учащихся тем, что В. И. Ленин считал важнейшим — умением. В первую очередь умением постоянно учиться, развивая трудовые способности и прививая навыки творческого труда. Вот цель. Чтобы жить, надо уметь что-то делать. И если речь идет о самых общих умениях, присущих всем людям без исключения, то вырабатывать их обязана школа.

«Основу коммунистического воспитания, всестороннего развития личности составляет творческий труд. Труд всегда был и будет источником существования и развития людей», — говорил Н. С. Хрушев в докладе о Программе КПСС на XXII съезде партии. Школа должна дать учащимся мощный толчок в этом направлении — такой толчок, воздействие которого не прекращалось бы в течение всего их жизненного пути. И нет сомнения: привыкший жить в школе трудовой жизнью иной жизнью не соблазнится.

Школа должна выработать у человека привычку никогда не расставаться с книгой. Это залог того, что он сможет всегда с ее помощью пополнить знания, восстановить в памяти забытое.

Говоря о методике обучения, следует напрямик сказать и о том, что преподаватели наши сами превратились в очень узких специалистов. Элементарное правило: чего от себя не требуешь, не требуй и от учащихся, в школе не соблюдается. Ведь не секрет: ни один член экзаменационной комиссии не смог бы экспромтом сдать экзамены на аттестат зрелости. А ведь это люди с высшим образованием, с достаточным жизненным опытом. Уже один этот факт убедительно доказывает, что учим и учимся мы неразумно.

Мне могут возразить: есть вещи, без запоминания которых учащимся не обойтись. Согласен. Но их немного, и не составляет особого труда усвоить и запомнить их.

Спору нет, таблицу умножения нужно, конечно, запомнить. Но и это достигается не только заучиванием, но и решением подсказанных жизнью задач. Нужно запомнить и некоторые понятия математики, физики и других наук. Но и тут многое требует понимания, а не запоминания, хотя отдельные формулы в результате частого применения их будут неизбежно запоминаться. Специалисты по другим предметам подскажут минимум того, что надо обязательно держать в памяти. Я же остановлюсь на близком мне предмете — литературе и грамматике. Нужно, конечно, знать, что в русских словах возможны лишь сочетания жи, ши. Но какой смысл зазубривать это правило, если при частых встречах с соответствующими словами (жир, ширь и другими) в процессе их чтения и написания оно запомнится само собой?

Как и всем приобретенным в ходе обучения, грамотностью необходимо пользоваться постоянно — иначе ее забудешь. Поэтому мало обучить человека грамотности: гораздо важнее привить ему привычку постоянно пользоваться ею и, главное, регулярно читать и писать. Тот, кто это делает, всегда останется грамотным. Чтение не только помогает сохранить грамотность, оно лучшее средство приобрести ее. М. Горькому и некоторым другим выдающимся писателям изучать грамматику не приходилось: высокограмотными они стали благодаря чтению-писанию.

Правила грамматики не забывают не потому, что их прочно заучили, а потому, что ими пользуются. Неиспользуемые знания в голове не удержишь.

Итак, нет и не может быть оправданий обучению, девиз которого — заучивай! Необходимо другое: учи, не заучивая.

Что это означает практически? Мой опыт словесника позволяет лишь частично ответить на этот вопрос. Вот как учил я раньше и как учу детей теперь.

Раньше, пользуясь нынешней методикой, я заботился более всего о том, чтобы самому быть активным на уроке, а то, что это ведет к пассивности учащихся, упускалось из виду. Теперь же я больше всего забочусь об активности своих учеников. Поэтому все, что положено делать им самим, они делают на уроках.

Раньше на уроке я «проверял», как выполнено домашнее задание, объяснял правила, «закреплял их», давал новое задание на дом. Но так как все это «делалось»... языком, то ни проверки (тетради могли даже не собираться), ни закрепления знаний (оно невозможно без их применения) здесь не было.

Теперь же, разобравшись в допущенных ошибках, ученики знакомятся с очередным правилом и тут же его применяют, выполняя ряд упражнений. В конце урока они показывают мне, что сделано ими, и если окажется, что часть работы или вся она плохо выполнена, ученик обязан ее переделать — переписать. Этот последний момент, как известно, нередко упускается. Между тем строжайший контроль — залог высокого качества труда — нужен не только производству: еще нужнее он школе. Ни одной плохо

выполненной работы учитель не должен брать на проверку, если он хочет добиться действительного умения от своих учеников.

Раньше из-за безудержной болтовни на уроках ученикам поневоле приходилось главное — упражнения — выполнять дома, где они, предоставленные самим себе, выполняли их небрежно, а то и просто списывали у других.

Теперь же все упражнения выполняются у нас в присутствии учителя, под его наблюдением, а дома детям остается лишь побольше читать. Таким образом устраняется главный источник их перегрузки и повышается качество обучения.

Раньше основной источник грамотности — чтение книг — практически не использовался. Конечно, недостатка в советах побольше читать не было. Но так как чтение ничем не поощрялось (от него не зависела даже оценка по литературе), то охотников читать было мало. Теперь же, когда оценка по литературному чтению стала зависеть от количества прочитанного, дети читают больше, охотнее. Разумеется, на их грамотности это сказывается не сразу, но непременно сказывается.

Таким образом, при новом методе обучения у учащегося будет неизмеримо больше возможностей не только овладеть главным — умением, но стать самостоятельным деловым и высоконравственным человеком, любящим труд и способным мыслить, — словом, таким, каким мы и хотели бы его видеть при коммунизме.

Говорят, без знаний, приобретенных в первом классе, нельзя учиться во втором и т. д. Это неоспоримо. Но все дело в том, как понимать эти знания. Ведь одно дело — уметь разобраться в читаемом (основное, если не единственное условие успешного обучения) и совсем другое — запомнить его. Чем строже требовать первое, тем больше станет преуспевающих, а чем строже требовать второе, тем больше станет... двоечников.

Если судить по нынешней системе экзаменов, наш школьник овладевает таким грузом знаний, который он, как ношу, обязан тащить с собой только для подтверждения самого факта своей образованности. Кому не известно, как немного сохраняет нам память из того, что столь усердно заучивается на уроках грамматики, литературы, истории, арифметики, алгебры, геометрии, тригонометрии, химии, физики, ботаники, зоологии, анатомии, географии? Основную же часть «ноши» поглощает Лета. Каждый взрослый подтвердит это личным опытом.

Не загружать, а разгружать надо память. Мне и помимо школьных сведений (их я, кстати, всегда могу восстановить в своей памяти с помощью любого справочника, для того и существующего, чтобы мы напрасно не обременяли головы бесчисленными запоминаниями) приходится помнить много. И, право же, до того ли мне, чтобы непременно помнить при этом еще подробности науки не моего профиля? Ведь силась удержать их в памяти, я рискую стать человеком, не помнящим главного, важнейшего. Так сама жизнь вынуждает нас помнить необходимейшее.

Зачем же мучить учащегося запоминанием того, что забывается? Пора, давно пора прекратить этот сизифов труд. Нужно ему разрешить, даже обязать его, пользоваться на экзаменах любыми справочниками. Его надо научить пользоваться ими, чтобы он понял, как надо пользоваться ими систематически.

Значит, контрольные сочинения будут писаться при открытых учебниках и словарях? Но что же в этом плохого? Появится больше пятерок? К этому мы и стремимся. Исчезнут шпаргалки? Туда им и дорога! Экзамены станут проще и легче? И это превосходно! Еще больше процветет плагиат? Нет. Ведь плагиат — продукт наших запретов и зубрежек. Устраните их, научите детей писать свои сочинения, и они на чужое не позарятся. Наконец кто же в жизни не пользуется справочниками? Только те, кто не обучен этому. Ученые же, писатели, различные специалисты без них и шагу ступить не могут.

На экзаменах теория должна быть четко отграничена от практики. Назначение теоретических экзаменов — проверить умение разбираться в учебниках. Если учащийся, предварительно прочитав в присутствии экзаменатора один-два параграфа, толково изложит их, это будет означать, что учебник усвоен теоретически. А балл ему выставят за глубину изложения. При таких экзаменах сами собой опадут бесчисленные требования сократить объем программы и учебников.

Назначение практических экзаменов — проверить качество приобретенного учащимся практического умения. Уметь постоянно учиться, писать сочинения, решать задачи,

делать нужные вещи, выращивать растения, содержать жилище — вот объекты этих экзаменов. Почти все здесь оценивается «в натуре» — подобно умению столяра, которое оценивается по сделанному им столу или шкафу.

Еще в декрете ВЦИК от 16 октября 1918 года за подписью Я. М. Свердлова говорилось: «Задавание обязательных уроков и работ на дом не допускается». Это было разумное решение, и пусть не в такой категорической форме, но ему уже давно пора бы стать для нас обязательным.

Место обучения детей — школа. А на дом, кроме чтения книг, можно давать лишь то, что способствует выработке навыков физического труда.

Да и чувство гуманности вопит: образумьтесь! По пять-шесть часов находятся дети в стенах школы, а вам все мало. И во имя зубрежки вы лишаете их интереснейших дел и занятий: чтения, физического труда, музыки, спорта, помощи родителям. Домашние задания отнимают у них все радости жизни.

Вот мысли, которыми мне хотелось поделиться. Может быть, не все здесь верно. Может быть, многое толкнет на споры. Что ж, пусть выскажут свои соображения другие читатели. Одно несомненно: методику обучения детей в школе надо резко изменить. Этого требует жизнь.

с. Бузовка, Черкасская область УССР.



Л. АЙЗЕРМАН,

учитель

★

К МИРУ ПРЕКРАСНОГО

Однажды мне пришлось столкнуться с таким весьма характерным фактом: ученики девятого класса заявили, что они внимательно прочли «Записки охотника» и все-таки не нашли в книге тех мест, где Тургенев выступает против крепостного права. Привыкнув выучивать по учебнику «идейные содержания» произведений, они не понимали языка образов, на котором говорит художественная литература, выражающая свои мысли в живых картинках и сценах.

Еще в 1952 году Александр Фадеев с тревогой говорил о том, что в нашей школе часто литература рассматривается всего лишь как иллюстрация к истории, к тем или иным социологическим положениям, без всякого намека на то, что литература прекрасна.

С тех пор прошло десять лет.

На уроках, в учебниках, в методических пособиях все чаще и чаще стало говорить о языке, приемах раскрытия характера, роли пейзажа, о стиле... Казалось бы, дело пошло на лад: литература изучается как мышление в образах, как искусство.

Но вот перед нами учебник литературы, по которому в эти годы знакомились школьники с творчеством Пушкина, Лермонтова, Гоголя. В главе о Пушкине анализируется образ Татьяны Лариной, в главе о Гоголе даны характеристики Манилова, Коробочки, Собакевича, Ноздрева, Плюшкина. И лишь затем, лишь через несколько страниц (а на практике через несколько уроков) учебник говорит о тех художественных приемах, которыми художник пользуется для раскрытия образа. Так идейное содержание отрывается от той образной формы, в которой оно существует в искусстве. Расторгается нерасторжимое: «союз волшебных звуков, чувств и дум».

Да разве дело в одних учебниках?

В одном из методических пособий прямо заявлено: «После анализа образов можно считать, что учащиеся подготовлены к решению одной из сложных задач школьного курса — к изучению художественной формы произведения». Но как можно изучать образы до, вне художественной формы?

В подлинно художественном произведении, писал Белинский, идея «уходит внутрь формы и оттуда проступает во всех оконечностях формы, согревает и просветляет собой форму». А между тем во многих методических пособиях рекомендуется (и во многих классах учителя следуют этим рекомендациям) анализ по нехитрому принципу: сначала идейное содержание, потом художественные особенности. Но ведь когда мы идем таким путем, то у ученика складывается неправильное понимание искусства: существует идейное содержание, а на него, как на парадный мундир, для большего впечатления надеваются разные художественные регалии—ритмы, рифмы, эпитеты и прочие «художественные достоинства».

Так мы сами растим читателей, которые, по меткому определению М. А. Рыбниковой, не по-литературному знают литературу. Подобное «знание» литературы во многом определяет восприятие и живописи, и кино, и театра: ведь речь идет о непонимании языка образов — основы всякого искусства. Я уверен, что тот кинозритель, кото-

рый, посмотрев фильм, оканчивающийся гибелью героя, строчит в редакцию возмущенное письмо, обвиняя создателей фильма в протаскивании на советский экран чуждой нам пессимистической идеологии, тот посетитель художественной выставки, который, не обнаружив на полотне Сарьяна колхозного трактора, спешит засвидетельствовать в книге отзывов, что художник не отразил советской действительности, не понимал в школе, он не понимает и сейчас язык искусства.

Процесс разбора, анализа выделенного программой художественного произведения — не только путь к цели, но и сама цель. Анализируя роман, пьесу, поэму, мы не только помогаем лучше прочувствовать, понять данное произведение — мы получим возможность лучше разбираться в произведениях смежных искусств: театральных постановках, кинокартинах, полотнах живописца.

Но эту возможность еще надо превратить в действительность.

Мы живем в такое время, когда и самый равнодушный к искусству ученик на каждом шагу соприкасается с искусством. Вокруг целый океан книг, музыки; кино и театр вторгаются в наши квартиры через экран телевизора. Но часто этот океан отгорожен от уроков литературы непроницаемой дамбой школьной стены, за которой «проходят программу».

Ученик, который утром на уроке бойко рассказывал о художественном мастерстве Толстого, днем, выбирая в библиотеке книгу для чтения, просит очередной боевик «про шпионов».

На уроках литературы в школе мы читали лирические стихи Пушкина, Лермонтова, Некрасова. Но вот летом пришлось мне в походе посидеть со своими питомцами ночь у костра на берегу Плещеева озера. Вспоминали дни учебы, мечтали, спорили, пели. Пели разное: настоящие хорошие душевные песни и надрывные душешипательные романсы про любовь. И видно было, что романсы эти нравятся. Почему это происходит?

Книги Чехова и Шолохова, Пушкина и Маяковского пройдены по программе. Но если книги эти не стали компасом для ориентирования в мире искусства, то может случиться, что чуждые ветры и течения собьют школьника с правильного курса.

Мы, учителя литературы, недооцениваем, какое огромное влияние оказывает на наших питомцев кино и телевизор. Нравится нам это или нет, но факт остается фактом: ученики теперь больше просматривают кинофильмов, чем прочитывают романов. И вряд ли стоит, как частично это делается сегодня, не замечать того, что показывается с экранов, а то и предавать кино и телевизор анафеме. Не лучше ли подчинить их своим целям, точнее, использовать их в преподавании — ввести составную часть в тот фундамент, на котором воздвигается эстетический мир человека?

Изучение драматургии Горького совпало по времени с демонстрацией на московских экранах кинокартины «Ночи Кабирии». Я пошел с десятиклассниками на этот фильм. При всем различии стран и эпох, есть много общего между пьесой «На дне» и этой картиной. Разве не объединяет оба произведения единая тема — тема социального дна капиталистического города, общий гуманистический пафос? Разве не заставляет рвущаяся к иной, человеческой жизни Кабирия вспомнить горьковскую Настю с ее мечтами о «настоящей любви»?

И вместе с тем какая огромная разница в жизненной позиции, в видении мира Горьким и Федерико Феллини! Трагедия Кабирии — трагедия безнадежности и безысходности и во многом трагедия смирения. Лента начинается и кончается одним и тем же: крушением надежд, утратой иллюзий. Настя в конце пьесы, в последнем действии, тоже переживает крушение надежд. Иллюзии, поддержанные Лукой, развеялись, и Настя в отчаянии, в безысходной тоске кричит: «Уйду... пойду куда-нибудь... на край света... ах, опротивело мне все! Вся жизнь... все люди...» Но именно в четвертом действии звучит монолог Сатина о человеке, возникает перспектива обновления и изменения жизни.

Так фильм помог лучше осознать своеобразие драматургии Горького, а Горький — особенности итальянского неореализма.

Часто приходится слышать сетования: в программу не включено такое-то произведение, не упомянут такой-то писатель.

Однако невозможно ознакомить ребят в школьные годы со всеми сокровищами мирового искусства. Козьма Прутков был прав: нельзя объять необъятное. Не нужно — и это возможно — на материале тех произведений, которые выделены программой, научить чувствовать и понимать те сотни книг, с которыми школьник соприкоснется завтра. В этом смысл уроков литературы.

А стать подлинной школой чувств, мысли, вкуса уроки литературы могут лишь при одном важнейшем условии.

Как-то я перебил ученицу, которая отвечала урок на тему «Художественное мастерство «Вишневого сада», и спросил ее: «А тебе пьеса нравится, ты читала ее с увлечением?» — «Нужно по программе, вот и читала»,— ответила она мне.

В другой раз ко мне на перемене подошел девятиклассник и сказал: «Ну вот, сейчас урок кончился. А по правде говоря, ведь неинтересно читать «Кому на Руси жить хорошо».

Побеседуйте начистоту, вот так, «по правде говоря», со старшеклассниками, и вы убедитесь, что они далеко не во всем согласны с тем, что говорят им, что говоря сами сами на уроке. Есть целый ряд положений, которые они принуждены высказать: так они прочитали в учебнике, так сказал учитель.

Школа нередко заставляет выучивать, а не убеждает. Мы часто больше заботимся о том, чтобы донести литературу до дневника школьника, чем до его сердца.

Естественно, когда на уроке литературы пойдет открытый, прямой разговор о жизни и об искусстве, то могут выявиться и ошибочные мнения и неверные точки зрения. Бояться этого не нужно.

«Нам нужно не просто усвоение знаний, а превращение их в глубокие идейные убеждения, такие убеждения, которые рождают сильные чувства, проявляются в делах, в поступках на благо народа»,— говорит Н. С. Хрушев. Это полностью относится и к преподаванию литературы, эстетическому воспитанию вообще.

Продуманные, осознанные, прочувствованные, принятые всей душой убеждения — вот что должна выработать школа. А выработать их можно только разъясняя, отвечая на все недоуменные вопросы, споря с ошибочными мнениями, разбивая их силой аргументов, побуждая учащихся думать, искать, сопоставлять, делать выводы. Но именно этого пути мы часто избегаем.

Сколько раз приходилось нам слышать на педагогических советах, с трибуны районных совещаний: «Подумайте только, что сказал ученик на уроке такого-то учителя!»

Оно, конечно, спокойнее, если ученик выучит урок, ответит его и не будет приставать с вопросами, сомнениями, недоумениями. А то ведь, чего доброго, и спорить начнет, возражать. Да позволительно ли все это школьнику?

Вот на экзаменах была предложена тема «За что я люблю Маяковского». И один из выпускников (дело происходило в школе рабочей молодежи) начал свою работу так: «На мой взгляд, тема поставлена несколько наивно. Можно ли любить поэзию Маяковского? Ценить — да. Но любить?» Далее он писал, что прекрасно понимает, сколь велики заслуги Маяковского в борьбе за социализм, что в двадцатые годы поэзия Маяковского была жизненно необходима, но доказывал, что сейчас любить стихи поэта нельзя. Здесь нет необходимости опровергать мысли, высказанные десятиклассником. Вполне возможно, пройдет время, и он еще полюбит стихи Маяковского. Сейчас разговор идет о другом: администрация школы, местное районное начальство переполошились. Шутка ли сказать: государственные экзамены, темы, присланные из министерства,— и «на мой взгляд». А посему за сочинение поставить два и аттестат зрелости не выдавать!

Я не проповедую всеядность, терпимость к любым позициям и точкам зрения. Задача учителя — выработать верные взгляды, правильные позиции. Но именно поэтому должен он хорошо знать то ложное, с чем сталкиваются и во что иной раз верят его ученики. Именно поэтому должен он, убеждая и доказывая, избегать воздействия административного.

Нельзя запретить пошлые вкусы, отменить мещанские взгляды на искусство. Но можно и должно сформировать настоящий вкус, научить отличать высокое искусство от обывательского суррогата. А для того, чтобы уроки литературы стали школой жизни, школой вкуса, они должны не только учить, но и убеждать.

Два года назад в «Новом мире» я выступал в защиту сочинений на так называемые «свободные» темы («В чем красота человека», «Что такое счастье», «В жизни всегда есть место подвигу» и т. д.). Сейчас нет необходимости защищать и отстаивать их: темы эти узаконены, они среди традиционных историко-литературных предлагаются на экзаменах на аттестат зрелости.

Но сегодня ясно, что и этого недостаточно. Ведь и это сочинения-рассуждения. А нам нужно не только научить рассуждать всех и каждого, но и у всех и у каждого воспитать культуру художественного, образного мышления. А для этого есть один путь — путь собственно творческих сочинений.

В чем смысл и значение таких работ?

В прошлом году, читая в пятом классе отрывки из «Осени» Пушкина, я вынужден был провести урок не в школьном саду, как в минувшем октябре, а в классе: так и не удалось поймать ясный, сухой день и выбраться, как сказал бы художник, «на натуру». Прочитав пушкинское описание осени, я дал пятиклассникам задание письменно рассказать о своих осенних впечатлениях.

Но я не учел простой вещи. Осень того года явно противоречила традиционному закону золотой осени. Еще не пожелтели листья, а уже выпал снег. «Природы увяданье» на сей раз оказалось далеко не пышным. Ребята же равнялись, как на образец, на пушкинские строки.

И вот что получилось. В классе учитель рассказал об отношении поэта к осени, прочитал строки: «Люблю я пышное природы увяданье». «Пушкин любил осень,—размышляет ученик,— но он писатель, его проходят в школе, его стихи учитель прочитал как образец. Значит, и мне надо написать так, как у него». И пятиклассник пишет в своем сочинении: «Часто идет мелкий дождь... Когда идешь из школы, грязь, лужи». А прямо вслед за этим: «Хорошо осенью!» Другой начинает: «Наконец наступила долгожданная осень». А потом рассказывает о надоевших дождях, лужах, о том, что на улице стало невесело, о ребятах, которые ждут не дождутся зимы, когда можно будет кататься на коньках и санках.

На уроках литературы мы не раз говорим ученикам, что только то, что пережил и прочувствовал писатель в сердце своем, может он донести до сердца читателя. Доказываем мысль эту, ссылаемся на высказывания литераторов, приводим примеры. Но лучше всего поняли, вернее, прочувствовали все это ребята тогда, когда читал я в классе их осенние пейзажи — и удачные и неудачные. Обыкновенное школьное сочинение через личный опыт помогло лучше понять опыт истории искусства, закон творчества.

Но дело не только в этом. Наши юные читатели очень часто не умеют читать художественную литературу. Они проходят мимо пейзажей, пропускают описание, не чувствуют многие и многие детали. Их чтение обедненное, а потому оно не доставляет им нередко той большой радости, которую несет общение с большим искусством. И в этом одна из причин нелюбви к литературе. Есть школьники, которые не любят книгу, потому что не могут проникнуть в ее скрытые глубины.

Мы говорим, что искусство раскрывает глаза на мир, учит лучше видеть, тоньше чувствовать, внимательнее слышать. Но ведь существует и обратная закономерность. Чем больше человек пережил, чем больше он знает, чем богаче его жизненный опыт, тем сильнее воспринимает он и произведения искусства.

Когда мы работаем со школьниками над творческими сочинениями, мы учим их зорко смотреть, чутко слушать, учим их разбираться в человеческих характерах и общественных взаимоотношениях. А все это обогащает их и как читателей. Ученик, который сам написал весенний пейзаж, совершенно другими глазами прочтет стихи о весне Тютчева и описание весны у Толстого. И не только потому, что иным стало его видение мира, природы. Он, работая над своим сочинением, почувствовал значение, весомость художественного слова, образной детали.

Вместе с тем эта работа обогатила его и как зрителя и как слушателя. Конечно, творческие сочинения сейчас в школе проводятся. Но в основном в восьмилетней школе. Да и там не всегда систематически и последовательно. А должны они стать обязательной составной частью литературного образования во всех классах.

Сегодня лишь в меньшинстве школ страны преподается рисование (а в программу по рисованию входят и беседы об изобразительном искусстве). История и теория кино (в отличие, скажем, от Чехословакии) не изучаются в школе вообще. Не приходится и мечтать в ближайшие годы хотя бы об элементарном курсе эстетики. Единственный предмет, на уроках которого специально, систематически учат понимать искусство — всех (а все — это миллионы) и каждого, — литература. И задача уроков литературы не только донести до учеников богатый мир идей и чувств русской и советской классики, не только сообщить определенные сведения по истории и теории литературы, но и научить понимать язык искусства, вооружить методом осмысления и истолкования художественных образов.

Мы часто очень суженно понимаем связь преподавания литературы с жизнью. Это относится и к моей статье, напечатанной в «Новом мире»; там речь шла лишь об одном: сопоставлении литературных образов с современностью, использовании слова писателя для идейного и нравственного воспитания. Но дело ведь не только в этом.

Мы говорим, что, получив аттестат зрелости, воспитанники школы выходят в жизнь, а посему и школа призвана готовить к ней. Но ведь жизнь — это и труд, и общественная работа, и быт, и искусство. И готовить к жизни — значит не только научить трудиться, закалить идейно и нравственно, но и воспитать любовь к литературе и живописи, научить разбираться в кино и архитектуре, понимать театр и музыку.



С. ВЛАДИМИРОВ

★

КТО ЖЕ ИХ НАУЧИТ?

СЧИТАЕТСЯ ИЗВЕСТНЫМ

Специальные проблемы таких наук, как физика, химия, биология, вошли сейчас в круг массовых интересов народа. Научная статья находит место на страницах газет, адресованных миллионам читателей. И как ни популярно стараются писать ученые, они, конечно, не могут обойти множество сложных вещей, составляющих самую суть их жизненного труда. Возьмем для примера напечатанную в «Правде» чрезвычайно содержательную статью академика А. И. Алиханова о новейших достижениях в изучении элементарных частиц. Естественно, что автор такой статьи не мог начинать разговор с общедоступной азбуки предмета. Предполагалось, что читатель уже знает: почему физики измеряют энергию частиц в электронвольтах, а не в киловатт-часах;

почему они обычно выражают и массу частиц в тех же единицах;

что такое процессы «аннигиляции» и «материализации»;

в чем сущность закона эквивалентности массы и энергии;

что такое анодное напряжение и, наконец, какую роль играют в развитии современной физики ускорители частиц.

Если бы ученый обращался к специалистам, в таком предположении не было бы ничего необычного. Но статья его адресовалась широкому читателю.

Очевидно, что с не меньшим правом автор популярной статьи о проблемах кибернетики мог бы рассчитывать на то, что его читатели знакомы, хотя бы в общих чертах, с основами математической логики, с понятиями информации, энтропии и т. д. и т. п.

Тот, кто выступает перед широкой аудиторией с лекцией о космонавтике, может потребовать от слушателей или читателей знания не только основ астрономии, но и, скажем, эйнштейновских законов сложения скоростей и понимания сущности «парадокса времени».

Но почему бы в этом случае химику не требовать от своих читателей знания особенностей топохимических реакций? Ведь это очень облегчило бы изложение в популярной литературе ряда вопросов, связанных со «старением» полимеров.

Биолог в свою очередь вправе рассчитывать на знакомство читателя с цитологией, с теорией информации, со строением белковых молекул, с особенностями протекания каталитических реакций в живых системах и со многим другим, без чего очень трудно излагать в популярных статьях и книгах проблемы молекулярной биологии.

Но откуда же у читателей должны появиться столь обширные и разнообразные сведения в самых различных областях современных науки и техники? Кто готовит их к пониманию тех событий в науке и технике, которые определяют в наше время пути технического прогресса и многие стороны повседневного быта?

Естественно, школа. Со всем многообразием форм воспитательной и учебной работы: тут и производственная практика, и занятия разнообразных кружков, и живое слово учителя, и страницы школьных учебников.

И прежде всего именно страницы школьных учебников, этих своеобразных научно-популярных книг, адресованных детям и подросткам, но предназначенных не для «свободного» чтения, а для обязательного изучения и усвоения.

Учебник служит основным источником знания для школьника. И он же ограничивает возможности учителя: не только школьник изучает по учебнику «отсюда досюда», но и педагог строит план урока в соответствии с духом и буквой учебника, отвечая, в первую очередь, за то, чтобы все формулировки учебника, все цифры и даты, упомянутые в нем, все примеры и описания прочно уложились в памяти разношерстной — по степени общего развития и склонностям — компании, которую именуют «7 класс Б» или «10 класс А».

Вот почему придется говорить не о всем разнообразии форм школьной и воспитательной и учебной работы, а о том, что лежит в ее основе — о школьном учебнике, об учебнике физики в частности.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШКОЛЬНОГО УЧЕБНИКА

Очень интересным оказалось сопоставление школьного учебника физики примерно столетней давности с дневниками и лабораторными записками Фарадея, с классическими исследованиями Ампера и Кулона, с материалами диспута, вошедшего в историю науки, который вели Вольты и Гальвани. Оказалось, что учебник, конечно в упрощенном и схематизированном виде, трактовал о том же, что составляло предмет специальных исследований той эпохи.

Школьный учебник физики содержал определение понятия «газ», а в науке шел спор о существовании «постоянных газов», и об этом ярко и увлекательно рассказывал — для широкой аудитории — Столетов.

«Правило Ленца», «Мостик Уитстона», «индукционная катушка» — эти, как нам сейчас порою кажется, вечные и совершенно обязательные компоненты школьного учебника физики перекочевали в него лет сто назад непосредственно из научных публикаций о новейших и важнейших достижениях экспериментальной физики.

Известно, что вопросам естествознания в дореволюционной средней школе уделялось гораздо меньше внимания, чем теперь. Однако во многих учебниках химии (учебники не были «стабильными», и издавалось их великое множество) в конце прошлого века давалось достаточно четкое и полное определение понятий «химический элемент» и «атом». И как раз природе химических элементов были посвящены многие статьи Менделеева, Бутлерова и Бекетова, опубликованные в научно-популярных журналах, и десятки других выступлений ученых и популяризаторов науки.

В меньшей степени сказанное относится к учебникам ботаники и зоологии. Но и в них рассказы о клетках или о простейших организмах были не экскурсиями в область истории науки, а отражением революционных открытий в биологии, прославивших XIX век.

Очень несовершенные, краткие школьные учебники прошлого давали тем не менее достаточно полное представление о последних достижениях науки или по крайней мере подготавливали учащихся к пониманию проблем, волновавших специалистов.

Откроем теперь учебник физики для десятого класса, изданный в 1962 году. Какие горизонты науки раскрывает он перед юношами и девушками, готовящимися вступить в жизнь? Это очень важно выяснить, потому что, как правило, общая подготовка ограничивается школой: дальше идет специализация, дальше будущий инженер в своем вузе ничего не узнает уже о биологии, а будущий искусствовед в своем институте — о достижениях физики.

Школьный учебник готовит к жизни. И он же должен подготовить читателя к пониманию статьи академика А. И. Алиханова, обсуждающей жизненно важные проблемы современной физики.

Мы открываем учебник и читаем:

«Зарядив оба шарика (из бузины.— С. В.) и установив их на каком-нибудь расстоянии друг от друга, Кулон (конец XVIII века.— С. В.) по углу закручивания нити... определял силу взаимодействия между шариками» (стр. 8).

«Опыты, проведенные в конце XIX в. английским физиком Дж. Дж. Томсоном... позволили обнаружить отдельную частицу вещества с наименьшим (элементарным) электрическим зарядом...» (стр. 12).

«Английский ученый Фарадей разработал более удобный способ изображения поля...» (стр. 15).

«Ампер Андре Мари (1775—1836)... создал первую теорию, которая выражала связь электрических и магнитных явлений» (стр. 44).

На странице 55 нам сообщается, что выдающийся итальянский физик Алессандро Вольта (1745—1827) создал «вольтов столб», на странице 90 мы узнаем о работах «нашего знаменитого физика» Ленца (1804—1865), на странице 93 читаем об изобретениях Н. Н. Бенардоса и Н. Г. Славянова, сделанных в 1882 и 1891 годах, на чем, собственно, в основном и заканчивается наше знакомство с сущностью и методами электросварки.

Страница 97 снова возвращает нас к работам Фарадея, страница 114 посвящена «свече Яблочкова» — сенсации 1876 года.

В разделе «Оптика и строение атома» основное внимание уделено работам Ньютона, Френеля, Кирхгофа, Столетова. Примечательно, что опыт Майкельсона — один из опытов, приведших к созданию теории относительности, — упоминается только в связи с вопросом о скорости света (стр. 221—222), что Планк упомянут единожды, на странице 290, где весьма и весьма скупо рассказывается о квантах, и что на этой же странице есть единственное упоминание об Эйнштейне — о его работе, выполненной еще до создания теории относительности.

Перед нами учебник физики — не истории физики, а современной физики. Нашей физики. Физики шестидесятых годов XX века. Но в нем ничего не говорится об ускорителях элементарных частиц, об эквивалентности массы и энергии. Последнее обстоятельство может считаться своеобразным рекордом, ибо на страницах 317—323 рассказывается — правда, скороговоркой — о внутриатомной и термоядерной энергии, об атомных и водородных бомбах, об источниках солнечной энергии и о многом другом, о чем ни один популяризатор науки не рискнет рассуждать, не предположив, что читателям знаком закон Эйнштейна, или не изложив предварительно существа знаменитой формулы.

Ничего не сообщает учебник для десятого класса об «аннигиляции» материи и об измерении массы частиц в электроновольтах. Значит, учебник физики не готовит читателя к пониманию статей, подобных той, о которой мы упомянули в самом начале. Иначе говоря, это значит, что между содержанием учебника и требованиями жизни образовалась непроходимая пропасть. Пропасть, которой раньше не было.

Что же случилось? Почему современные школьные учебники, которые столько раз переделывались и дополнялись, оказались дальше от требований жизни, чем их скромные и очень несовершенные предшественники?

Потому, что содержание науки, методы науки, отношение науки к практике и практики к науке за последние десятилетия претерпели революционные изменения, способы же написания учебников остались прежними.

Собственно, и сами учебники остались прежними, полностью сохранилась их структура, основное содержание. Конечно, в них говорится и о многом, чего не было пятьдесят или сто лет назад. Но это новое механически добавляется к старому, которое, как мы уже знаем, когда-то соответствовало проблематике науки, а теперь либо стало достоянием истории, либо превратилось в «элементарные понятия» — в нечто, соответствующее таблице умножения и четырем правилам арифметики.

Но ведь никому же не приходит в голову знакомить школьников с четырьмя правилами арифметики в историческом аспекте!

Одно дело — развитие идей, борьба учений, рассказ о которых может помочь понимание проблем современной науки, а другое — бесконечное повторение того, что такой-то факт был установлен в 1834 году Фарадеем, а такой-то прием впервые использован Кулоном почти два века назад.

Мы продолжим еще знакомство со школьным учебником физики, но пока, установив, что он не готовит или лишь в малой степени готовит читателей к пониманию

статьи академика А. И. Алиханова, зададимся вопросом: может быть, статья А. И. Алиханова исключение? Возможно, что авторы других научно-популярных статей рассчитывают только на те знания, которые дает молодежи средняя школа?

ОТНЮДЬ НЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ

Не претендуя на сколько-нибудь полное обозрение тематики молодежных научно-популярных журналов, ограничимся краткой характеристикой наиболее типичных статей по естествознанию, помещенных в этих журналах за последнее время.

«Техника — молодежи» № 1 за 1959 год. Статья инженера Вл. Келера «Невесомость — это возможно?» знакомит с новейшими теориями тяготения, походя поясняет, что на элементарную частицу, окруженную другими частицами, действуют четыре рода сил (в учебнике упоминаются две силы), ставит задачу управления гравитационными силами.

В том же номере помещена статья профессора Г. Покровского «От глиняного горшка до хранилища плазмы» — о проблемах управления термоядерными реакциями. Для характеристики сложности этой статьи достаточно привести одну цитату: «...по мере повышения температуры плазма насыщается все более фотонами... Фотоны являются как бы частицами электромагнитного поля, но именно поэтому они не могут быть удержаны магнитным полем».

Школьный учебник ничем не поможет читателю, стремящемуся понять, какая связь существует между температурой плазмы и количеством фотонов и каким образом фотоны «являются как бы частицами электромагнитного поля».

«Техника — молодежи» № 6 за 1960 год. Статья профессора М. Широкова и аспиранта В. Бродовского «Парадоксы времени» посвящена теории относительности, причем

автор свободно оперирует формулой
$$\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$
.

«Знание — сила» № 7 за 1961 год. Статья Глеба Анфилова «Почему ночью темно?». Речь идет о сложнейших проблемах космологии, об эйнштейновской вселенной и о гипотезах Фридмана, Дирака, Наана.

«Юный техник» № 2 за 1962 год. В статье профессора Б. В. Огнева и врача Г. Д. Новинского «Геометрия Лобачевского в медицине» читаем: «Логично было предположить, что импульсы электронов, входящих в состав биоэлектрических токов, двигаясь по псевдосферической поверхности звездчатых клеток и разгоняясь центробежной силой, усиливаются именно в этих клетках». Возможно, что старшеклассники поймут значение некоторых терминов, входящих в эту фразу, но не школьные учебники помогут им уловить, что хотел сказать автор.

«Знание — сила» № 6 за 1962 год. Статья доктора химических наук В. Тонгура «Белковый код расшифрован!». В ней рассказывается об открытии биохимика Ниренберга, доложенном в августе 1961 года на Пятом Международном биохимическом конгрессе в Москве, которое, «можно думать, будет иметь для дальнейших судеб человечества, пожалуй, не меньшее значение, чем открытие атомной энергии».

Не станем цитировать эту статью. Пусть поверит читатель: человек, не имеющий за душой ничего, кроме десяти или одиннадцати классов средней школы, почувствует себя очень неуютно при знакомстве с открытием Ниренберга, о котором рассказывается на страницах журнала, адресованного учащимся ремесленных училищ, то есть ребятам, как правило, окончившим шесть-семь классов средней школы.

«Техника — молодежи» № 6 за 1962 год. Статьи академика В. М. Глушкова и крупного американского математика У. Росс Эшби продолжают уже давно ведущийся на страницах журнала спор о принципиальной возможности моделирования человеческого мозга.

Может быть, хватит примеров? Не ясно ли, что между школьными учебниками и тематикой научно-популярных статей, отражающих сегодняшний день науки, нет не только общих граней, но и точек соприкосновения?

К одному и тому же читателю (юноше шестнадцати—семнадцати лет) одновре-

менно обращаются два человека, рассказывающие с физике и других науках. Один (педагог) оперирует представлениями, сложившимися в основном сто или пятьдесят лет назад, знакомит с опытами, составившими эпоху в развитии науки прошлых веков. Другой (популяризатор) призывает читателя познакомиться с сегодняшним днем науки, войти вместе с ним в лаборатории ученых, попытаться оценить новейшие научные гипотезы.

Вы скажете: это совершенно законное разделение труда. Школа знакомит с основами науки. Научно-популярная литература — с тем, как наука развивается, живет.

Ответим: это было бы так, если бы педагог и популяризатор разговаривали с учеником (он же — читатель) на одном и том же языке. В действительности же, как мы видели, между языком педагога (под «языком» мы понимаем здесь всю совокупность терминов, приемов, навыков мышления) и языком популяризатора нет ничего общего.

Школьный «язык» поэтому не помогает понять «речь» популяризатора. Школьный «язык» постигается постепенно в процессе обучения — от класса к классу. А вот, как постигается читателями «язык» популяризатора, нам все еще неясно.

ИХ НИКТО НЕ ГОТОВИТ

Много лет, последовательно и упорно, человека учат пониманию того, что такое «люмен» или «сила тока». Но никто не объясняет ему значения, смысла тех представлений, которые обрушивают на его голову со страниц самых популярных наших журналов ученые и писатели.

По существу «фундамент» знаний, который закладывается в школе, занимает в голове молодого человека какой-то обособленный «участок». А рядом, на «свободной территории», возводится великолепное здание, храм науки, который все время надстраивается и перестраивается. Гулять по солнечным залам этого живого храма науки очень интересно и увлекательно. Но нельзя забывать о том, что у храма нет фундамента, что он буквально висит в воздухе.

Практически сами журналы подводят под «храм науки» сделанные на живую нитку подпорки: одна статья «поддерживает» другую, в каждой статье хоть что-то объясняется достаточно подробно. В результате же этого человек, привыкший систематически читать журналы, слушать научно-популярные передачи по радио, следить за газетными сообщениями о новостях науки, постепенно начинает овладевать языком популяризаторов, как овладевает чужеземным языком человек, попавший на несколько лет за границу.

Однако разобщенность, оторванность школьных знаний от тематики научно-популярных журналов, научно-популярной литературы вообще приводит ко многим печальным последствиям.

Во-первых, у школьников складывается убеждение, что то, что они узнают в школе, из учебников, не имеет, собственно говоря, никакого отношения к современной науке, а значит, и к современной технике.

Во-вторых, читатель, вынужденный осваивать материал журналов (если он его вообще начинает осваивать) без систематической подготовки, привыкает «схватывать на лету», улавливать только общий смысл текста, то есть, говоря проще, привыкает читать, толком не понимая прочитанного.

В-третьих, редакторы и авторы научно-популярных статей привыкают к тому, что в детских и юношеских журналах систематически печатаются статьи, которые не могут быть до конца поняты читателями. А это в свою очередь приводит к тому, что в очень многих случаях научно-популярные статьи подменяются научными информацией, рассказы об открытиях и опытах — сообщениями о них.

Наконец искусственно и совершенно неправомерно сужается круг «законных» читателей журналов и расширяется круг его «незаконных» почитателей. Ни для кого не является секретом, что «Знание — сила» и «Техника — молодежи» очень популярны среди инженеров, педагогов, ученых. Ни для кого не является секретом и то (об этом, впрочем, говорить не любят), что эти журналы слишком сложны для большинства

школьников, учащихся техникумов, а тем более — ремесленных училищ, то есть для той аудитории, на которую они в первую очередь рассчитаны.

Поскольку популяризаторы науки сами вынуждены сейчас готовить для себя читателей, им следовало бы делать это продуманно и систематически, как именно — мы не станем здесь обсуждать. Подчеркнем только, что школьные знания могут и должны служить «опорой» для здания, возводимого популяризаторами науки.

РЕЗЕРВЫ УЧЕНИКА И УЧИТЕЛЯ

Сейчас часто можно услышать высказывания о необходимости пересмотра устоявшейся, традиционной системы составления школьных учебников — для старших классов во всяком случае. Но прежде чем думать о конкретном плане иного учебника, следует выяснить вопрос о том, как принципиально возможно совместить в учебнике данного объема изложение необходимых сведений из области основ электротехники, оптики, механики и т. д. с совершенно новым материалом, перекликающимся с тематикой научно-популярных статей. В первую очередь это вопрос о сокращении объема учебника без ущерба для его содержания.

Прежде всего, как нам кажется, следует резко сократить в учебнике количество исторических справок, образцы которых были приведены выше. Вместо этого в конце каждого раздела следует дать очень краткий исторический очерк развития соответствующей научной дисциплины, подчеркивая в нем в основном борьбу идей, судьбы научных гипотез, причины, обусловившие быстрое развитие тех или иных областей знания.

В обширной литературе по истории науки есть блестящие образцы кратких и содержательных очерков по истории физики, химии, биологии.

Поскольку исторический очерк в учебнике будет идти вслед за изложением специального материала, его автор сможет пользоваться многими научными и техническими терминами и понятиями, не задерживаясь на их объяснении. Наконец краткая хронологическая таблица дала бы необходимую историческую перспективу.

Основной же текст учебника, освобожденный от лишних исторических экскурсов, должен излагаться в логическом порядке, в той последовательности, которую сочтет наиболее целесообразной методист или автор.

Нам кажется, что объем учебника при этом несколько уменьшится, а усвоение материала облегчится.

В учебнике физики, о котором у нас идет речь, есть и еще один элемент, против которого ничего нельзя возразить в принципе, но реальное воплощение которого вызывает, мягко говоря, недоумение.

На страницах 5—6 учебника подробно рассказывается о том, как можно обнаружить опытным путем, что свойством притягивать при трении легкие тела обладает не только янтарь-электрон, но и многие другие вещества. Мы читаем: «Подвесим на шелковой нити легкий бузиновый шарик и сообщим ему электрический заряд. Такого же знака заряд сообщим какому-нибудь телу. А, установленному на подставке из изолятора...

Помещая бузиновый шарик в различные места... мы всякий раз обнаруживаем наличие силы, действующей на шарик».

Следует иметь в виду, что речь тут идет не о лабораторных опытах и упражнениях, а о мысленных экспериментах, о популяризаторском, дидактическом приеме. Предполагается, что описание подобных опытов должно помочь учащемуся понять в данном случае, что такое электричество и электрическое поле.

Здесь-то и допущен, однако, серьезный просчет. Описанные в учебнике эксперименты примитивны и иллюстрируют элементарные, очень легко усваиваемые понятия. По поводу же всех сколько-нибудь сложных представлений учебник говорит, что нечто было установлено «путем сложных опытов» или что «сложные эксперименты заставили предположить».

Таким образом, представления, не требующие от по существу уже взрослых ребят никаких усилий для их понимания, усваиваются через опыт, сложное же предлагается принимать на веру.

Думается, что лучше уж вовсе отказаться от описания опытов как дидактического приема, чем дискредитировать в глазах учащихся представление о современном физическом эксперименте и даже об опытах, сыгравших видную роль в развитии науки. Одновременно высвободится много места, станет легче понимать и усваивать обязательный для запоминания материал.

Третий путь высвобождения территории для дополнительных материалов — решительный пересмотр содержания учебника, изменение соотношений между его частями.

Из-за недостатка места ограничимся лишь одним примером. Понятию о квантах уделено в учебнике всего две страницы. И столько же посвящено описанию устройства фотографического аппарата. При этом обе задачи оказались нерешенными. То, что сообщается о квантах (половина места отведена историческим справкам в духе тех, о которых говорилось выше), очень мало дает учащемуся и для понимания научно-популярной литературы и, что еще гораздо важнее, для подготовки к практической работе, которая в очень широком диапазоне специальностей требует ясных представлений о квантовой природе света, энергии вообще.

Что же касается описания фотоаппарата, то было бы наивным думать, что человек шестидесятих годов двадцатого века не знает, что свет действует на фотопластинку, которая «в разных своих местах темнеет сильнее или слабее в зависимости от величины световых потоков, падающих на нее от различных точек предмета». Но не менее наивно думать, что фотолюбитель, а тем более «просто» десятиклассник, сумеет разобраться в устройстве или качестве фотоаппаратов, узнав из учебника — цитируем дословно, — что «при достаточной удаленности предмета фотографическая пластинка располагается близко к фокальной плоскости объектива; следовательно, она удалена на расстояние F от объектива. Освещенность же обратно пропорциональна квадрату этого расстояния. Таким образом, освещенность пластинки пропорциональна d^2 и обратно пропорциональна F^2 . Величина $\frac{d^2}{F^2}$ называется светосилой объектива. В практике для оценки объектива применяют величину $\frac{d}{F}$, называемую относительным отверстием. На оправе объективов обозначено фокусное расстояние объектива F и относительное отверстие, которое задается в виде отношения 1 к частному от деления F на d .

Если, например, на оправе написано 1:4,5, то это обозначает, что фокусное расстояние объектива в 4,5 раза больше диаметра отверстия объектива» (стр. 257).

Вот и попробуйте теперь, не зазубривая, «своими словами», изложить содержание этого отрывка, объяснив, кстати, каков физический смысл понятия «относительное отверстие», зачем нужно знать светосилу объектива и какой аппарат лучше: тот, на объективе которого написано 1:4,5, или 1:3,8?

Подобных примеров нерационального использования площади учебника, а значит, и времени педагога и сил учащегося можно привести сколько угодно.

Последнее замечание относится к рисункам. Только силой привычки можно объяснить воспроизведение на страницах учебника физики для десятого класса, изданного в 1962 году, внешнего вида аккумулятора (стр. 58), обыкновенного электросчетчика (стр. 89), допотопной «установки для электролитического покрытия предметов слоем металла» (стр. 106), вольтметров и амперметров (стр. 139 и 140) и даже таких «новинок техники», как громкоговоритель, фотоаппарат устаревшей марки и театральные бинокль (стр. 143, 257, 266).

Познавательное значение этих и многих других, с позволения сказать, наглядных иллюстраций близко к нулю, а места они занимают немало.

Нам представляется, что учебник физики, как и учебники других дисциплин для старших классов, должен стать гораздо более проблемным — может быть, в большей степени, чем учебники по отдельным дисциплинам для высших учебных заведений. Проблемный, широкий подход к учебному материалу скорее обеспечит связь учебника с жизнью, с практикой, чем вкрапленные в него отдельные, необобщенные и неосмысленные указания на практическое значение тех или иных явлений. Следует оговориться,

что мы имеем в виду учебник физики, предназначенный для старших классов «вообще», без учета специализации школы, поскольку у будущих электромонтеров или программистов, например, должны быть, кроме этого учебника или даже вместо него, другие пособия.

Конечно, это только самые общие соображения об облике учебника нового типа, сочетающего изложение необходимых «основ науки», точнее — основных элементарных понятий с широким охватом современных проблем, с материалом, который будит мысль, заставляет задуматься над судьбами науки, помогает не только читать научно-популярную литературу, но и выбрать специальность, определить свой жизненный путь.

Задачу создания нового учебника физики, новых учебников вообще нельзя откладывать в долгий ящик. Ее решение требует совместных усилий многих специалистов. Но прежде всего следует представить себе облик такого учебника, идеал, к которому нужно стремиться. Так, изобретатель, еще не зная, как можно осуществить идею, уже рисует себе законченную машину с необычными свойствами. Новый учебник должен быть действительно новым. Новым по манере изложения, новым по принципу отбора материала.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

КОРНЕЙ ЧУКОВСКИЙ

★

МАРШАК

Когда в начале двадцатых годов молодой Самуил Маршак приходил ко мне и стучал в мою дверь, я всегда узнавал его по этому стуку, отрывистому, нетерпеливому, четкому, беспощадно-воинственному, словно он выстукивал два слога: «Мар-шак», и в самом звуке этой фамилии, коротком и резком, как выстрел, я чувствовал что-то завоевательное, боевое:

— Мар-шак!

Был он тогда худощавый и нельзя сказать, чтобы слишком здоровый, но когда мы проходили по улицам, у меня было странное чувство, что, если бы сию минуту на него наскочил грузовик, грузовик разлетелся бы вдребезги, а Маршак как ни в чем не бывало продолжал бы свой стремительный путь — прямо, грудью вперед, напролом.

Куда вел его этот путь, мы в ту пору не сразу узнали, но чувствовали, что, какие бы трудности ни встретились на этом пути, Маршак преодолеет их все до одной, потому что уже тогда, в те далекие годы, в нем ощущался силач. Его темпераменту была совершенно чужда добродетель долготерпения, смирения, кротости. Во всем его облике ощущалась готовность дать отпор любому супостату. Он только что вернулся тогда с юга, и, я помню, рассказывали, что там, на Кавказе, он наградил какого-то негодяя пощечиной за то, что тот обидел детей.

Повелительное, требовательное, волевое начало ценилось им превыше всего — даже в детских народных стихах.

«Замечательно,— говорил он тогда,— что в русском фольклоре маленький ребенок ощущает себя властелином природы и гордо повелевает стихиями:

Радуга-дуга,
Не давай дождя!

Солнышко-ведрышко,
Выглянь в окошечко.

Дождик, дождик, перестань!
Гори, гори ясно,
Чтобы не погасло!»

Все эти «не давай», «перестань», «выглянь», «гори», «припусти» Маршак произносил таким повелительным голосом, что ребенок, обращающийся с этими стихами к природе, показался мне и вправду властителем радуг, ураганов и дождей.

И еще одно драгоценное качество поразило меня в Маршаке, едва только я познакомился с ним: меня сразу словно магнитом притянула к нему его страстная увлеченность, я бы даже сказал: одержимость великой народной поэзией — русской, немецкой, ирландской, шотландской, английской. Поэзию — особенно народную, песенную — он любил самозабвенно и жадно. А так как его хваткая память хранила и тогда, как теперь, великое множество песен, лирических стихотворений, баллад, он часто читал их, а порою и пел, властно приобщая к своему энтузиазму и нас, и было заметно, что его больше всего привлекают к себе героические, боевые сюжеты, славящие в человеке его гениальную волю к победе — над природой, над болью, над страстью, над стихией, над смертью.

Мудрено ли, что я после первых же встреч всею душою прилепился к Маршаку, и в ленинградские белые ночи — это было в самом начале двадцатых годов — мы стали часто бродить по пустынному городу, не замечая пути, и зачитывали друг друга стихами Шевченка, Некрасова, Роберта Броунинга, Кипплинга, Китса, и жалели остальное человечество, что оно спит и не знает, какая в мире существует красота. Мне и сейчас

вспоминается тот угол Манежного переул-ка и бывшей Надеждинской, где на каменных ступенях, спускавшихся в полуподвальную заколоченную мелочную лавчонку, Самуил Яковлевич впервые прочитал мне своим взволнованным и настойчивым голосом, сжимая кулаки при каждой строчке, экстастическое стихотворение Блейка «Tiger! Tiger! burning bright!» вместе с юношеским своим переводом, и мне стало ясно, что его перевод есть, в сущности, схватка с Блейком, единоборство, боевой поединок и что, как бы Блейк ни ускользал от него, он, Маршак, рано или поздно приарканит его к русской поэзии и заставит его петь свои песни по-русски.

И маршаковские переводы из Бернса, в сущности, такой же завоевательный акт. Бернс, огражденный от переводчиков очень крепкой броней, больше ста лет не давался им в руки, словно дразня их своей мнимой доступностью, — «вот он я! берите меня!» — и тут же отшвыривал их всех от себя. Но у Маршака мертвая хватка, и он победил-таки этого непобедимого гения и заставил его петь свои песни на языке Державина и Блока.

Вообще как-то странно называть Маршака переводчиком. Он скорее конквистадор, покоритель чужеземных поэтов, властью своего дарования обращающий их в советское подданство. Он так и говорит о своих переводах Шекспира:

Я перевел Шекспировы сонеты.
Пускай поэт, покинув старый дом.
Заговорит на языке другом,
В другие дни, в другом краю планеты.

Превыше всего в Шекспире, как и в Блейке и в Бернсе, он ценит то, что они все трое — воители, что они пришли в этот мир угнетения и зла для того, чтобы сопротивляться ему:

Недаром имя славное Шекспира
По-русски значит: потрясая копьем.

Потому-то и удалось Маршаку перевести творения этих «потрясателей копиями», что он всю душою сочувствовал их негодованиям и ненавистям и, полюбив их с юношеских лет, не мог не захотеть, чтобы их полюбили мы все — в наши советские дни в нашем краю планеты.

Отсюда, как мне кажется, непреложная заповедь для мастеров перевода: перелагай не всякого иноземного автора, какой

случайно попадется тебе на глаза или **будет** навязан тебе торопливым редактором, а только такого, в которого ты жарко влюблен, который близок тебе по биению сердца и в которого ты хотел бы влюбить соотечественников. Иначе твой перевод — кибернетика! Только потому, что Фитцджеральд влюбился в гениального Омара Хайяма, он своими переводами завоевал ему место среди величайших английских поэтов. И разве мог бы Жуковский сделать шиллеровский «Кубок» таким же достоянием нашей русской поэзии, как, скажем, любое стихотворение Лермонтова, если бы не испытывал восторга пред подлинником? И мог ли бы Курочкин без такого же чувства к стихам Беранже сделать его нашим русским и **при-**том любимым писателем?

Но для совершения всех этих чудес одного энтузиазма очень мало. Нужно вдобавок ко всему обладать изощренной писательской техникой, быть искусным шлифовальщиком слов, виртуозом поэтической формы, словесных дел мастером, повелителем ритмов и рифм, то есть обладать именно теми литературными качествами, коими в **превосход-**ной степени обладает Маршак. Здесь нужна железная дисциплина стиха, которая ни за что не допустит небрежных, неряшливых, путаных, туманных, неуклюжих, пустых или натянутых строк.

Всмотритесь хотя бы в такой очень **типичный** перевод Маршака:

Вскормил кукушку воробей.
Бездомного птенца.
А та возьми да и убей
Приемного отца.

Здесь нет ни единой строки, которая была бы расхлябанной, мягкотелой и вялой: всюду крепкие сухожилия и мускулы. Всюду четкий рисунок стиха, геометрически точный и строгий. И как будто ни малейшей натуги. И внутренние рифмы («бездомного», «приемного») и крайние («воробей», «убей», «птенца», «отца») так непринужденны и просты, что кажется, пришли сюда сами собой, всецело подчиненные смыслу. Иначе как будто и сказать невозможно, чем сказано в этих простых — с таким естественным дыханием — стихах.

«Мастерство такое, что не видать мастерства». Оттого-то в маршаковских переводах не чувствуется ничего переводческого.

ра это был всего лишь набросок, первый черновик черновика, и понадобилось не меньше десяти вариантов, пока Маршак наконец не достиг того звукового узора, который ныне определяет собою весь стиль этих звонких и нарядных стихов:

Мистер
Твистер,
Бывший министр.
Мистер
Твистер
Миллионер...

И даже после того, как стихи напечатаны, он снова и снова возвращается к ним, добываясь наиболее метких эпитетов, наиболее действенных созвучий и ритмов.

Одной из ранних литературных побед Маршака было завоевание замечательной книги, которая упрямо не давалась ни одному переводчику. Эту книгу создал британский народ в пору высшего цветения своей духовной культуры: книга песен и стихов для детей, которая в Англии называется «Nursery Rhymes» и в основной своей части существует уже много столетий. Краснощекая, несокрушимо здоровая, бессмертно веселая книга с тысячами причуд и затей, она в русских переводах оказывалась такой хилой, косноязычной и, главное, вздорной, что было конфузно читать. Поэтому можно себе представить ту радость, которую я испытал, когда Маршак впервые прочел мне свои переводы этих, казалось бы, неперевоаемых шедевров. Переводы чудесно передавали всю их динамичность и мощь:

Эй, кузнец,
Молодец,
Захромал мой жеребец.

«Три смелых зверолова», «Шалтай-Болтай», «Потеряли котятки по дороге перчатки» — все это благодаря Маршаку стало достоянием русской поэзии, ибо и здесь, как и в прочих его переводах, нет ничего переводческого. Стих сохраняет свою упругость и звонкость, словно это первозданная русская народная песня.

И я понял, что Маршак потому-то и одержал такую блестящую победу над английским фольклором, что верным оружием в этой, казалось бы, неравной борьбе послужил ему, как это ни странно звучит, наш русский — тульский, рязанский, московский — фольклор. Сохраняя в неприкосновенности английские краски, Маршак, так сказать,

проецировал в своих переводах наши русские считалки, загадки, перевертыши, потешки, дразнилки. Оттого-то переведенные им «Nursery Rhymes» так легко и свободно вошли в обиход наших советских ребят и стали бытовать в их среде наряду с их родными «ладушками». Советские Наташи и Вовы полюбили их той же любовью, какую спокон веку их любят заморские Дженни и Джоны. Много нужно было такта и вкуса и тончайшей словесной культуры, чтобы с таким артистизмом, сочетая эти оба фольклора, соблюсти самую строгую грань между ними.

Вообще русский фольклор уже в те времена служил ему и опорой, и компасом, и регулятором всего его творчества. Если бы Маршак не был с самого раннего детства приверженцем, знатоком, почитателем русского народного устного творчества, он, при всей своей виртуозности, не мог бы создать те замечательные детские стихи, которые стяжали ему прочную славу среди десятков миллионов советских детей, а также их будущих внуков и правнуков.

Такие его детские пьесы, как «Терем-теремок», «Кошкин дом», дороги мне именно тем, что это не мертвая стилизация под детский фольклор, не механическое использование готовых моделей, это самобытное свободное творчество в том фольклорном народном стиле, в котором Маршак чувствует себя как рыба в воде и который оставляет фольклорным даже тогда, когда поэт вводит в него такие слова, как «километры», «пианино», «бригада». Можно было бы легко доказать, что и другие маршаковские стихи для детей, такие, как «Сказка о глухом мышонке», «Дама сдавала в багаж», «Вот какой рассеянный», «Мастер-ломасгер», словарь которых совершенно лишен так называемой простонародной окраски, тоже имеют в своем основании фольклор: об этом говорит и симметрия их отдельных частей и многие другие особенности их аккумулятивной структуры.

Я и сейчас помню все эти детские стихи Маршака наизусть, потому что Маршак создавал их буквально у меня на глазах, и каждую новую вещь, написанную им для детей, я воспринимал как событие. Иначе и быть не могло в те первоначальные годы становления новой советской культуры. Ведь за двумя или тремя исключениями отвлечительно пошлой и жалкой была дет-

ская литература предыдущей эпохи. Делали ее главным образом либо бездарности, либо оголтелые циники, и было похоже, что она специально стремится развратить и опоганить детей. В дореволюционное время я уже лет десять кричал об этом в газетных статьях, и все мои крики, как я понимаю теперь, означали: нам нужен Маршак.

Как же было мне не радоваться молодому поэту, осуществлявшему мою давнишнюю мечту. Я до сих пор помню то чувство живой благодарности, с которым я встречал его книги — и «Почту», и «Цирк», и «Деток в клетке», и «Вчера и сегодня». Книги были разные — разных сюжетов и стилей, — но вскоре в них выявилась главнейшая тема всего его творчества — о дьявольски трудной, но такой увлекательной борьбе советского человека с природой — та триумфальная тема, которая так отчетливо выразилась в его знаменитых стихах:

Человек сказал Днепру:
— Я стеной тебя запру
Ты
С вершины
Будешь
Прыгать,
Ты
Машины
Будешь
Двигать!

То неукротимое, боевое и властное, что есть в Маршаке, нашло свое выражение в этих гордых стихах. Вообще всякое дело и делание, всякий процесс создания вещи: «Как рубанок сделал рубанок», «Как печатали вашу книгу», как работает столяр, часовщик, типограф, как сажают леса, как создают Днепрострой, как пустыни превращают в сады — все это родственно-близко неумолимо-творческой, динамической душе Маршака. Самое слово «строить» — наиболее заметное слово в его лексиконе.

Но обо всем этом гораздо лучше меня напишут другие, я же, вспоминая те далекие годы, когда мы оба, плечом к плечу, каждый в меру своих сил и способностей боролись за честь и достоинство нарождающейся литературы для советских детей, не могу не сказать Маршаку словами его любимого Бернса:

И вот с тобой сошлись мы вновь.
Твоя рука — в моей.
Я пью за старую любовь,
За дружбу прежних дней...

За дружбу старую —
До дна!
За счастье юных дней!
По кружке старого вина —
За счастье юных дней.



В. ЛАКШИН

★

ДОВЕРИЕ

(О повестях Павла Нилина)

Момню, как лет пять-шесть назад рвали друг у друга из рук журнал с только что напечатанной повестью Павла Нилина «Жестокость», как горячо обсуждали ее, как восхищались. Люди, не слишком внимательные к именам, мелькающим в потоке текущей литературы, спрашивали: «Кто этот молодой писатель?» Далеко не всякий в широком читательском кругу помнил, что это тот самый Нилин, который еще до войны опубликовал любопытную повесть «Человек идет в гору», десятки рассказов, очерков, в свое время тепло встреченных.

Не буду гадать, отчего так случилось, но сороковые годы не принесли Нилину заметных удач. Он довольно много писал, печатался и в эту пору, а голоса его как-то не было слышно. Появление «Жестокости», а также «Испытательного срока» стало как бы открытием нового имени, вторым рождением писателя, хотя в литературной среде за Нилиным признавалось и прежде свое достойное место в литературе, а знатоки-книжники могли бы указать даже, что еще в тридцатые годы им была написана повесть о работе угрозыска в первые годы советской власти в маленьком сибирском городке, о комсомольце Венке Малышеве, — повесть, которая тогда прошла незамеченной, а в 1955—1956 годах, переделанная или, лучше сказать, заново написанная автором, стала своего рода событием.

Случилась, на первый взгляд, странная вещь: спустя два десятилетия после первой попытки писателя изобразить пору своей героической молодости — ранних лет революции — его художественная память работала словно бы активнее, живее, и далекая уже

эпоха вспыхнула, осветилась так подлинно и ярко, как не могло это быть, скажем, в конце тридцатых годов. А может, дело вовсе не в художественной памяти? Иной раз время дает добавочное зрение, резче выделяет суть событий, помогает сказать о прошлом так, как не было сказано прежде. Тут и вопросы близкой современности проясняются с новой, иногда неожиданной стороны.

Повести Нилина оказались исключительно ко времени не по случайной конъюнктуре, а потому, что они отвечали нашей неутоленной внутренней потребности, потребности гражданской и человеческой. Нилин писал о чистоте идеалов революции, о бескомпромиссной честности, о коммунистической совести и, может быть больше всего, о доверии к людям, притом писал так, что, хотя мы всегда теоретически относили доверие к сонму добродетелей и даже сами твердили как скороговорку не то «доверяя, проверяя», не то «проверяя, доверяя», сказанное писателем наполнялось новым, не праздным смыслом.

В те годы восстановление социалистической законности и ленинских норм партийной жизни оздоравлиюще подействовало на психологию людей, побудило думать смелее, шире, мужественнее. И то, что сказал в своих повестях Нилин, не было лишь личным его открытием. Все чувствовали насущность возвращения многим старым словам, в том числе словам «доверие к человеку», их полного и подлинного содержания. Но, видно, нужно было, чтобы это было произнесено громко, вслух, чтобы это встало перед глазами в художественно конкретной плоти и, как бы отделившись от

нас, сразу приобрело силу неопровержимости.

В последней вещи Нилина «Через кладбище» есть эпизод, имеющий внешне самое слабое отношение к развитию сюжета повести — опасному заданию по добыче взрывчатки, которое выполняет юный партизан Михась. Михась вспоминает, как перед войной он с другими ребятами, учениками МТС, не по злему умыслу, скорее с озорства свалил под откос трактор. Ребята не сознавались, сознался один Михась, но отказался назвать соучастников. И началось... Директор МТС Миланович, маленький толстый человек, суетился, кричал и угрожал вызвать начальника милиции. Добровольное признание Михасы лишь пуще озлобило директора, подогрело его подозрительность. Он требовал дальше «разматывать» напроказившего ученика. Неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы не главный механик Бугреев, заступившийся за Михася.

Ведь, в сущности, как всегда это бывает, мальчишка, который взял всю вину на себя и не захотел выдать товарищей, меньше всего заслуживал ругани и угроз. «Донощиком, конечно, легче стать, чем механиком...» — заметил тогда Бугреев, решивший не мучить упорного мальчишку строгим допросом, а просто вытаскивший с его помощью из оврага злополучный трактор. Старший механик рассудил благородно с точки зрения человеческой, он поступил умно и как воспитатель. В подростковом надо уважать его личность, надо учить его чувствовать себя человеком, достойным доверия.

Эти азы социальной педагогики, которые с такой энергией и убедительностью развивал у нас Макаренко, вероятно, не стоило бы вспоминать, если бы не два обстоятельства. Во-первых, в обычной житейской практике, в отношениях с ребятами взрослые все еще сплошь и рядом изменяют этому правилу, зная, что легче и нехлопотливее наказать и принудить, чем воспитывать с помощью доверия. Во-вторых, отношение к детям служит своего рода моделью, верным отражением тех отношений, которые складываются среди взрослых, в большом социальном мире. И эпизод с трактором у Нилина интересен как простейшее выражение той главной, коренной темы, которой живет, болеет писатель,

которая варьируется во множестве сцен и лиц в его творчестве и которая заключает в себе по существу один вопрос: в какой мере доверие между людьми может считаться законом человеческой жизни?

Писатель шел бы по легкому пути, если бы свою заветную мысль он доказывал, оперируя случаями самоочевидными: скажем, воспевал бы доверие между давними, испытанными друзьями и единомышленниками. Легко доверять, когда ты лично ничем не рискуешь, не несешь никаких обязательств, не связан служебным долгом и т. п., — это рождает иногда благодушное отношение к окружающим.

Но вот как быть в тех случаях, когда сама ситуация склоняет тебя к недоверию и подозрительности, когда, скажем, ты работаешь в уголовном розыске и имеешь каждый день дело с бандитами и преступниками или пробираешься в оккупированное немцами село, где кто-то из жителей мог поддаться действию вражеской пропаганды? Нилина всегда интересует именно такой острый поворот дела, и он заставляет нас задуматься. Неужто и в этом случае доверчивое и во всяком случае непредвзятое отношение лучше подозрительности, к которой порой толкает нас, казалось, простой здравый смысл и чувство самосохранения? Как тут быть?

«Очень просто, — решает для себя молодой стажер угрозыска Зайцев в повести «Испытательный срок». — Человек, допустим, отказывается: я, мол, не воровал. А ты ему все равно не веришь. Ты делаешь в уме свой анализ: нет, мол, я тебя знаю, ты вор...

— А если он, правда, не вор?

— Все равно ты должен его подозревать. Ты всех должен подозревать...

— Всех?

— Ну да. Никому верить нельзя.

Самоуверенность Зайцева подавляет его юного товарища, тоже стажера угрозыска Егорова, но все-таки и для него последние слова звучат не слишком убедительно. «Если всех подозревать и всем не верить, так это получается, что все люди плохие...» — приходит в голову Егорову. Этот аргумент не так наивен, как кажется: мизантропия, нелюбовь к людям — столь очевидный порок, что в нем вряд ли кто захочет добровольно признаться. Не хочет этого и Зайцев, а потому, спасая положение в споре, делает такую оговорку: «Если ты,

допустим, не работаешь в розыске, если ты просто человек, ты можешь верить кому хочешь...»

Итак, в частной жизни доверие или недоверие — это твое личное дело, а вот если ты на службе, да еще на такой службе, как угрозыск, где приходится иметь дело с преступниками, подозрительность становится подобием профессионального долга и всякое доверие выглядит маниловщиной, чудачеством, если не чем-то похуже. Впрочем, не будем спешить с выводами, а присмотримся лучше к одной драматической истории, рассказанной Нилиным, к характеру и судьбе комсомольца Веньки Малышева, работника угрозыска в уездном сибирском городке Дударях.

Герой повести «Жестокость», к слову сказать несомненно лучшей, наиболее богатой содержанием вещи Нилина, принадлежит к тому редкому сорту людей, которые нравятся как-то сразу, заставляют поверить в них и уж не дают потом случая разочароваться. В своем прямодушии, высокой вере и энтузиазме Венька Малышев — настоящее дитя первых революционных лет. Его молодая энергия, безупречная душевная чистота, чрезмерная даже подчас жестокость к себе под стать духу этого сурового и святого времени.

Сказать, однако, что для Веньки главное — стихийный романтический порыв, значило бы совсем не понять его. И когда разбитной корреспондент губернской газеты Яков Узелков, или иначе Якуз, написал в своем очерке: «Этот юноша-комсомолец с пылающим взором совершал буквально чудеса храбрости», получилось фальшиво не только по форме, а по существу. Малышев храбр, но его храбрость не похожа на безрассудный экстаз, он чистосердечен, но не на такой манер, чтобы о нем можно было сказать «душа нараспахку». С искренностью, молодостью чувств сочетаются в нем сдержанность, немногословие, которые лишь отчасти могут быть отнесены за счет его рода деятельности, не терпящего лишней болтовни, а больше говорят нам о какой-то внутренней сосредоточенности, ответственности за себя и за все, «что есть и что будет при нас». Венька начисто лишен инфантильности, часто такой смешной и неприятной в герое современных повестей о молодежи. В свои восемнадцать — двадцать лет это человек, поражающий серьезностью своего отношения к жизни. И разве одно лишь

может показаться в нем детским — упрямство, с каким он отвергает всякие нравственные компромиссы, малейшее расхождение между идеалом и практикой личного поведения. Таких людей называют иногда «не гибкими», всерьез считая, что это недостаток.

Венька страдает от мысли, что он может оказаться остальным человеком при социализме, его смущает несоответствие своего скудного образования и ленинских требований к коммунисту: обогатить свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество. Шутка сказать — усвоить духовные ценности, накопленные многими поколениями людей! Друг Веньки Васька Царицын смотрит на дело проще: у него есть две рекомендации для вступления в партию, а остальное приложится. «...Ты ведь, Венька, все берешь в идеальном виде,— говорит Царицын.— А если в идеальном брать, то нас всех до старости нельзя будет принять в коммунисты. Вот, скажем, так. В драмкружке мне дали сейчас играть генерала Галифе. Юрий Тихонович, наш режиссер, говорит, что я на него несколько не похожий. И вообще эта роль не для меня. Но больше сыграть некому. Значит, буду играть я. И публика ни за что не догадается, похожий я на него или не похожий. Тут же у нас, в Дударях, никто генерала Галифе не видел. Штаны галифе видели, а генерала такого никто не видал».

В самом деле, Венька не лишен слабости брать все «в идеальном виде». Со своим юношеским максимализмом он не всегда принимает в расчет реальную сложность переделки сознания людей. Но ему чужда та пуританская строгость, которая бескомпромиссна и немилостива до тех пор, пока дело касается всех других, а не тебя лично. Он не хочет скидок и снисхождения прежде всего для самого себя и оттого не верит в правомочность каких-то сниженных, местных, провинциальных понятий о том, каким должен быть коммунист. Он не согласен, как Васька Царицын, утешать себя тем, что в Дударях сойдет и так, ибо тут даже генерала Галифе можно играть без опаски: «Штаны галифе видели, а генерала такого никто не видал».

Чистое, высокое представление о коммунистической нравственности движет Венькой Малышевым в отношениях с каждым человеком, будь то близкий друг, или де-

вухка, которую он любит, или начальник их сурового учреждения, или им же пойманный бандит. Да, и с бандитом Венька находит нужным держать себя по-человечески, не упивается своей властью над арестованным, не срывается в бессмысленную жестокость. И, что может уже показаться странным, в нем не чувствуется даже какой-то особой, прирожденной, что ли, склонности к работе в угрозыске, он не видит в этом своего исключительного призвания, хотя работу свою выполняет лучше других. Да и есть ли в самом деле такое призвание?

Опытный чекист Жур в «Испытательном сроке» сознается, что ему больше было по душе работать молотобойцем на заводе, но партия послала его ловить бандитов, и он видит в этом свой святой долг. «Никому не интересно мусор убирать», — говорит он. — Но кому-то же это надо делать покуда. И надо учиться так делать, чтобы мусор убирать, но самому не измараться». Чувство удовольствия тут ни при чем. И нет людей, которые рождаются для работы в угрозыске. Веньку Малышева, подобно Жур, не увлекает пинкертоновщина, он не чувствует себя профессионалом сыщиком, находящим особую сладость в самом процессе эффективной игры, в том, чтобы ловить, выслеживать, выпытывать. Если что и важно Веньке, так это социальный смысл его работы. По самому его человеческому складу ему больше подходит воспитывать, чем карать, и он старается не упустить даже малой возможности помочь преступнику сделаться человеком.

Вот он склонился над трупом ятнадцатилетнего мальчишки Зубка — адъютанта атамана банды Клочкова. Его так, без нужды, подстрелил во время схватки с бандитами Иосиф Голубчик, «наш припадочный», как называет его Венька. Голубчик стоит тут же, смотрит на убитых, самодовольно ухмыляясь, хлопая себя плеткой по сапогам. Он любит себя и уже предвкушает удовольствие прочесть о себе в очерке Узелкова несколько восторженных фраз. Жалкий истерик и позер, он не хочет понять, что пролетариату не нужна бесцельная жестокость, которой упивается романтически взвинченный мешанин. В крутой борьбе приходится порою идти через кровь, но кровь никогда не радость, а крайнее средство и бессмысленное кровопролитие преступно. Венька еще прежде в одной из

операций мог легко убить Зубка, да не захотел, потому что надеялся захватить его живым и сделать из этого отчаянно смелого мальчишки хорошего человека. «Клочков мог из него только бандита сделать, а мы бы сделали хорошего парня. Просто мирового парня сделали бы...»

В повести «Испытательный срок», так же как Голубчик, скор на расправу и легко опьяняется бешенством своевластия совсем еще молодой Зайцев. Ему ничего не стоит без всякой на то необходимости ударить безоружного и не сопротивляющегося преступника по глазам. Он и Жур советует не церемониться с арестованными: «Когда я еще хотел поступить в уголовный розыск, у меня было такое представление, что здесь сразу кончают. Берут и сразу, в случае чего... кончают...» — «Тогда ты ошибся, Зайцев», — отвечает ему Жур. — Тогда тебе всего лучше было пойти в палачи...»

У автора нет к Зайцеву ни малейшего снисхождения, он, кажется, даже чересчур прямо, одноцветно его характеризует. Это потому, вероятно, что он с тревогой думает о том, чем такой Зайцев может стать впоследствии. И когда слышишь предсказание старожилы губернского угрозыска Воробейчика: «Вы не смотрите, что он стажер. Мы все еще наслужимся под его начальством. Вот попомните мои слова. Он далеко пойдет...» — испытываешь смешанное чувство неприязни и беспокойства.

Венька не мог бы понять Зайцева и работать бы с ним не мог. Он всегда недоумевал, как можно сердиться на арестованного, если он один, а за тобой закон, «государство со всеми пушками, пулеметами, со всей властью». И потом Веньке просто интересны люди, он не горопится ставить крест даже на совсем запутавшемся и враждебно настроенном человеке, таком, скажем, как темный, звероподобный мужик Баукин, захваченный во время разгрома клочковской банды. Вот тут Нилин и получает возможность испытать силу доверия как пробный камень человечности.

Начальник, обиженный на дерзкий ответ арестованного, распорядился посадить Баукина в угловую и не кормить. А Малышев, нарушая приказ начальника, приносит Баукину еду, даже самогонкой его угощает, на допросах же подолгу расспрашивает о вещах, не связанных с непосредственными надобностями следствия, — о семье, детях, о брошенном хозяйстве. Начальник смотрит

на эти эксперименты сквозь пальцы, потому что узнает в них прием криминалистической науки, пред которой он преклоняется. «Бывает,— говорит начальник,— что преступник запирается на допросе, не хочет говорить, юлит, финтит, изворачивается. Тогда, значит, что? Тогда, значит, надо повлиять на его психологию...» Он уверен, что Малышев этим и занимается, «бьет на психологию в этом вопросе». Товарищи Веньки тоже так думают: «Венька, наверно, сразу после поимки Лазаря учуял, что его можно использовать. Это понятно. И в этом нет ничего удивительного. Для поимки Воронцова стоило использовать любые средства».

Бывает, что преступник теряется от неожиданности, когда на его злобу отвечают доверием, и толковому следователю этого достаточно, чтобы получить от арестованного нужные сведения и забыть о нем до суда. Но в том-то и дело, что заинтересованность Веньки в судьбе Баукина — нечто большее, чем криминалистический фокус, прием, средство лишь «расколоть» его и выудить необходимые следствию показания. Венька — странно вымолвить — словно бы даже увлечен «занятым» мужиком Баукиным, отчаянным, независимым человеком, в недавнем прошлом смолокур и промысловым охотником. Его трудовое прошлое — не последнее для Веньки обстоятельство. «Венька жил искренним убеждением,— говорит рассказчик,— что все умные мастеровые люди, где бы они ни находились, должны стоять за советскую власть. И если они почему-нибудь против советской власти, значит в их мозгу есть какая-то ошибка». Малышев упорно «встряхивает» Лазарю «башку разными вопросами», потому что относится к нему не просто как к подсудимому, а как к человеку, который может зажечь по-новому. Сразу видно, что это доверие неподстроенное, в нем есть что-то человеческое, теплое.

Повествование Нилина течет по своей убедительной, но легко разгадываемой логике, не покидая спокойного, знакомого русла, пока не делает неожиданный и полный правды поворот, скачок, стократно обостряющий мысль автора, заставляющий по-новому увидеть людей и события. В «Жестокости» две такие вершинные точки рассказа, где противоречия сближены до предела и где вместе с чисто «читательским» чувством тревоги и волнения за героев ис-

пытываешь счастливое удивление смелостью художественного решения.

Во-первых, это побег Баукина, как бы мгновенно ставящий под сомнение идею доверия, на первый взгляд разрушающий так искусно сотканную сеть художественной аргументации. Бандиты, и в их числе Лазарь Баукин, бежали, воспользовавшись либеральным режимом, разрешением помыться в бане. Значит, начальник прав: «Как волка ни корми...» А Венька со своими душевспасительными беседами выглядит одураченным простаком. Но в том-то и дело, что в этой невыгодной для утверждения идеи доверия ситуации скрыта возможность сильнейшего доказательства в пользу правоты Малышева. Доверие как прием следственной практики сохраняет свою силу лишь в пределах комнаты, в которой идет допрос. Оказавшись на свободе, преступник волен не соблюдать правила игры. Однако если речь идет о подлинном человеческом доверии, то оно действует и за стенами уголовного розыска. Венька Малышев разобрал душу Баукину, и тот без всякого принуждения, по своей воле и разумению поврвал с бандитами да еще помог схватить неуловимого атамана Воронцова. Доверие оказалось сильнее всех средств запугивания или агитации, оно могло как будто торжествовать полную победу... И тут вновь, приведя читателя к порогу, за которым уже угадывалась спокойная развязка, Нилин ломает знакомую схему, и повествование круто набирает высоту.

Когдаходишь к этим страницам, заранее охватывает тревожное предчувствие надвигающейся беды, навеянное интонацией рассказчика, слишком внимательного ко всем подробностям этого последнего дня,— и все-таки выстрел Веньки оглушает жестокой неожиданностью.

Отчего же застрелился Малышев? Обыватели в Дударях убеждены, что хоронят комсомольца, застрелившегося от несчастной любви. Но мы-то знаем, что одно лишь, пусть обидное, недоразумение с Юлей не могло скрутить голову такому парню, как Венька.

Начальник поставил его перед необходимостью перевести человеческие отношения с Баукиным на официальную, юридическую почву, а значит, выдать его и тем самым опозорить, перечеркнуть идею доверия. Это была в жизни Веньки решающая минута, рубеж, перепутье. Он должен был узнать

сам у себя, способен ли он на легкий компромисс, на сделку с совестью. Разные бывают люди: одни в подобных случаях идут пиво пить и легко утешаются глубокомысленными рассуждениями об относительности моральных истин. Другие ищут немедленного выхода, потому что и дня не могут прожить с ощущением внутренней раздвоенности. Венька нашел такой выход в самоубийстве. Следовало бы винить его за это — он поступил как романтик, идеалист, а не как зрелый революционер.

Но удивительное дело: вместе с горьким сожалением и досадой на Венькину «глупость» испытываешь облегчение при мысли, что он застрелился, сохранив цельность своей души. Если бы тут не решался главный для всей жизни Малышева вопрос, если бы не были поставлены на карту все его понятия о справедливости, если бы не оказалось под угрозой его уважение к себе и даже просто ощущение себя цельной личностью, Венька, наверное, первый бы посмеялся над возможностью такого драматического исхода, вовсе недостойного комсомольца, как заметил словоохотливый Узелков.

Веньку убило недоверие, мы хорошо знаем это. Но непосредственные виновники его смерти искренно недоумевают, как все это могло случиться. Начальник высоко оценил ловко проведенную Венькой операцию и, кажется, окончательно убедился в том, что Малышев был прав, когда «бил на доверие». Игра разыграна отлично! Правда, придется немного покривить душой, чтобы приписать весь успех операции работникам угрозыска. Придется, может быть, даже «вывести в расход» помогавшего им Баукина, но этого в конце концов требуют некоторые высшие соображения. Вот по поводу этих «высших соображений» следует еще объясниться.

Как-то однажды Венька схватился с газетчиком Якузом, который имел обыкновение приукрашивать описываемые события. Якуз оправдывал это тем, что он не просто берет факты, но осмысливает и подает их в определенном освещении.

«Но перехватывать или вроде как привирать, я считаю, не надо», — сказал ему Венька. «Что надо или не надо — это, к сожалению, не нам с тобой решать», — ответил Узелков. «А что мы с тобой, не люди, что ли? — возразил Венька. — Мы все-таки ком-

сомольцы и тоже что-то думаем, обязаны думать...»

Для Веньки любая, самая малая, ложь не имеет оправдания. Он просто не может представить себе, из каких это «высших соображений» может быть необходим обмен. «Я считаю, врать — это значит всегда чего-то бояться», — говорит Венька. — Это буржуям надо врать, потому что они боятся, что правда против них, потому что они обманывают народ в свою пользу. А мы можем говорить в любое время всю правду».

Для коммуниста не существует, не должно существовать «лжи во спасение». Нельзя рассудить так: сейчас я прилгу немного, но ради пользы дела, скажем, чтобы не расстроить друзей или не вызвать злорадства врагов, а плохого ничего не случится, потому что ведь полную правду я знаю, и значит, все в порядке. Даже условная, частная, даже из благих намерений родившаяся ложь незаметно развращает сознание и губит всякое доверие между друзьями и единомышленниками. «Ложь во спасение», сопутствующая недоверию к людям, никогда еще не вела к большой правде. Так думает Венька. И ему трудно примириться с жупелом «высших соображений», добровольно отказаться от права действовать сознательно и самостоятельно понимать вещи.

Ведь ссылка на «высшие соображения» чаще всего появляется тогда, когда нечего сказать, когда трудно или совестно объяснить что-то впрямую. Все доводы разума действуют лишь до тех пор, пока твой собеседник не уронит многозначительно: «Этого я не могу вам объяснить», или «Не нам с вами решать», или «Есть такое мнение», или «Считают, что это необходимо». С любым аргументом можно спорить, но аргумент «высших соображений» тем и хорош, что он не предполагает дальнейших рассуждений. И ты, недавно еще такой смелый, решительный, убежденный в своей правоте, робеешь, подавленно молчишь, точно загипнотизированный таинственной силой. Куда девалась энергия борца, правдолюбца...

Но есть и другая сторона дела. Ссылка на «высшие соображения» дает освобождение от личной нравственной ответственности, и это хорошо и удобно тем, кто не хочет думать, а мечтает лишь прожить спокойно. Такой человек никогда не скажет: «Я считаю так и буду на том стоять» — для этого нужна незаурядная воля и мужество. Он, как Узелков, будет полагать, что и без

него все заранее решено, а почему решено именно так, даже спрашивать неудобно, вопрос застынет на языке; само собой должно быть все понятно.

Такого типа человек и был Венькин начальник — бывший цирковой актер. Он безумно любил тишину и считал ее «главным признаком порядка». Кроме того, он ненавидел «глупость», но слово это понимал в несколько неожиданном, своем смысле. В каком, можно понять из одного эпизода его биографии. Начальник потерял на гражданской войне два ребра и пальцы по причине, как он считал, этой самой «глупости»: «Заспешил я. Хотел быть умнее всех. А это тоже не требуется».

От надежных формул осмотрительности («надо, чтобы было тихо» и «в пределах разумного») до бесчестия — только один шаг. Но для некоторой благообразной видимости всегда остается в запасе ссылка на «высшие интересы», понимание которых якобы не всем доступно. Какое только бездушное, холодное безразличие к людям не пробовало защищать себя так!

Внутреннюю логику поведения начальника в деле с Баукиным, ту жизненную концепцию, исходя из которой ничего не стоит принести в жертву справедливость, честь и даже жизнь отдельного человека, помогает яснее представить себе другой эпизод повести.

На комсомольском собрании в Дударях обсуждают дело Егорова, обвиненного в религиозных пережитках. Обвинение, в сущности, липовое, составленное по доносу церковного старосты. Но этого достаточно, чтобы, еще не выслушав Егорова, не зная обстоятельств дела, не посоветовавшись с комсомольцами, работник губкома Борис Сумской считал судьбу его решенной. Куря дорогой табак, самодовольный краснобай в кожаной куртке рассуждает: «Да, я считаю, это будет полезно для всей городской организации... Надо учить людей, вот именно, на конкретных примерах. А дело Егорова может послужить прекрасной иллюстрацией». Его слова как попугай повторяет Узелков, уже заготовивший очерк об обывателе с комсомольским билетом: «Егоров не какая-то особенная фигура. В огромном государстве, даже в пределах одной губернии, его и не заметишь. Как какой-нибудь гвоздик. А тем не менее на его деле мы могли бы научить многих...»

Сама эта терминология — гвоздик, ви-

тик, иллюстрация — в применении пусть к самому обыкновенному, незаметному человеку звучит кощунственно. Конкретный, живой Егоров не важен, не интересен Сумскому. Он легко готов пожертвовать им ради «общих интересов». Но в таком случае мы понимаем, что «общие интересы» для Сумского фетиш, за которым либо иллюзия фанатика, либо корыстное лицемерие.

Тем же комплексом идей руководится и Венькин начальник, оправдывая свое бездушное решение некоей «высшей» необходимостью. Веньке не легче от этих оправданий: как ни крути, выходит, что он предал Баукина, который поверил ему как человеку и коммунисту. «Выходит, что я обманул их! — говорит Венька перед смертью. — Обманул от имени советской власти! Какими собачьими глазами я буду теперь на них смотреть? А начальник говорит, что этого требует высшая политика...»

Даже если не подозревать начальника в личной корысти и стремлении выдвинуться благодаря успешной операции, а поверить Иосифу Голубчику, что начальник хочет поднять в глазах населения авторитет уголовного розыска, приписав исключительно своему учреждению заслугу поимки Воронцова, то и тогда трудно оправдать его. Венька прав: советской власти обман не нужен. Авторитет нельзя построить на обмане и недоверии к людям, а ведь именно недоверие лежит в основе стремления начальника выдать желаемое за действительное.

Так, открываясь все в новых сторонах жизни и обнаруживая порою подлинную глубину, предстает у Нилина тема доверия как важной части коллективистской, социалистической морали.

Кстати, вправе ли мы считать, что доверие не просто отвлеченная моральная истина, а идея социалистическая? Думаю, что вправе. Социалистическая мораль, основанная на общественном равенстве и взаимном уважении, впитывает в себя все лучшее, человеческое, благородное, что было выработано в общении людей веками. Между прочим, и то доверие, которое существовало в народе искони между простыми людьми и не позволяло — в рассуждении подозрительности к чужому человеку — захлопнуть дверь деревенской избы перед попросившимся на ночлег странником, — это доверие социалистическая мораль тоже усваивает себе.

И когда в новой Программе партии мы читаем, что человек человеку — друг, това-

риш и брат,— это звучит как торжественное провозглашение идеи доверия между людьми и приговор лживой подозрительности.

В своих повестях Нилин отстаивает мысли, ныне, особенно после XX и XXII съездов партии, как будто очевидные для каждого коммуниста, каждого сознательного советского гражданина. Но ведь было время, когда доверие выглядело идеей сомнительной, а крайняя подозрительность поощрялась и культивировалась. Известна фраза, оброненная как-то Сталиным: «Здоровое недоверие — это хорошая основа для совместной работы». Здоровое недоверие! Слово сочетание столь же противоестественное, что и «здоровая ложь», «честная лесть», «искреннее лицемерие».

В годы культа личности личная подозрительность переносилась в политическую практику, в общественный быт. Жертвами крайней мнительности и политического недоверия становились часто не только люди, объявленные врагами народа, но их родственники, знакомые, сослуживцы. В конце тридцатых годов на этой почве развился психоз массовых поисков «вредителей». Личное недоброжелательство, клевета, наущничество, слежка соседей друг за другом, анонимные лжесвидетельства служили часто единственным поводом для жестоких репрессий.

Находились люди, которые пытались даже теоретически закрепить подозрительность в качестве нормы. «Не нужно обольщаться тем,— писал в 1937 году Вышинский,— что такой-то хорошо работает, что он служит добросовестно и что поэтому он не может оказаться врагом, не может быть агентом иностранной разведки... Нужно просто взять себе за правило — вести себя так с любым человеком, что, если этот человек окажется врагом, он не мог бы извлечь из этого знакомства что-нибудь полезное для себя...» Известно, что Вышинский подверг пересмотру традиционное юридическое правило «презумпции невиновности», согласно которому человек не считается виновным, пока судом не доказано его преступление. В качестве исходного момента предлагалось взять другое — виновность обвиняемого. Таким образом, всякий, на кого пало подозрение, теоретически уже становился преступником и должен был сам прилагать усилия, чтобы доказать обратное. Вот где слепая мнительность справляла свой пир!

Конечно, подозрительность эта не могла сколько-нибудь сильно исказить сознание народа, поколебать его представления о справедливости. Но я не рискнул бы утверждать, что яд этот был вовсе безразличен и никак не сказался на общественной психологии, привычках и навыках в известную пору жизни.

Партия решительно осудила злоупотребления былых лет. И литература наша тоже не осталась в стороне от этой борьбы, тем более существенной, что и до сих пор иной раз приходится встречаться с психологическими пережитками времен культа личности, будь то догматизм бюрократа старой закалки или, на мой взгляд, сомнительная идея введения института «общественных следователей», которой недавно так увлеклась одна газета. «...Пора в законодательном порядке установить,— прочли мы там,— что следователь-общественник должен быть такой же фигурой, как и следователь-профессионал». Как будто в былые годы мало было бед от следователей-добровольцев? Нет уж, пусть лучше дело это остается пока профессиональным, а расширение прав общественности найдет себе другое русло.

Надо ли, таким образом, доказывать, что мысль о доверии, утверждаемая Нилиным, и современна и значительна? Вот только одну сторону дела следовало бы еще раз уточнить. Так, последовательно отстаивая идею доверия к людям и отменяя всякую подозрительность, не впадает ли сам Нилин в некоторый род благородной, но утопической иллюзии, не смыкается ли он в своем гуманизме с христианской терпимостью к врагу, с толстовскими идеями всепрощения? Не буду множить этих вопросов, чтобы самому не усвоить незаметно тон излишней подозрительности по отношению к писателю, что так нередко происходит в критических статьях, как только дело коснется понятия «гуманизм». Сознаюсь, что мой вопрос носил риторический характер, я задал его лишь с тем, чтобы ответить: нет. Нет, Нилин не хуже любого знает, что в современном мире, где не искоренены еще насилие и злоба, насилием приходится отвечать на насилие, что у нашего общества есть свои недоброжелатели, к которым наивно было бы идти с пальмовой ветвью доверия. Да и в частной жизни, признаться, мы не достигли еще такой гармонии, чтобы безраздельно доверять всем и каждому. Пусть не подумает читатель, что я

сам такой простак, чтобы призывать довериться первому встречному-поперечному; сказать по чести, мне даже вовсе не по душе люди, которые любой ценой хотят втереться к вам в доверие и слишком интересуются чужими сердечными тайнами. Что там говорить — всякая абстракция мертва, мертва и абстракция доверия.

Есть, однако, один решающий признак, позволяющий обозначить в самом общем виде два типа отношений к людям. Важен исходный взгляд на вещи. Одно дело, когда человек считает нормальным состоянием держать весь мир у себя на подозрении, когда он видит в каждом человеке возможного врага или соперника и лишь с трудом находит тех немногих, кому подлинно может доверять. (Психологический и исторический парадокс, к слову сказать, состоит в том, что как раз при таком узко избирательном доверии друзья оказываются ненадежны, самые преданные сторонники составляют заговоры, безропотно покорные ученики свергают учителей. «Своим недоверием мы оправдываем чужой обман», — говорил Ларошфуко.) Другое дело, когда человек считает естественным относиться к окружающему его миру и людям с доверием, когда вера в добрую волю людей — коренное для него чувство. А если и приходится иной раз не доверять кому-то или чему-то, то это во всяком случае не слепая подозрительность, а плод горького опыта и сознательного убеждения. Даже разочарования и обиды не должны заставить смотреть предвзято на каждого нового повстречавшегося вам человека. Иными словами, доверие, а не подозрительность — первоначальное, нормальное, естественное побуждение.

Итак, вопрос о доверии упирается в конечном счете в следующее: видеть ли в каждом человеке потенциального преступника или в каждом преступнике потенциального человека? Не пробуя искусственно притушить и сгладить остроту вопроса, Нилин неизменно славит силу доверия.

Главной своей теме Нилин остался верен и в недавно опубликованной повести «Через кладбище» («Знамя», № 7, 1962), хотя жизненный материал оказался тут иным, чем в «Жестокости», да и сама мысль автора получила новый поворот.

Нилин рассказывает о годах войны, о белорусских партизанах, о том, как шла

жизнь на захваченной врагом земле. Его герой — партизан Михасик — совсем мальчишка, ему едва исполнилось шестнадцать лет. Нилин любит писать о молодых ребятах — юношах, подростках. Их впечатлительность, душевная чистота в соединении с мальчишеской угловатой искренностью кажутся ему залогом восприимчивости ко всему доброму в людях, в том числе и к доверию. Но Венька Малышев, когда мы узнаем его, обладает уже готовым, сложившимся в главных чертах отношением к жизни. Что же касается повести «Через кладбище», то тут писатель ставит перед собой задачу иную, в чем-то более сложную: показать, как меняется юный герой, как движется его неустоявшееся сознание, как начинает он завоевывать для себя то гуманное понимание людей, которое для Веньки было аксиомой.

Всего несколько дней длится поездка Михасы в город за взрывчаткой для партизан, но он возвращается из Жухаловичей повзрослевшим не на один год. Теперь уже при встрече с немцами у него не задрожат колени, он научился побеждать страх. Но он научился и еще кое-чему, не менее важному: доверять людям, от которых ты ждешь помощи в борьбе, не верить предвзятому, поверхностному представлению о человеке.

Нилин хочет показать жизнь в годы оккупации с новой мерой достоверности, не условно, как можно представить ее издали, «в общих чертах», а реально, как можно увидеть ее только «изнутри», со всем горьким и сложным бытом населения, оказавшегося под немцем. Он не бежит и тех сторон жизни, о которых писали мало или вовсе не писали: о «зятках» — окруженцах, пригревшихся в домах у вдов и пытавшихся пересидеть трудное время; о девушках, которых партизаны прозвали «немецкими овчарками» за то, что они связались с оккупантами; о том, выполняя призыв «создавать врагу невыносимые условия», жители создавали невыносимые условия и для самих себя; наконец, о том, что ведь никуда не ушли заботы земные, каждодневные, надо было думать, как накормить детей, что самим есть и пить. И автору трудно осудить старика, беспокоящегося, что озими прежде срока уйдут под снег и урожай не будет: «Живой думает о живом. И о живом печется».

У Нилина нет нужды что-то прикраши-

вать и «героизировать» искусственно. Читатель и без того готов сочувствовать людям, пережившим в годы оккупации столько мучительного и тяжелого, но сохранившим верность родине. Тень подозрительности и недоверия падала во времена культа личности на всех, кто оставался на захваченной врагом земле. И зная, как глубоко несправедливо считать беду людей их виной, Нилин вновь и вновь призывает верить людям.

По молодости лет Михась думает, что партизанский долг повелевает ему подозревать всех и вся, опасаться каждого встречного и возможно больше конспирировать. Конечно, надо помнить об осторожности и осмотрительности, отправляясь на задание, но Михась, сам не замечая того, сразу же берет лишку. Везет Михася в город на подводе Сазон Иванович, работающий в немецкой управе, но связанный с партизанами. И хотя сам начальник партизанского отряда говорит Михасю, что это «золотой мужик», «вполне надежный», юный разведчик решает «прощупать на всякий случай настроение мужика».

Разговаривая с Сазоном Ивановичем, Михась ставит ему каждое лыко в строку и легко запугивает сам себя, решая, что едет с «мутным мужичонкой». Его подозрения упрочиваются, когда Сазон Иванович начинает с раздражением говорить о том, как до войны мы похвалялись в газетах не отдать и пяди земли, а вот отдали полдержавы, и т. п. Старик совсем губит себя в глазах молодого партизана, нелестно отзываясь о Сталине и приписывая ему все беды отступления.

Тут, правда, не только Михась, но и искушенный современный читатель может настрожиться: в разговорах о Сталине, которых немало в повести, есть след анахронизма, позднего разумения, приписанного более раннему времени, как-то не помнится, чтобы вина Сталина за нарушения законности в тридцатые годы и за неподготовленность к войне отчетливо сознавалась уже в ту пору. В военных неудачах чаще винили генералов, думали: Сталин не знает, Сталину не доложили. Правда стала известна позже, и боюсь, что Сазон Иванович вместе с автором крепки здесь задним умом.

Если забыть об этой не совсем убедительной подробности, можно сказать, что эпизод поездки Михася с «сомнительным» ста-

риком хорошо подтверждает мысль о тщете ненужной подозрительности. Когда Михась с Сазоном Ивановичем признают друг друга (оказывается, они были знакомы еще в мирное время, до войны, жили рядом), старик с досадой говорит: «Ты подумай, как все получилось! Не только немцев, но еще и друг дружку опасаемся. Времена!»

Времена в самом деле суровые, опасные, но Михась выглядит немного смешно, когда в целях пушей конспирации скрывает от Сазона Ивановича имя механика Бугреева, к которому идет за толом, а от Бугреева — имя Сазона Ивановича, хотя оба они тесно связаны друг с другом. «А мы, вот видишь, без особой хитрости. За чужого табета не считаем», — с легкой обидой говорит Бугреев. «Я, Василий Егорыч, тоже хочу откровенно», — вырывается у Михася.

Пусть это прозвучало совсем по-детски. Но такая наивность — шаг к зрелости для юного ригориста, слишком уверенного прежде в безошибочности своих понятий о людях и не склонного ни к каким поблжкам. Ведь тот же Михась еще недавно, разговаривая со стариком возницей об отце, с таким мальчишеским презрением встретил его предположение, что отец мог оказаться в плену.

«— Едва ли.

— Что едва ли?

— Едва ли мой отец в плен согласится пойти.

Сазон Иванович засмеялся:

— Да, милый ты мой, разве кто на это согласие спрашивает? Могли рацить тяжело, вот тебе, пожалуйста, и — в плену. От этого зарекаться нельзя...»

Михась ни за что не простил бы своему отцу такого бесчестия и позора. В его условно-правильном мире, где одна половина всегда была на солнце, а другая — в густой тени, не находилось места для такого постыдного факта, и он спешил отвергнуть соображение старика, как вещь оскорбительную и просто невозможную для него лично и для его близких. Впрочем, по своему сознанию Михась оказался тут не ниже, хотя и не выше представлений того времени, когда вне зависимости от обстоятельств все побывавшие в плену считались людьми сомнительными, и даже героически сопротивлявшиеся узники немецких лагерей смерти не могли рассчитывать на полное доверие среди своих.

На что на что, а уж на жизненный опыт

война не скупилась, и такие подростки, как Михась, выросли в считанные недели, теряя детскую привычку к ярлыкам и шаблонам, в которые не укладывалось поведение людей в исключительно сложных и трудных обстоятельствах.

Вот, например, приписники, «зятки» — красноармейцы, которые из немецкого окружения вышли, «в бабье окружение попали». Позорная кличка — позорное положение. И Михась, наверное, никогда бы не поверил, если бы не убедился собственными глазами, что такой «зятек» может стать отважным партизаном, как стал им Лаврушка, историю которого рассказывает Михась Бугрееву. Значит, и эти люди не пропали вовсе, надо только помочь им найти дорогу в партизанский отряд.

Или другой ярлык, другая унижительная кличка — «немецкая овчарка». Михась поторопился назвать так Еву, невестку Бугреева, которую он имел основание считать ненадежной и подозревать в предательстве. Но в тяжелую минуту Ева оказалась лучшим другом, она спасла, выходила его да еще припрятала взрывчатку, чтобы отправить ее партизанам.

От проблемы доверия к отдельному человеку Нилин идет к более широкой проблеме — доверия к жизни. Он считает, что не следует выносить поспешный суд о людях, само положение которых как бы заранее предопределяет отношение к ним, возвышает или унижает их. Нет, жизнь движется, течет, сама она меняет человека и заставляет его по-разному проявлять в различных обстоятельствах заложенные в нем от природы или сформированные общественной средой свойства.

Гуманность такого понимания жизни несомненна, но в повести «Через кладбище», при многих ее положительных сторонах, есть печать умозрительности в подходе к этой проблеме. Особенно очевидно это в эпизодах, посвященных Еве, с образом которой связан важный сюжетный и идейный узел повести.

После всего, что с ним произошло, Михасю трудно определить «двумя или десятью словами» свое отношение к Еве. «Что-то в ней есть такое, что привлекает его и будет, наверно, всегда привлекать и что-то будет всегда отталкивать. Но что?» Вопрос повисает в воздухе. Конечно, нет большой мудрости в том, чтобы сменить один ярлык на другой, но на этот раз, сдается, автор сам

немного смущен сложностью своей Евы. Противоречия в ее характере и поступках не очень складываются в цельную картину, писателю не удается заразить нас ее обаянием.

И дело не в том только, что от демонической красоты Евы, ее способности врачевать людей «чувственным удивлением» (этим способом она подняла на ноги Михася) веет условной книжностью. Сама мысль повести — мысль важная и благородная — терпит ущерб из-за двойственного, художественно непроященного отношения к одному из главных лиц действия.

Прежде чем вернуть нам доверие к Еве, автор наговаривает на нее столько неприятного, что потом уже трудно отнестись к ней с симпатией, какие бы добрые поступки она впоследствии ни совершила.

Мы узнаем, что Ева служит машинисткой у оккупационных властей, знает с немецкими офицерами, бывает в офицерском кафе на плотинке, где внутри все устроено «очень оригинально»: «просто колесо от деревенской телеги, а на нем разноцветные лампочки». Такие подробности (в искусстве деталь редко бывает нейтральной), пожалуй, больше даже, чем сам факт сотрудничества с оккупантами, настраивают не в пользу героини. Работать могла принудить нужда, а вот уж оценить оригинальность кафе на плотинке можно было лишь в охотку.

Правда, автор настойчиво указывает на различия между Евой и ее подругой Зинкой, которая сошлась с офицером Эриком и щеголяет в немецких кофточках, но различия эти больше иллюзорные. «Если б не батя, если б Ева его не боялась, она давно бы спуталась с каким-нибудь немцем», — так думает сын Бугреева Феликс. Чем же тогда Ева лучше Зинки? Тем, что ее удерживает страх?

Толстой как-то мудро сказал, что дурные мысли обычно бывают хуже дурных поступков: дурной поступок может быть совершен однажды и забыт, а дурные мысли все время накатывают дорогу к дурным поступкам. Думает же Ева, как можно понять из слов Феликса, так: «Немцы бывают красивые. Блондины. И шоколад дарят. И чулки. И все, что хочешь, могут подарить. Ева даже говорит, что они культурные. И совсем не такие, как она раньше думала. Есть, говорит, даже очень культурные и очень вежливые...»

Ева объясняет свой интерес к немцам тем, что она вообще «всем интересуется» и хотела даже стать журналисткой; на Михася, кажется, производит впечатление это заявление. Но сколько в этом холодной рациональности! «Когда, говорит, не понимаешь по-немецки, видишь только, как они зверствуют,— передает Феликс слова Евы.— А когда читаешь, говорит, их журналы и разговариваешь с ними по-немецки, то видишь, что они не все звери. Среди офицеров, говорит Ева, есть такие же, как мы, студенты, которые хотели учиться, но их привлекли в военные...»

Любознательство к чужестранцам просто как к новым для тебя людям, естественное в туристической поездке, кажется отталкивающим, когда речь идет об оккупантах. И как-то странно благодушно отвечает на слова Евы механик Бугреев.

Тут надо заметить, что у автора припасено одно оправдание, которое должно хотя бы отчасти смягчить естественную антипатию, возникающую у читателя к Еве. Молодая женщина пропадает в бездействии, скучает и томится с тех пор, как муж ее ушел в партизаны, ей «некуда девать свою силу». Испытывая возбуждение от музыки, доносящейся из окон офицерского кафе, Ева говорит: «Я живая, здоровая женщина. И еще молодая, несмотря на то, что мне уже двадцать два. Что же, я должна закрыться, замкнуться в этих стенах? И заживо умереть? А я еще ничего не видела. Еще не жила». Что ж, дело понятное, житейское, и можно было бы искренно посочувствовать Еве, когда бы не те конкретные обстоятельства, в каких происходит действие и которые, естественно, должны были бы ступевать одни чувства и вызывать другие.

Спасая молодого партизана, она, похоже, немного играет в него, как в куклу: кажется, она почти любит трогательной беспомощностью своего «бубочки». И тут же готова в тоне девического умиления говорить об убитом немецком офицере: «Тоненький такой, как комарик. Очень смешной. И совсем еще молодой. Все время рассказывал Зинке, что его ягдкоманда уничтожила очень много партизан. Но, я думаю, он только хвастался. Хвастунишка такой. Тоненькие ножки в блестящих сапожках».

Трудно принять все это за безобидное щебетанье и разделить добродушную сни-

сходительность автора по отношению к Еве. Нужно совершить насилие над своим нравственным чувством, чтобы отвлечься от того, что речь идет о слишком памятной еще войне, о страшной народной беде оккупации. Злопамятность нехороша, но горе и боль той войны до сих пор не забыты в народе, и есть что-то неловкое в той рассудочной объективности, с какой изображена Ева.

Я хотел бы быть понят правильно. Для литературы нет тем и положений запретных, если они существуют в жизни. И можно было бы представить себе такой случай, психологический казус, порожденный особым стечением обстоятельств, что женщина, у которой муж убит немцами и которая помогает партизанам, полюбила немецкого офицера, врага, захватчика. Пусть это была страсть, ослепление или просто немец оказался хорошим, добрым человеком, сторонившимся гитлеровских головорезов, но тут, в этом исключительном положении, могла бы образоваться почва для человеческой драмы, воспитывающей и согревающей гуманное чувство читателя.

Этого нет в повести Нилина. Побуждения Евы мелки, поверхностны, в судьбе ее нет драматизма, а значит, того человеческого содержания, которое вопреки всему помогало бы понять и простить героиню. Гуманный взгляд не извлекается из особенной, индивидуальной судьбы, а прикладывается к ней как готовая мерка.

Оттенок умозрительности есть и в том, с какой настойчивостью, с каким нажимом говорят герои повести о чувстве милосердия, жалости к немцам, так что оккупация порой — явно вразрез с намерениями автора — начинает казаться неким стихийным бедствием, безотносительным к самим оккупантам. Сочиненными, придуманными кажутся речи убогого и незлобивого Феликса, представляющего собой нечто вроде домашнего юродивого. «После того, как погибли его братья, то есть мои сынки,— рассказывает его отец,— он как будто каким-то слишком религиозным стал. Все время всех жалеет. За всех переживает. Говорит даже — грех. И откуда он подцепил это слово? Грех, говорит, немцам, что они наших людей убивают, и нам тоже будет нехорошо. Очень, говорит, много народа ни за что погибает. Жалко, говорит, всех людей». Михась, вторя Феликсу, тоже признается, что иногда жалеет немцев, особенно плен-

ных, раненых. Великодушное, естественное чувство, но подано оно односторонне, преувеличенно. «Уж на что я все-таки, можно сказать, политически подкованный,— говорит Михась,— а и то у меня тоже другой раз просто сожмется сердце. Станет жалко».

Да разве дело тут в политической подкованности? А не в том, что мать его убита немцем, на глазах у него заколота штыком, что на площади в Жухаловичах повешены партизаны, что сам он будет расстрелян, как только его поймают? И как неожиданно фальшиво для Нилина, почти романсово звучат слова «сожмется сердце». Нет, каким бы гуманным по сути ни было намерение автора, нельзя без ущерба для истины отстраниться от жестокой реальности исторических обстоятельств.

Когда теряет свою убедительность мысль автора, страдает и чисто художественная сторона. Это особенно заметно на последних страницах повести, несущих следы какой-то торопливости, незавершенности. Вот, скажем, Ева, обиженная тем, что Михась назвал ее «немецкой овчаркой», выносит ему из дому револьвер и предлагает стрелять в нее. «Ева, Ева! — говорит Михась. И в свете луны с содроганием видит, какая она красивая. Какая она просто сказочно красивая, когда у нее горят глаза и набухают слезами». В этой мелодраматической и такой декоративной сцене как будто даже художественный вкус изменяет Нилину.

Дочитывая повесть «Через кладбище», думаешь вот о чем: можно испытывать доверие к жизни, закрывая себе глаза на всякое зло, живя в царстве счастливых иллюзий. Но можно, хотя это и труднее, сохранять доверие к жизни, глядя на нее впрямую, ничего искусственно не примирая и не жертвуя историей, памятью прошлого. Сила Нилина — автора «Жестокости» в такой реалистической трез-

вости взгляда. Ею он поступается отчасти в повести «Через кладбище», хорошо задуманной, интересно начатой, но в чем-то и разочаровывающей.

Нилину как писателю вообще свойственно в высшей мере гуманное, а значит, и трезво правдивое понимание жизни. Он верит, что жизнь богаче всякого сконструированного представления о ней, богаче любого правила, предписания, вывода, закона. Это ничуть не вредит признанию правил и законов, но художник знает, как важно не пропустить такую малость, которая одна только и ставит все на место: каждый человек индивидуален, каждый случай нов и необычен. Он для того и берется за перо, чтобы опрокинуть «правило» исключением, которое само может претендовать на то, чтобы быть правилом, — иначе никакого, даже самого скромного открытия в познании человека он не совершит. Но как же важно, чтобы уничтожение шаблона, заблуждения, ходячего предубеждения не привело ненароком к полемическому «контрштампу», столь же приблизительно и условно отражающему живую жизнь. И если в последней повести, при многих ее достоинствах, Нилину не удалось избежать досадной односторонности, виной тому, как кажется, излишняя рассудочность, «предопределенность» авторской идеи.

Читать Нилина, даже когда не соглашаешься с ним, и интересно и поучительно.

Его повести не принадлежат к числу тех, что лишь развлекают и отвлекают читателя, а критику доставляют возможность оценить отдельные художественные находки и посоветовать на частные промахи. Повести Нилина учат думать, сознавать себя и свое время.

Найдется ли другое достоинство книги, которое поспорило бы с этим?..



А. ДЕМЕНТЬЕВ

★

НА ПРОВИНЦИАЛЬНОМ УРОВНЕ

Редакция французского журнала «Леттр нувель» решила один из номеров этого года посвятить советской литературе. Номер вышел в мае под названием «Советские писатели сегодня». Приглашенные составители Клод Линьи и Пьер Форг отобрали и перевели для него из нашей литературы последних лет некоторые стихотворения, рассказы, отрывки из поэмы, романов, пьес, статей.

Редактор журнала Морис Надо уверяет читателей, что составители номера не жалели труда, что им «пришлось рыться в специальных библиотеках, копаться в журналах, привлечь к сотрудничеству частных лиц» и т. п. Это заявление должно служить как бы гарантией солидности и объективности издания. Однако, знакомясь с составом выпуска, испытываешь недоумение: редакция, очевидно, преувеличила меру своих усилий. Ну право же, не стоило большого труда разыскать стихотворение Юлии Нейман «1941» и С. Кирсанова «Черновик», рассказы А. Яшина «Рычаги» и Ю. Нагибина «Свет в окне», статью А. Крона «Заметки писателя», так как эти произведения все вместе были напечатаны еще шесть лет тому назад во второй книге альманаха «Литературная Москва», тогда же вызвавшей интерес в некоторых кругах зарубежных литераторов. Едва ли также нужно было прибегать к помощи «частных лиц», чтобы найти несколько стихотворений Е. Евтушенко, А. Вознесенского, «Звездный билет» В. Аксенова, «Новогоднюю сказку» В. Дудинцева или рассказ Ю. Казакова «Отшепенец» и повесть В. Гендрякова «Тройка, семерка, туз». Разве периодические издания, где были помещены эти произведения («Новый мир», «Юность» и др.), не знакомы редакции журнала?

Что же касается произведений Н. Заболоцкого, В. Некрасова, В. Пановой, О. Берггольц, М. Алигер, то мы просто не смеем поверить, что Морис Надо и его сотрудники не знали, где их раздобыть. Они широко известны и не впервые переводятся на французский язык.

К сожалению, в самом подходе к делу редакции «Леттр нувель» чувствуется налет какой-то провинциальности, как это ни странно сказать о журнале, издающемся в столице Франции. Но ведь провинциальность не просто географическое понятие. Применительно к литературе — это и неосведомленность, и неразборчивый вкус, и склонность к слухам, и подражание дурным образцам.

Только зная советскую литературу понаслышке, можно писать, что А. Яшин и В. Аксенов принадлежат к одному поколению, ставить рядом стихи Ю. Нейман и Н. Заболоцкого, фельетон В. Полякова и повесть В. Некрасова, уверять, что все произведения, включенные в выпуск, имели громадный успех у советских читателей. В справке об О. Берггольц даже не упомянута ее главная книга «Дневные звезды» и, кстати говоря, утверждается, что она родилась в Угличе — деревне около Ленинграда. Сказать так о старинном русском городе, расположенном в шестистах километрах от Ленинграда, — это почти то же, что объявить Гренобль деревней, расположенной под Парижем. Да и родилась О. Берггольц не в Угличе, а в Петербурге.

О том, что в журнале не нашли места многие и многие значительные и знаменательные произведения советской литературы последних лет, и говорить нечего. Это уже убедительно разъяснено французской кри-

тикой¹. Зато разного рода предисловий, введений и пояснительных статей и заметок в нем хоть отбавляй. Принадлежат они перу самого Мориса Надо, а также «главного виновника» издания Клода Линьи и его соратника Пьера Форга. Само по себе это, конечно, неплохо, но создается впечатление, что редакция боится оставить читателей выпуска без комментаторов и поводырей.

И комментаторы стараются... Но читатель напрасно будет искать в их выступлениях каких-либо полезных сведений о прошлом и настоящем советской литературы. Анализа тех или иных художественных произведений в них нет. Вместо этого читателям преподносятся обычные для буржуазной печати измышления о положении литературы и писателей в Советском Союзе. Разговор все время вертится лишь вокруг да около литературы. А между тем мы уверены, что серьезные читатели всегда предпочтут разбор, к примеру сказать, «Двенадцати» А. Блока, «Хорошо!» Маяковского или цикла «Русь Советская» Есенина разного рода безответственным домыслам. Но Клод Линьи придерживается иной «методологии». В своей пространной статье «Голос русского народа» он ничего не говорит о произведениях Горького, Блока, Маяковского, А. Н. Толстого, Шолохова, Фадеева, Леонова, Федина, Катаева и других советских писателей, но весьма охотно пускается в различные кривотолки по поводу культа личности, политики партии в литературе, социалистического реализма и т. п. Кривотолки эти оригинальностью не отличаются, но понятно, что, не считаясь с фактами, удобнее чернить советскую литературу, распространяться о ее «исчезновении». Создается впечатление, что наша литература неинтересна и Клоду Линьи и Морису Надо и выпуск майского номера «Леттр нувель» предпринят ими вовсе не в интересах литературы. К произведениям советских писателей они относятся с нескрываемым пренебрежением и снисходительностью.

Впрочем, то, что составители сборника не касаются произведений советских писателей, может быть, и к лучшему. Уж слишком примитивно или до смешного наивно

судят они о нашей литературе. Что, например, представляет собой «За далью — даль» А. Твардовского? Оказывается, это поэма, «прославляющая индустриальное и сельскохозяйственное развитие СССР». Только и всего. Как представляет себе Морис Надо творчество Н. Заболоцкого? Заболоцкий, оказывается, «близок по духу Твардовскому». «Звездный билет» В. Аксенова? Это, по мнению составителей, «одно из лучших произведений советской литературы, появившихся после войны... Порыв и одушевление Аксенова сметают все». Сильно сказано, не правда ли? Сравнить с этим можно, пожалуй, лишь характеристику Е. Евтушенко и А. Вознесенского, в чьих произведениях, оказывается, «проступает лик поэзии будущего», чья символика и параболическое мышление «подрывают самые основы социалистического реализма». Талант Евтушенко, как гласит справка, напечатанная в журнале, «разбивает на тысячу кусков скрючили социалистического реализма». Так и написано — черным по белому. Но вся эта смесь нелепых представлений о советской литературе и бесильной ненависти к социалистическому реализму способна вызвать только усмешку.

Инициаторы выпуска пытаются оторвать современную советскую литературу от литературы предшествующих десятилетий и противопоставить их друг другу. Здесь они пускают в ход довольно изношенную аргументацию: дескать, культ личности «убил» нашу литературу, лишил ее свободы, а в 1946—1953 годы довел ее до полного запустения. Клод Линьи уверяет читателей, что единственным произведением, созданным в эту пору, был «Русский лес» Л. Леонова. Но ведь эти построения превращаются в прах при первом же столкновении с фактами. Культ личности бесспорно нанес серьезный ущерб советской литературе, но не поколебал ее основ. Литература развивалась в тесной связи с жизнью народа, под воздействием великих идей, потрясших весь мир. Это не нуждается в доказательствах. И в годы 1946—1953, кроме «Русского леса» Леонова, появилось немало значительных произведений. Они известны, а Клод Линьи при более добросовестном отношении к делу мог бы навести соответствующие справки.

Современная советская литература, говорят нам, стала на путь обновления. Да, конечно, в нашей литературе последних

¹ См. статью Клода Прево «Новый характер героизма в советской литературе», напечатанную в июльско-августовском номере журнала «Леттр критик» за этот год.

дет много нового, но вместе с тем она не только не порывает со своим прошлым, но, напротив, продолжает и развивает его лучшие традиции. Зачем же, например, М. Шолохову отречься от «Тихого Дона», А. Твардовскому от «Василия Теркина», К. Федину от «Первых радостей» и «Необыкновенного лета», В. Пановой от «Спутников», В. Некрасову от «В окопах Сталинграда» и т. д.? А ведь все это вещи, созданные в тридцатые—сороковые годы. И почему Е. Евтушенко, В. Аksenov и другие молодые писатели должны отказываться от наследия, накопленного предшественниками? Ведь стремление к новому вовсе не предполагает пренебрежения ко всему старому.

Далека от истины нарисованная Морисом Надо и его помощниками картина развития современной советской литературы. В ней царит «разброд» и идет все обостряющаяся борьба различных направлений: «правого и левого», «либерального» и «сталинистского», «социалистического реализма» и «критического направления». Нельзя сказать, чтобы это изображение отличалось самобытностью. Его можно найти и в других буржуазных изданиях последних лет. Убедительней и правдивей от этого оно, конечно, не становится.

Конечно, советская литература не подстрижена под одну гребенку, и наши писатели — живые люди с индивидуальными пристрастиями, вкусами, мыслями, художественными склонностями. Конечно, в советской литературе есть те или иные противоречия, но в своей преданности народу, партии и делу коммунизма она едина, и в этом ее особенность и сила. И «Леттр нувель» напрасно заигрывает с иными из наших современных писателей (особенно с молодыми) и похлопывает их по плечу. Ничего из этого не выйдет.

Еще более безнадежны попытки ухватиться за наши литературные дискуссии (например, о «самовыражении») или за раз-

ного рода перемещения в органах писательских организаций. От этих пересудов тоже веет духом провинциальной пошлости. Разумеется, в нашей литературе, как и в любой живой литературе, идут споры, дискуссии, иногда принимающие довольно острый характер, но это творческие споры внутри единой советской литературы, и перетолковывать их иначе можно лишь при крайней неосведомленности, любви к злословью.

Как сообщает Клод Прево в упомянутой статье, Морис Надо уже давно старается «зарубить» социалистический реализм, и в майском выпуске «Леттр нувель» «комментарий метра и его учеников исходит из всех пор терпкое свидетельство этого сизифова труда». Но и поданная под таким соусом антология показывает, по мнению Прево, силу советской литературы, которую сейчас не могут скрыть от читателей даже литературные кухни, подобные журналу Мориса Надо. «Публика хочет проникнуть к источникам литературы, всемирное значение которой она предчувствует», — говорит он. Можно попытаться лишь задержать этот порыв, «подставить ножку или воспользоваться недозволенным приемом». «Решающее сражение озлобленные противники реализма проиграли», — пишет Прево. — Речь идет теперь только об операции по торможению». Этим, по его словам, и объясняется «низкий уровень и крайняя обветшалость аргументов Мориса Надо и его «викариев».

К сказанному Клодом Прево можно добавить, что, вероятно, специальный выпуск «Леттр нувель» мог бы быть хотя бы несколько иным, если бы его составители не шли по следам таких американских изданий, как «Партизан ревю», и не заимствовали свои «концепции» у таких «знакоков» советской литературы, как Джордж Гибнан и Макс Хейуорд. Между тем равенство на эти сомнительные образцы слишком заметно во французском журнале и в организации материала, и в освещении вопросов развития советской литературы.



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

★

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Г. Цурикова. О тех, кому сегодня тридцать лет.— **М. Рощин.** Мальчишки и принцессы Эдуарда Шима.— **И. Соловьева, В. Шитова.** В трех томах.— **М. Бойко.** «Всеобъемлющий человек».— **А. Ивич.** Писатель и наука.— **Л. Зонина.** Поэзия ответственности.

ПОЛИТИКА И НАУКА

Б. Яковлев. «По поручению Владимира Ильича...» — **С. Славин,** доктор экономических наук. Важная проблема строительства коммунизма.— **Д. Шелестов,** кандидат исторических наук. Документы немеркнущих лет.— **Г. Герасимов.** Служители культа ядерной войны.— **И. Селинов,** доктор физико-математических наук. Легендарная фигура века.

Литература и искусство

О ТЕХ, КОМУ СЕГОДНЯ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ

В. Ляленков. Борис Картавин. Детский роман. Редактор И. Кузьмичев. «Советский писатель». М.—Л. 1962. 308 стр.

«Борис Картавин» — первая книга Владимира Ляленкова, имя которого несколько раньше читатель мог встретить в ежегодно выходящем сборнике «Молодой Ленинград».

Можно спорить, роман ли это, — во всяком случае он писался не для детей, но читать его могут и дети, равно как и взрослые; это одна из тех книг, в которых читатель любого возраста может найти интересное для себя. По жанру «Борис Картавин» приближается к традиционной повести о детстве.

Герои книги — девяти-десятилетние мальчишки. Время действия — 1941 и 1942 годы. Место действия — недалеко от Курска. Сюжет «детского романа» всецело определяется развитием военных операций на этом участке фронта — если, конечно, это можно назвать сюжетом: движение беженцев на восток, жизнь на оккупированной территории, которая позже, во время зимнего наступления Советской Армии, становится нашим «глубоким» тылом, а потом опять местом военных действий и снова

оккупированной территорией. Именно эти события предопределяют поступки героев, их жизненное состояние и даже формирование личности. Большая и важнейшая часть их жизни укладывается в эти месяцы (меньше полутора лет). Но книга — не о войне.

Она о детстве. О начальном периоде жизни целого поколения — нынешних тридцатилетних, — о времени, когда закладывались основы их человеческих качеств.

Не надо думать, что это война определила характер Бориса Картавина. Он уже до войны был довольно самобытной натурой. В разрозненных эпизодах, изложенных немного наивно, как бы увиденных глазами героя, которому осенью — во второй класс, намечается любопытный характер упрямого и по-своему мужественного фантазера, озорника. Он бы хотел быть хорошим, но сам с собою не сладит; он готов понять и отца, считающего основной частью воспитания порку. «Но и этой частью он не увлекается. Как-то лениво, с неохотой хватает меня и лупит. К тому же сте-

гает не по своей воле... Вначале бабушка или сестра доносит маме о моих грехах. Если грех считается большим, мама приступает пилить отца. Тот терпит, и когда у него лопаются терпение — никуда не денешься, хоть в сад беги, хоть на улицу, все равно поймает». В маленьком человеке есть рассудительность, даже самокритичность. «Я всегда сразу признаюсь. Во-первых, кончается все скорей, да к тому же моментальное признание ставит отца в тупик. Видимо, если бы я запырлялся, ему легче было бы приступить к наказанию».

Второстепенные персонажи романа вырисовываются как бы из тумана, по мере того как их облик проясняется в сознании ребенка, и часто не успевают принять отчетливых очертаний. Так и отец поначалу: он живет в случайных, запомнившихся мальчишке мелочах довоенной жизни. Потом окажется, что на самом деле все гораздо сложнее: отец — ответственный работник, впоследствии один из организаторов партизанского движения в области, суровый человек, поглощенный своими взрослыми заботами и делами, к тому же еще больной, часто ему просто некогда подумать о детях, которые рядом и все-таки далеко от него.

Отвратительнейший из «подвигов» Бориса — он влез через забор в чужой сад и оборвал все до единой груши с опытного дерева, которых сосед ждал пять лет. У соседа непривлекательная наружность, и мальчишки прозвали его Гапоном, но разве это оправдание? В ужасе перед наказанием Боря думает о том, что самого плохого уже не случится — он школьник, — а самое страшное — это если снова пошлют в детский сад, там заставляют есть несносную манную кашу. «Из-за этой каши была целая война, даже две».

А через несколько дней начинается настоящая война. На мальчика известие о войне не произвело особого впечатления. Он помнил финскую войну — это было зимой: появились очереди, стоять в очередях было холодно. Подумал: теперь хорошо — лето. А тогда по Красноармейской улице лошади тянули пушки, мальчишки бегали смотреть, и Боря чуть даже не попал под лошадь... «Что-то ударило меня в спину, я упал и, когда раскрыл глаза, увидел над собой громадное копыто с блестящей подковой, забитое снегом. Копыто повисло

надо мной и слегка дрожало. Какой-то военный схватил меня, сказал строго: «Жуда тебя несет, чертенка!» — и дал пинка. Я отлетел в сугроб».

В романе В. Ляленкова — множество подробностей. В сознании его героя они еще не складываются в целое и не дают общей картины событий. Они, как это лошадиное копыто, занесенное над головой, слишком близки, стремительны, незнакомы, нет времени и возможности все это осознать или хоть испугаться. Главное: психологическая достоверность, выразительная точность запечатленных деталей, ощущение подлинности происходящего — в этом сила романа, который можно было бы назвать хроникой пережитого.

Во время первого налета на Курск осколком зенитного снаряда задело соседку. «Я подбегаю к ней и смотрю: по лицу от волос текут темные струйки».

Появились первые беженцы: на одном из взвозов Боря замечает черную собачку и лохматого старика с большим горбатым носом, потом — худенькую, бледную девочку с облупленным от солнца и ветра личиком. «Мы евреи, — говорит она. — А твои родители евреи или русские?» Он задумался. Он еще не знает, русский он или еврей. В школе русский язык изучал. «Это совсем неважно, — говорит девочка. — Я тоже русский учила. Но мы евреи». Пройдет очень много времени — целый год, — Боря не вспомнит про эту девочку, когда в городе немцы будут расстреливать по ночам наших людей. Не военных — гражданских, среди которых женщины и маленькие дети. Он запомнит случайно услышанное, что на базаре расстреливали евреев.

Ему только десять лет. «Когда я думаю о расстрелянных, просто не знаю, что и делать», — признается он.

Он видел уже слишком много. Он уже ничему не ужасается и даже не удивляется. Но вот, пережив нечеловеческий кошмар ночной бомбежки у переправы через Дон, выскочив чудом из самого пекла боя, где он оказался вместе с другими беженцами, Боря с острой жалостью смотрит на маленького, всеми брошенного жеребенка возле убитой лошади. Позже, в ходе событий, Боря попадает в лагерь партизан. Там трудно с продовольствием, а война загнала к лагерю двух тяжело раненных коз. Мальчишку послали найти одну из запрятавшихся коз, добыть и притащить в лагерь.

В охотничьем азарте идет он по следам, еще «пять шагов — и коза моя...» «Вдруг останавливаюсь. По телу пробегает судорога. Желтые с черными зрачками глаза смотрят на меня. И я смотрю в эти глаза. Они ждут. Коза смотрит совсем как человек. Кажется, сейчас глаза вздрогнут и она заплачет. Зачем-то прячу нож за спину... Скрываюсь за стволом и стою. Долго стою. Когда выглядываю, коза пугается, прыгает через кустик и, хромя на левую переднюю ногу, пересекает не спеша полянку. Мне так хорошо, что хочется плакать. Если б она понимала, побежал бы за ней и посмотрел раны».

В романе «Печаль в Раю» молодого испанского писателя Хуана Гойтисоло, ровесника В. Ляленкова, рассказывается о детях, дичающих от войны, от жестокости, не понятной им, но отравляющей душу. В романе мальчишки, овладев оружием, убивают своего же товарища. Они не знают, с кем они, если кругом война, против кого? Сбившись вместе, как одичавшие кони, они чувствуют себя окруженными враждебной стихией взрослых. «Дети всегда за все расплачиваются», — говорит преждевременно умудренный двенадцатилетний Абель, которому суждено было стать в этом мире бессмысленной и необъяснимой жертвой. Страшно то, что именно дети первыми перестают воспринимать жестокость и ужасы войны как нарушение нормы человеческого существования. Они первыми начинают видеть во всем этом повседневное, обыденное — естественный ход жизни.

Борис Картавин и его приятели тоже вживаются в прифронтовую быт, но в отличие от своих ровесников из романа Гойтисоло они не одичали (правда, по их вине также погиб один из мальчиков, но это несчастный случай, не больше), и они не теряют при этом ориентира, они знают, кто враг.

Оказавшись в деревне, занятой фашистами, в одной избе с немецкими солдатами, Боря придумывает одному ему понятную игру, проведя мысленно границу через всю комнату наискосок: по одну сторону этой границы — немцы, по другую сторону — мы. Прохаживаясь вдоль границы «своей» территории, он пытается разгонять «вражеское» облако дыма от немецких сигарет. Это игра. И мечты о побеге, сначала совсем ребячьи, а потом и осуществленные, даже с оружием (ребятам удалось похитить ору-

жие, настоящий револьвер с патронами), — в конце концов это все тоже игра. Мальчишки не становятся партизанами, как бы им этого ни хотелось.

Они не совершают подвигов на войне. Но их подвиг в том, что они не становятся ее жертвой: сохраняют живую душу. Жестокость военного быта не помещала возникновению у них чувства товарищества, верности родине. Выросшие на войне, они не утратили подлинной человечности, наоборот — укрепили ее.

Как уже говорилось, развитие романа внешне почти неощутимо. Но вот это постепенное созревание человеческой души и становится внутренним стержнем развития сюжета. Это развитие особенно чувствуется в описании повторяющихся ситуаций: трижды задумывают мальчишки побег, дважды семья пытается эвакуироваться при приближении фронта, много раз Бориса и его близких настигает бомбежка, многократно показывает автор начало ребячьей дружбы. Сначала это элементарная мальчишеская потребность иметь союзника в уличных драках. Потом уже дружба, скрепленная клятвой: «Не врать! Не обманывать! Не предавать!» Жизненные испытания превращают эту детскую дружбу в подлинное, глубокое чувство товарищества.

Характеры мальчишек, друзей Бориса, В. Ляленкову не очень удались. Запоминаются главным образом ситуации, в которых происходят встречи. Реально ошутимо отношение ребят друг к другу. И еще перемены, которые совершаются в них. Не случайно одного из первых, еще довоенных своих товарищей — Ваньку Пекаря, о котором Боря помнил всегда, даже в самые страшные минуты у донской переправы, он при встрече не узнает; они оба стали друзьями за прошедшие год-полтора.

Видишь, как постепенно накапливаются эти перемены. Это особенно заметно в отношениях Бори с постоянно окружающими его людьми — с отцом, с матерью, с сестрой Диней. После первой неудавшейся эвакуации Боря с тревогой глядится в лицо матери, у него вдруг мелькает мысль: «Мама это или не мама?» Мальчика пугает чужое, незнакомое лицо: «Это лицо принадлежит не маме, а какой-то худой, испуганной женщине, большие глаза которой постоянно следят и за мной, и за отцом, и за Диней». Он меняется сам и все вокруг видит изменившимся. Ширится круг наблю-

дений, жизнь видится ему разнообразней, богаче подробностями, тревожней. Преведный Боря, каким он был до войны, не заметил бы того, что различает сегодняшний, переживший военную зиму и в страхе ждущий нового наступления немцев весной второй год: «В городе странная тишина. Как перед сильным дождем. Ветер нигде не шевелится». Детская способность запоминать подробности происходящего сохраняется во время бомбежек — ни одна из них не похожа на остальные. Отсюда и обилие «натуралистических» деталей в описаниях батальных картин, подробностей «беженской» жизни. Но в этом «натурализме» нет нарочитости. Просто у мальчишки уже появилась привычка к свершающемуся на войне, и привычное уже не пугает его.

Но к предательству привыкнуть нельзя. И мальчишки сумели понять это сами. «Если бы сделаться невидимкой,— мечтает Боря,— я бы в первую очередь уничтожил всех до одного предателей».

Исподволь, как бы сама собой в герое романа зреет гражданская стойкость — основа высшей нравственности, его человеческое сознание. Предательство — не отвлеченное понятие для этих мальчиков, выросших на войне. Это реальные люди, такие,

как бывший вор, терроризировавший мальчишек с их улицы, Васюра, который становится при немцах полнейским. Как его прихвостень садист Коляка, посаженный надзирателем в тот самый вагон, в котором Борю вместе с другими детьми увозят в Германию. Но это и большее — то, против чего Борис Картавин и его друзья сумеют в жизни устоять, как бы это ни было трудно.

Молодой писатель справился со сложной задачей — показать, как закладывались основы личности его сверстника, героя, которому нынче исполнилось тридцать лет. В литературе мы встретились с ним не впервые: сегодня это главный герой молодой нашей прозы, знакомый по книгам В. Аксенова, Г. Владимова, В. Войновича и многих других. И все-таки в нем еще многое не открыто.

Роман В. Ляленкова окончен на полуслове. Последние главы его рассказывают о пребывании мальчишек в концентрационном лагере, о мучениях и пытках, о побегах... Рассказ обрывается в самый драматический момент. Это конец первой книги. Мы расстаемся с героем — до новых встреч, до новых узнаваний.

Г. ЦУРИКОВА.

Ленинград.

★

МАЛЬЧИШКИ И ПРИНЦЕССЫ ЭДУАРДА ШИМА

Эдуард Шим. Королева и семь дочерей. Повесть. «Знамя», № 7, 1962.

Эдуард Шим. Мартовский снег. Рассказы. Редактор И. Кузьмичев. «Советский писатель». М.—Л. 1962. 183 стр.

Тринадцатилетний Алешка выходит из магазина и видит, как огромный, нагруженный бревнами лесовоз скатывается задом по крутой развезженной улице прямо на его семилетнего братишку и такую же маленькую девочку, идущую рядом, — они выбежали из дверей магазина минутой раньше... А было прекрасное утро, и восторг, и счастье, и магазин был удивительный, а девочка — младшая из семи принцесс. Все было замечательно и необыкновенно...

Шофер Сергей, добрый парень, потерявший ногу в боях в Будапеште (не в войну, а позже) и мучительно прнучавшийся ходить и работать с протезом, жених старшей «принцессы», в последний миг бросается к лесовозу, спасает детей, а сам погибает. И Алешка, не успевший даже закричать, ви-

дит все с начала до конца. Он тоже мог бы броситься им на помощь, должен был броситься, но...

Так заканчивается новая повесть молодого писателя Эдуарда Шима «Королева и семь дочерей».

И вот эта картина катастрофы, ужаса, смерти и подвига повторяется и повторяется в воображении мальчика, каждый раз обрастая новыми подробностями: сначала автор лаконично сообщает о самом факте, потом, перебивая себя: «нет, не так», начинает рассказ снова и, еще раз сказав «нет, не так», опять заставляет героя пережить и еще подробнее, мельче увидеть случившееся: вместе со звуками радио, раздававшимися, оказывается, в ту минуту над улицей, вместе с этим лесовозом и массой других мелочей Алешка вспоминает то, что

происходило с ним самим — тоже до тонкости, до малейшего душевного движения, — ему надо все вспомнить и понять...

В этих нескольких последних страницах есть и точные, реальные наблюдения, и раздумье автора, и его тревога, и даже точные художественные находки.

Вся-то история такова: Алеша и Степа, дети начальника большого лесного хозяйства, попадают не на тот буксир и приезжают не домой, а в незнакомое место. Два дня длится их путешествие, и за эти два дня они встречают нескольких разных людей и видят огромный мир вокруг, волшебный и прекрасный.

«На качающихся листьях кувшинок сидели горбатенькие лягушки, и это были особенные Лягушки — с крохотными золотыми коронами на головах; они провожали Степу хитро блестящими, выпуклыми глазами и позванивали в стеклянные колокольчики; голенастые дружные Камыши кланялись Степе; березовый Лес на берегу то улыбался, озаренный солнечным светом, то хмурился и прятал улыбку, когда солнце закрывалось облаками. Даже рябые Камни, лежавшие на отмелях, были живыми — они грели свои круглые спины и смешно пускали пузыри, если их накрывало волной».

Мальчики встречают сурового и доброго капитана, и молоденького матроса, и странного «цыганенка» Пашку, сбежавшего из дома, и сердечную седую докторшу в очках. И вот Алешка, этот начальников сын, начинающий поначалу («Моя фамилия Кузьмин», «Я от Кузьмина»), узнает нечто, дотоле, видимо, неизвестное, — доброту и радушие этих случайно встретившихся людей, не знающих, что он «от Кузьмина», участие и первую тревогу мальчишеской любви, и даже под конец переворачивающую душу трагедию с этим самым лесовозом. Замысел автора ясен: Алешка должен задуматься над жизнью, должен возмужать в эти два дня и многому научиться.

Этот замысел, пристальный интерес писателя к тому моменту жизни человека, когда происходит некая перемена, ломка и вместе становление, изменение взгляда на мир, на себя, не могут не заинтересовать читателя. Уже недетский Алешкин самоанализ, и его вопросы о жизни, о том, какова она и какую должна быть — это, конечно же, вопросы самого автора, даже, пожалуй, несколько намеренно вложенные

в уста мальчика, это его боль — и она задевает, тревожит читающего.

Но что происходит в основной части повести, каким же предстает другой, не детский мир — мир взрослых вопросов? Тут, к сожалению, Эдуард Шим продолжает возлагать царские сняющие венцы на всех и вся. Глядя на мир то глазами семилетнего Степы, то Алешки, то принимаясь сам вести повествование, автор время от времени как бы путает границы, и тогда получается так, что Степа уже вроде бы умолк, заговорил автор, но интонация и взгляд автора на мир все еще неотличимы от «предыдущего оратора»... Несколько приторный восторг порою мешает рассказчику видеть реальное и радужно преобразует мир. Недостатки явственно становятся продолжением достоинств. Эдуард Шим вдруг начинает «подгонять» события и выдумывать людей, ошибаться в деталях...

Допустим, что действительно в памяти семилетнего мальчика не находится иного сравнения, и жена колхозного бухгалтера, работающая на ферме, кажется ему королевой, а ее дочери, следовательно, принцессами. «Дочери называют королеву «мама Дуся», у нее муж — колхозный бухгалтер, но это ничего не значит. Стоит взглянуть на нее, как сразу становится ясно, что она — королева». Что ж, давайте взглянем вместе со Степой. «Вот она входит в дверь. У кого еще может быть такой рост, такая голова в короне блестящих волос (вот и корона! — М. Р.), такая величаяя поступь? Кто, как не королева, разговаривает таким властным голосом? Кто бросает такие грозные взгляды?» Вот и все. Больше, к сожалению, кроме двух-трех добродушно-грозных реплик, мы ничего о «маме Дусе» не узнаем. Впрочем, это ведь «ничего не значит», что она «мама Дуся»... Степа, видимо, привычнее лицезрение королев, чем обыкновенных «тетей», и Эдуарду Шиму тоже как-то спокойнее: королева и королева, тем все и сказано... Словом, как говорил Чехов, Сократа изобразить легче, чем кухарку или барышню...

Не очень верится, например, что в этой многолетней семье колхозного бухгалтера всё утро ругают единственного «принца» Пашку за то, что... зубы не чистил... Школьную форму едет покупать Пашке не мать, не старшая принцесса, а принцесса Вера тринадцати лет, и даже самого Пашку не берут в магазин — в это тоже трудно поверить,

зная, каким обычно событием в деревенском доме становится покупка каждой обновки.

Вообще «королевская семья», давшая название рассказу, написана слабее, чем другие персонажи повести.

Реалистическая основа намеренно романтической «Королевы» порой коробится под грузом этой намеренности и «невозможной красоты».

Вот почему, вероятно, и приходится автору в конце прибегать к случаю необычайному и страшному, придумывать нечто такое, что должно в небольшой хотя бы степени уравновесить сосуществующее в жизни доброе и злое, — талантливый писатель понимает, что обойтись одной умильной интонацией нельзя, и спохватывается.

Последние страницы, написанные, как уже говорилось, с напряженным, углубленным раздумьем, страницы сами по себе значительные, не сливаются в одно целое с повестью. Они возникли потому, что ни королевы с принцессами, ни капитана с матросом явно не хватало для того, чтобы свершилось «открытие мира». Невольно приходит на память чеховская «Степь», где среди внешних событий самым «страшным» была всего-навсего гроза.

Все это обидно, потому что тут молодой писатель противоречит самому себе, подменяет мысль, размышление, пристальность и точность, свойственные лучшим его рассказам и наиболее удачным страницам той же «Королевы», голубой улыбкой, красотой, выдумыванием. Зачем? «Эдуард Шим, — как было недавно написано в одной статье, — входит в дежурные списки молодых писателей» («Литературная газета», 31 июля 1962 года). Эта торжественная фраза соответствует действительности. Но наша молодая проза отличается сегодня уже вполне осознанным стремлением исследовать и показывать жизнь такую, как она есть, во всем ее многообразии, сложности. И Эдуард Шим, конечно же, находится в том же русле молодой прозы. Так стоит ли даже чуть-чуть отступать от только что приобретенного, от своего взгляда на мир, от своей темы?

У Эдуарда Шима есть очень хорошие рассказы, вошедшие в последний его сборник «Мартовский снег». Сдержанный, точно, скуп и истинно поэтически написанный «Федор» — о ленинградских детях, вывезенных из осажденного города, о мальчи-

ке, которого звали Фриц и который больше всего на свете боялся, чтобы ребята не узнали его настоящего имени; отлично написан в этом рассказе старый дом, в котором живут дети, весна, возвращение к жизни и детству, горе Федора-Фрица. «Несколько дней подряд они спали, подымаясь только к обеду, а потом стали поодиночке выходить на пустынный двор, сидели на оттаявших могилах, грелись, подставляя солнцу бескровные лица и руки.

Они не смеялись, не разговаривали — сидели тихо, терпеливо, будто ждали чего-то. Не вздрагивали, когда тренькал под ветром колокол, не поднимали глаз на орущих га-лок».

Глубок и точен «Ливень» — рассказ о мальчишке, увидевшем вдруг жестокое и подлое в существе тоненьком, чистом и красивом, пережившем первое трагическое событие в жизни, первую любовь и первое разочарование; та же тема, решенная уже «по-взрослому», — в рассказе «Последний день» — тема обманутого доверия, разрушенной любви, оскорбленной доброты...

Шим любит и умеет писать о детях, знает людей своеобразного ремесла — лепщиков, краснодеревщиков («Ученик мастера Соболева», «Белое, черное»), понимает и любит природу. Словом, Эдуард Шим по праву «входит в дежурные списки». Его главное достоинство заключается в том, что в лучших своих рассказах он упорно ищет, исследует внутренние побуждения, ведущие к тем или иным поступкам, заставляет своих героев думать о себе и думает о них вместе с ними, старается проследить мотивы поведения человека. Моральное воспитание и самовоспитание — вот, пожалуй, главная тема молодого писателя. Тема достаточно серьезная и, понятна, очень важная. Тема, требующая глубокого, отчетливого знания человеческой психологии, точно выписанных характеров, но и тема, которая способна обернуться резонерством, школьной нотацией, если втискивать ее в схему и насильно навязывать героям несвойственные им мысли, душевные движения и поступки.

В какой-то степени это произошло, на мой взгляд, и с «Королевой», искусственно возвышенной, как будто многозначительной, а на самом деле не всегда точной.

Или вот, например, другой большой рассказ — «Белое, черное» из упомянутого сборника, где тема моральной чистоты,

нравственного воспитания заявлена еще отчетливее... В новеньком Доме культуры во время торжественного открытия хлопнулись с потолка две лепные розетки. Кто виноват? Автор знакомит нас с четырьмя героями: лепщиками Маратом, Мишей и Васькой, молодыми ребятами, и мастером Гусевым. Мастер хочет замять дело, а ребята, каждый по очереди, берут вину на себя (один Марат пытается выкрутиться). И все кончается хорошо, и мастер Гусев, растроганный, вспоминает о своей молодости и чувствует угрызения совести. Ребята тоже по-разному берут на себя вину. Эдуард Шим рассказывает подробно о каждом, прослеживает их биографии, характеры, говорит об их работе и жизни — и это все достоверно, и в целом и в деталях.

Но, однако, и тут обнаруживается известная заданность, несколько насильственное обхождение с героями, приписывание несвойственных им мыслей и чувств... Приписывать можно и из добрых побуждений, но суть от этого не меняется. Трудно поверить, что прораб Гусев, лет тридцать проработавший строителем, будет, во-первых, так переживать и волноваться из-за двух розеток («всякое пережил Гусев, случались происшествия и пострашнее»), а во-вторых, если это с ним и случилось, как утверждает автор, если и нарушился привычный Гусеву порядок вещей, то реагировать Гусев дол-

жен бы иначе — скупее, обыденнее, проще... Вот два портрета прораба, разделенные во времени всего полутора-двумя часами. Гусев приходит в больницу навестить лепщика Ваську: «Он вполне мог бы сойти за нового пациента — кривоногий, сутулый, с набрякшими синими щеками, — но было в нем что-то особое, отличавшее его от больных. Так шагал бы по коридору слесарь, вызванный для починки водопровода». В этот портрет, в это неожиданное и точное сравнение веришь. А вот Гусев выходит из больницы, «седой, старый, сгорбленный», хотя ничего такого, отчего бы ему вдруг постареть и сгорбиться, не произошло — это автор хочет, чтобы произошло, и заставляет его испытывать и тоску и жалость и горбиться, но после деловитой и живой походки Гусева-«водопроводчика» трудно поверить в его сгорбленность, так же как и в чувствительное раскаяние.

Так что «белое, черное», к сожалению, еще очень часто соседствует в творчестве молодого писателя...

Мы говорили не столько о достоинствах, сколько о недостатках, но это не потому, что их, недостатков, у молодого писателя больше, — отнюдь нет: просто хотелось сказать, что серьезность избранной Эдуардом Шимом темы очень ко многому обязывает.

М. РОЩИН.

★

В ТРЕХ ТОМАХ

М. Ильин. Избранные произведения в трех томах. Том I, 612 стр.; том II, 598 стр.; том III, 668 стр. Редактор Л. Красноглагова. Гослитиздат. М. 1962.

М. Ильин издавался и переиздавался много. Во всезнающем каталоге Ленинской библиотеки карточками с его именем занято пол-ящика. Никаких произведений, незнакомых читателю, в изданном Гослитиздатом трехтомнике нет. Новым тут оказывается только качество восприятия.

Ильина перестали выпускать маленькими книжками с картинками. А начинался он с них. В первых было всего по две-три страницы, еле набиралось на книжную тетрадь. В них рассказывалось о простом: о том, как выделывают кожу, и о том, как самому изготовить вакуу. Потом — это было в двадцать шестом году — вышла книга «Солнце на столе». Для Ильина естествен этот переход: он начал с того, что расска-

зывал историю, как сделана вещь. — скажем, сапог, — потом взялся рассказывать «историю вещи» во времени, ее происхождение и ее совершенствование. Сложился постоянный сюжет его научно-популярных книжек. Известно определение сюжета как истории развития характера героя; Ильин и прослеживал это развитие, только героем его становилась вещь — предмет обихода, создание техники. Вещь совершенствовалась, освобождаясь к концу рассказа от своих начальных недостатков и всяческих слабостей, — герой окончательно становился положительным и в этом своем качестве побеждал. Тот, кто читал книгу, оглядываясь вокруг, видел себя в обществе этих вещей, достигших гармонии, лучших из всех, какие

были до сих пор; тому, кто читал книгу, естественно было подумать с гордостью: я владею тем, чем еще никто не владел, никому еще не было так хорошо и удобно. Пионер, оторвавшись от книжки и потянувшись, чтобы зажечь свет, одновременно с приятной фарфоровой прохладой выключателя ощущал такое же приятное чувство превосходства над всей чередой своих предков, начиная с отца, которому еще приходилось читать при коптящей керосиновой лампе, и кончая тем косматым и немытым существом, которое горбилось над пещерным костром, сляясь продеть сухожилие в ушко костяной иглы...

В сюжете случались острые перипетии. Иногда герои бывали гонимы: юному начинающему паровознику приходилось сталкиваться с вековым самодовольством дилжансов, кому-то выпадала долгая безвестность, оттягивался час законного торжества. Иногда герои ссорились друг с другом, становились кровными врагами: кузены, автомобиль и локомотив, внуки одной и той же паровой тележки Кюньо, вели родовую распрю. Соперники авторских любимцев иной раз вкушали незаслуженную славу, их возносили по невежеству или по прихоти моды, но их час бывал короток. Всегда побеждал достойнейший.

Книги выходили одна за другой. Они назывались «Который час?» и «Как автомобиль учился ходить», «Черным по белому» и «Сто тысяч почему». У «Ста тысяч почему» был подзаголовок «Путешествие по комнате». Ильин вел нас от вещи к вещи, заставлял воспринимать как загадочное то, что воспринималось как привычное; показывал сложность простого; но это был ход: в конце концов и загадочное и сложное объяснялось. Возрастало наше ощущение собственного веселого бытового могущества. Льстило, что все это хитрое, добытое и усовершенствованное веками — в нашем распоряжении, к нашим услугам.

У Ильина была великолепная интонация — легкая, общительная, победоносная. Это интонация писателя, полновластного над авторским предметом, знающего его неистощимость, его занимательность. Ему также приятна и не надоедает власть над аудиторией.

Ильин умеет занять нас информацией. Даже если мы вполне осведомлены, что в свое время картофель был в Европе редкостью, все-таки занятно услышать, что его

поначалу содержали в цветочных горшках, а французская королева носила цветок картофеля в петлице... После этого нам любопытней и общеизвестная картошка, и более или менее общеизвестная история ее переселения. Это своего рода остранение информации.

Выискать в привычном непривычное, освежить этим непривычным привычное — это входит также и в принципы обращения Ильина со словом. Ильин любит напоминать его второе значение, всегда неожиданное, но и пояснительное по отношению к значению более обыденному. Вот, например, он пишет, почему чугунок ковать нельзя, а железо и сталь можно: «Прежде чем расплавиться, они размягчаются. Вот в этом-то размягченном состоянии они и дают с собой делать все что угодно: ковать, штамповать, раскатывать в полосы». Юмористический антропоморфизм этой фразы характерен для Ильина.

Так же характерен для Ильина и принцип появления образа на стыке иносказания с его буквальным смыслом, с «прямосказанием». Ильин берет иносказания нарочито банальные, в которых первичное образное содержание так же стерто и не воспринимается, как не воспринимается рисунок на старых обоях. К примеру, выражение «поток грузов». Иносказание, павшее до штампа. Ильин возвращает ему его достоинство, выхаживает его полумертвое образное зерно — и оно дает росток. Грузовые потоки. Грузовые реки. Великое грузовое половодье, к которому надо так же готовиться, как к весеннему паводку: «Если мы этого не сделаем, будут возникать заторы, грузовые реки одна за другой будут останавливаться, разливаться стоячим озером на узловых станциях, затоплять склады, платформы, пакгаузы». Бывает и обратное построение: Ильин как бы выводит описание в афоризм, заостряет его этим конечным афоризмом. Идет описание тошей, крытой соломой деревни, где соломой топят, солому режут на корм скоту, на соломе спят... «За солому, за соломинку хваталось обеими руками нищее крестьянство». Идет описание того, как мерзко наживались на хлебе, купленном для голодающих: вместо зерна везли какую-то смесь пшеницы с сором и с черными семенами сорняков... «В газетах писали, что к хлебным складам тайно подвозили возы с песком и гравием — для фабрикации хлеба!.. Вместо хлеба давали камень».

Ильин любит высвободить корень сло-

ва, выращивая затем из этого корня нужный ему образ: так обращается он, например, со вполне обезличенным, газетным словом «неосвоенный». Он пишет об армиях рабочих и строителей:

«Они идут завоевывать свою собственную страну.

Но разве ее надо завоевывать, разве страна, в которой мы живем, не наша?

Нет, не наша. Спросите знающих людей, они вам скажут, что у нас еще очень много неосвоенной земли, неосвоенных лесов и степей. А что значит «неосвоенный»? Это значит «не свой».

Это парадоксально. Парадоксальность вообще в обиходе у Ильина. Парадоксальность должна ошарашить, освежить внимание, с тем чтобы после раскрылась полная точность сказанного. Ильину очень важно то секундное изумление, на которое бывает рассчитан, скажем, газетный заголовок. Он может начать главку словами: «Кочерга — не лампа», или закончить другую главку сухим сообщением: «Когда пятилетний план будет выполнен, у нас будет два Ленинграда, три Урала, две Украины».

Это приблизительно тот же ход, каким Ильин пользовался в нашей прогулке по комнате, среди знакомых и неожиданно оказывающихся загадочными предметов. Но там это временное остранение было бытовым; здесь же — остранение эстетическое, выход делового, практического описания в парадоксальный образ.

Своей динамичностью проза Ильина во многом обязана вот этим сдвигам статистики в образность; цифра перевоплощается, цифра расцветает метафорой.

Кстати, Ильин хотел назвать свою книгу, которая потом получила имя «Рассказ о великом плане», — «Цифры-картинки».

В трехтомнике об этом упомянуто в развернутом послесловии, но «Рассказ о великом плане» набран тут без всяких причуд верстки и не иллюстрирован.

Недавно Детгиз выпустил «Рассказы о животных» Льва Толстого. Это точное воспроизведение книжки, которая впервые была напечатана лет тридцать назад с гравюрами Фаворского; кажется, даже шрифт именно тот. Издание объективно отличное. Все же, вероятно, можно заподозрить в сентиментальности ту радость, с какой берешь в руки неожиданно свеженькую книгу собственного детства. Желание увидеть факсимильное переиздание «Рассказа о великом

плане» от этой сентиментальности свободно. Просто нельзя издавать книгу Ильина иначе. Книги Ильина просто нет без монтажа текста с фотографией, без этой резкой черной типографской отбивки, по обе стороны которой факты. фото: «У них — у нас», «Было — будет», «Не было — есть».

В кино это называется динамическим монтажом: доля секунды затемнения вмещает в себя годы и километры, стык кадров рождает ощущение быстроты, стремительности. Так неслось время у Дзиги Вертова в «Шестой части мира» — то самое «время, вперед!». Узкая типографская отбивка фотографий — та же доля секунды затемнений, способ передать напор перемены.

Взрывная, агитационная сила документа — это так же важно для Ильина, как важно для Дзиги Вертова, для Родченко; для всех троих столь же важно поэтическое восприятие документального куска. Отсюда их принцип организации реальных свидетельств. Принцип сближения «далековатых понятий». Игра разномасштабностью планов: какие-то «наезды камеры», резко укрупняющие деталь, и такие же резкие ее «отъезды», враз сопоставляющие частность с общей панорамой. Документализм, который раз и навсегда в наших глазах кажется связанным с объективностью, с намеренно заземленной прозой, в те годы имел иные свойства. Шкловский, например, в сугубо теоретической статье называет документальную ленту «Шестая часть мира» патетическим стихотворением, а сам Дзига Вертов в рабочих тетрадах, ища определения собственной природы, пишет: «Я работаю в области поэтического и документального кино».

Документ становился основой поэтических сравнений. В те годы особенно распространен был фотомонтаж: тут документ вводился внутрь саркастического или героизированного образа способом простейшим. Фотографии разрезались и подклеивались. Совершенно реальный, заснятый «лейкой» буржуй рассчитывался с костявой, деля деньги, нажитые на войне; скелет был так же натурален, как и его упитанный партнер. Рабочий напрягал мускулы, расправлял плечи, от его мощного движения тряслись дворцы и небоскребы, снятые брошенной в воздух, потерявшей равновесие камерой.

Сопоставление документов как путь к образному эффекту здесь дано в его элементарном, техническом варианте. Да и

возникающий образ элементарен. Но тот же принцип сопоставления свидетельствует и в высоком поэтическом искусстве. Скажем, у Эйзенштейна — «Старое и новое» («Старое и новое», «У них — у нас», «Было — будет», «Не было — есть»).

Мы привыкли произносить с пренебрежением слово «иллюстративность», здесь же иллюстративность окрыленная, воодушевленная, патетическая. За ней — потрясение. Потрясение откровенностью форм исторического процесса. Ломка прошлого — это была в самом деле ломка, удары лома в неподдающиеся взрывчатке стены городского собора; строительство нового общества — реальность стройматериалов, свезенных на пустырь, цементная пыль. Простой кирпич, красный, привычного веса, был уже не кирпич просто, а кирпич фундамента нового общества. Образность самой жизни была наглядна.

В совпадении природы образности «Рассказа о великом плане» с природой этой жизненной образности времен первой пятилетки — разгадка книги. Ее торжество.

«Рассказ о великом плане» — книга историческая. Еще и в том смысле, что она памятник своего времени. Памятник, а не только репортаж.

Передают время и со временем связаны ритмы книги, их упругость, их толчки. Главки короткие, иной раз на полстраницы. Коротки и фразы. Возникают напористые повторы: каждая новая главка начинается вопросом; вопрос озадачивает, ставит в тупик, чтобы тут же восхитить оптимистичностью и реальностью ответа. Спрашивается: можно ли приблизить Сибирь к Москве? Это необходимо! Оказывается, да, можно. Опять все просто и замечательно: спрямляются пути, выравнивается ломаная линия дороги, которую во время строительства безбожно тянули к себе лежавшие далеко в стороне города. Надо смягчить подъемы. Увеличить скорость. Сибирь приближится. Техника все сможет. Техника решает все.

Эта убежденность — тоже памятник времени с его упоением машиной, с его техническим оптимизмом.

Есть два слова в «Рассказе о великом плане», на которые постоянно падает ритмический удар фразы, главы. Это слова «нужно» и «будет». «Нужны машины». «Нужен ток». «Нам нужны химические за-

воды». «Нам нужны миллионы тонн хлеба». «На Магнитогорском заводе будет три блюминга». «На фабриках и в полях будут работать электрические машины. Электрические поезда будут мчаться по железным путям. Электрические плуги будут пахать землю». «Работать будет легко и весело».

В книге, целиком выстроенной на фактическом материале, живет поэтическая мечтательность. Отсюда убежденная легкость в смыкании слов «нужно» и «будет». Мысль о трудностях возникает тут только для того, чтобы обрадовать нас перспективой их преодоления. Интересная черта — естественность, с которой автор обходит прозу экономики. Допустим, вопрос о средствах — откуда они будут взяты. Ильин писал о более чем реальном деле — о начавшемся строительстве пятилеток, в котором сам участвовал как инженер, — но в его рассказе так же опущены грубо материальные, в конце концов грубо денежные обоснования всех ожидаемых чудес, как они бывают опущены в далеко заглядывающих произведениях научной фантастики. Тут действует словно некоторый поэтический волюнтаризм: раз надо — значит будет.

Стихия прозы Ильина — оптимизм, со всеми многообразными свойствами этого понятия. Энтузиастичность здесь исключает конфликт, эпика исключает драму. Логику энтузиастической легкости, с которой Ильин отходит от конфликта, выйдя на него, можно проследить хотя бы в разработке постоянной для писателя темы «Человек и природа».

Вернее сказать, драма возникает в прозе Ильина в своем острейшем, но и в самом разрешимом варианте. Конфликт: природа, сильная и пассивная, враждебна человеку. Человек обретает власть над природой. Это уже исход конфликта. Между тем, в сущности, конфликт только тут и начинается. Речь вовсе не о том, насколько разумно использует человек свое всеислие (эта проблема как раз очень занимала Ильина, страницы, рассказывающие о капиталистической бесхозяйственности на планете, написаны энергично и тревожно). Речь о непропорциональности технического подъема и духовного роста, о том, что — во всяком случае — прямой связи между ними нет: технический подъем сам по себе еще ничего не обеспечивает.

Диалектичны (стало быть, противоречивы, конфликтны) уже сами отношения чело-

века как части природы с природой, над и вне которой его поставило развитие цивилизации. Дело не в элегических вздохах о том, что мы мало бываем в лесах и в полях; впрочем, эти вздохи — пусть опошленные, пусть омешанные, но отклики реальной проблемы. Власть над природой как цель и разрыв с природой, сопутствующий достижению этой власти, — тут двусторонность исторического процесса.

Мы говорили об остроте перипетий ильинских рассказов о вещах, где интрига строилась на манер старинного романа, где герой взрослел и совершенствовался и где любые злоключения центрального персонажа были только залогом его конечного торжества. Начиная свою большую книгу «Как человек стал великаном», М. Ильин и Е. Сегал сами ссылаются на пример таких романов, иронически, но и откровенно берут за образец их правила сюжетосложения. Биография человечества и биография человека совпадает в их восприятии. (Мы уж говорили об юмористическом антропоморфизме, характерном для Ильина; здесь можно бы сказать об «историческом антропоморфизме»: история у авторов книги «Как человек стал великаном» переживает пору детства, юности, возмужания, с тем чтобы вступить в пору зрелости. Перспектива старости и смерти отпадает, зрелость бесконечна.)

История у Ильина — и это совершенно правильно, пока это история техники и отдельных ее созданий, — история у Ильина движется с прекрасной, завидной поступательностью. Всякое новое тут всякий раз лучшее, более удобное, более точное, более справедливое.

Если бы — в манере самого Ильина — раскрыть образ «течение времени», каким он возникает в книге «Как человек стал великаном», перед нами предстала бы река, набирающая силу от истоков до устья, с постоянной сменой все более привлекательных береговых пейзажей. Иногда эта река встречает на пути горы, которые приходится огибать, путь отклоняется от прямой, удлиняется — это обидно; иногда река бывает стиснута в мрачном ущелье, но лишь затем, чтобы вырваться из него на еще более очаровательное приволье. И по этой реке плывет в обетованное море некоторая вселенская ладья. Люди, конечно, сидят на веслах, но и само по себе течение времени движет их вперед и вперед.

Книга «Как человек стал великаном» занимает полностью второй том нынешнего собрания сочинений. Здесь охвачен огромный временной промежуток — тысячелетия и тысячелетия. Здесь много рассказано и о развитии техники. Но, главное, «Как человек стал великаном» — это история идей: космогонических, научных, социальных, нравственных. Здесь в действии та же поступательность, радостно фатальная. Чем дальше, тем лучше.

В истории техники действительны такие критерии, как «лучше», «хуже» (в соответствии с критериями «нового» и «устаревающего»). В области идеологической все, как известно, сложнее. Новая мораль или новая философская концепция сопоставляется с той, которую она исторически оспаривает, по иному принципу. Можно ли сказать, что мораль феодального общества хуже морали общества буржуазного, что нравственная концепция Сенеки хуже нравственной концепции, скажем, «Песни о Нибелунгах», поскольку выдвинута предыдущей формацией?..

В книге «Как человек стал великаном» все та же однозначность конфликта: знание побеждает незнание, свет уменьшает количество тьмы, гуманность торжествует над бесчеловечностью. При этом устанавливается прямая и безусловная зависимость: знание, победив незнание, тем самым дает силу гуманизму победить бесчеловечность. Увеличение знаний, увеличение и усовершенствование техники тут само собой уже есть увеличение количества человеческого счастья.

Тут есть правда, и в радости, с которой он эту правду нам сообщает, — непреходящее обаяние Ильина.

Ильин привык искать в сложном его простую разгадку и бывал удачлив в этих поисках, когда писал, скажем, «Рассказы о вещах». Начав писать «рассказы об истории», он следовал тому же принципу.

Впрочем, это связано не только с личными склонностями Ильина.

Никогда не удивляет, если, размышляя о творчестве Льва Толстого или Пушкина, исследователь сошлется на историческую ограниченность этих гениев. Почему-то говорить об исторической ограниченности советских писателей, работавших, скажем, в тридцатые годы, не принято. Как будто быть обусловленным в своем творчестве историей стыдно...

Ильин обусловлен в своем творчестве реалиями и атмосферой начала тридцатых годов. Их свершениями и их иллюзиями (у каждого времени есть свои...).

Очень интересно читать Ильина с этой точки зрения. Читать академически. Как к этому и располагает серьезное, прокомментированное трехтомное — уж никак не детское — издание. Разве что рисуночки на корешке — гусиное перо в чернильнице, обломок плиты с иероглифами, самолет над облаками под серебряным солнцем — напоминают о первоначальном адресе книг Ильина...

И даже претензии к этим трем томам оказываются претензиями академическими. Например, если уж сделаны в тексте вымарки, надо предупреждать о них читателя, ставя квадратные скобки и многото-

чия в них. Если город назван у Ильина Сталинградом, не надо его называть Волгоградом. (Ведь если в старом тексте встречается именование «Царицын», мы его не меняем. Будем учиться историчности хоть с мелочей. При переиздании Ильина это так же важно, как при его чтении.) И еще. Отношения между соавторами всегда дело деликатное, но это не их личное дело. М. Ильин многое написал в содружестве с Е. Сегал, в грехотнике их общих работ по объему больше трети. О соавторстве сказано в примечаниях, мелким шрифтом. На титульном листе второе имя отсутствует даже в томе, где написанном одним Ильиным нет вовсе. Свою литературную долю никто не вправе дарить другому, подписанное вместе подписано раз и навсегда.

И. СОЛОВЬЕВА, В. ШИТОВА.

★

«ВСЕОБЪЕМЛЮЩИЙ ЧЕЛОВЕК»

Литературное наследство. Том 69. Книга первая, 644 стр.; книга вторая, 582 стр. Редактор С. А. Манашин. Издательство Академии наук СССР. М, 1961.

Казалось бы, после того, как «весь Толстой» опубликован в девяноста томах, да к тому же изданы сборники воспоминаний и переписки, многочисленные статьи и объемистые монографии о нем, уже трудно порадовать читателя новыми значительными находками в этой области. Однако в двух книгах «толстовского тома» «Литературного наследства» собрано немало ценного, не известного прежде.

Естественно, в первую очередь хочется обратиться к новым страницам самого Толстого. Не бывшие ранее в печати художественные тексты писателя представлены вариантами повести «Казачи», первой, относящейся к 1861—1863 годам, редакцией «Холстомера», пятнадцатью вариантами начала «Войны и мира», двумя ранними набросками «Анны Карениной» и началом незавершенного рассказа «Записки священника». Это совсем не те рукописи, публикация которых обычно предваряется словами: «Нам посчастливилось найти...» Найдены и собраны они гораздо раньше. Время ушло на их изучение и осмысление. В итоге — каждая публикация стала увлекательным рассказом о творческой истории произведения. Это не «инвентарь» толстовского труда и не просто «материалы для исследова-

ния» — толстооведами-текстологами высказаны подтвержденные фактами догадки о последовательности и взаимной связи сменяющих друг друга вариантов, о возникновении замыслов, о причинах правки, короче — о логике художественной мысли писателя.

Вот перед нами публикация Э. Зайденшнур «Поиски начала романа «Война и мир». Оказывается, четырнадцать черновых вариантов предшествовали созданию пятнадцатого, окончательного, канонического начала, кажущегося нам единственно возможным и памятного со школьной скамьи — сцены в салоне фрейлины Анны Павловны Шерер. Многие из этих набросков были напечатаны в тринадцатом томе Юбилейного издания сочинений Толстого, однако зачатую механическая, бессистемная их публикация не только не давала представления о ходе работы писателя, но приводила иногда к явным нелепостям. В чем мог помочь исследователю отрывок, где сначала сказано, что «12 октября 1805 года утро было ясное, безветренное, с морозом и безоблачное», а вслед за этим сообщается, что в это утро героиня гуляла в саду «в изяшном летнем платье», а экипажи проезжали через имение «в густой пыли»? Как установлено Э. Зайденшнур, здесь смешаны слои разновремен-

ной правки Толстого. Стоит только сравнить эти беспорядочные, изобилующие ошибками публикации со строго продуманной, логической подачей текста в «Литературном наследстве», чтобы понять, какой огромный путь проделала наша текстология от простой «расшифровки» трудночитаемых толстовских рукописей до проникновения в тайны «лаборатории» творчества.

Замысел «истории из 12-го года» был так необычен, что Толстой «бесчисленное количество раз начинал и бросал писать» ее.

Роман «Война и мир» создавался в полемике с современными ему романами и трудами историков. Толстой искал особых сюжетных сопряжений, естественных и драматических одновременно. Цель Толстого — избегая шаблонных приемов, слить воедино показ великих исторических событий с «историей человека», найти такую обстановку, чтобы из нее, «как из фонтана», по собственному выражению писателя, разбрызгивалось действие «в разные места, где будут играть роль разные лица». Пути к этой цели и ведут через пятнадцать публикуемых набросков.

Стиль набросков начала «Войны и мира» еще лишен порой эпического равновесия, в нем, пожалуй, слышится больше неприкрытого полемического задора, чем в окончательном тексте. Приведем, к примеру, на смешливо-учтивый отрывок об Александре: «После короткого царствования Павла и тяжелого чувства революции воцарился рыцарский, красивый, любезный и всеми любимый молодой внук Екатерины, и ужаснувшая всех революция уже улеглась в свое русло... Дать конституцию России, освободить крестьян, дать свободу слова и печати были мысли — дети революции, исполнение которых казалось легко и просто молодому и восприимчивому императору».

Можно не сомневаться, что публикация вариантов начала романа «Война и мир» станет путеводной нитью для всестороннего изучения творческой истории произведения, а вступительная статья Э. Зайденшнур может послужить методологической опорой новых исследований.

Впервые собраны воедино пословицы и поговорки, рассеянные по дневникам, записным книжкам, произведениям и письмам Толстого. Их свыше тысячи. Среди них — русские, английские, французские, немецкие, китайские, индийские, арабские, турецкие. Одни пословицы были любимыми изречения-

ми самого Толстого, другие использовались им для меткой, лаконичной характеристики персонажа или ситуации. Уже сам их перечень зримо подтверждает интерес Толстого к народному творчеству, демонстрирует неустанное изучение им народного слова.

Обширен и внутренне значителен биографический раздел «толстовского тома». Это заметки, дневниковые записи, воспоминания, написанные «по горячим следам» встреч и событий и несущие в себе новые и новые подробности великой жизни.

«Моя жизнь прошла не в обычном доме, — вспоминает старшая дочь Толстого, Татьяна Львовна Сухотина. — Наш дом был стеклянным, открытым для всех проходящих... Мой отец никогда не боялся говорить о самом себе, когда считал это необходимым. Он жил, ни от кого не прячась. Он написал свою «Исповедь» и в этой исповеди, искренней до предела, обнажил все тайники своего сердца». В самом деле, жизнь Толстого — в его дневниках и письмах, его творениях, в воспоминаниях его близких и разысканиях его трудолюбивых и осведомленных биографов — раскрывается перед нами, быть может, намного подробнее и интимнее, чем жизни других наших великих писателей, и в этом есть какой-то особый, благотворный смысл, не имеющий ничего общего с любопытством «толпы» к ежедневной жизни гения. Перед нами Лев Толстой — человек-титан, как он есть. Это увлекает и воспылывает. Вот почему ценен каждый новый документ, углубляющий и освещающий тот образ Толстого, который сложился у каждого из нас.

Наиболее интересен среди воспоминаний обнаруженный в ЦГАЛИ и тщательно прокомментированный Л. Кузиной дневник зятя Толстого — Михаила Сергеевича Сухотина.

1902 год. В Гаспре лежит тяжело больной Толстой. У его постели — врачи, родственники, друзья. Тревожно. Во многих городах начинают распространяться слухи о смерти писателя. А Толстой живет, мыслит, работает. 27 февраля 1902 года Сухотин пишет о нем в дневнике: «Сегодня заинтересовался газетами. Вспомнился, узнав о победе буров и о взятии в плен Метуэна¹». И далее: «Мне кажется, что Л. Н., болея так долго, сумел выработать в себе бесстрашие перед смертным часом (и то много!), но

¹ Лорд Метуэн — один из английских генералов.

равнодушия к жизни еще не достиг. Ведь его до сих пор интересует решительно все, что творится вокруг него. Даже газеты ежедневно прочитывает». Толстой во время болезни пишет резкое, обличительное письмо царю. «Думаю, что много вреда сделало его здоровью это письмо царю, — замечает Сухотин, — над которым он работал таким ускоренным темпом за это последнее время, с таким волнением и страстностью...» Поистине всепобеждающая творческая энергия этого, по выражению Сухотина, «всеобъемлющего человека».

Толстой выздоравливает — и бодрый, словно помолодевший, встречает Сухотина в Ясной Поляне. Наступает 1905 год, и помещик Сухотин спокойнее чувствует себя вблизи Тулы, где «все-таки кое-какие власти». Попутно он вносит новые записи в свой дневник: «Любопытно присматриваться к тому, что происходит во Л. Н. по случаю всех этих грозных событий. За две недели, что я здесь, в нем произошло несколько внутренних переворотов, имевших своим источником все ту же еще более, если это возможно, окрепшую и укоренившуюся в нем любовь к мужику».

Мы справедливо говорим о противоречиях и заблуждениях Толстого, но порой забываем, каким особым зрением обладал этот художник. Толстой смотрел далеко вперед, соотнося свои суждения о настоящем с мыслями о будущем России. Одни (в том числе и весьма умеренный Сухотин) видели в революции 1905 года только начало крушения ненавистного режима, жестокость разрушения. «А вот Л. Н. видит дальше меня, — признается Сухотин. — И видит, что после всех этих ужасов... наступит такое хорошее, великое, сильное, которое заставит забыть и эти мучительные роды, которыми мы только еще начинаем мучиться».

Свежи и содержательны записки И. М. Ивакина — учителя детей Толстых. Воспоминания охватывают 1880—1889 годы — годы кризиса, переворота в мировоззрении Толстого. Как отмечено во вступительной статье, принадлежащей старшему сыну писателя Сергею Львовичу Толстому, ныне покойному, об этом периоде почти не сохранилось никаких других мемуарных и дневниковых источников.

Автор записок переносит нас в яснополянскую атмосферу тех лет — «атмосферу свежести и бодрости, пылкости и искания». Споры о современной философии, ли-

тературе, истории религии заставили Ивакина признаться: «Как вообще тускло стало казаться мне то, что слышал я в университете!» Ясная Поляна стала для него своего рода вторым университетом. Толстой, пишет Ивакин, «каждый раз высказывал что-нибудь новое, интересное или даже на известное умел взглянуть иногда с точки зрения, о которой я и не подозревал. Право, он, сам того не замечая, точно открывал передо мной новый умственный мир...» Поразительна была способность Толстого втягивать окружающих в свои духовные искания и творческую работу, влиять на формирование взглядов слушающих его.

Ивакин приводит несколько интересных, часто парадоксальных суждений Толстого о писателях и книгах. Еще и еще раз сердито и строго говорит Толстой о высоком назначении искусства — этого духовного «хлеба насущного», не относя к настоящему искусству даже своих произведений. «На вазе разные арабески вперемешку, амуры, цветы и т. д., все красиво, но для чего? какая в этом цель? — говорил Л. Н. — Так же и писатели (английские). Горе и радость, веселье и страдание в романах, все вперемешку, — к чему все это, какая цель? Русские считают нужным читать Пушкина, Тургенева, Толстого, и этой-то дребеденью заслоняют книги, которые для людей действительно нужны... Хороша та книга, которая говорит мне, что мне делать. А люди стараются из книги сделать какую-то забаву, игрушку. Это все равно, что хлеб: хлеб существует затем, чтобы его есть, а кто скажет, что он существует для того, чтобы помягче на нем сидеть, это бессмыслица, чепуха».

А в другой раз, отбросив ненужный ригоризм, светло восхищается классически ясной манерой Пушкина: «У Диккенса, Щедрина есть манера говорить не самому, а вместо себя заставлять говорить какое-то комическое лицо, — заметил Л. Н., видимо не одобряя этой манеры. — ...Тургенев, Пушкин — те говорили от себя. Пушкин ясно, чисто говорил от себя — как я есть Пушкин Александр Сергеевич, говорю, как дал мне бог...»

Не могли не отразить мемуаристы и той запутанной, драматичной обстановки, которая сложилась в семье Толстого, особенно в последние годы его жизни. Обстоятельства «яснополянской трагедии» воссоздают воспоминания Т. Л. Сухотиной «О смерти моего отца и об отдаленных причинах его ухода».

Менее удачны историко-литературные статьи тома. Это особенно ощутимо, если вспомнить работы, помещенные в предыдущих толстовских выпусках «Литературного наследства», например, статью В. Виноградова «О языке Толстого», поставившую целый ряд новых проблем и до сих пор не потерявшую научного интереса. Таких творческих удач в рецензируемом томе мы, к сожалению, не найдем.

Быть может, большее удовлетворение вызывает здесь работа В. Асмуса «Мировоззрение Толстого», где автор умело обнажает скрытую под религиозной оболочкой исканий писателя этическую, а порой и прямо социальную их сущность.

В статье Л. Опульской «Толстой и русские писатели конца XIX — начала XX в.» дан обзор творческих взаимоотношений Куприна, Бунина, Леонида Андреева, отчасти Чехова и Горького с Толстым, приводится ряд отзывов Толстого о произведениях названных писателей, справедливо указывается, что его творчество и его авторитет противодействовали «тлетворным влияниям натурализма и декадентства». Хотелось бы, однако, чтобы, не ограничиваясь подобным выводом, автор статьи показал, что же именно наследовали у Толстого Куприн, Бунин, Леонид Андреев и что отрицали в творчестве своего великого современника эти писатели. Чем обогатили они по сравнению с Толстым и Чеховым русский критический реализм — ведь не только натуралистические и декадентские тенденции нес с собою новый век.

Статья Т. Мотылевой «Толстой и современные зарубежные писатели» не выдвигает, на наш взгляд, принципиально новых проблем по сравнению с ее книгами «О мировом значении Л. Н. Толстого» и «Иностранная литература и современность», а дополняет их лишь некоторым фактическим материалом.

На страницах «Литературного наследства» подведен итог более чем тридцатилетней работы над Юбилейным изданием полного собрания сочинений Толстого. Авторы обзора — Н. Гудзий, Н. Гусев, В. Жданов, Э. Зайденшур, Л. Опульская и другие толстоведы — отмечают подлинную научность Юбилейного издания, при подготовке которого был впервые поставлен вопрос о критической выверке текста Толстого со всеми печатными и рукописными источниками. Вместе с тем ими указаны и исправлены те промахи и ошибки, которые были допущены при печатании произведений писателя, а также комментарий к ним. В статьях рецензентов не только дается оценка уже сделанного, но и намечается очередная задача — подготовка академического издания собрания сочинений Толстого, где будут приведены полностью и в научно установленной последовательности все черновые варианты его произведений.

С каждым днем биография и творчество Толстого получают все более научное современное толкование. И вышедшие книги «Литературного наследства» явятся для исследователей ценным подспорьем.

М. БОЙКО.



ПИСАТЕЛЬ И НАУКА

Пути в неизвестное. Писатели рассказывают о науке. Сборник второй. «Советский писатель». М. 1962. 582 стр.

Первый сборник рассказов писателей о науке вышел два года назад тридцатитысячным тиражом и был распродан за несколько дней. Второй сборник в этом году напечатали уже в количестве семидесяти тысяч, но и он быстро исчез с прилавков. Удивляться нечему. «Мы всем сердцем, во всей нашей обыденной повседневности ощущаем, как пронизана наукой наша жизнь», — говорит Б. Агапов в открывающей сборник статье «Художник и наука». К этому можно прибавить, что и самые сильные, отнюдь не повседневные наши переживания тоже свя-

заны с наукой — вспомним августовскую переключку в космосе.

Так оказалось, что интерес народа к науке (и техническим выводам из нее), потребность в постижении ее самых последних успехов, ее близких и дальних перспектив растет и в обычные и в чрезвычайные дни.

Писатели не могут и не хотят оставаться в стороне от этой насущной потребности народа. Те из них, кто способен и к образному и к научному мышлению, сделали немало для создания «портретов» наук и различных областей техники. Но этого недостаточно —

и не только количественно. Нужны поиски самых емких, впечатляющих средств общения читателей с наукой при посредстве не одних лишь ученых, но и художников слова.

Как заботит писателей—да и читателей—эта проблема, свидетельствуют и сборник статей двенадцати писателей¹, и статья Л. Леонова «Похвала жанру» в «Литературной газете», и вступление Б. Агапова к сборнику, о котором мы говорим.

Размышление о путях науки и путях искусства приводит Б. Агапова к выводу, важному для писателей: «...чтобы ответить изменившимся требованиям читателя, вовсе необязательно писать именно о науке. Но обязательно чувствовать, как изменила эта наука душу современного человека».

Однако наука все чаще становится и прямой темой писателей. «Как ни странно,— пишет Б. Агапов,— но художественное произведение на научную тему должно в итоге, в главном, говорить не о науке, а о человечестве, о постижении человечеством мира, природы.

Как это ни парадоксально, но художественное произведение об объективной науке кажется мне более интересным, если оно написано субъективно».

Это не кажется парадоксальным — и справедливо, если только не считать субъективность обязательным признаком художественного произведения о науке.

Естественно, что для писателя на первом плане человеческое, естественно, что художник пишет о науке, когда у него есть личное отношение к теме. Скрещения научной темы с внутренним миром писателя могут быть самыми различными — иногда проблемы науки вызывают переживания и мысли, требующие образного выражения, иногда пересекаются с философскими или публицистическими идеями и размышлениями писателя. Чем бы ни было вызвано, в какой бы точке ни произошло такое скрещение — оно определяет ракурс, в котором писатель видит тему, а этот ракурс субъективен.

Но возможно и другое: писатель берется за перо, чтобы в хорошей литературной форме, интересно и доступно, обращаясь не только к разуму, но и к воображению, к чувствам читателей, ознакомить их с дости-

жениями и перспективами какой-либо науки. Нечего говорить, как велика потребность и в такого рода произведениях.

Мы найдем в сборнике вещи, характер которых определяется взглядами, раздумьями, иногда и полемикой писателя, найдем и другие, где собственные мысли писателя о тех или иных проблемах науки отодвинуты на второй план, уступают место заботе о мастерском, художественном выполнении информационной задачи—ориентировки читателей в проблемах науки.

Здесь индивидуальность писателя проявляется в методе, которым создается портрет науки, в характере образности, в композиции и стиле. Они менее субъективны, но их литературные достоинства, интерес для читателей могут быть очень высоки. Пример — книги Д. Данина о современной физике.

Парадоксальным в очерке Б. Агапова мне кажется не его высказывание о методах писательского подхода к научной теме, а толкование, которое он дает известной статье инженера И. Полетаева, вызвавшей в свое время бурную полемику, и сопоставление этой статьи с давним высказыванием В. Брюсова. «Мне лично не показалось,— пишет Б. Агапов,— что он (И. Полетаев.— А. И.) начисто отрицает искусство. Я увидел в его словах неудовлетворенность тем искусством, которое ему и его товарищам приходится читать, видеть, слушать... В его выступлении я нашел требование более высокого интеллектуального уровня в искусстве».

И. Полетаев писал: «Хотим мы этого или нет, но поэты все меньше владеют нашими душами и все меньше учат нас... Мы живем творчеством разума, а не чувства, поэзией идей, теорий, экспериментов, строительства. Это наша эпоха». Иными словами, переживания, замещающие эстетические, дают современному человеку, по мнению И. Полетаева, наука и строительство, а искусство ему не нужно.

Такого замещения, конечно, не имел в виду Брюсов, когда сетовал, что бесчисленные стихи — «не более как перепевы нескольких десятков, много — сотни давно знакомых тем», и «люди мыслящие, люди трудящиеся считают, что у них нет времени на то, чтобы тратить его на знакомство с чужими чувствами». Сходство в словах с высказываниями И. Полетаева есть, но едва ли тут найдется хотя бы тень сходства мыслей.

¹ «Формулы и образы. Спор о научной теме в художественной литературе». «Советский писатель». М. 1961. В книгу вошли и материалы дискуссии, проведенной в журнале «Новый мир» в 1960 году.

В. Брюсов, очевидно, стремится к расширению сферы интересов художника, выхода его за пределы одних только чувств. Тут, пожалуй, содержится требование более высокого интеллектуального уровня искусства, но оно вовсе не улавливается в остро полемической статье И. Полетаева, отвергающего и музыку Баха и стихи Блок для него недостаточно интеллектуальны?

Но если считать, что стремление к большей интеллектуальности искусства Б. Агапов поддерживает сам, то тут к нему можно только присоединиться.

Может быть, как раз очерки о науке Б. Агапова, К. Андреева, книги Д. Данина, некоторые вещи в сборнике, о котором идет речь, — например, очерк Ю. Вебера «Большой поиск...» (посвященный конгрессу по автоматическому управлению) — стоят на подступах к одному из возможных направлений интеллектуальной литературы.

Не только стремление осведомить нас о проблемах кибернетики заставило Ю. Вебера вникнуть в споры ученых и взяться за перо. Пафос его очерка в доказательствах и утверждении того, что приоритет человека над созданными им машинами останется непоколебленным, как бы ни развивались способности машин. Тема острая. Ведь еще продолжают горячие споры, может ли человек создать машину умнее человека, существует ли принципиальное и неустрашимое различие между творческими возможностями человека и машины. Сообщая много важного о сегодняшних и завтрашних проблемах кибернетики, Ю. Вебер в то же время заставляет нас думать, пробуждает воображение. Он не только осведомляет, но и приглашает читателей мысленно включиться в полемику, вызывает много волнующих размышлений.

С Ю. Вебером переключается Р. Бершадский. В очерке «Ученый, который знает все», связанном с проблемами информации и ее теории, Р. Бершадский тоже доказывает, что возможности самой умной машины всегда будут ограниченнее возможностей человеческого сознания. И снова сообщение научных сведений (очерк о том, как решается у нас сложнейшая проблема получения учеными, инженерами информации о работах по их специальности) для писателя не самоцель.

Для Ю. Вебера главное — философский аспект темы, для Р. Бершадского — публи-

цистический. Он приходит к важному и далеко идущему выводу: нужно перестроить преподавание в школах и вузах. Совершенно необязательно, даже вредно требовать, чтобы учащийся помнил наизусть то, что он может легко найти в справочниках. Надо, например, на экзаменах не запрещать, а поощрять пользование справочной литературой. И педагоги должны обучать умению толково разбираться в ней, находить нужные книги, нужные сведения.

Мысль важная и своевременная. Такой метод обучения освободил бы время школьников и студентов для ориентировки в современном состоянии наук, для приобретения навыков самостоятельной работы, для углубленной подготовки к выбранной профессии.

И школа и вузы еще не поспевают в преподавании за нынешним темпом движения науки, и как им поспеть — вопрос сложный. Поэтому каждое новаторское предложение и тем более каждый удачный опыт заслуживают серьезного внимания. Астроном А. Масевич в очерке «Наблюдая за спутниками» рассказывает о небольшой школьной обсерватории в ГДР, созданной по инициативе энтузиаста-учителя. Школьники ведут самостоятельную научную работу и прославились тем, что сумели сфотографировать ракетноноситель нашего первого спутника. До них это в Европе никому не удалось. Тут есть над чем подумать педагогам!

Каким емким может быть репортаж, когда за него берется писатель, показывает очерк Д. Данина «Говорит академик Ландау» (о его беседе с писателями). Лаконично и в то же время очень непринужденно Д. Данин сумел не только изложить содержание интереснейшей беседы, не только дать литературный портрет замечательного ученого, но и ввести читателя в круг самых жгучих проблем теоретической физики. Нелегкая литературная задача — и решена она удачно.

Темы очерков, осведомляющих читателей о последних достижениях науки, очень разнообразны. А. Лин на широком историческом фоне увлекательно рассказывает о работе советских микробиологов над антителами. Б. Ляпунов повествует о новых методах и результатах исследования океанских глубин — эта важная тема мало освещалась у нас, а открытый за последние десятилетия сделан тут много. Характер путевых заме-

ток носит очерк М. Гагиной «Двое едут по тайге» — о поисках геологами алмазов.

Пишет ли ученый о собственных и своих товарищей исследованиях, или литератор о достижениях науки, за развитием которой он пристально следит, — в очерке почти всегда присутствует публицистическая мысль. И. Халифман, осведомляя нас об удивительной и совершенно своеобразной жизни древнейших насекомых (термиты примерно на двести миллионов лет старше муравьев), в то же время убедительно показывает важность борьбы с их проникновением в жилища людей. Здесь пропагандистская задача для писателя немаловажна, но все же она попутная, естественно вытекающая из материала. Так и во многих других очерках, где, например, проводится сравнение научных работ — особенно практического их применения — у нас и в капиталистических странах. Каждому читателю запомнится то, что пишет Ю. Вебер о борьбе американских рабочих с внедрением в производство автоматики — оно грозит им массовой безработицей.

Очерк В. Захарченко «Голоса совести» посвящен не самой науке, а политическим последствиям применения ее во вред человечеству. В нем рассказывается о встрече с автором известной у нас книги «Ярче тысячи солнц» Р. Юнгом и о трагической судьбе американского летчика Изерли, давшего команду сбросить атомную бомбу на Хиросиму. Потрясенный последствиями взрыва, Изерли почувствовал свою ответственность за это преступление. Тогда американские военные власти объявили его сумасшедшим. Мы еще раз убеждаемся, читая очерк, что передовая общественность в капиталистических странах все энергичнее ведет борьбу с использованием достижений науки для подготовки истребительной войны.

Беллетристика в сборнике представлена главами из романа А. Шарова «Я с этой улицы». Теперь роман уже вышел целиком и заслуживает отдельного рассмотрения. Здесь же стоит отметить, что в острых этических конфликтах, возникающих между героями романа, исследуется интересная и значительная тема — зависимость развития науки (биологии, медицины, педагогики) и темпов ее движения от моральной позиции ученых.

Два очерка литературоведческого раздела хорошо гармонируют с другими материа-

лами сборника — они обращены не к специалистам, а к тому же широкому кругу людей, интересующихся наукой и литературой, что и остальные очерки. В. Пришвина дает свод записанных и устных высказываний М. Пришвина о сочетании элементов науки и искусства в художественном произведении. С увлечением, умно и тонко написал Л. Разгон об известном популяризаторе Я. Перельмане. Анализ книг Перельмана, его творческого метода автор сочетает с характеристикой своеобразного человека, энергичного общественного деятеля.

Не совсем оправданным кажется выделение четырех очерков в раздел «Ученые рассказывают о науке и о себе», потому что здесь ученые выступают как писатели (в той же мере, как И. Халифман, очерк которого помещен в другом разделе).

Здесь мы читаем, например, приближающийся к рассказу очерк археолога Г. Федорова о раскопках древнерусского города и о людях деревни, где жили археологи. Пожалуй, современная часть тут даже интереснее археологической.

И как раз в этом разделе мы находим эмоционально самое сильное, очень богатое не только техническим, но и психологическим содержанием произведение сборника — своеобразную творческую автобиографию талантливого ученого, изобретателя и литератора Г. Бабата. Эти записки привлекательны и манерой письма — мужественной лиричностью повествования, свежестью отлично работающих образов, сравнений — и вдумчивым многоплановым анализом особенностей технического творчества в наше время и в нашей социалистической стране. Эту вещь писал человек, который шел в ногу с эпохой — делал сегодняшнее свое дело и в то же время мыслями, чертежами, моделями заглядывал в близкое и более отдаленное будущее, — человек горячего сердца и ненасытной страсти к творческому труду.

Превосходны страницы, посвященные переживаниям конструктора, обнаружившего точными расчетами, что его вдохновенный замысел, воплощенный в чертеже, рухнет из-за одного винтика — рассыпается взаимная связь деталей, хитроумная конструкция лопается, как мыльный пузырь. Самыми счастливыми в своей жизни автор считает десять лет, проведенных на заводе, куда он пошел работать, не попав в аспирантуру. Здесь он сделал десятки изобретений (мно-

гие из них тут же внедрялись в производство), написал ряд исследовательских работ, подготовил кандидатскую и потом докторскую диссертации. Поучительно!

По меньшей мере не грешно было бы составителям сборника сказать, что публикация эта — посмертная, и дать небольшое сообщение об авторе.

Случай не слишком частый: сборник произведений пятнадцати авторов читается насквозь — в нем нет неинтересных вещей. Некоторые написаны литературно сильнее, с большей широтой и свободой мысли (очерки Б. Агапова, Г. Бабата, Р. Бершалского, Ю. Вебера, Д. Данина), другие «локальны», не выходят далеко за пределы добротной литературной информации о достижениях науки.

Значительных жанровых достижений, своеобразных форм рассказа о науке, в сборнике, кроме записок Г. Бабата, пожалуй, нет. Но ставшая традиционной для нашей научно-художественной литературы форма свободно написанного очерка с экскурсами, философскими размышлениями, публицистическими выводами дает писателю достаточно простора. Она отнюдь не ведет к однообразию в способах раскрытия научной темы — это доказывают вещи, напечатанные в книге.

Вероятно, каждый, кто прочтет два сборника «Пути в неизвестное», с нетерпением будет ждать следующих и согласится, что это вторжение писателей в науку оказалось плодотворным.

А. ИВИЧ.



ПОЭЗИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Антуан де Сент-Экзюпери. Военный летчик. «Москва», № 6, 1962.

«Военный летчик» вышел в свет двадцать лет тому назад. Опубликованная одновременно в США и во Франции, книга была вскоре запрещена оккупационными властями. Но через год в Лионе вышло второе — на этот раз подпольное — издание «Военного летчика». Написан он был в Соединенных Штатах, куда пилот разведывательной авиации капитан Сент-Экзюпери переехал после того, как французская армия прекратила сопротивление гитлеровцам. Вести с родины, оккупированной немцами, почти не доходили в Америку. Для Сент-Экзюпери Франция была подобна кораблю, идущему через океан с погашенными огнями. Она не подавала о себе никаких сигналов. Там, во мраке, оставались друзья, «заложники». Связанный с ними плотными душевными нитями, озабоченный их судьбой, Сент-Экзюпери не мог долго оставаться в стороне от борьбы. В марте 1943 года он вернулся в свою группу 2/33, базировавшуюся в Северной Африке. Наперекор всем старым ранам, всем медицинским запретам, капитан Сент-Экзюпери снова сел за штурвал военного самолета, чтобы сражаться за освобождение Франции, и трагически погиб от пули немецкого летчика, когда уже забрезжил свет победы.

Пока же, вдалеке от войны, он возвращается мысленно к пережитому и одним из

первых пишет о днях поражения Франции. О трагическом исходе северных городов и деревень по забитым, обстреливаемым с воздуха дорогам на юг. О панической неразберихе и развале французской армии. О той Франции июня 1940 года, которую Арагон назовет «гобеленом великого страха». И, однако, как это ни парадоксально, «Военный летчик» — книга веры в человека, в неотвратимое торжество человечности.

«Военный летчик» — не роман. Не дневник. Не эссе. Пожалуй, это поэма. Мысль Сент-Экзюпери не развивается по законам логического сцепления доказательств. Она катит подобно потоку, переваливает через пороги-наблюдения, замедляет течение в разливах воспоминаний, чтобы снова и упорно мчать свои поэтические волны и излиться в итоге страстной речью проповедника.

Сент-Экзюпери, пилот разведывательного самолета, рассказывает, как он получает задание «разведать с высоты семьсот метров... танковые парки в округе Арраса». Выполняет его. Возвращается на базу. Он рассказывает об обстановке, его окружающей, точно, правдиво, так, что навеки врежется вам в память деревня, пускающаяся в неведомый путь, обреченный караван на разнокалиберных дедовских рыдванах, и эта хозяйка кафе в слезах, что отправляется на

машине с дырявым радиатором, семью детьми и невесткой. Она бросает дом, чтобы застрять где-нибудь в пути, сесть на обочине, и плакать, и «ждать пастуха. Но пастухов нет...»

И это обобщение — «но пастухов нет», — характерное для манеры Сент-Экзюпери, переводит повествование из плана бытовой зарисовки в план поэтической символики.

Как всегда у Сент-Экзюпери, самолет — орудие познания, новая возможность понять человеческие отношения. Он рассказывает о героизме своих товарищей, своих «братьев по группе 2/33». Рассказывает, подчеркивая будничность и, главное, общечеловечность мужества. Говорит о своей работе в воздухе — о всех этих ста семи приборах, которыми он гордится, и о том, как трудно повернуть замерзший штурвал, и о «ядовитых оссах» — немецких истребителях, и о том, как худо приходится на высоте семисот метров, когда служишь почти учебной мишенью для зенитчиков противника, а то и для своих. Он делится мыслями, которые мучают его или радуют. И чтобы вы легче вошли в строй его размышлений, он обращается за примерами то к своему прошлому гражданского летчика, то — чаще всего — к своему детству. Ведь детство — страна, из которой мы все вышли, нечто всем дорогое, цельное, чистое, обещающее. Вспоминая детство, легче всего найти дорогу к сердцу человека иначе мыслящего, заставить его если не согласиться с тобой, то уж во всяком случае понять, чего ты хочешь.

Пока тянется сложная процедура одевания летчика для полета на высоте десяти тысяч метров, пока длится боевая операция и внимание пилота сосредоточено на деле, он бросает вам лишь отдельные мысли. Как они приходят. Не задумываясь о том, чтобы примирить противоречия и создать стройную систему. Обещая вам все продумать, если останется жив, на вечерней прогулке по молчаливым улицам спящей деревни. И когда наступает эта минута, Сент-Экзюпери ведет вас, уже прирученного силой поэтических образов, уже вовлеченного в этот плотный и пленительный поток эмоций, к высотам абстракций, философских выводов, заключений о самом главном: о смысле жизни, о сути цивилизации, о том, чем и для чего жив человек, в чем его сила и почему поражение Франции не повергает его в отчаяние.

Проблема смысла и сути бытия, или, если

воспользоваться излюбленным понятием Сент-Экзюпери, проблема «истины человека», занимала писателя всю жизнь, звучала во всех его книгах. «Хоть человеческая жизнь и дороже всего, но мы всегда поступаем так, словно в мире существует нечто еще более ценное... Но что?» Этот вопрос ставит перед собой герой «Ночного полета» Жак Ривьер, неумолимый, жесткий, бесчеловечный на взгляд поверхностного наблюдателя. Он заставляет пилотов почтовых линий лететь в ночь, не уклоняться от опасностей, сражаться со стихией. И когда один из них гибнет, Ривьер все с той же суровой последовательностью посылает следующего. Но если Фабьен, если Пельрен, если все летчики вступают в бой с ураганами и океаном, ночным мраком и горными пиками, таящимися в тучах, то Ривьер ведет непрерывную битву с самим собой. Он несет бремя ответственности за всех. Он вынуждает летчиков жить в состоянии постоянного напряжения, непрерывного горения, страстного стремления к цели. И когда поставленная цель достигнута, он ставит перед ними новую. Это самозабвенное служение и есть настоящая жизнь, думает Ривьер, противопоставляя ее частному счастью, счастью мешан, что «кружатся по вечерам вокруг музыкальных беседок».

Противопоставление настоящих людей и «тулузского мешанна», который укрылся «от ветра, от приливов, от звезд» в своем «буржуазном благополучии» и тем самым убил в себе «музыканта, поэта или астронома», убил в себе Человека, возникает вновь и вновь в «Земле людей». Здесь уточняется, что полнота жизни связана не с риском, не с авантюризмом, не с пренебрежением к смерти («Плевать я хотел на пренебрежение к смерти. Если в основе его не лежит сознание ответственности, оно лишь признак нищеты духа или избытка юношеского пыла»). Вовсе не обязательно быть летчиком, не обязательно совершать головокружительные подвиги, чтобы быть настоящим человеком. Нужно только не рвать связей с людьми, нужно отвечать за всех людей, за всю «землю людей», нужно идти вместе с другими к общей цели. Человек — узел отношений; чем больше нитей, чем плотнее они скручены, чем более нерасторжимы, тем насыщеннее жизнь.

Поэтому пастух, кузнец или крестьянин ничуть не ниже покоряющих воздух Гийо-ме и Мермоза. И рассказывая о старом са-

довнике, который не хотел умирать, Сент-Экзюпери заключает: «Земля, которую он оставлял, была для него целиной. Вся планета — была целиной. Он был связан любовью со всей землей, со всеми деревьями на земле. Это он был великодушным, щедро расточающим свои силы хозяином земли. Это был мужественный человек, и, подобно Гийоме, он боролся со смертью во имя созидания, во имя человеческого призвания».

В «Военном летчике» тема ответственности особенно остра. Кто ответствен за поражение, за развал, за муки беженцев? И за что ответствен каждый? И на каких нравственных принципах может зиждиться правильное понимание ответственности общества за индивида и личности за общество?

Значительность заданных вопросов, страстность писателя в стремлении дойти до основы основ предопределяют силу эмоционального воздействия гуманистической поэзии Сент-Экзюпери. Но по тем же причинам в «Военном летчике» особенно рельефно выступают и противоречия мировоззрения Сент-Экзюпери, наивная абстрактность его нравственной философии.

Ради чего идет на смерть военный летчик Сент-Экзюпери? Ради чего умирают пехотинцы, защищая против немецких танков покинутые фермы? Не ради упоения боем: «война — болезнь. Как тиф». И не ради того, чтобы поддержать мировой престиж Франции — ни Сент-Экзюпери, ни его товарищи по оружию ни за кем не признают права зрителя («зрители нужны тореадорам, а мы не тореадоры») или судьи. И не ради демократии — потому что «самая могущественная из них, единственная, которая могла бы нас спасти, вчера отступилась от нас и продолжает отступаться еще и сегодня». И не защищая интересы Франции — «мы знаем, что все потеряно». И не от отчаяния.

Сначала для Сент-Экзюпери выполнение почти безнадежного задания — только привычный обряд, как бы лишенный внутреннего содержания. И вполне понятное раздражение от бессмысленности полученного приказа, который невозможно не выполнить. Но по мере того, как за штурвалом самолета пилот ощущает свои связи с экипажем, со своим соединением 2/33, с Францией, с человечеством, сначала смутно — от одного поэтического образа к другому, — потом все более определено выясняется для него природа мужества, природа веры, смысл совершаемого подвига. Сент-Экзюпери идет от

отрицания, от неприятия того, что вокруг него, к утверждению того, что есть в нем, в его соратниках, в старом фермере и молоденькой племяннице фермера. И что является залогом победы. Самолет устарелой конструкции (по вине административной рутины), самолет, летящий на верную гибель (по вине военной рутины), все плотнее окружают картины прекрасного, светлого, ясного, всего того лучшего, что раскрывается в человеке, когда он соучастник, когда он связан с другими людьми. И в душе летчика зреет какая-то еще не отлившаяся в слова истина. Горечь сменяется радостью победителя: «Я связан только с тем, кому даю. Я понимаю только того, с кем сочетаюсь. Я существую только в той мере, в какой меня поят соки корней моих. Я часть этой толпы. Эта толпа — часть меня. На скорости пятьсот тридцать километров в час, на высоте двухсот метров, вынырнув из-под тучи, я сочетаюсь с ней в сумерках, точно пастух, который одним взглядом пересчитывает, собирает и сплавивает стадо. И это уж больше не толпа: она — народ. Так как же я могу утратить надежду?» И чувствуя на себе ответственность за свой народ, частью которого он является, Сент-Экзюпери утверждает: «Никто не может одновременно чувствовать свою ответственность и отчаиваться». Из поражения должна родиться победа. Так конкретизируется проходящий через всю книгу евангельский символ зерна, которое должно погибнуть в земле, чтобы взойти деревом или хлебом.

В «Военном летчике» поражает сочетание полной свободы автора, резко переключающего повествование, следуя прихоти внутренних ассоциаций, и необыкновенной цельности книги, стройности ее. В «Ночном полете» Сент-Экзюпери был еще стеснен фабулой романа. Персонажи там несколько условны, потому что на них возложена непосильная философская нагрузка. Строгость композиции романа, жестковатая симметрия, сквозящая за его поэтической плотью, — это в какой-то мере точность уравнения, которое автор призывает нас решить. В «Земле людей» Сент-Экзюпери обретает волю, раскованность, столь необходимую для его своеобразного таланта поэта-моралиста. Но книга распадается на отдельные эпизоды, скрепленные только лирической темой и лирическим героем. В «Военном летчике» мысль шагает в такт с действием. Здесь достигается полное внутреннее единство раз-

вития сюжета, истории боевого полета, рассказываемой летчиком, и поступи внутреннего преобразования автора-героя. Прозрение поэта — формулировка его духовного кредо — вершина этой траектории, вслед за тем круто падающей на землю. Последняя глава возвращает нас в тот самый школьный зал, откуда несколько часов тому назад — кажется, целую жизнь назад — был вызван на задание экипаж разведчика. Этот эпизод замыкает повествование, сообщая ему ясную законченность.

К каким же выводам приходит Сент-Экзюпери в тишине уснувшей деревни? Он защищает ценности определенной цивилизации, опирающейся на «культ Человека в каждом индивидуе». Каждый человек подобен камню в кладке величественного собора — Человека. Каждый человек обретает смысл жизни именно потому, что он часть этого собора. «Собор это вовсе не сумма камней. Собор это геометрия и архитектура. Не камни определяют его сущность, собор обогащает камни своей сущностью. Эти камни облагожены тем, что они камни, составляющие собор. Самые разные камни служат для создания этого единства. Музыка собора вбирает в себя все их, вплоть до самых уродливых химер водостоков».

Сент-Экзюпери кажется, что эта истина, его осенявшая, забыта, забыто сложное единство Человека. В индивидуалистическом обществе единство распалось. Человек стал восприниматься просто как сумма индивидов — «как Камень, резюмирующий камни». В этом причина поражения. Чтобы победить, нужно восстановить правильное отношение к Человеку. Необходимо восстановить, считает Сент-Экзюпери, отношение к Человеку, которое рождено культурой, построенной на вере в бога, потому что братство людей в Человеке восходит к братству людей в боге. Вся последняя часть «Военного летчика» — гимн христианской цивилизации. Эта красивая риторика не кажется сейчас ни убедительной, ни опасной. Однако редакция журнала «Москва» предпочла пойти на сокращения, никак этого не оговорив.

Нет, мы далеко не во всем согласны с Сент-Экзюпери — или с Фолкнером, с Федерико Феллини или Аленом Рене. Так что же, кромсать их? Ведь никому не придет в голову мысль издать «Войну и мир», выкинув философские главы? А ведь Толстой тоже не был марксистом.

Когда я читаю у Сент-Экзюпери в «Письме к генералу Х»: «Поймите, больше невозможно жить · холодильниками, политикой, расчетами и кроссвордами. Больше невозможно. Больше невозможно жить без поэзии, красок и любви», — в этом уничижительном перечислении слово «политика» мне кажется неуместным, потому что в наш век к политике приобщаются целые народы и континенты, потому что в наш век поэзия и любовь пропитаны политикой. Когда в «Земле людей» я читаю, что Сент-Экзюпери плевать, «были ли искренними, или нет, были ли логичными, или нет, те высокие слова политиков», которые повели на бой маленького бухгалтера из Барселоны и превратили его в героя, я не только не могу стать на точку зрения писателя, но и вижу, как он не сводит концы с концами, стремясь убедить нас в «несущественности» идеологий. И когда Сент-Экзюпери противопоставляет Дух и Разум, утверждая, что все категории, привносимые разумом и логикой, есть нечто внешнее, несущественное, искусственное, а подлинную истину несет духовное озарение, он не найдет во мне союзника. «Не надо противопоставлять друг другу очевидность ваших истин...—призывает Сент-Экзюпери и тут же иронизирует над их «очевидностью»: — Можно поделить людей на правых и левых, на горбачих и не горбачих, на фашистов и демократов, и под такое деление не подкопаешься. Но истина, как вам известно, вносит в мир простоту, а не хаос». К сожалению, истина это истина, это то, что есть, — ни «Сезам, отворись», чтобы свести мир и человека к чему-то единому и простому, ни заклинание, чтобы погрузить человечество в хаос. Истина — отражение противоречий действительности, не поддающихся магии гуманистической поэзии, как бы она ни была красива. И подчас истина во всей ее глубине и очевидности не упрощает, а усложняет общественную практику человека.

Так спорьте же с Сент-Экзюпери, который думает заколдовать политическую действительность, отворачиваясь от нее. И дайте читателю поспорить с Сент-Экзюпери. Читатель вполне управится с этим, впитает гуманное, благородное, гражданское содержание произведений Сент-Экзюпери и отбросит наивно-утопическую риторiku. Ни один из советских зрителей, я убеждена в этом, не подумал о христианских идеях, вложенных Феллини в финал «Ночей Каби-

рии». Мы увидели, напротив, в улыбке несчастной проститутки, дважды преданной, попанной, дважды видевшей смерть, несломимую силу жизни, поразительную стойкость человека.

Один любопытный пример. В этом году французским юношам и девушкам, экзаменуемым на степень бакалавра, был предложен для сочинения текст Сент-Экзюпери: «Быть человеком — это ощущать свою ответственность. Испытывать страх перед нищетой, казалось бы и не зависящей от тебя. Гордиться каждой победой, одержанной товарищами. Сознать, что, кладя свой кирпич, ты помогаешь строить мир». От экзаменующихся требовалось не только тщательно рассмотреть это определение ответственности, но и указать, в какой мере оно соответствует личному опыту автора сочинения. Большинство молодых людей истолковало слова Сент-Экзюпери как требование исторической ответственности каждого, какое бы незначительное место он ни занимал в социальной структуре. Анни Плет, девочка, чье сочинение было признано лучшим, особенно подчеркивает, что Сент-Экзюпери не признает беспомощности человека перед лицом «объективных обстоятельств», как будто и не зависящих от него, что для него эта беспомощность, «быть может, даже просто предлог, чтобы уклониться от стеснительного долга». Другие говорят об «идеале мира и братства», за которое обязан бороться каждый, о

«борьбе против войны и вооружения». Разумеется, многие из этих сочинений расплывчато риторичны — надо быть художником такой силы, как Сент-Экзюпери, чтобы рассуждения о человеке, человечности, истине и ответственности не звучали напыщенно и фальшиво.

Но все же, когда лауреат Гонкуровской премии 1961 года Жан Ко, чьим основным занятием в последнее время стало эпатировать читателя своим нигилизмом, обрушивается на наивных юношей и девушек, которые верят Сент-Экзюпери, верят, что «быть человеком — это ощущать свою ответственность», и утверждает, что, с его точки зрения, быть человеком — «это прежде всего жрать кускус, рис или маннок... работать, удить рыбу и пользоваться пособием на многосемейность», то этот развязный цинизм, обряженный в трезвость реалиста, оказывается куда более далеким от истины, от подлинного понимания «кистины человека», чем все абстракции Сент-Экзюпери.

Эмоциональное воздействие книг Сент-Экзюпери, особенно если говорить о молодом и впечатлительном читателе, может быть только позитивным, потому что для него истина человека — в служении высокому и человеческому идеалу, а не в мешанском прозябании.

Сент-Экзюпери воспитывает в людях Человека.

Л. ЗОНИНА.

★

Политика и наука

«ПО ПОРУЧЕНИЮ ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА...»

«Исторический архив», № 1, 1962.

Недавно вышедший первый номер «Исторического архива» за этот год содержит около ста впервые публикуемых исторических документов. Интереснейшими деталями дополняют они уже сложившиеся представления о Ленине-ученом, Ленине-публицисте, Ленине — руководителе государственного строительства.

Идейной непримиримостью борца-коммуниста к ренегатам рабочего движения исполнены письма Ленина, адресованные в 1912—1914 годах правдистам¹. В одном из

них Ленин, имея в виду меньшевистскую «Новую рабочую газету» и ее присяжного публициста Мартова, писавшего под псевдонимом «Гамма», обличает «буренинские приемы субъектов вроде Гаммы, от которых давно пора очистить социал-демократию».

«...«Буря» в грязном стакане газеты г. Буренина-Гаммы» — так отзывается Ленин о писаниях ликвидаторов, уподобляя их сочинителей черносотенному литератору Буренину, сотрудничавшему в суворинском «Новом времени».

Еще резче говорит Ленин о меньшевиках-ликвидаторах весной 1914 года. «А ликви-

¹ Подготовлены к печати В. Т. Логиновым.

даторов мало клеймят за грязь и помой,— пишет он большевику депутату Думы Г. И. Петровскому.— Так и звать их ежедневно: помойная газета, помойные литераторы. Их дело — помой. Наше дело — работа... За работу и долой помойных литераторов!»

Гневные ленинские строки бичуют «помойных литераторов», которых немало и сегодня в «правосоциалистической», да и вообще всей антисоветской и антикоммунистической прессе Запада. Ведь и сегодня их дело — помой, а наше дело — работа, и ей-то, созидательной деятельности советских людей, и посвящена документальная подборка «Поручения В. И. Ленина и их выполнение»¹ в том же номере журнала «Исторический архив».

Наши представления о масштабах государственного дела Ленина опираются на бесчисленные документы: письма, телеграммы, директивы, резолюции, распоряжения, приказы Владимира Ильича, подписанные и, как правило, отредактированные им постановления Совета Народных Комиссаров или Совета Труда и Обороны. Но существуют и менее известные, еще не исследованные до конца источники, отражающие ленинскую деятельность. Множество интереснейших фактов помогает установить, уточнить и датировать переписка Управления делами Совнаркома с разнообразными советскими учреждениями за 1918—1922 годы. Письма Я. М. Свердлова, Ф. Э. Дзержинского, А. Д. Цюрупы, А. В. Луначарского, В. Д. Бонч-Бруевича, Н. П. Горбунова, В. А. Смольянинова и других работников государственного аппарата знакомят нас с поручениями Ленина, его еще никогда не воспроизводившимися резолюциями, устными распоряжениями, запросами и советами, указаниями и личными просьбами. Снова и снова показывают они, как широк диапазон ленинских политических и научных интересов.

«Владимир Ильич предлагает...», «По директиве Владимира Ильича...», «По поручению Владимира Ильича...», «Владимир Ильич придает этому делу первостепенное значение...», «Владимир Ильич очень заинтересовался...», «Согласно пожелания Владимира Ильича...», «По поручению тов.

Ленина...», «Ленин предложил...», «Тов. Ленин считает...», «С согласия тов. Ленина...», «По личному распоряжению Председателя Совета Народных Комиссаров...». Так, по деловому, начинаются, как правило, эти письма. Извлеченные из фондов Центрального партийного архива и Центрального государственного архива Октябрьской революции, впервые публикуемые документы живо характеризуют методы и стиль ленинского руководства советским государственным аппаратом, тогда еще совсем юным.

Вот осенью 1919 года В. Д. Бонч-Бруевич пишет народному комиссару социального обеспечения А. Н. Винокурову. В его письме излагается полученная Лениным жалоба старого — почти девятидесятилетнего! — военного специалиста, которого не принял некий бюрократ в «подделе инвалидов».

«Такое отношение служащих к исполнению своих обязанностей, к лицам, являющимся на прием, в высшей степени возмутительно,— говорится в письме Управляющего делами Совнаркома.— Председатель Совета Народных Комиссаров В. И. Ленин мне неоднократно заявлял, что подобных лиц, так обращающихся с посетителями, нужно жесточайшим образом карать, предавая самому строжайшему революционному суду...»

Сурово наказывал Ленин бюрократов. А вот как относился к запросам и нуждам трудящихся он сам:

«...В то время, как народные комиссары находят возможность принимать лично посетителей,— продолжает Бонч-Бруевич,— в то время, как В. И. Ленин, занятый по горло всевозможной работой, ежедневно уделяет достаточное количество времени, чтобы выслушать и крестьян и рабочих и иных лиц, приходящих на прием, в то время, как Калинин — председатель ЦИК — отдает массу времени на такие приемы, служащие в комиссариатах... ведут себя как какие-то китайские богдыханы... Многих нет никакой возможности найти, бронируют себя всевозможными секретарями и секретаршами, ничего не понимающими, держащими себя нередко крайне вызывающе и дерзко и явно компрометирующими своим обращением и поведением с публикой Советскую власть...»

В написанном по поручению Ленина официальном письме дана политическая оценка бюрократизму. Бюрократы компрометируют, точнее дискредитируют, советскую

¹ Подготовлена к печати С. А. Вакуровой, М. И. Захарцевой, М. П. Копыловой и Л. А. Шапиро.

власть. И Бонч-Бруевич извещает народного комиссара, что в самом непродолжительном времени он получит «извещение от Председателя Совнаркома по поводу тех порядков, которые крайне необходимо установить на приемах во всех наших учреждениях...».

О результатах же расследования безобразного отношения к посетителям в «подделе инвалидов» Управление делами требует сообщить «для немедленного доклада Председателю Совнаркома», по прямым указаниям которого написано это и поныне почетительное для многих письмо.

Перед нами — лишь один из многочисленных фактов, ставших в то время известными Ленину и подсказавших ему вскоре тревожные выводы об угрожающем росте бюрократизма.

«...В наших комиссариатах бюрократизма еще очень много, во всех», — пишет тогда Ильич коммунистам ВЦСПС, обязывая их «выработать практические меры борьбы с бюрократизмом, волокитой, бездельем и безрукостью», раз и навсегда покончив с этим величайшим позором...

Бичуя бюрократов, Ленин горячо поддерживает людей труда. В апреле 1920 года челябинские железнодорожники в честь пятидесятилетия Ильича дарят москвичам созданный «из совершенного мертвеца» бесплатным коммунистическим трудом «живой гигант» — паровоз «Красный коммунар».

Именно этот паровоз доставил в Москву маршрут с хлебом, собранным рабочими Урала. Удостоверая, что маршрут прибыл в столицу своевременно и в полной исправности, Бонч-Бруевич пишет челябинцам:

«Председатель Совета Народных Комиссаров В. И. Ленин, узнав от меня по телефону, что вы прибыли в Москву и находитесь у меня в приемной Управления делами СНК, тотчас же дал распоряжение представить вас ему, что и было сделано в Кремле в то время, когда В. И. Ленин вышел к товарищам курсантам — красным офицерам, только что окончившим курс и отправляющимся на Польский фронт, чтобы вместе с ними сняться на фотোগрафин...»

В тот день Ленину руководит очередным заседанием Совнаркома, обсудившим в числе прочих столь же важных вопросов доклад о хлебных ресурсах страны. В «Датах жизни и деятельности В. И. Ленина» за этот период не отмечена его встреча с делегацией челябинских железнодорожников. О ней несколько лет назад рассказал ее уча-

стник — слесарь Челябинского депо С. В. Муранов. По его воспоминаниям, Ильич, поблагодарив челябинцев за паровоз и за собранный ими хлеб, спросил, как долго они добирались до Москвы. Узнав, что путь продолжался всего-навсего четверо суток, он сказал Бонч-Бруевичу:

«С Урала до Москвы можно, оказывается, привести маршрут за четверо суток. А меня наши товарищи из Наркомпути убеждают, что на это требуется не менее десяти — одиннадцати дней. Запишите, Владимир Дмитриевич: поставить на коллегии вопрос о скоростном продвижении маршрутов с хлебом. Надо, чтобы все поезда с хлебом продвигались возможно быстрее...»

«Перед отъездом, — сообщает С. В. Муранов, — нам вручили скромные подарки и письмо Ленина к железнодорожникам Челябинска...»

Видимо, мемуарист имеет в виду то самое письмо Бонч-Бруевича, которое он написал по поручению Ильича. Именно в этом письме, точно так же публикуемом «Историческим архивом», отмечалось: «Та горячая благодарность, которую В. И. Ленин выразил в лице вашем всем товарищам сибирякам, пригнавшим так скоро в голодную Россию прекрасный сибирский хлеб в таком большом количестве, ясно свидетельствует, до какой степени вождь российской революции и вместе с ним все товарищи чувствуют ваше настоящее пролетарское дело...»

Из письма Н. П. Горбунова в Народный комиссариат земледелия мы узнаем, что Ленин придает огромное государственное значение «работам по получению новых усовершенствованных культур растений» и, судя по другому письму, оказывает всемерную государственную поддержку «интереснейшему и надежному русскому селекционному делу». Тогда, осенью 1922 года, речь шла о воспроизводстве «шатиловского (лучшего русского) семенного овса, усовершенствованного селекционной работой за годы революции и доведенного до степени лучшего в мире овса».

В наши дни советские селекционеры заслуженно гордятся лучшими в мире пшеницами и гибридами кукурузы и многими другими высокоурожайными культурами. Но начало было положено тогда, при жизни Ленина и под его непосредственным контролем и руководством, как это подтверждают впервые публикуемые документы.

Они показывают, как формировалось одно из важнейших ленинских указаний. Ведь несколько дней спустя после процитированного выше запроса Управления делами Ленин пишет в финансовый комитет, что он придает работам советских селекционеров «огромное государственное значение», а улучшение культур растений считает «одной из важнейших баз для увеличения производительности нашего сельского хозяйства»...

Из восьмидесяти четырех впервые опубликованных журналом документов около половины посвящено самым разнообразным проблемам культуры и науки. Ленин решает неотложные вопросы, связанные с творчеством советских архитекторов и кинематографистов, театров и самодеятельных культурно-просветительных коллективов.

Седьмого сентября 1918 года Управление делами Совнаркома по «особо экстренному распоряжению» Ленина запрашивает Народные комиссариаты о количестве и названиях, изданных «с дней Октябрьской революции... книжек, брошюр, плакатов, листов, портретов...». Еще через два дня аналогичный ленинский запрос направляется по телеграфу в исполнительные комитеты губернских Советов.

Седьмого мая 1919 года В. Д. Бонч-Бруевич в письме отделу имуществ Республики, ведавшему в тогдашнем Наркомпросе памятниками старины, воспроизводит резолюцию Ильича на докладе о ходе реставрационных работ в Кремле: «Поручить В. Д. Бонч-Бруевичу следить строже за исполнением и вовремя обжаловать, если будет промедление». Эта ленинская резолюция публикуется впервые.

Из другого документа — письма А. В. Луначарского Владимиру Ильичу — становятся известными новые факты о ленинской поддержке деятелей советского театра. Весной 1920 года, говорится в письме, Ленин предложил помочь артистам «наиболее ценных в художественном отношении коллективов» театров столицы, обязав их одновременно культурно обслуживать Красную Армию.

«...Так как Вы в свое время высказали Ваше полное сочувствие этому делу и сказали, что поддержите наше требование, то я бы очень просил Вас сказать два слова по телефону т. Халатову, чтобы он был немножко полиберальней по отношению к теат-

ру», — пишет в заключение Луначарский. Ленинская поддержка помогла сохранить для плодотворной жизни в искусстве большой отряд художественной интеллигенции столицы.

Великие мыслители — всегда неутомимые читатели. Публикуемые документы дополняют наши представления и о круге чтения Ленина в 1919—1922 годы.

Двадцатого декабря 1919 года «Председателю Совета Народных Комиссаров В. И. Ленину» адресуется счет отдела издательства и книжной торговли Моссовета. В нем упоминается только одно издание — «Толковый словарь» Даля. Через несколько недель Ленин пишет Луначарскому: «Недавно мне пришлось — к сожалению и к стыду моему, впервые, — ознакомиться с знаменитым словарем Даля». Теперь мы знаем, когда это произошло: между 20 декабря 1919 и 18 января 1920 года. В тот день, подчеркивая, что изученный им великолепный, но «областнический» словарь Даля устарел, Ленин, как известно, предлагает создать «словарь настоящего русского языка», включающий лексику нашей литературы «от Пушкина до Горького», и рекомендует Наркомпросу «посадить за сие 30 ученых, дав им красноармейский паек...»

Столь же точно датируются теперь и менее известные ленинские замечания на полях «Книжной летописи» — библиографического издания, составлением которого научно руководил известный литературовед профессор С. А. Венгеров. 26 января 1920 года В. Д. Бонч-Бруевич благодарит директора Российской книжной палаты за высылку экземпляров «Летописи» Ленину, «который прочел эту летопись от страницы до страницы и выписал по ней очень много книг». Сохранившиеся в Центральном партийном архиве экземпляры «Летописи» с бесчисленными ленинскими пометками доказывают, что автор письма несколько не преувеличивает.

Владимир Ильич внимательно следит за интересующими его книжными новинками, но нередко обращается и к классической научной и художественной литературе. Судя по публикуемым документам, 28 июня 1921 года он запрашивает из Румянцевской библиотеки «Логику» Гегеля. 9 июля Управление делами просит то же книгохранилище «выдать для временного пользования... т. Ленина чешско-русский словарь и чешско-

русскую грамматику». Видимо, запрос этот связан со встречами Ленина и чехословацких коммунистов — делегатов происходящего как раз в те июльские дни III конгресса Коммунистического Интернационала.

Как вспоминает участник этих встреч Антонин Запотоцкий, оказалось, что Ленин «понимает чешскую речь». Недаром в каждой его фразе чешские товарищи почувствовали наряду с великой правдой и «необычные знания»...

«Следовать за мыслями великого человека

★

есть наука самая занимательная», — отмечал еще Пушкин. Не менее увлекательно следовать не только за мыслями великого человека, но и за его делами, узнавать новое о его государственной деятельности, научных и литературных интересах. Все это и найдет внимательный читатель на первых шестидесяти страницах первого номера «Исторического архива» за этот год, вышедшего, правда, в свет вместо зимы лишь осенью...

Б. ЯКОВЛЕВ,

ВАЖНАЯ ПРОБЛЕМА СТРОИТЕЛЬСТВА КОММУНИЗМА

А. Е. Пробст. Размещение социалистической промышленности (Теоретические очерки). Редакторы В. Е. Лисов, М. А. Борисовская. Госэкономиздат. М. 1962. 340 стр.

Правильное размещение промышленности по территории нашей огромной страны — одна из важнейших и, пожалуй, наиболее сложных задач планирования народного хозяйства. Значение этой задачи особенно велико в наши дни, в период создания материально-технической базы коммунизма. Вдумайтесь в такую цифру: в ближайшие два десятилетия на капитальное строительство будет затрачено около двух триллионов рублей, что почти в шесть раз превышает капитальные вложения в народное хозяйство Советской страны за сорок пять лет ее существования. Большая часть этих затрат пойдет на промышленное строительство — будут построены многие и многие тысячи новых предприятий и реконструированы действующие.

В условиях социализма местоположение каждого предприятия определяется в соответствии с интересами всего народного хозяйства страны, а не отдельного промышленника, как это происходит в странах капитала. Но дело это весьма сложное. Надо принимать во внимание множество факторов: характер и распределение по территории страны природных богатств — сырья, топлива, гидроэнергии; источники трудовых ресурсов, транспортную сеть, исторически сложившееся размещение уже действующей промышленности и, наконец, уровень техники, экономически выгодные масштабы производства, сочетание отдельных видов производства на территории данного экономического района. Важнейшее значение имеет и фактор времени — нам важно в наиболее короткие сроки получить необходи-

мый эффект. Из большого числа возможных вариантов решения этой задачи надо выбрать наилучший.

Если при проектировании нового предприятия будет допущена ошибка в разработке технологии производственного процесса, эта ошибка повлечет некоторые потери, но относительно скоро может быть исправлена. Но если промышленное предприятие будет построено в месте, неблагоприятном для развития данного производства, то такая ошибка практически не сможет быть исправлена в течение десятков лет. И экономически невыгодно размещенное предприятие будет причиной значительных потерь в народном хозяйстве страны. Из этого следует, что экономические обоснования размещения промышленности, как и всякого нового строительства, должны осуществляться с наибольшей тщательностью.

В ленинском замысле реконструкции отсталой России на базе электрификации, воспринятом известным фантастом Уэллсом как несбыточная фантазия, правильное размещение промышленности занимало большое место. В известном «Наброске плана научно-технических работ» В. И. Ленин, поставив перед Академией наук задачу составления плана реорганизации промышленности и экономического подъема России, выдвинул в качестве основного звена в ее решении рациональное размещение промышленности.

Разработанный крупнейшими специалистами и учеными под непосредственным руководством Ленина, план электрификации

страны представлял собой и первый план рационального размещения промышленности на базе крупных районных электростанций. Зоркий ленинский глаз смотрел далеко вперед, и, разрабатывая ныне перспективные планы создания материально-технической базы коммунизма, мы то и дело обращаемся к ленинским идеям рационального развития и размещения народного хозяйства страны.

В капиталистической России две трети всей промышленности было сосредоточено на относительно небольшой территории — в нескольких центральных губерниях и на Украине, а вся остальная, огромная по своим пространствам и богатейшая по сырьевым ресурсам, часть страны была как бы сырьевым придатком промышленной «метрополии». За годы советской власти не только в сорок четыре раза увеличилась промышленная продукция страны и созданы тысячи новых видов производства, но не стало ни одного экономического района, где не была бы создана передовая индустрия и где промышленность не является ведущей отраслью народного хозяйства.

Однако у нас не обошлось без серьезных недостатков в размещении производства. Это результат ошибок, допущенных при строительстве отдельных промышленных предприятий: порой при решении вопроса об их создании вместо тщательного технико-экономического обоснования в основу принимались произвольные, «волюнтаристские» соображения. При этом если раньше серьезные недостатки в размещении производства проистекали из-за ведомственного подхода к определению пункта строительства в интересах данной отрасли промышленности, то ныне немалый вред делу наносит местнический подход некоторых совнархозов к развитию промышленности, когда вопросы размещения, масштабов и профиля новых предприятий решаются иногда на основе неправильно понятых интересов данной области, республики. Как ведомственный, так и местнический подход к размещению производства часто идет вразрез с интересами народного хозяйства страны в целом, приводит к нерациональным перевозкам, нарушению правильной кооперации производств и в итоге — к потерям в народном хозяйстве, к замедлению нашего движения вперед.

В рецензируемой книге приводится ряд примеров нерационального размещения про-

мышленности. Известно, что химические производства, развиваемые на базе природного газа, экономически целесообразнее строить вблизи от места добычи газа, так как передача газа по трубопроводам на большие расстояния сильно удорожает его. Транспортировка же готовой продукции намного дешевле. Между тем в ряде случаев строительство таких предприятий осуществляется в районе потребления продукции, на большом расстоянии от месторождения газа. Известно также, что энергоемкие производства должны строиться вблизи от источников дешевой электроэнергии. Между тем в Европейской части СССР, где топливо и электроэнергия в полтора-два раза дороже, чем на Востоке, созданы большие мощности энергоемких производств (производство алюминия, магния и др.), а в восточных районах темпы их развития недостаточны. Можно было бы привести также пример строительства предприятий тяжелого металлоемкого машиностроения вдали от мест производства металла и топлива, предприятий лесоперерабатывающей промышленности вдали от лесосырьевых баз и другие.

Правильное определение района размещения и характера каждого предприятия требует обширных технико-экономических расчетов, больших исследований. Эта работа, осуществляемая многочисленными проектными и научными организациями, должна иметь в своей основе разработанную теорию социалистического размещения производительных сил. Исходные положения такой теории даны основоположниками марксизма-ленинизма, содержатся в решениях партийных съездов и конференций. Но эти положения нуждаются в дальнейшей разработке на основе обобщения огромного опыта хозяйственного строительства. Экономическая география не стала еще наукой о рациональном размещении производительных сил; не будучи еще наукой конструктивной, она не содержит поэтому основ перспективного размещения народного хозяйства. В учебниках политической экономии социализма вопросы размещения производства почти не разработаны. В нашей литературе идет еще немало схоластических споров по второстепенным вопросам о закономерностях и принципах размещения производительных сил, но мало, до обидного мало крупных теоретических работ, основанных на конкретном анализе практики

нашего строительства. Поэтому каждая новая серьезная работа по вопросам размещения производительных сил становится подспорьем для экономистов и плановиков. Работа А. Е. Пробста — одна из лучших, если не лучшая в этой области.

Автор не намеревался исчерпать огромную проблему; не потому ли он назвал свою книгу очерками по теории размещения промышленности. И действительно, в книге рассматриваются лишь отдельные, наиболее важные вопросы размещения социалистической промышленности. В ряде случаев сложные вопросы в ней только поднимаются, но не разрабатываются. Можно, однако, с уверенностью сказать, что глубокие теоретические обобщения автора, сделанные на основе анализа огромного фактического материала, даны в нашей литературе впервые.

Особый интерес представляет очерк, посвященный влиянию общественной организации производства на размещение промышленности: концентрация промышленности, ее специализация, кооперирование, сочетание производств. Автор рассматривает ряд принципиальных проблем, имеющих важное значение в формировании экономических районов: понятие районного производственного комплекса, проблемы равномерного размещения промышленности, пропорциональности темпов экономического развития отдельных районов и другие.

Характерным для всех очерков является смелая постановка еще не разработанных или слабо освещенных в нашей литературе вопросов размещения социалистического производства. Конкретный технико-экономический анализ, обобщение значительного фактического материала придают большую убедительность теоретическим положениям, которые выдвинул автор этой книги.

Не все в этой работе, отличающейся новизной постановки многих вопросов, представляется бесспорным. Не ясно ли, например, что своеобразие природных и экономических условий разных экономических районов нашей страны не менее чем особенности развития отдельных отраслей промышленности выдвигает ряд частных законов пространственного сочетания производства для разных типов районов. Так, условия районов Севера с его суровыми природными условиями, слабым экономическим развитием, транспортной оторванностью, малонаселенностью и другими особенностями — резко отличаются от обжитых и экономически развитых районов средней полосы СССР; своеобразные особенности имеют районы пустынь и полупустынь Средней Азии и Казахстана. Но автор обходит эти вопросы. Посвящая много места анализу влияния концентрации промышленного производства и специализации на размещение промышленности, он не рассматривает вопросов территориальной специализации целых экономических районов. Эти и другие вопросы важны не только в теоретическом отношении, но и в практическом.

Однако недостаточная разработка этих и некоторых других теоретических вопросов не может быть поставлена в упрек автору. Его книга — большой труд, во многом направляющий дальнейшие исследования по этой важной проблеме социалистического строительства.

Книга, несомненно, привлечет внимание широкого круга плановиков, экономистов, географов и всех читателей, интересующихся коренными вопросами развития производительных сил нашей страны.

С. СЛАВИН,

доктор экономических наук.

★

ДОКУМЕНТЫ НЕМЕРКНУЩИХ ЛЕТ

Великая Октябрьская социалистическая революция. Документы и материалы. (Восемь томов). Издательство Академии наук СССР. М. 1957—1962.

Из истории гражданской войны в СССР. Сборник документов и материалов в трех томах. «Советская Россия». М. 1960—1961.

Библиографические указатели документальных публикаций: 1. Великая Октябрьская социалистическая революция. 2. Советская страна в период гражданской войны 1918—1920. Издательство Всесоюзной книжной палаты. М. 1961.

К сорокапятилетию Великого Октября подготовлен очередной том документальной серии «Великая Октябрьская социалистическая революция». Уже само название тома — «Революционное движение в России

накануне Октябрьского вооруженного восстания (1—24 октября 1917 года)» — не может не привлечь внимания. Здесь собраны документы, рассказывающие о незабываемых днях подготовки решающего штурма.

Предшествующий том этой серии вышел более года назад. За это время в издании документов по истории первых лет советской власти произошли примечательные события — был завершён выпуск трехтомника «Из истории гражданской войны в СССР» и почти одновременно появились два библиографических указателя документальных публикаций по периоду 1917—1920 годов. Каждое из этих изданий само по себе представляет большую ценность, но особенно интересно рассмотреть их в совокупности.

Выпуск многотомной публикации документов и материалов под общим названием «Великая Октябрьская социалистическая революция» был начат Институтом истории АН СССР, Институтом марксизма-ленинизма при ЦК КПСС и Главным архивным управлением СССР пять лет назад в связи с сорокалетием Октября. В 1957—1962 годах Издательство АН СССР выпустило восемь томов публикаций. Каждый том имеет свое название и включает документы, отражающие революционное движение в России в различные исторические периоды — с марта по октябрь 1917 года¹. Готовятся к печати последние два тома.

Хронологическим продолжением этого издания, освещающего период подготовки и проведения Октябрьской революции, является фундаментальная трехтомная публикация документов и материалов «Из истории гражданской войны в СССР», подготовленная Институтом марксизма-ленинизма при ЦК КПСС совместно с Главным архивным управлением СССР. Она даёт систематическое документальное изложение наиболее важных событий периода военной интервенции и гражданской войны.

Таким образом, впервые издаются документальные сборники, последовательно рас-

крывающие основные этапы истории нашей страны в 1917—1920 годах. Правда, попытки подготовить подобные издания предпринимались еще в тридцатые годы. Когда по инициативе А. М. Горького началась работа над «Историей гражданской войны в СССР», предполагалось, что одновременно будут издаваться документальные сборники, которые охватят период с 1917 по 1920 год. Однако в условиях культа личности Сталина было невозможно не только написать полноценную историю революции и гражданской войны, но и осуществить широкую публикацию исторических документов, относящихся к этому периоду. Более того, отдельные сборники, вышедшие в то время, оказались затем недоступными для исследователей.

Использование опубликованных документов было затруднено также и тем, что на протяжении длительного времени не было справочных изданий, библиографическая работа в этой области велась очень слабо. Ныне устранен и этот недостаток. В прошлом году Издательство Всесоюзной книжной палаты выпустило два библиографических указателя документальных публикаций: «Великая Октябрьская социалистическая революция» и «Советская страна в период гражданской войны. 1918—1920». Это первые издания такого типа, они дают широкие научно-информационные сведения о публикациях документов 1917—1920 годов. Лаконичные фразы аннотаций раскрывают огромное документальное богатство, которое в значительной мере предстоит еще освоить. Составители библиографических указателей — сотрудники Государственной публичной исторической библиотеки — выявили около шести тысяч различных публикаций. Большое место среди них занимают редкие документальные издания, выпущенные государственными учреждениями, партийными и общественными организациями непосредственно в ходе самих исторических событий первых лет революции и гражданской войны.

Вместе с тем тщательно учтены последующие публикации вплоть до конца 1960 года. Особый интерес представляют сведения об изданиях, появившихся после XX съезда КПСС. В 1956—1960 годах было опубликовано почти двести документальных сборников по истории Октябрьской революции и гражданской войны в СССР. Чтобы нагляднее представить эту цифру,

¹ В 1957 году изданы тома — «Революционное движение в России после свержения самодержавия» и «Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде». в 1958 году — «Революционное движение в России в апреле 1917 г. Апрельский кризис», в 1959 году — «Революционное движение в России в мае — июне 1917 г. Июньская демонстрация», «Революционное движение в России в июле 1917 г. Июльский кризис», и «Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского мятежа», в 1961 году — «Революционное движение в России в сентябре 1917 г. Общенациональный кризис», в 1962 году — «Революционное движение в России накануне Октябрьского вооруженного восстания (1—24 октября 1917 года)».

отметим, что за предшествующие сорок лет вышло в свет лишь около ста сборников документов советской эпохи. Примечательно, что наряду с выпуском проблемно-тематических сборников в последние годы была проведена массовая публикация местных документов. Ее осуществила целая армия исследователей и архивных работников десятков областных и республиканских городов. Как это видно из библиографических указателей, в 1957—1960 годах издано до ста пятидесяти сборников, освещающих борьбу за власть Советов почти во всех районах страны.

Документальные сборники «Великая Октябрьская социалистическая революция» и трехтомник «Из истории гражданской войны в СССР», а также названные библиографические указатели как бы подвели первый итог большой работы по изданию документов 1917—1920 годов, широко развернувшейся между XX и XXII съездами КПСС.

Конечно, в короткой рецензии невозможно раскрыть содержание этих публикаций. Ведь в них напечатано в общей сложности около восьми тысяч документов, в том числе свыше пяти с половиной тысяч по истории Октябрьской революции и более двух тысяч о борьбе против интервентов и белогвардейцев. Знакомство с этими документами показывает, что составители шли правильным путем, сосредоточив основное внимание на подборе материалов, характеризующих деятельность Коммунистической партии во главе с В. И. Лениным, раскрывающих решающую роль масс в победе пролетарской революции и защите ее завоеваний. Освещение именно этих вопросов является важнейшим условием преодоления последствий культа личности Сталина, нанесшего особенно сильный вред изучению истории первых лет советской власти.

В томах публикации «Великая Октябрьская социалистическая революция» читатель найдет немало новых документов, которые помогут ему по-новому осмыслить события грозного семнадцатого года. Здесь и важнейшие партийные документы, и материалы Советов, и газетные сообщения, передающие дыхание той великой эпохи.

Большое число новых документальных материалов содержится и в трехтомнике «Из истории гражданской войны в СССР». Вот, казалось бы, на первый взгляд, сухие

и неинтересные таблицы. Неинтересные? Но присмотритесь к ним. Это новые данные о состоянии и численности партийных организаций Красной Армии, о массовых посылках на фронт коммунистов, являвшихся проводниками идей партии в армии. Скупое, без всяких словесных комментариев эти данные убедительно опровергают долго бытовавшее в нашей литературе утверждение К. Е. Ворошилова, выдвинутое им в статье «Сталин и Красная Армия», о якобы исключительной роли Сталина в победах, одержанных молодой советской республикой в годы гражданской войны.

Широкое освещение вопросов, связанных с борьбой масс, раскрытием роли Коммунистической партии, — несомненное достоинство рассматриваемых изданий. Однако документов, разоблачающих лагерь врагов революции, в сборниках недостаточно. В публикации по Октябрю выделены специальные разделы о деятельности Временного правительства как органа буржуазии и помещиков. Но все же в целом антинародная и антинациональная политика российской контрреволюции и ее пособников — меньшевиков и эсеров — показана отрывочно и неполно. В еще большей мере этот упрек следует отнести к трехтомнику «Из истории гражданской войны в СССР». Составители его подобрали убедительные документы, в том числе и ранее не известные, обличающие англо-франко-американских империалистов как организаторов и непосредственных участников борьбы против Республики Советов. Однако они по существу отказались от серьезного показа внутренней контрреволюции, разоблачения ее реакционной политики.

Не будем вдаваться в научный анализ достоинств и промахов рассматриваемых сборников. Скажем только, что на их качестве сказались некоторые недостатки, свойственные публикации документов в последние годы. В нашей печати уже отмечалось, что массовое издание документов Октября и гражданской войны идет подчас без должной координации. Хотя документальная серия «Великая Октябрьская социалистическая революция» и трехтомник «Из истории гражданской войны в СССР» подготовлены одними и теми же научными и архивными учреждениями, коллективы составителей, к сожалению, работали в отрыве друг от друга, без какой-либо согласованности. В результате преемственность между

этими изданиями выражается главным образом только в том, что одно из них хронологически продолжает другое.

Впрочем, из-за отсутствия координации и с хронологией не все в порядке. Публикацию по Октябрю предполагается завершить событиями начала 1918 года. Трехтомник же открывается материалами лета 1918 года (если не считать нескольких документов, относящихся к более раннему периоду). Таким образом, большой отрезок в жизни страны выпадает из этих обобщающих изданий.

Кроме того, они недостаточно скоординированы и с другими публикациями по этой тематике. Составители вместо того, чтобы отослать читателя к вполне доступным, недавно вышедшим сборникам, идут порой более легким путем неоправданной перепечатки документов, уже введенных в научный оборот. Стоит ли так делать? Это тем

более досадно, что перепечатка документов (к тому же зачастую второстепенных) вообще приобрела широкие размеры.

Рассматриваемые сборники призваны оказать исследователям помощь при разработке истории Октября и гражданской войны. Но в действительности они имеют более широкий адрес — к ним не раз будут обращаться пропагандисты, преподаватели, учащаяся молодежь и вообще все, кто интересуется историей нашей родины. Это можно сказать и о библиографических указателях. В предисловии к первому из них составители сообщили, что они намерены подготовить серию таких указателей по всей истории советского общества. Хочется сказать им: чем скорее, тем лучше.

Д. ШЕЛЕСТОВ,

кандидат исторических наук.

★

СЛУЖИТЕЛИ КУЛЬТА ЯДЕРНОЙ ВОЙНЫ

Herman Kahn. *Thinking about the Unthinkable*. New-York. Horizon Press. 1962. 254 p.
(Герман Кан. Мысли о немыслимом. Нью-Йорк. Издательство «Жорайэн пресс». 1962. 254 стр.)

Германа Кана английский еженедельник «Трибюн» называет «самым влиятельным из американских ученых-стратегов». Сейчас он возглавляет специально для него созданный так называемый Гудзоновский институт по изучению проблем, которые ставит перед внешней политикой развитие военной техники.

Уже первая книга Г. Кана «О термоядерной войне» (1960) вызвала многочисленные отклики. Газеты даже ввели в обращение термин «канизм» — для характеристики необычного образа мышления этого «ученого-стратега».

С фотографии на нас смотрит почти симпатичный толстяк. Глаза прячутся за толстые стекла очков. На лице написано благодушие и, пожалуй, самодовольство. Ничего схожего с плакатным маньяком, размахивающим атомными бомбами.

В своей книге Герман Кан с улыбкой отводит от себя обвинения в том, будто он — поджигатель войны. Он заявляет, что лично он, конечно, против войны, но поскольку войны всегда были и будут, он взял на себя труд, притом преодолевая, по его словам, «большое внутреннее сопротивление», поду-

мать над тем, а какой же будет следующая война в ее конкретных проявлениях. Нельзя же обвинять хирурга в кровожадности, говорит Кан, если ему приходится иметь дело с кровью. Нельзя же, подобно царям древности, наказывать гонца за плохое известие. Кан лишь всего-навсего изучает «некоторые аспекты человеческой трагедии с их количественной стороны».

Автор поднатворел в софистике. Когда начинается куча? Два зерна — это уже куча или еще нет? А десять зерен? А сто? Рассуждения Кана по аналогии: люди умирают? Несомненно. И не только в постелях, но и насильственной смертью, например, на автомобильных дорогах. Значит, мир тоже несет смерть, как и война. Просто на войне люди умирают, так сказать, оптом, а в обычных условиях — в розницу. Но принципиальной разницы нет. Нет и четкой грани между войной и миром, как нет ее между несколькими зернами и кучей. Жизнь человека всегда связана с риском. «Война ужасна, — пишет Кан. — Но таков и мир. По существу разница между ними лишь количественная — в степени и уровне».

Углубляя далее свой софизм, Кан утвер-

ждает, будто между просто войной и термоядерной войной разница опять-таки только количественная: несколько сильнее огневая мощь армий, несколько больше будет жертв. В общем, просто еще одна война. 15 514-я по порядку в человеческой истории, если верить подсчетам швейцарских ученых...

Рассуждения Кана вызвали законное возмущение американской общественности. Известный философ и психолог Эрик Фромм в книге «Уцелеет ли человечество?» назвал его заявление о том, что мир почти так же ужасен, как и война, «поразительным, ибо оно выходит за рамки разумного опыта». Он осудил Кана за «хладнокровное использование методов бухгалтерии в вопросе, касающемся уничтожения миллионов человеческих существ», и за рассмотрение проблемы войны «вне политического содержания русско-американских отношений и возможностей соглашения».

Математик Джеймс Ньюэн опубликовал книгу «Правление безумия», специально посвященную, как указывает автор, борьбе против «тенденции, находящей выражение в многочисленных попытках заставить американский народ принять идею ядерной войны». Книгу Кана он назвал «трактатом о массовом убийстве». Эта книга, писал Ньюэн, «проникнута такой кровожадной иррациональностью, какой я еще никогда не встречал за все то время, что я читаю книги».

Это лишь отзывы из нескольких книг. Гневным рецензиям в периодической печати не было числа.

Герман Кан решил огрызнуться и одновременно обратиться со своими идеями к более широкой аудитории. Книга «О термоядерной войне» написана тяжелым языком, забита новой, самим Каном сочиненной терминологией и рассчитана в основном на специалистов. Он издал другую книгу — «Мысли о немислимом», начав ее старыми идеями, но в популярном изложении для широкого читателя.

Кое в чем, впрочем, Кан учел критику. Он уже не ставит знака равенства, пусть даже и с поправочным коэффициентом, между войной и миром. Но он продолжает уверять читателя, будто война не так уж страшна, заменив старый софизм новым. На этот раз он ссылается на человеческую забывчивость. Переносят же люди всяческие житейские невзгоды и со временем их забы-

вают, пишет он. Время — чудесный целитель. Поэтому, несмотря ни на какие катаклизмы, жизнь будет идти своим чередом. «Следует признать, — говорится в книге, — что для большинства людей время снимает горе, что люди живут после трагедий, что жизнь продолжается». Конечно, жизнь после войны не будет райской, но она будет сносной: «Относительно нормальная и счастливая жизнь не будет невозможна даже в суровых условиях, которые могут оказаться господствующими после ядерной войны — и это несмотря на перенесенные личные и социальные травмы».

Зловещий смысл софистики Кана в том, что она психологически подготавливает ядерную войну, преподнося ее как еще одну трагедию, которую, бог даст, можно и пережить — всякое бывало. Вот для чего занимается Кан замазыванием ужасных последствий ядерной войны. Как указывал Н. С. Хрущев, «уже одно понимание угрозы разрушительной войны укрепляет волю масс к борьбе против войны». Цель Кана — заменить в сознании людей ненависть к войне примиренческим к ней отношением и тем самым подорвать волю масс к борьбе против войны.

Не без самодовольства он пишет, что заставил себя «мыслить о немислимом». Но как он мыслит о термоядерной войне? Все рассуждения Кана идут в плоскости абстрактных логических схем, без учета международной действительности и конкретной обстановки. Он, например, утверждает, будто разоружение — рискованная вещь, поскольку в ходе разоружения у сторон будет возрастать соблазн начать превентивную войну. Он сознательно умалчивает о благотворном влиянии процесса разоружения на отношения между государствами. Логические построения для Кана — нечто вроде игры в кубики. Он всячески их комбинирует, но отказывается видеть за ними человеческие жизни. Он выдумывает самые невероятные варианты военных действий и видит пользу от таких занятий в том, что они «стимулируют воображение». Это мышление шизофреника не в плоскости того, что реально вероятно, а в плоскости того, что абстрактно возможно. Можно, оторвавшись от действительности, предположить, как это делает Кан, что одна из сторон взорвет ядерную бомбу высоко над вражеским городом, так, чтобы только выбить стекла в домах, в порядке дополнительного аргумен-

та в ходе дипломатических переговоров. Технически это, наверное, осуществимо. Но хотя это технически осуществимо, в конкретной действительности это всегда невероятное предположение. Преподнести бред насчет высотной бомбы как вероятность — значит демонстрировать ту самую «кровожадную иррациональность», о которой говорил Ньюмэн. Такой же характер носят рассуждения Кана об уничтожении одного города в отместку за уничтожение другого — «обмен городами», по терминологии автора.

Книга Кана заполнена схемами, заимствованными из предыдущего сочинения автора. Читатель знакомится с пятью способами нападения, восемью типами войн, шестью разновидностями «сдерживающих средств», четырнадцатью вариантами национальной политики, шестнадцатью ступеньками перерастания разногласий в войну и т. д. Общая черта всех этих классификаций — их умозрительный характер. Автор, например, сам признает: «Какого из пяти видов нападения должны мы ожидать с наибольшим основанием в настоящей войне? Понятия не имею. В законах или логике нет ничего, что бы говорило нам, что мы или противник должны действовать разумно».

Впрочем, один «вариант национальной политики» пользуется особым уважением автора. Он считает, что превентивная война «заслуживает изучения». Он рассказывает о двух вариантах «игры» в превентивную войну, начинающихся со случайного атомного взрыва в американском городе. В первом варианте американский президент фабрикует доказательство «советского саботажа» и только после этого начинает войну, во втором варианте просто приказывает нанести удар по СССР. С точки зрения Кана, второй вариант предпочтительнее, поскольку все будут думать, что раз президент приказал прибегнуть к возмездию, значит, СССР действительно виноват во взрыве. Читателю невольно приходит на ум третий, еще более выгодный вариант: не ждать случайного взрыва, а организовать его. Воспользовавшись опытом Гитлера, начавшего с провокаций войну с Польшей...

Можно, пожалуй, в данном случае согласиться с французским социологом (весьма реакционной окраски) Раймоном Ароном, написавшим предисловие к книге Кана, что ее автор «имел интеллектуальную смелость проанализировать последствия политики,

которая на деле является политикой Соединенных Штатов и Атлантического союза». Устами Кана говорит американская военщина.

Герман Кан — не случайность, а явление. Не один он принимает бесчеловечность за основу своих рассуждений. Точно так рассуждает ученый-атомщик Эдвард Теллер. В книге «Наследие Хиросимы» он тоже описывает бредовые «игры», начинающиеся, например, с приказа американского президента об эвакуации городов, за которым следует ультиматум Советскому Союзу... Он тоже обещает сносную жизнь всем уцелевшим после ядерной войны. Надо лишь заранее хорошенько подготовиться к войне, и тогда, пророчествует Теллер, «мы сможем вылезти из-под руин».

Еще одна птица того же полета — военный обозреватель газеты «Вашингтон стар» Ричард Фриклунд, выступивший с книгой «100 миллионов — максимум выживших в ядерной войне». Фриклунд рубит с плеча там, где Кан предпочитает рассуждать с оговорками. «Масса чепухи, — бравирует Фриклунд, — была написана относительно уничтожения человечества в ядерной войне». Он-то знает, что американцы уцелеют и что им вообще не стоит бояться последствий войны: «Мы убиваем больше людей и калечим больше детей автомобилями и более укорачиваем жизнь курением сигарет, чем будет убито или искалечено вследствие всемирного выпадения радиоактивных осадков после ядерной войны». Во всяком случае «наш послевоенный мир мог быть и хуже — он мог стать коммунистическим».

Так Фриклунд доводит до конца логику рассуждений Кана.

О подобных отнюдь не оригинальных сентенциях Н. С. Хрушев говорил, выступая на Всемирном конгрессе за всеобщее разоружение и мир: «Это очень опасные заявления. Они свидетельствуют о том, что некоторые представители Запада хотят перевести соревнование из области экономической, из области проверки историей преимуществ той или иной системы — в область войны. Это означает, что многие защитники империализма потеряли уверенность в возможности капитализма выиграть соревнование с социализмом и готовы пойти на развязывание мировой истребительной войны, на смерть миллионов и миллионов людей ради сохранения капитализма».

Н. С. Хрушев отметил в своей речи, что «в последнее время американские деятели все чаще говорят о термоядерной войне, создают своего рода культ такой войны». «Теоретическую базу» под эту войну подводят люди без совести вроде Германа Кана, помогают им в этом своим авторитетом ученые-злодеи вроде Теллера, распростра-

няют их идеи реакционные журналисты вроде Фриклунда. Но у американцев своя голова на плечах, и надо надеяться, что новая книга Германа Кана получит не меньший, а может, и еще более энергичный отпор, чем предыдущая.

Г. ГЕРАСИМОВ.

★

ЛЕГЕНДАРНАЯ ФИГУРА ВЕКА

Б. Г. Кузнецов. Эйнштейн. Редактор С. И. Ларин. Издательство Академии наук СССР. М. 1962. 408 стр.

«Он человек был в полном смысле слова» — гласит эпиграф к книге. Эта реплика Гамлета наиболее точно характеризует тот портрет Эйнштейна, который нарисован Б. Г. Кузнецовым в первых главах его книги. Автор ведет генеалогию мировоззрения своего героя от Спинозы и других рационалистов XVII века. Он показывает, как в отрочестве Эйнштейн воспринимал идейные традиции рационализма и гуманизма и как в его душе выросла всепоглощающая тяга к познанию «надличного», то есть рациональных законов мироздания.

В течение двух столетий люди считали, что Ньютон дал окончательный ответ на коренные вопросы науки. Это нашло свое отражение в известном стихотворении Попа:

Природа и ее законы были покрыты
тмой.
Бог сказал: «Да будет Ньютон!», и все
осветилось.

Б. Г. Кузнецов приводит написанное уже в наше время шутивное продолжение этих стихов:

...Но не надолго. Дьявол сказал:
«Да будет Эйнштейн!»
И все вновь погрузилось во тьму.

В самом деле, Эйнштейн разрушил основы казавшегося незыблемым классического мировоззрения. Теория относительности поставила под сомнение такие общепринятые понятия, как абсолютное пространство и абсолютное время. А крушение целостной картины мира, которая, казалось, дана была раз и навсегда, означало, по мнению многих, отказ от научного познания объективного мира.

В конце книги Б. Г. Кузнецов возвращается к этим словам и говорит, что абсо-

лютное познание природы действительно превышает возможность человека. «Но переходить от света, зажженного Ньютоном, ко все более яркому освещению Вселенной, никогда не считать картину, представшую при освещении Вселенной, окончательной и никогда не приравнивать ликвидацию старого освещения погружению во мрак — это дело носит на себе печать чисто человеческого вдохновения и человеческого гения».

Глубокая человечность Эйнштейна и ее тесная связь с его мировоззрением — вот лейтмотив книги. Эйнштейн был ярким противником всех форм агностицизма, отрицающего возможность постижения человеком объективной истины.

В рамках биографии Эйнштейна Б. Г. Кузнецову удалось показать, что такие открытия, как теория движения небольших тел под ударами молекул (так называемое «броуновское движение»), квантовая теория света и, наконец, теория относительности, были бы невозможны без последовательного признания объективной реальности бытия.

Особенно интересна глава «Достоевский и Моцарт». В ней автор хотел показать, что именно имел в виду Эйнштейн, когда говорил: «Достоевский дает мне больше, чем любой мыслитель, больше, чем Гаусс!» В этой главе рассматривается также связь музыкальных склонностей Эйнштейна с его мировоззрением и научным творчеством.

Современная физика располагает такими средствами наблюдения и эксперимента, которые показались бы невероятными по мощности и точности еще двадцать—тридцать лет назад. Для современной физики характерно в ряде случаев небывало точное соответствие вычисленных значений физи-

ческих величин с наблюдаемыми. Но пока еще нет единой теории, адекватно отображающей природу элементарных частиц и физических полей. Чтобы создать такую теорию, необходима, по мнению автора, вероятно, еще более революционная ломка существующих в настоящее время представлений, чем та, которая была вызвана теорией относительности и квантовой механикой.

Недаром Нильс Бор по поводу одной из попыток построения единой теории элементарных частиц сказал: «Нет никакого сомнения, что перед нами безумная теория. Вопрос состоит в том, достаточно ли она безумна, чтобы быть правильной».

Чтобы сделать какие-либо существенные шаги вперед по направлению к единой теории элементарных частиц, современному физическому требуется чрезвычайно высокая степень интеллектуальной смелости и критического отношения к, казалось бы, окончательно установившимся понятиям. Такие качества воспитываются множеством самых разнообразных, подчас трудно обнаруживаемых факторов. Среди них важное место принадлежит образу Эйнштейна, и в частности его умению опозитивизировать науку. Это умение лежало в основе единства, а иногда даже слияния его научных и художественных интересов.

Книга об Эйнштейне не может не включать изложения теории относительности. Но подобное изложение, как и пояснения, относящиеся к другим идеям Эйнштейна, не прорывают биографической ткани. Б. Г. Кузнецов пользуется выдержками из писем Эйнштейна, воспоминаниями о беседах с Эйнштейном и находит среди них чрезвычайно яркие замечания. К ним относятся, например, спор Эйнштейна с Мошковским о герое Фламариона — Люмене, летящем быстрее света и наблюдающем события на Земле в обратном порядке. А в эпиграфе к главе об общей теории относительности помещен ответ Эйнштейна его девятилетнему сыну: «...Когда слепой жук ползет по поверхности шара, он не замечает, что пройденный им путь изогнут, мне же посчастливилось заметить это». Подобные, еще не появившиеся в популярных изложениях и принадлежащие самому Эйнштейну неожиданные образы помогают понять столь сложные понятия, как кривизна пространства, четырехмерное пространство и т. д.

Описания городов, где жил Эйнштейн, рассказы о его быте, семье, друзьях очень естественно переплетаются с рассказом об открытиях ученого и с характеристикой его общественной деятельности. Запоминается, например, как Эйнштейн пожелал совместить требуемые этикетом визиты к профессорам университета в Праге с осмотром города. Читатель видит образы старой Праги, преломленные через внутренний мир Эйнштейна, и таким образом становится понятнее и ярче связь эстетических впечатлений и научных идей, которые вынашивал ученый.

Среди картин берлинского периода жизни Эйнштейна выделяются те, что нарисованы в воспоминаниях А. В. Луначарского. Это подлинный шедевр психологического портрета.

Жизнь Эйнштейна в Принстоне и отношение к нему жителей города описано очень ярко в значительной мере благодаря широко использованным воспоминаниям Л. Инфельда и письмам Эйнштейна к его друзьям, особенно к Морису Соловину. «Переброситься с Эйнштейном каким-либо замечанием в кофейной, где и хозяин и посетители знали его вкусы и привычки, стало для принстонского жителя таким же привычным делом, как беседа с прочими соседями. Но, с другой стороны, жители Принстона видели в Эйнштейне легендарную фигуру столетия».

Вопрос о причинах популярности Эйнштейна выходит далеко за пределы его биографии. В книге приводится характерный эпизод. Баварский художник Иозеф Шарль, который еще в 1927 году писал портрет Эйнштейна, приехав в 1938 году в Принстон (после побега из нацистской тюрьмы), спросил одного старика, почему тот в таком восторге от Эйнштейна, хотя ничего не знает о содержании трудов ученого. Старик ответил: «Когда я думаю о профессоре Эйнштейне, у меня появляется такое чувство, будто я уже не одинок».

Почему подобное чувство появлялось у людей, очень далеких от теоретической физики? Поиски ответа на этот вопрос — одна из стержневых линий книги Б. Г. Кузнецова. В книге приводятся некоторые соображения о связи теории относительности с классическими представлениями и связи революции в науке с общественной мыслью двадцатого века.

Книга написана с учетом новых идей, появившихся в самое последнее время. Это

дает возможность пересмотреть обычную точку зрения на выступления Эйнштейна против так называемой «копенгагенской школы» в квантовой механике и на его попытки построить единую теорию поля. Эти тридцатилетние попытки считались раньше бесплодными. Сейчас возможна другая оценка работ Эйнштейна по единой теории поля.

Такая точка зрения на творчество Эйнштейна — итог серии работ по истории новейшей физики, выпущенных Б. Г. Кузнецовым в течение последних десяти лет, и связана с той особой позицией, которая отличает автора от ряда современных историков науки и философов.

Книга об Эйнштейне, как и о каждом великом физике, требует от автора глубокого знания современной физики. К биографической литературе, как и ко всякой иной, применимо замечание Хемингуэя: автор должен знать во много раз больше того, что он рассказывает. Но автору книги о творчестве и жизни Эйнштейна необходим еще и живой интерес к тем, еще не вполне определившимся тенденциям, которые ха-

рактеризуют современное положение принципа относительности, особенно в его применении к теории элементарных частиц. В ряде своих работ — «Основы теории относительности и квантовой механики в их историческом развитии» (1957), «Принцип относительности в античной, классической и квантовой физике» (1959) и в других — Б. Г. Кузнецов рассматривает прошлое науки с позиций не только современной физики, но и с учетом тенденций науки и ее перспектив. Это относится и к книге «Эйнштейн». Нужно, кроме того, сказать, что Б. Г. Кузнецову пригодился здесь его опыт популяризации теории относительности.

Но знание современной физики, умение разобраться в ее тенденциях и незаурядный талант популяризатора не могли бы принести автору успеха, если б его повествование не было согрето большой человеческой любовью к гениальному мыслителю, которая пронизывает буквально каждую строку книги об Эйнштейне.

И. СЕЛИНОВ,

доктор физико-математических наук.



КОРОТКО О КНИГАХ

★

РАЗВИТИЕ РАБОЧЕГО КЛАССА В НАЦИОНАЛЬНЫХ РЕСПУБЛИКАХ СССР. Издательство ВПШ и АОН при ЦК КПСС. М. 1962. 311 стр. Цена 1 р. 9 к.

В 1913 году на промышленных предприятиях, расположенных в границах современного Узбекистана, насчитывалось всего лишь восемнадцать тысяч рабочих. Теперь их здесь свыше двухсот тысяч. До революции в промышленности Узбекистана по существу не было квалифицированных рабочих-узбеков. За годы советской власти республика обогатилась собственными национальными кадрами не только квалифицированных рабочих, но и производственно-технической интеллигенции.

Узбекская ССР не исключение. Опираясь на братскую помощь других народов и в первую очередь на помощь великого русского народа, все советские национальные республики создали у себя современную промышленность.

Анализу формирования и роста местных кадров, их творческой деятельности в области промышленного производства и посвящен недавно изданный сборник материалов. Открывается он статьей И. Е. Ворожейкина, рассматривающей историографию советского рабочего класса.

Большой интерес представляют и другие статьи, включенные в сборник. Их тематика разнообразна и злободневна. Так, А. А. Васък освещает роль рабочего класса Эстонии в социально-экономических преобразованиях, которые произошли в республике в 1940—1941 годах. В статье К. З. Сурблиса показывается, как в Литве на основе социалистической индустриализации создавались в послевоенный период новые отрасли тяжелой промышленности, формировались и неуклонно росли новые отряды рабочего класса: станкостроители, турбостроители, приборостроители, цементники.

Повышению роли рабочего класса Башкирии в управлении производством посвящена статья Р. Г. Кузеева. Она построена на примерах творческой активности рабочих республики, их непосредственного участия в технико-экономических советах и постоянно действующих производственных совещаниях. Многие материалы, помещенные в сборнике, показывают, какой массовый характер приобрела в национальных республиках борьба трудящихся под руковод-

ством партии за коммунистический труд, за технический прогресс.

Сборник убеждает читателя в том, что создание национальных отрядов рабочего класса в союзных и автономных республиках — величайшее достижение ленинской национальной политики.

В. Светцов.

★

Академик Л. Д. ШЕВЯКОВ, член-корреспондент АН СССР Г. И. МАНЬКОВСКИЙ. Курская магнитная аномалия. Издательство Академии наук СССР. М. 1962. 100 стр. Цена 15 к.

Буквосочетание КМА не так давно умели расшифровать только специалисты. Сейчас значение этих букв становится понятным все более широкому кругу людей: в печати часто встречаются сведения о Курской магнитной аномалии, этом богатейшем не только в СССР, но и во всем мире железорудном бассейне.

В книжке Л. Д. Шевякова и Г. И. Маньковского обстоятельно рассказывается об истории открытия, об освоении и блестящих перспективах КМА.

В 1920 году В. И. Ленин подписал постановление Совета Труда и Обороны РСФСР о развертывании буровых работ в районе Курской магнитной аномалии. В этом постановлении была дана высокая оценка КМА. В нем, в частности, говорилось: «Ввиду исключительного значения для Республики скорейшего окончания работ по разведке Курских магнитных аномалий все советские, гражданские и военные власти обязуются оказывать означенным работам полное содействие, отнюдь не допуская междуведомственных трений и волокит».

По мере развертывания разведочных работ становилось все более ясным, что КМА — это сказочная сокровищница, не имеющая равных на земном шаре как по качеству руды, так и по количеству запасов, сосредоточенных на небольшой площади. Разведанные суммарные запасы всех районов КМА составляют не менее двадцати пяти миллиардов тонн железной руды, а запасы железистых кварцитов практически неограниченны. Особенно богат Белгородский район.

Читатель получает достаточно полное представление о сегодняшнем дне КМА, о

методах разведки и разработки рудных месторождений, о высоком уровне механизации различных работ.

В книге отмечается исключительно благоприятное географическое положение новой базы черной металлургии в центре Европейской части СССР. Район КМА пересекается двумя железнодорожными магистралями и автострадой. Близость Донбасса позволяет снабжать работающие на местных рудах металлургические предприятия углем, а пролегающий здесь трубопровод Ставрополь — Москва дает возможность использовать в доменном производстве природный газ, что значительно сокращает расход кокса.

Авторы не ограничиваются рассказом о прошлом КМА и перспективах ее развития, но высказывают свои обоснованные соображения по ряду важных проблем.

М. Александров.



П. И. БАТОВ. В походах и боях. Воениздат. М. 1962. 400 стр. Цена 82 к.

Читая мемуары дважды Героя Советского Союза П. И. Батова, испытываешь чувство большого удовлетворения. Эта новая книга из серии военных мемуаров, выпускаемых Военным издательством, написана несколько отлучно от других: главным действующим лицом выступает тут не столько автор, сколько бойцы и командиры прославленной 65-й армии. Им он и посвящает свой труд.

С первых же страниц повествования читатель переносится в тяжелые и трудные годы войны. Перед ним как живые проходят простые советские люди, которых объединяла одна мысль, одно стремление — разгромить ненавистного врага. Ярко и образно рассказывает автор о славных делах советских воинов, точно передает атмосферу военных лет. В книге много запоминающихся эпизодов.

Наряду с показом героизма защитников Родины автор глубоко анализирует отдельные эпизоды войны, делает поучительные обобщения по ряду военных операций. Такое построение мемуаров П. И. Батова делает книгу богатым источником познания многих событий военных лет.

Мемуары П. И. Батова наглядно показывают, что сила советского командарма в том, что, претворяя в жизнь политику нашей партии и правительства, он в своей деятельности теснейшим образом связан с народом, опирается на массовую инициативу советских воинов. И в этом их неоценимое воспитательное и познавательное значение.

Я. Горелик.



СПОДВИЖНИКИ ЧЕРНЫШЕВСКОГО. Сборник. «Молодая гвардия». М. 1961. 480 стр. Цена 89 к.

Сподвижники, ученики, соратники Чернышевского, воспитанники Герцена, герои «Зем-

ли и воли», возглавившие в шестидесятых годах революционное движение в России, ставившие целью своей жизни организацию крестьянской революции... Их имена сто лет назад были больше известны жандармам, чем русскому обществу, но история сохранила их для потомства. Архивы, документы эпохи, свидетельства современников позволили ныне в полной мере раскрыть значение деятельности революционных демократов, проследить судьбу героев и мучеников ссылки, каторги, тюрем.

Авторы книг «Сподвижники Чернышевского» (В. Прокофьев, В. Тростников, Ю. Авербах, В. Кернацкинский, Г. Ионова, Н. Новикова, Ю. Куликов, А. Смирнов) поставили перед собой благородную задачу — в живой беллетристической форме рассказать широкому читателю о жизни и борьбе этих видных деятелей освободительного движения 60-х годов.

Необыкновенная моральная высота, твердость и стойкость убеждений — характернейшие черты этих «лучших, весенних провозвестников нового времени в России» (Герцен). Они свято верили в близкую крестьянскую революцию, готовились к ней иногда наивно (под руководством Сергея Рымаренко, члена ЦК «Земли и воли», даже начали шить одинаковые шапки и пальто с особыми значками — как форму для повстанцев, чтобы легче узнавать друг друга в сражении), они были во власти многих политических иллюзий и ошибочных взглядов, но чистота их помыслов, вера в неизбежность победы остаются для нас примером необыкновенного благородства, великой способности человеческой души к самопожертвованию.

Поэт и переводчик Михаил Михайлов — первый каторжник Александра «освободителя»... Николай Серно-Соловьевич, «благороднейший, чистейший, честнейший», по словам Герцена, человек, сосланный в Сибирь на вечное поселение... Митрофан Муравский — один из основателей тайного общества в Харьковском университете, погибший на каторге в семидесятых годах... Сигизмунд Сераковский, блестящий офицер генерального штаба, возглавивший движение польских повстанцев и повешенный по приговору военно-полевого суда на одной из площадей Вильно...

Несмотря на то, что о героях-шестидесятниках писало несколько авторов, для книги характерна композиционная, стиливая цельность. Порой только кажутся несколько наивными попытки искусственного «оживления» рассказа: герои вдруг начинают говорить цитатами из прокламаций и статей.

К числу наиболее удачных очерков в книге, кстати почти лишенных этого недостатка, можно отнести очерк Н. Новиковой о Владимире Обручеве, очерк А. Смирнова о Сигизмунде Сераковском, Ю. Авербаха о братьях Серно-Соловьевичах.

С. Кайдаш.

А. ЗЯБРЕВ. Енисейская тетрадь. «Молодая гвардия». М. 1962. 256 стр. Цена 53 к.

Жанр своей книги А. Зябрев определил как «лирические записки». Проще говоря, книга написана в форме откровенного, умного, наполненного множеством живых деталей дневника рабочего — строителя Красноярской ГЭС.

Удача «Енисейской тетради» — в умении молодого автора ограничить себя выполнимыми задачами и не претендовать на то, к чему он еще не готов. Поэтому здесь не найти публицистических обобщений, синтезированных образов, глубоких психологических характеристик — рассказанное автором скромнее этих задач, но зато исполнено достоверности, непосредственности, искренности. И жизненный опыт и литературная наблюдательность удачно слились в одном, главном ощущении, пронизывающем весь авторский монолог, всю эту исповедь, — в ожидании. Бригаде, где трудится наш герой, надо успеть закрепить перемычку до весеннего ледохода. И тут ни штурм, ни героический бросок не помогут — только равномерно наращиваемое усилие, месяцы разумного объединения всех сил бригады и всех сил каждого. Отсюда и ожидание: хватит ли, достанет ли душевных сил нашему герою и его друзьям на эту неброскую с виду, ежедневную, будничную работу?

В момент ледохода мы вместе с героем книги подводим итог: не без потерь и срывов, но удалась эта нелегкая работа.

Последние три-четыре десятка страниц «Енисейской тетради» уже, к сожалению, лишены этого деятельного напряжения.

Книга А. Зябрева прошла по самой грани между документом и вымыслом, «чистым рассказом» и «просто очерком», — спорами об их взаимоотношениях довольно богата в последнее время не только теория, но и сама художественная практика нашей прозы. В этом дружеском творческом споре молодой красноярский прозаик сумел сказать свое свежее слово.

В. Соколов.

★

НИКОЛАЙ КОЧИН. Девки. Парни. Романы. Гослитиздат. М. 1962. 719 стр. Цена 1 р. 34 к.

В однокотомник Николая Кочина, выпущенный Гослитиздатом к шестидесятилетию со дня его рождения, вошли ранние романы «Девки», «Парни». Тринадцать лет библиотеки страны не могли удовлетворять читательские запросы на книги Н. Кочина: по ложному совету писатель подвергся незаконному осуждению. Но когда в 1956—1957 годах издательства вновь выпустили в свет его произведения, они были тепло приняты памятными читателями.

Н. Кочин, пришедший в литературу от селькорской заметки, превосходно знал жизнь крестьянства двадцатых годов. Роман «Девки» был первым большим произведением писателя. В нем он показал, как трудно протекала жизнь девушек-батрачек в де-

ревне лет нэпа, как изворачивались кулаки в обходе советских законов о найме рабочей силы, о запрещении аренды земли. Писатель беспощаден в разоблачении лжекоммуниста Обертышева и кулака Канашева — хитрого и тонкого врага советской власти, организовавшего мнимую артель.

Однако пафос романа не в разоблачении гнилья, а в утверждении нового — светлых, сильных характеров Парульки Козловой, Марьи Бадьиной, научившихся «управлять государством». Сильное впечатление оставляют образы руководителя сельского комсомола Федора Лобанова, павшего от руки подкулачника; начинающего поэта — будущего селькора Саньки, коммуниста Анныча, еще в годы гражданской войны организовавшего в деревне коммуну, а при нэпе ставшего руководителем сельскохозяйственной артели. Роман написан ярким поэтическим языком, опирающимся на истоки крестьянской речи.

В романе «Парни» Н. Кочин раскрывает один из важнейших процессов, происходивших в стране в начале тридцатых годов, — рождение миллионов новых рабочих, пришедших на новостройки главным образом из крестьянства. В центр событий поставлен русский мужик богатырь Иван Переходников из деревни Монастырки, что соседствовала с Кунавином, рабочим пригородом Нижнего Новгорода. Это соседство и решило судьбу ее жителей. О том, как двадцатидвухлетний Иван Переходников, парень чистойшей души, не представлявший себе жизни вдали от родных мест, стал одним из лучших ударников строительства Горьковского автозавода, и повествует роман.

Можно быть уверенным, что читатель однотомяника Н. Кочина захочет познакомиться и с другими произведениями писателя: повестями «Тарабара» и «Юность», книгой о Кулибине и «Записками селькора». Если «Юность» и «Кулибин» уже переизданы, то «Записки селькора» и «Тарабара» еще ждут своей очереди.

В. Красильников.

★

И. Ф. ГОРБУНОВ. Юмористические рассказы и очерки. «Московский рабочий». М. 1962. 256 стр. Цена 55 к.

То, что избранные страницы И. Ф. Горбунова вышли именно в «Московском рабочем» — не случайно.

Великолепный рассказчик и знаток народного быта, Иван Федорович Горбунов был и всю свою жизнь оставался коренным москвичем. Даже во время работы в Петербурге, в Александринском театре.

Именно в Москве юношей еще познакомился он с А. Н. Островским. «Эта встреча с Александром Николаевичем повлияла на всю мою дальнейшую судьбу», — пишет он в своих воспоминаниях.

Работая в русле традиций Островского, И. Ф. Горбунов никогда не был подражателем и копиистом. Только самообытностью и яркостью таланта, обогащенного знакомством с великим мастером, и могла создать вели-

колепные «Сцены из народного быта», «Очерки о старой Москве». Так же интересны и включенные в сборник «Воспоминания» заметки от имени «генерала Дитятина» (младшего брата Козьмы Пруткова).

Литературное наследие Горбунова дошло до нас, к сожалению, далеко не полностью. Многие сцены и рассказы, восхищавшие его слушателей, остались незаписанными. Но даже то, с чем читатель знакомится в одноименнике, позволяет создать довольно полное представление о таланте автора.

Автор примечаний и послесловия Н. А. Сверчков много способствует знакомству читателя с творчеством Горбунова. К сожалению, сразу бросается в глаза некоторая произвольность в отборе взятых для примечаний слов и понятий. Объясняя порой общезвестное или просто не заслуживающее объяснений («аблокат», «каплун с трюфелями» и т. д.), Н. А. Сверчков не обращает внимания на то, что действительно надо объяснить: кто такой, например, Иван Яковлевич (Корейши), о котором с таким уважением говорят замоскворецкие обитатели, что такое «Титы», навевающие страх на этих же обитателей?

В интересном по фактическому материалу послесловии автор его, старательно сближая Горбунова с освободительным движением шестидесятников, словно не замечает, что более поздние произведения Горбунова — конца семидесятых — начала восьмидесятых годов — публиковались главным образом в суворинском «Новом времени» и в суворинском же «Еженедельном новом времени» и носили часто развлекательный характер. Нельзя забывать об ограниченности мировоззрения Горбунова. Обо всем этом автор вступительной статьи не говорит ни одного слова. Почему?

Наше литературоведение давно уже начало освобождаться от «выпрямления» и «приглаживания» в серьезном разговоре о деятелях литературы и литературных явлениях. Возвращаться к этому не стоит.

Б. Яранцев.

★

А. ТУРКОВ. Поэзия созидания. Литературно-критические статьи. «Советский писатель». М. 1962. 253 стр. Цена 60 к.

К понятиям «пафос творчества», «личная тема» прибегают у нас, как правило, говоря о художниках слова, «практиках» искусства, а по существу эти определения вполне применимы и для литераторов, работающих в области критики: у них тоже есть свои художнические пристрастия, свой, особый угол зрения на явления искусства.

А. Турков пишет о произведениях различных, в поле его зрения попадают несхожие писатели и поэты: Л. Леонов и Б. Горбатов, В. Маяковский и Я. Смеляков, А. Твардовский и В. Луговской, Е. Дорош,

К. Паустовский, А. Бруштейн, В. Тендряков, В. Солоухин...

Создание новых человеческих отношений, нового человека и формирование эстетических норм нового общества, сложность и величие этих задач — вот основная мысль, которая проходит через все статьи А. Туркова, объединяя их и вместе с тем оттеняя своеобразие каждого произведения, толкуемого критиком.

Статья о Маяковском («Океан на карте поэзии»), так же как и небольшая монография о творческом пути В. Луговского, носит довольно ясно выраженный литературоведческий характер, специальное исследование представляет собой статья о творчестве А. Твардовского.

Ряд статей сборника включает в себя значительный элемент публицистики («Русский лес», «О «Золотой розе», «Мысль ищущая и побеждающая» и другие). Своеромно поднят А. Турковым в статье «Сила слова» вопрос о необходимости глубокого изучения «искусства словесной кладки».

Широкая эрудиция, умение видеть произведение во всем его сложном комплексе, простая и вместе с тем темпераментная манера изложения помогают критику идти непроторенным путем.

М. Блинкова.

★

ВС. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ. Читая Пушкина. Детгиз. Л. 1962. 192 стр. Цена 55 к.

Мыслима ли оригинальная книга о том, чему посвящены тысячи статей и книг?

Вс. Рождественский не приводит новых материалов, не ворошит в который раз архивов. Он перечитывает известнейшие стихи Пушкина и раскрывает их гуманный смысл, их красоту и художественное совершенство. Часто он просто проходит по следам Пушкина. Перечитывая «Воспоминания в Царском Селе», Вс. Рождественский как бы приглашает вас попытаться проникнуться пушкинскими впечатлениями. «Дол и роши» — кто не узнает в них искусного чередования лужаек и кустов, созданного тонким вкусом садоводов XVIII века? «Ручей, бегущий в сень дубравы», тоже существует в действительности. Это каскады танцких ключей, и по сию пору пересекающих весь Екатерининский парк... А эти «аллеи древних лип»? Вы и сейчас можете пройти под их всегда свежей и живой тенью.

Вс. Рождественский нашел счастливый поворот для своего «путешествия» по творчеству поэта.

Правда, порой в книге повторяются наблюдения, нарушен стройный и строгий ритм, который, однако, снова восстанавливается в последней главе «Зрение поэта и искусство детали».

Книга написана для юношества. Хорошая книга о высочайшей поэзии.

А. Урбан.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

ГОСПОЛИТИЗДАТ

Н. С. Хрущев. Насущные вопросы развития мировой социалистической системы 48 стр. Цена 5 к.

Н. С. Хрущев. Строительство коммунизма в СССР и развитие сельского хозяйства. В пяти томах. Том I. Сентябрь 1953 года — январь 1955 года. 496 стр. Цена 82 к.

Седьмой экстренный съезд РКП(б). Март 1918 года. Стенографический отчет. 444 стр. Цена 1 р.

П. И. Березов. Революция совершилась. 292 стр. Цена 60 к.

Ф. С. Веселков. Материальное стимулирование трудящихся в СССР. 240 стр. Цена 20 к.

П. Гольбах. Галерея святых (или Исследование образа мыслей, поведения, правил и заслуг тех лиц, которых христианство предлагает в качестве образцов). 352 стр. Цена 64 к.

А. Я. Грунт. Заговор обреченных (Разгром корниловщины). 80 стр. Цена 7 к.

Д. Гурьев. Бог, Адам и общество. 120 стр. Цена 13 к.

История Коммунистической партии Чехословакии. 824 стр. Цена 1 р. 40 к.

Книга фактов о подрывной деятельности из Западного Берлина против социалистических стран. Москва София, Будапешт, Берлин, Варшава, Бухарест, Прага. 200 стр. Цена 30 к.

Краткая история рабочего движения в России (1861—1917 годы). 688 стр. Цена 1 р. 5 к.

Винтор Маевский. Когда шатаются небоскребы (Политический репортаж). 208 стр. Цена 24 к.

Международные отношения после второй мировой войны. В трех томах. Том I (1945—1949 гг.). 760 стр. Цена 1 р. 80 к.

И. Л. Мильявский. Падение двуглавого орла. 80 стр. Цена 8 к.

Э. Ю. Ривош. П. П. Постышев. Биографический очерк 96 стр. Цена 11 к.

Утро нового мира. 80 стр. Цена 8 к.

Хрестоматия по истории КПСС. В трех томах. Том I (1883 г.— февраль 1917 г.). 624 стр. Цена 1 р. 5 к.

Хрестоматия по марксистско-ленинской философии. Том 3. 800 стр. Цена 1 р. 27 к.

СОЦЭНГИЗ

Александр Абуш. Ложный путь одной нации. К пониманию германской истории. Перевод с немецкого. 349 стр. Цена 1 р. 15 к.

Д. И. Гольдберг. Внешняя политика Японии в 1941—1945 гг. 384 стр. Цена 1 р. 38 к.

Общие закономерности и особенности перехода к социализму в различных странах. 482 стр. Цена 1 р. 15 к.

Т. И. Ойзерман. Формирование философии марксизма. 550 стр. Цена 1 р. 60 к.

С. И. Степаненко. Научно-техническое сотрудничество социалистических стран. 87 стр. Цена 15 к.

М. Н. Тихомиров. Источниковедение истории СССР. Выпуск первый С древнейших времен до конца XVIII века. Учебное пособие. 495 стр. Цена 70 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

Д. Вишневский. Семьдесят второй день. Повесть о В. И. Ленине. Перевод с украинского. 264 стр. Цена 49 к.

С. Галкин. Стихи последних лет, Перевод с еврейского. 216 стр. Цена 41 к.

Л. Гинзбург. Цена пепла. Немецкие заметки. 404 стр. Цена 56 к.

Голос Горного Алтая. Сборник стихов поэтов Горного Алтая. 128 стр. Цена 16 к.

Р. Инанишвили. Зов в горах. Рассказы. Перевод с грузинского. 192 стр. Цена 27 к.

Б. Кербабаяв. Стихи и поэмы. Перевод с туркменского. 148 стр. Цена 24 к.

А. Керимов. Третий всадник Стихи и поэма. Перевод с азербайджанского. 96 стр. Цена 14 к.

А. Рекемчук. Молодо-зелено. Повесть. 260 стр. Цена 36 к.

ГОСПОЛИТИЗДАТ

Р. Бикмухаметов Муса Джалиль. Очерк творчества. 324 стр. Цена 67 к.

Фернандо Рамирес Веларде. Шахты скорби. Роман. Перевод с испанского. 200 стр. Цена 34 к.

С. Голубов. Багратион. Роман. 344 стр. Цена 70 к.

Джебран Халиль Джебран. Сломанные крылья. Избранные произведения. Перевод с арабского. 286 стр. Цена 35 к.

Н. Золотарев (Н. Якутский). Золотой ручей. Повесть. Перевод с якутского. 216 стр. Цена 55 к.

Лу Цзюнь-чао. Шторм в девять баллов. Повесть Перевод с китайского. 128 стр. Цена 27 к.

Уильям Моррис. Вести ниоткуда или эпоха спокойствия Перевод с английского. 312 стр. Цена 41 к.

Карел Новий. На распутье. Роман. Перевод с чешского. 329 стр. Цена 80 к.

Норвежские сказки. Перевод с норвежского 295 стр. Цена 61 к.

Саади. Бустан. Лирика. Перевод с персидского. 528 стр. Цена 1 р.

Лайош Толнай. Пять форинтов. Повести и рассказы. Перевод с венгерского. 295 стр. Цена 48 к.

А. Штейн. Критический реализм и русская драма XIX века. 399 стр. Цена 1 р. 4 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Алексей Емельянов. Теплые ключи. Повесть и рассказы. 176 стр. Цена 41 к.

Юрий Жунов. Путь к Карпатам. Художественно-документальные очерки. 158 стр. Цена 25 к.

Ли Чжунь. Белые тополя. Рассказы. Перевод с китайского. 136 стр. Цена 26 к.

Холгер Пукк. Как поступишь ты? Повесть. Перевод с эстонского. 96 стр. Цена 14 к.

Ф. Таурин. Гремящий порог. Роман. 366 стр. Цена 74 к.

Юрий Харланов. Тайна двух крестов. 144 стр. Цена 20 к.

Г. Чиж. К неведомым берегам. Историческая хроника. 416 стр. Цена 93 к.

Суюнбай Эралиев. Поэма о любви. Перевод с киргизского. 104 стр. Цена 33 к.

ДЕТГИЗ

П. К. Асбьёрсен. Вороны Ут-Реста. Норвежские сказки и предания. Пересказала для детей А. Любарская. 144 стр. Цена 48 к.

А. Дюма. Шевалье д'Арманталь. Роман. Перевод с французского. 448 стр. Цена 96 к.

А. Кирносов. Человек отправляется в путь. Повесть. 136 стр. Цена 36 к.

П. Коростелев. Компас. Рассказы. 112 стр. Цена 31 к.

П. Мелибеев. Садовая. Повесть. 208 стр. Цена 42 к.

Л. Разгон. Своя, самая близкая. Рассказы из истории газеты «Правда». 72 стр. Цена 22 к.

Родная поэзия. Избранные стихотворения поэтов-классиков народов СССР. 464 стр. Цена 79 к.

Э. Сатерленд. Ту-ма-ту. Стихи и фотографии о жизни детей свободной Ганы. В перекладе с английского Н. Воронель. 64 стр. Цена 19 к.

Ю. Томин. Борьба, я и невидимка. Повесть. 144 стр. Цена 33 к.

Ю. Тонин. Каменный друг. Рассказы о том, как города меняют лицо. 168 стр. Цена 46 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР

М. А. Барг. Исследования по истории английского феодализма в XI—XIII вв. 380 стр. Цена 2 р. 26 к.

Г. Н. Высоцкий. Избранные сочинения. Том 1. Работы в Велико-Анадоле. 499 стр. Цена 3 р. 8 к.

Германское рабочее движение в новое время. Сборник статей и материалов. 408 стр. Цена 1 р. 77 к.

Н. Н. Горский. Вода — чудо природы. 224 стр. Цена 34 к.

Действие ядерных излучений на материалы. 384 стр. Цена 2 р. 18 к.

Диалектика и логика. Формы мышления. 310 стр. Цена 1 р. 16 к.

Н. М. Зоркая. Советский историко-революционный фильм. 220 стр. Цена 1 р. 26 к.

И. И. Костюшко. Крестьянская реформа 1864 г. в царстве Польском. 492 стр. Цена 2 р. 22 к.

Критика иудейской религии. 436 стр. Цена 1 р. 66 к.

И. В. Маковецкий. Архитектура русского народного жилища. Север и Верхнее Поволжье. 339 стр. Цена 3 р. 58 к.

М. В. Миско. Польское восстание 1863 г. 335 стр. Цена 1 р. 28 к.

И. В. Нестьев. Ганс Эйслер и его творчество. 168 стр. Цена 40 к.

Козьма Пражский. Чешская хроника. Памятники средневековой истории народов центральной и восточной Европы. 295 стр. Цена 98 к.

Проблемы электрической обработки материалов. 220 стр. Цена 1 р. 24 к.

Г. Л. Пышкевич. Еловые леса советских Карпат. 175 стр. Цена 1 р. 19 к.

А. И. Рогов. Сведения о небольших собраниях славяно-русских рукописей в СССР. 300 стр. Цена 97 к.

Е. В. Тарле. Бородино. 96 стр. Цена 30 к.

Теория государства и права. Основы марксистско-ленинского учения о государстве и праве. 535 стр. Цена 2 р. 23 к.

М. А. Цявловский. Статьи о Пушкине. 434 стр. Цена 1 р. 35 к.

Тарас Шевченко. Сборник. 271 стр. Цена 93 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ВОСТОЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Е. З. Гневушева. В стране трех тысяч островов. 221 стр. Цена 40 к.

Го Мо-жо. Песнь о будущей волне. 211 стр. Цена 55 к.

А. З. Зусманович. Империалистический раздел бассейна Конго (1876—1894 гг.). 355 стр. Цена 1 р. 25 к.

М. А. Персиц. Дальневосточная республика и Китай. 304 стр. Цена 62 к.

Л. А. Сикирянская. Великий поход китайской Красной Армии. 91 стр. Цена 22 к.

ГЕОГРАФИЗ

Г. Н. Каттерфельд. Лик Земли и его происхождение. 152 стр. Цена 44 к.

На ледяном острове. Сборник. 239 стр. Цена 64 к.

Э. Мурзаев. Путешествие без приключений и фантастики (Записки географа). 160 стр. Цена 59 к.

Дж. Л. Б. Смит. Старина четвероног (Как был открыт целакант). 216 стр. Цена 73 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Вопросы экономической эффективности капиталовложений. Сборник статей. 277 стр. Цена 85 к.

П. Жуа, Р. Левэн. Тресты в Конго. Перевод с французского. 318 стр. Цена 76 к.

За амнистию в Греции. Издание комитета греческих политэмигрантов «За демократию в Греции». Перевод с французского. 122 стр. Цена 22 к.

Эмилио Ронг де Леучсенринг. Хосе Марти — антиимпериалист. Перевод с испанского. 141 стр. Цена 27 к.

В. Минач. Медвежий уголь. Рассказы. Перевод со словацкого. 142 стр. Цена 38 к.

Мариан Нашковский. Неспокойные дни. Воспоминания о тридцатых годах. Перевод с польского. 270 стр. Цена 65 к.

Хайме Диас Росотто. Характер Гватемальской Революции. Закат традиционной буржуазно-демократической революции. Перевод с испанского. 350 стр. Цена 85 к.

Сказки и пословицы Мадагаскара. Перевод с мальгашского. 111 стр. Цена 20 к.

Л. Тарва. Родина моя. Стихи и поэма. Перевод с монгольского. 82 стр. Цена 15 к.

СЕЛЬХОИЗДАТ

А. А. Аванян. Биология развития сельскохозяйственных растений. 486 стр. Цена 94 к.

В. Г. Антипин и др. Зерноуборочные комбайны и организация комбайновой уборки зерновых культур. 384 стр. Цена 82 к.

М. З. Берлин. Экономика сельскохозяйственного строительства. 248 стр. Цена 33 к.

П. А. Бобровский. Эффективность химизации сельского хозяйства. 144 стр. Цена 20 к.

Б. И. Брагинский. Производительность труда в сельском хозяйстве. 432 стр. Цена 75 к.

И. С. Егоров. Фабрики удобрений. 200 стр. Цена 27 к.

А. П. Иванов. Рожь. 302 стр. Цена 76 к.

М. И. Коваленко. Думы председателя колхоза. 144 стр. Цена 38 к.

Коллектив авторов. Коммунистическая взаимопомощь на селе. 206 стр. Цена 27 к.

Коллектив авторов. Сельскохозяйственная птица. Том I. 384 стр. Цена 1 р. 11 к. Том II. 542 стр. Цена 1 р. 39 к.

Коллектив авторов. Справочник свекловода. 400 стр. Цена 56 к.

Коллектив авторов. Справочник совхозного строителя. 598 стр. Цена 1 р. 54 к.

В. К. Милованов. Биология воспроизведения и искусственное осеменение животных. 696 стр. Цена 2 р. 6 к.

О. А. Ольхов. Применение атомной энергии в сельском хозяйстве. 118 стр. Цена 16 к.
Н. В. Сабуров, М. В. Антонов. Хранение и переработка плодов и овощей. 448 стр. Цена 89 к.
Г. И. Ткачук. По-хозяйски использовать землю. 120 стр. Цена 16 к.
А. С. Яблоков. Селекция древесных пород. 486 стр. Цена 94 к.

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

Александр Борщаговский. Остров всех надежд. Сборник камчатских повестей. 432 стр. Цена 86 к.

Весна твоих побед. Сборник песен советских композиторов. 144 стр. Цена 30 к.

Лазарь Карелин. Микрорайон. Роман. 168 стр. Цена 27 к.

Ник. Кутов. Расставания и встречи. Стихи. 112 стр. Цена 15 к.

И. И. Пинулев. Краткая история русского изобразительного искусства. 104 стр. Цена 17 к.

Н. А. Рубанин. Как заниматься самообразованием. 128 стр. Цена 16 к.

Николай Рыленков. Рябиновый свет. Стихи. 224 стр. Цена 39 к.

БУРЯТСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

Р. В. Белоглазова. Первая четверть. Повесть и рассказы. 156 стр. Цена 23 к.

В. В. Корнаков. В Гольцах светает. Роман. 380 стр. Цена 80 к.

Ч. Цыдендамбаев. Ливень в степи. Рассказы. Авторизованный перевод с бурятского. 254 стр. Цена 37 к.

СТАВРОПОЛЬСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

Ф. А. Абдулжалилов. Крутые повороты. Повесть. Перевод с ногайского. 168 стр. Цена 41 к.

А. Н. Охтов. Камень Асият. Легенда. Перевод с черкесского. 64 стр. Цена 22 к.

ЧЕЛЯБИНСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

Весенняя ветка. Стихи и рассказы. 154 стр. Цена 37 к.

М. Ф. Колягин. Разные судьбы. Роман. 199 стр. Цена 48 к.

А. А. Шапов. Наше литературное вчера. Историко-биографические очерки. 164 стр. Цена 52 к.

ОТ РЕДАКЦИИ

В № 8 «Нового мира» помещена заметка Р. Гинзбург об «Англо-русском словаре с иллюстрациями» З. Н. Власовой, выпущенном в этом году Издательством иностранных и национальных словарей.

Рецензент Р. Гинзбург дает высокую оценку словарю, но одновременно говорит о слабости лингвистической редакции словаря, критикует редактора словаря А. Г. Елисееву.

Редакции стали известны следующие обстоятельства. После смерти З. Н. Власовой в 1956 году осталась рукопись в 15 листов,

не готовая к печати. Доработка и лингвистическая редакция этой рукописи была поручена издательством доценту МГУ, кандидату филологических наук А. Г. Елисеевой, которая провела доработку сданного в издательство материала, лингвистически систематизировала его, в связи с чем словарь расширился и вышел из печати в объеме 26 печатных листов. Вывод рецензента о недостаточно внимательном и квалифицированном редактировании словаря надо признать несправедливым.

Главный редактор **А. Т. Твардовский**

Редакционная коллегия:

Е. Н. Герасимов, А. Г. Дементьев (зам. главного редактора), **Б. Г. Закс** (ответственный секретарь), **А. И. Кондратович** (зам. главного редактора), **В. Я. Лакшин, А. М. Марьямов, В. В. Овечкин, К. А. Федин**

Редакция: Москва Центр. Пушкинская площадь, 5 (почтовый адрес).
 Вход с улицы Чехова 1. Тел. К 5-76-97

Рукописи объемом до одного авторского листа не возвращаются.

Сдано в набор 21/IX 1962 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 3/XI 1962 г.
 А 06787 Формат бумаги 70×108^{1/16}. 9 бум. л.—24,66 печ. л. Тираж 96.900.
 Зак. 1803.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова Степанова, Москва Пушкинская пл., 5.

Цена 70 коп.